Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф Павленковым
и продолжена в 1933 году
М Горьким



ВЫПУСК

1074

(874)

Ариадна
Тыркова-Вильямс

ЖИЗНЬ ПУШКИНА

ТОМ ПЕРВЫЙ
1799–1824

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2004

УДК 882(092)
ББК 83.3(2 Рос=Рус)1-8
Т 93

Издание четвертое

ISBN 5-235-02651-9 (т. 1)
ISBN 5-235-02650-0

ОТ РЕДАКЦИИ

Читатель, очевидно, обратит внимание на то, с каким огромным временным разрывом вышли в свет первый и второй тома книги А. В. Тырковой-Вильямс. В предисловии О. Н. Михайлова подробно рассказывается, почему так получилось, что два тома одной и той же «Жизни Пушкина» относятся, можно сказать, к разным периодам современной истории. Естественно, двадцатилетний разрыв во времени не мог не сказаться на принципах издания. Уже одно то, что первый том вышел со старой орфографией, а второй с новой, о многом говорит сегодняшнему читателю. Издавая оба тома одновременно, мы постарались свести тексты воедино, не поступаясь в целом принципами предыдущего издания, не меняя авторского стиля и, по возможности, орфографии. Мелкие неточности (в датах, инициалах и т. д.) исправлены нами в самом тексте, более существенные оговорены в постраничных примечаниях.

А. В. Тыркова-Вильямс пользовалась теми собраниями сочинений Пушкина, которые сегодня уже недоступны массовому читателю. Она очень много цитирует черновые варианты пушкинских стихотворений, чтобы показать читателю, как скрытный Пушкин прятал от посторонних глаз самые глубокие и сильные свои переживания. По возможности мы сверили пушкинские цитаты по полному собранию сочинений, вышедшему в издательстве «Академия» в 1937 году. Явные опечатки и неточности (к сожалению, встречающиеся в издании 1928—1947 годов) нами исправлены. В тех же случаях, когда разночтения с академическим изданием полного собрания сочинений носят существенный смысловой характер, мы, естественно, оставляли вариант автора.

Орфография передает дух эпохи и психологию населявших ее людей ничуть не хуже, чем оригинальный текст. В

советское время из нашего обихода были изгнаны прописные буквы, а значит, религиозность, почтительность, романтизм. Была словно бы нивелирована человеческая личность: ведь те слова, которые автор пишет с заглавной буквы, говорят о нем не меньше, чем вообще все, что он написал. Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс с заглавной буквы пишет все Пушкинское. Дай Бог, чтобы читателю передалась хотя бы частица той огромной любви к Пушкину, которая вдохновляла автора этой книги.

«ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...»
(Об А. В. Тырковой-Вильямс)

«Зимой мы жили в Петербурге, летом на Вергеже, в родовом Тырковском имении на Волхове. Вергежа для моих родителей, для всех нас семерых братьев и сестер, для наших детей была радостью и опорой. Через нее были мы глубоко связаны с деревенской, крестьянской, со всей русской жизнью. И с природой».

Так писала в своих воспоминаниях Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс.

«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» вошли в ее жизненный состав, хочется думать, от Волхова, малой размерами, но могучей благодаря седой истории русской реки. Ведь на берегах Волхова и Господин Великий Новгород, и местопребывание первых русских князей — Старая Ладога, и существовавшая еще со времен Ганзейского союза пристань Гостинопольская, и древний Хутынский монастырь с могилой Державина, и его имение Званка, и поместье Аракчеева Грузино.

И имение Вергежа...

Тыркова-Вильямс и свой литературный псевдоним — Вергежский — подслушала у Вергежи. И язык, тот прозрачный русский язык, который питался ключевыми истоками озера Ильмень, сплавом дворянской культуры и крестьянского космоса. «Мне очень помогало то, — вспоминала она, — что я с раннего детства знала очень много стихов наизусть. Это развило во мне чувство русского языка. Мое писательское ухо сразу настораживается, когда я слышу неправильный ритм, корявую расстановку слов. И деревенская жизнь перепахивала душу. Чистый крестьянский говор, как освежающий ветер, сдувал мусор городских оборотов». Русский язык оставался для нее, как и для Тургенева, Бунина, воистину «надеждой и опорой» — в странствиях, скитаниях, долгих годах изгнания.

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс прожила большую, полную драматических поворотов, исканий, увлечений и, можно без преувеличения сказать, счастливую жизнь. Она родилась в 1869 году в Петербурге, в старинной новгородской помещичьей семье (в новгородских летописях Тырковы упоминаются с XV века), и скончалась в 1962 году в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, окруженная близкими, единомышленниками и почитателями.

Коротко знавший ее в последние годы жизни критик и прозаик Борис Филиппов писал: «Первое же впечатление, сразу при первой же встрече: умная, очень умная старая русская барыня. О, отнюдь не в «сословном» или ограничительном смысле этого слова. В самом прямом и точном: вот такими строилась наша жизнь и наша культура. Вот такие хранили ее традиции, ее устойчивость, ее цветение». Долгий путь, пройденный ею, — путь многих выдающихся русских людей: от либеральных и радикальных увлечений молодости — через прозрения политического и общественного деятеля — к идеям государственности, традициям великой отечественной культуры и духовности, тому, что Борис Филиппов удачно назвал либерально-консервативным началом жизни.

Истоки его уходят в дворянское вольномыслие. Дед Тырковой-Вильямс, хотя и служил в аракчеевских военных поселениях (они тянулись по другому берегу Волхова, напротив Вергежи), был просвещенным и гуманным офицером. На пыльном чердаке в ящике с его книгами внучка нашла чуть ли не первое парижское издание «Истории жирондистов» знаменитого французского поэта и политического деятеля Альфонса Ламартина. Тринадцатилетнюю девочку эти «рыцари свободы» заразили своим «человеколюбивым безумием».

Если отец, «крупный безденежный новгородский помещик» и мировой судья, кажется, не имел большого воздействия на семерых детей, то огромное любовное влияние оказала на них мать, широко образованная, увлекавшаяся живописью. «Она была убежденной шестидесятницей, — вспоминала Тыркова-Вильямс. — Либеральные взгляды она почерпнула из христианского учения и из книг». Не без ее участия девочка зачитывалась Некрасовым, его гражданской поэзией, его «Русскими женщинами». Впрочем, свободолюбивые веяния, дух просвещенного гуманизма царили и в гимназии княгини Оболенской, куда поступила Дина Тыркова.

Здесь она, по собственному признанию, «научилась дружбе».

Самыми близкими школьными приятельницами Дины Тырковой стали Вера Черткова, дочь обер-егермейстера, который смолоду увлекался идеями Герцена и тайно привозил его «Колокол», Лида Давыдова, вышедшая впоследствии замуж за одного из первых русских марксистов М. И. Туган-Барановского, и Надежда Крупская, будущая жена В. И. Ленина. «Эти три мои самые близкие гимназические подруги, — писала Тыркова-Вильямс, — принадлежали к совершенно различным кругам петербургского общества, но у всех, как и у меня самой, были дерзкие, беспокойные мысли. Это вообще свойственно юности. Но на нас действовала и эпоха; в ней шевелилась, таилась потребность к протесту, к резкой перемене в общественной жизни. К свободе мыслей и действий».

Таким образом, радикальные идеи шли не только от книг. А после убийства Александра II оказалось, что в покушении принимал участие и брат Ариадны Аркадий, который был сослан в Сибирь на пожизненное поселение. В том же 1881 году Дина Тыркова была исключена из гимназии за «худое влияние на учениц». В 1888 году, сдав экзамены за курс гимназии, она поступила в Петербурге на Высшие женские курсы и в том же году вышла замуж за корабельного инженера Альфреда Бормана. Брак оказался неудачным, и Ариадна Владимировна осталась с двумя детьми на руках, без профессии и почти без средств к существованию.

Тогда-то родился журналист, газетчик А. Вергежский.

«Мы жили в маленькой, дешевой квартире на Песках, — вспоминала Тыркова-Вильямс в своей мемуарной книге «На путях к свободе» (1952). — Вся жизнь была дешевая, похожая на то, что я, гимназисткой, видела у моей близкой подруги, Нади Крупской. Тогда я удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте? Теперь пришлось понять. Часто и на житье не хватало денег. Работы почти не было. Я оторвала детей от обеспеченной жизни, и что же я им даю взамен?»

Короткую передышку дал перевод французской книги об энциклопедистах, который Ариадне Тырковой предложила мать другой подруги, Лиды — хозяйка журнала «Мир Божий» А. А. Давыдова. Но работа переводчицы не очень давалась, а вот газетная сразу пришлась по душе. Под псевдонимом А. Вергежский Тыркова начинает сотрудничать в провинциальной прессе — сперва в ярославской газете «Северный край», куда посылает свои «Петербургские письма», а затем в более богатом и популярном периодическом издании «Приднепровский край», выходившем в Екатеринославе. Она

писала легко и весело — фельетоны, обзоры, рецензии, чуть позже рассказы. Вскоре, однако, произошел случай, характерный для независимой натуры «А. Вергежского».

В Екатеринославе между либеральным редактором газеты М. К. Лемке (кстати, после октябрьского переворота вступившим в РКП(б) и ставшим официозным историком русского освободительного движения) и вице-губернатором шла настоящая война. Высокопоставленному чиновнику всюду виделась крамола, и газета выходила с цензурными проплешинами. Наконец Лемке, дабы досадить вице-губернатору, разослал подписчикам номера, состоящие из одних белых полос, после чего «Приднепровский край» был закрыт. Но хозяину газеты — миллионщику Копылову удалось полюбовно уладить дело изгнанием Лемке. Тот, в свой черед, предложил всем сотрудникам «Приднепровского края» уйти вместе с ним.

«Приднепровский край» был опорой моего тощего бюджета, — писала Тыркова-Вильямс. — Они платили мне целый пятачок за строчку, и платили исправно, чего про «Северный край» я сказать не могу. Но делать было нечего. Такая была заведена между русскими писателями и журналистами мода, что мы табунком входили в редакции и табунком из них вылетали. Я вздохнула и написала Лемке, что он может и мою подпись поставить». Даже неожиданный визит к бедной петербургской «барыньке» миллионщика Копылова с щедрыми посулами не поколебал ее цеховой солидарности: тряся тугим кошельком и недоумевая, Копылов удалился ни с чем.

Но были и иные знакомства, например, встреча с князем Дмитрием Ивановичем Шаховским, редактором «Северного края» и в скором времени одним из основателей партии конституционалистов-демократов — кадетов («Встреча с Шаховским была моей первой связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головой»). Или с крепким писателем Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком, который излучал «то чувство праздничности, которое дает нам общение с людьми талантливыми». Куда скромнее были впечатления от знакомства с тогдашним «властителем дум», редактором «Русского богатства» и публицистом-народником Н. К. Михайловским. В его полемике с марксистами Ариадна Тыркова была, пожалуй, ближе к последним. Это определялось и личными мотивами: «Три основоположника русского марксизма, — напоминает она, — М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве и В. И. Ульянов, были женаты на моих школьных подругах». Но подкупало, понятно, иное — их молодой задор,

свежесть взглядов: «Трем вождям марксизма, когда они пошли против «Русского богатства», было всем вместе столько же лет, сколько одному Михайловскому».

Лишь позднее Тыркова-Вильямс увидела в этих молодых энтузиастах начетчиков, для которых каждая буква в сочинениях Маркса и Энгельса была священна. «Надо надеяться, — писала она, — что будущие исследователи истории марксизма, в особенности русского, разберут, как это случилось, что люди, казалось бы не глупые, принимали эту мертвую каббалистику за научную теорию. Но русские пионеры марксизма купались в этой догматике, принимали ее за реальность. Жизнь они не знали и не считали нужным знать».

Однако все, что протестовало, звало к несогласию, к борьбе с «верхами», находило в душе Ариадны Тырковой самый горячий отклик. Тогда она не понимала, что, раз высвободившись, разрушительные силы вместе с чем-то, безусловно отжившим, сметут и самые основы русской государственности. Тыркова вспоминает разговор с мужиком в поезде весной 1917 года, когда тот «строго» сказал:

— Какая была держава, а вы что с ней сделали?

«Мужик понимал, какая Россия была великая держава, — дает она поздний комментарий, — а мы, интеллигенты, плохо понимали». Только потом, за гребнем великих потрясений, Тыркова-Вильямс подытожит болезни русской либеральной интеллигенции: «Безбожие было самой опасной болезнью не только моего поколения, но и тех, кто пришел после меня <...> Так же было с патриотизмом. Это слово произносилось не иначе, как с улыбочкой. Прослыть патриотом было просто смешно. И очень невыгодно. Патриотизм считался монополией монархистов, а все, что было близко самодержавию, полагалось отвергать, поносить».

На литературных ужинах, в грязной кухмистерской, на углу Николаевской и Кузнечного переулка, гремели речи, еще очень туманные, но всегда с политическим подтекстом. Для большинства залогом будущего счастья и благополучия России было магическое понятие: «конституция». Здесь Ариадна Тыркова встречала Горького, Арцыбашева, Леонида Андреева, Брюсова, Тэффи, здесь она впервые выступала публично. А вскоре выпал случай принять участие в демонстрации протеста на Казанской площади, закончившейся первым арестом «барышни» и десятью днями сидения в Литовском замке. Что касается друзей Тырковой — Туган-Барановского и Струве, — то им было предписано уехать из Петербурга без права жить в обеих столицах. Струве выбрался за границу, где стал редактором конституционного еженедельника «Ос-

вобождение». С этим подпольным изданием связан второй арест Ариадны Тырковой, имевший более серьезные последствия.

Принимавшая активное участие (вместе с Шаховским) в организации «Союза освобождения» Е. Д. Кускова осенью 1903 года предложила Тырковой съездить вместе с историком литературы и критиком Е. В. Аничковым в Гельсингфорс и привезти оттуда транспорт запрещенного в России журнала. Поручение было срочное. Но на обратном пути, на границе между княжеством Финляндским и собственно Российской империей, жандармы обнаружили контрабанду (сама Тыркова мешочки с журналом подвязала под платьем). После трехмесячного заключения на Шпалерной Ариадна Владимировна была выпущена под залог. Однако приговор по тем временам звучал сурово — два с половиной года тюремного заключения с лишением некоторых прав. Тогда «Союз освобождения» предложил ей перебраться за границу.

Так в первый раз Тыркова-Вильямс сделалась эмигранткой.

Она поселилась в Штутгарте, неподалеку от П. Б. Струве. Здесь она встречает специального корреспондента английской газеты «Таймс» Гарольда Вильямса, который позднее станет ее спутником в жизни, единомышленником и самым близким другом. К этому времени относится и ее визит к «старой школьной подруге Наде Крупской, теперь Ульяновой» в Женеву. В 1904 году вряд ли кто мог предугадать в Ленине железного диктатора, но уже тогда Тыркова ощутила его нетерпимость к чужим мнениям и злую резкость. После ужина Надежда Ульянова попросила его проводить Ариадну Владимировну до трамвая. Дорогой Ленин начал дразнить спутницу ее либерализмом, та колко отвечала, а в глазах Ильича замелькало злое выражение. Прощаясь, он сказал: «Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать».

Я засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка.

«Нет, я вам в руки не дамся». — «Это мы посмотрим».

«Могло ли мне прийти в голову, — комментирует Тыркова-Вильямс, — что этот доктринер, последователь не им выдуманной, безобразной теории, одержимый бесом властолюбия, а может быть, и многими другими бесами, уже носил в своей холодной душе страшные замыслы повального истребления инакомыслящих <...> Возможно, что свою главную опору, Чека, он уже тогда вынашивал».

Здесь бесповоротно разошлись пути двух основателей русского марксизма — Ленина и Струве. Судя по некото-

рым данным, не только эсеры, но и большевики принимали японские деньги за пораженческую политику в войне 1904—1905 годов. Когда же с этой целью к Струве явился некий социалист-революционер, тот в ярости бросился на него:

— Мне, вы понимаете, мне, предлагать японские деньги?! Как он смел? Мерзавец!..

Полтора года, прожитые Тырковой в эмиграции бок о бок со Струве, научили ее многому («Это был первый курс политических наук. Второй я прослушала в Центральном комитете кадетской партии, когда стала его членом», — вспоминала она). Эволюция П. Б. Струве была разительной: от марксизма через радикализм он пришел к православию и монархизму. Но все это было уже после 1917 года, а пока что вместе с Ариадной Владимировной он горячо переживал события 1905 года, и после провозглашения конституции 17 октября они вернулись в Россию.

Калейдоскоп событий закружил Ариадну Тыркову: декабрьское восстание в Москве и посвященная ему передовица, которую она написала для «Биржевых ведомостей» вместе с ее редактором П. Н. Милюковым; еженедельные подвалы на злободневные темы для петербургской газеты «Русь»; первый съезд кадетской партии (январь 1906 г.) и первое яркое выступление о равноправии женщин; разъезды по Петербургу с одного избирательного митинга на другой при выборах в Государственную Думу, куда она вошла в числе 287 членов кадетской партии (самая крупная фракция).

«Одержимость 1906 г., — размышляет Тыркова-Вильямс, — была насыщена высокими идеями и добрыми порывами. Это не была эгоистическая борьба за власть людей определенного класса. Где уж тут, когда на штурм бросались дворяне, господствующий класс. Для них власть была не целью, а средством, чтобы дать России самый усовершенствованный государственный строй, устранить или облегчить социальные несправедливости, защитить униженных и обиженных, сделать всех свободными». Увы, когда либералы получили эту возможность, то не смогли удержать власть в своих слабых руках и фактически передали ее экстремистам из левого лагеря. Сама же Тыркова с горечью признается: «Русская интеллигенция взрывала самодержавие, чтобы освободить и обогатить народ, а получился коммунизм, нищета, рабство, террор».

Пока же, в ответ на роспуск Думы, Тыркова, как и весь ЦК кадетской партии, выезжает в Выборг и становится одним

из инициаторов известного заявления: «Ни одного солдата в армию, ни одной копейки в казну» и т. д. Известный политический деятель правого толка Василий Витальевич Шульгин писал в феврале 1964 года по этому поводу автору этих строк следующее:

«После роспуска Госуд[арственной] Думы в июле 1906 г. многие депутаты немедленно отправились в Финляндию, в г. Выборг. Почему они поехали в Финляндию? Потому что хотя Финляндия входила в состав государства Российского, но на особых правах. Полномочия русской полиции, которая могла прекратить преступное сборище бывших членов Гос[ударственной] Думы, на финляндскую территорию не простирались. Вышеупомянутые бывшие депутаты воспользовались этим, в том числе и бывшие кадеты, и выпустили там так называемое «Выборгское воззвание», кот[орое] в насмешку было названо выборгским кренделем, т. к. именно кренделями был известен г. Выборг. «Выборгское воззвание» представляло из себя революционную прокламацию, в кот[орой] население Российской Империи призывалось не платить налогов и не давать государству рекрутов. В настоящее время за такое выступление подписавшие оное подверглись бы суровой каре. Но тогда было иначе. Выборжцы были осуждены на 3 месяца тюрьмы».

Сама Тыркова-Вильямс, выпукло описав в своих мемуарах множество русских политических деятелей, дает характеристику и «лидеру националистов более умеренной правой группы» в Третьей Думе Шульгину: «Это был очень культурный киевлянин, молодой, благовоспитанный. Говорил он обдуманно и умело. Самые неприятные вещи Шульгин подносил с улыбочкой. Оппозицию он язвил неустанно и подчас очень зло. Марков был кадетоед, Шульгин социалистоед».

Впрочем, и Ариадна Тыркова обладала незаурядным полемическим даром с добавкой аттической соли — и тогда, когда работала думским корреспондентом ведущих газет, и после февральской революции 1917 года, когда была избрана гласным в Петроградскую городскую Думу. К этой поре начинается ее отрезвление, отход от либеральных иллюзий, и теперь уже она использует любую промашку своих левых противников, которые побаиваются ее колкого языка. Так, когда социалисты выдвинули в члены санитарной комиссии Марию Спиридонову (при большевиках арестованную как идеолог левых эсеров и расстрелянную в 1941 году), восхваляя ее заслуги и страдания при царском режиме («Помилуйте, ее изнасиловал жандармский офицер»), Ариадна Владимировна невозмутимо ответила:

— Я не знала, что именно *этим* наши социалистические товарищи определяют пригодность кандидата для работы в санитарной комиссии...

Вплоть до 1917 года Тыркова оставалась единственной женщиной в высшем органе партии конституционных демократов, что дало повод в правых кругах пустить злую остроту: «В кадетской партии только один настоящий мужчина, и тот — женщина». Она пишет блестящие статьи и яркие отчеты о заседаниях Думы в ведущих петербургских газетах «Русь», «Речь», «Биржевые ведомости», «Слово», ездит по всей Российской империи с лекциями о женском движении и о современной русской литературе, с ее мнением считаются в правительственных кругах, популярностью пользуются ее злободневные романы: «Жизненный путь», «Ночь», «Добыча», ее слово находит широкий резонанс в обществе. В 1912—1913 годах Тыркова редактирует газету «Русская молва», пригласив заведовать литературным отделом А. Блока, а экономическим — П. Струве. В ее большой квартире на Кирочной, недалеко от Таврического дворца, собирается весь цвет столичной литературы. («Кроме Маяковского, они все бывали у меня», — вспоминала она.)

Начавшаяся русско-германская война вызвала сильное патриотическое движение, в котором активно участвовала и партия конституционных демократов. «Впервые за девять лет существования партии, — пишет Тыркова-Вильямс, — ее члены были просто русскими людьми, преданными своей родине без всяких оговорок. Не было ни тени оппозиционного злорадства, отравлявшего сердца во время японской войны. Все казалось ясным — на нашу родину надвигается опасность. Мы обязаны всеми силами защищаться. Сразу выяснилась единодушная готовность поддержать правительство и с ним сотрудничать».

Цепкий ум Ариадны Владимировны ищет практического применения. Она занимается устройством Петроградского передового санитарного отряда, который в декабре 1914 года выезжает через Варшаву в район фронта, а затем отправляется на Юго-западный фронт в Галицию. Много позднее, размышляя о том, насколько неизбежными были развал фронта, февральская революция, сползание к большевизму, Тыркова не дает однозначного ответа. Но выводы ее поучительны. «Прежде всего, — пишет она в третьем томе своих воспоминаний, частично опубликованных в книге ее сына Аркадия Бормана, — я прихожу к заключению, что провал или осыпь произошли не на фронте, а в тылу. В 1917 году армия была

богаче снабжена, была сильнее, чем в 1914 году. Но ни у тех, кто стоял у власти, ни у тех, кто только еще мечтал о власти, не хватило выдержки и государственной прозорливости».

В судьбоносный для России момент оппозиция бросила вызов правительству. «Что это, глупость или измена?» — патетически восклицал в знаменитой думской речи 1 ноября 1916 года П. Н. Милюков. «Начались розыски, на кого возложить ответственность за ошибки, неудачи, недостатки, за невыдержанность, неосведомленность и слабость правительства, — вспоминает Тыркова-Вильямс. — И нашли виновную — женщину, скорбную мать неизлечимо больного сына, иностранку, которая плохо разбиралась в делах Империи, над которой царствовал ее муж. Ее осудили за слепоту, как за измену. А сами судьи? Разве они понимали Россию, ее возможности, ее потребности и то, что на нее надвигается? Разве они предвидели, до чего революция доведет нашу родину? Разве они отдавали себе отчет в общем положении России? Разве они понимали, что необходимо во что бы то ни стало предотвратить губительный мятеж?»

Среди этих «судей», раскачивавших империю и авторитет власти, была тогда и сама Ариадна Тыркова.

Только первые дни после отречения императора Николая II и ухода старого правительства ей еще казалось, что устранено главное препятствие для достижения вожделенных «свобод» и победы на фронте. Когда же появился печально известный «приказ номер один», подписанный президиумом Совета солдатских и рабочих депутатов и призывавший солдат не слушаться своих офицеров, начало наступать отрезвление. Петроградская городская Дума, где Тыркова была лидером партии кадетов, во многом благодаря ее усилиям сделалась центром оппозиции большевикам. Разгон Учредительного собрания и убийство озверевшими матросами видных деятелей Временного правительства Кокошкина и Шингарева окончательно поставили точку. После недолгой кочевой жизни, издания боевых антибольшевистских газет, выходивших под разными названиями («Борьба», «Свет» и т. д.) и конфисковавшихся новыми властями, Ариадна Владимировна, которой угрожал арест, вместе с мужем Гарольдом Вильямсом в марте 1918 года выехала в Англию. Она оставила в Вергеже мать, а на юге России, в стане белых, сына Аркадия.

«И стыдно, стыдно, — записывала в дневнике Тыркова-Вильямс. — Точно все мы предатели и рабы».

В Англии она тщетно пытается объяснить, что большевизм представляет собой «мировое зло, угрозу для всего мира», и призывает к военной интервенции. Увы, либеральная общественность Европы глядела на Советы сквозь те же розовые очки, которые в свое время мешали самой Тырковой-Вильямс понять правду русской революции. Весной 1919 года она издает на английском документальную книгу «От Свободы к Брест-Литовску», где обвиняет русскую демократию в том, что та привела страну к диктатуре Ленина и Троцкого. В предисловии Тыркова писала: «Социалисты сделали из моего отечества огромное поле для своих догм и теорий <...> Они забыли, что человек — самое неизученное явление на земле, что психология отдельных людей, а тем более масс пока еще никем не объяснена». Эта мысль может быть проиллюстрирована всей русской историей XX века и остается глубоко злободневной и по сегодняшний день. Другая книга Тырковой «Почему советская Россия голодает?» (1919), написанная также по-английски, содержит документальный материал, объясняющий «просвещенной Европе», что большевики любым путем — террора или голода — стремятся подавить всякое сопротивление режиму.

Книга эта появилась в серии брошюр Комитета Освобождения России в Лондоне, одним из организаторов которого была Тыркова-Вильямс. В руководство комитета, печатным органом которого стал журнал «Новая Россия», вошли также профессор М. Ростовцев, Г. Вильямс, П. Струве, П. Милюков и др. В эту пору Тыркову-Вильямс не покидала уверенность, что она вернется в освобожденную от большевиков Россию. Ее настроения подогревались успехами Добровольческой армии генерала А. И. Деникина. Осенью 1919 года в составе английской миссии, направленной для поддержки добровольческого движения, она приезжает в Ростов-на-Дону. Однако очень скоро горькая действительность опровергла ее надежды.

Новый и, пожалуй, окончательный приступ разочарования в либеральных иллюзиях Тыркова-Вильямс переживает, приняв участие в последнем в России съезде партии конституционных демократов (в Харькове): «Что такое кадетская партия сейчас? Нужна ли она? Ошибок и грехов много на наших душах. А как их искупать или поправлять?» Последовавший затем крах белого движения (выступавшего, напомним, под антимонархическими, республиканскими лозунгами) вынудил Ариадну Владимировну на английском корабле бежать из Новороссийска. В июле 1920 года она, уже надолго, обосновывается с мужем в Лондоне.

«Мама окончательно покинула Россию, когда ей шел пятьдесят первый год, — пишет ее сын А. Борман. — Следующие сорок лет своей жизни она провела вне России, в Европе и в Америке <...> Больше сорока лет спустя, в Вашингтоне, лежа в кровати в своей комнате уже в полусознательном состоянии, она не один раз повторяла: «Как бы я хотела сейчас быть у себя в Вергеже, как бы я хотела увидеть Волхов». «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» она пронесла через всю свою долгую жизнь.

Впрочем, первые восемь лет, проведенные в эмиграции, были для Тырковой-Вильямс счастливыми: каким-то чудом удалось собрать всю семью — детей и мать, рядом находился любящий и любимый муж. Ариадна Владимировна развивает бурную благотворительную деятельность, помогая русским беженцам, на некоторое время она оживила затухавшую было работу Комитета Освобождения России, редактирует созданный ею журнал «Русская жизнь». Ее дом в Лондоне гостеприимно распахивает двери соотечественникам. «Каких только русских не перебывало у мамы в Лондоне, — вспоминал А. Борман. — Кому она только не оказывала помощи, начиная с И. А. Бунина и кончая шестнадцатилетним мальчишкой Колькой <...>». Философ и религиозный деятель С. Булгаков писал: «Приезжая в Лондон, мы, русские, знали, что у нас есть дом...» Ариадна Владимировна помогает морально и материально русским литераторам в изгнании, поддерживает А. М. Ремизова, способствует английскому изданию «Солнца мертвых» И. С. Шмелева, прилагает усилия к изобличению «пиратских» изданий А. И. Куприна. По ее приглашению и при ее содействии в Лондон приезжали И. Бунин, Н. Тэффи, Б. Зайцев, М. Цветаева.

Еще в 1918 году Тыркова-Вильямс познакомилась в Англии, где жили потомки Пушкина, с его архивом. В изгнании, вдали от России, писатели-эмигранты, кажется, острее ощутили, что значит для всех русских людей Пушкин. Впрочем, у каждого из них был «свой» Пушкин («Мой Пушкин» — назвала два своих очерка Цветаева, «Петр и Пушкин» — тема статьи и докладов Куприна, «Думая о Пушкине» — можно сказать, программный манифест Бунина, мечтавшего написать книгу о любимом поэте). И неудивительно, что среди писем Бунина Тырковой-Вильямс мы находим и такое: «Все время вспоминаю Ваше прелестное сообщение, дорогая Ариадна Владимировна, — как встречаются Дельвиг с Пушки-

ным! да, опоздали мои родители! Дай Бог успеть Вашей работе» (*5 июня 1923 года, Грасс*).

В благодатной атмосфере любви, семейного тепла и уюта и одновременно кипучей гражданской активности Ариадна Владимировна в Лондоне начинает работу над первым томом «Жизни Пушкина». В автобиографическом наброске 1959 года она признавалась: «Счастливейшими днями моей жизни были те десять лет, которые я провела в «обществе Пушкина».

Собственно, дальним подходом к работе явилась первая проба пера в самом жанре беллетризированной биографии. Это было еще до революции. Когда в 1912 году скончалась известная общественная деятельница в области женского образования Анна Павловна Философова, Тырковой предложили написать ее биографию. «Мама сразу поняла, — вспоминает А. Борман, — что писать надо живым и легким стилем. Это ей удалось». В результате из-под пера вышел том размером в 476 страниц, заслуживший единодушные похвалы всех членов редакционного комитета, вплоть до знаменитого юриста А. Ф. Кони.

«В те времена она еще не думала о биографии Пушкина, — рассказывает А. Борман. — А может быть, в какой-то мере семья Философовых подтолкнула ее написать работу о Пушкине. Кажется, еще при жизни А. П. Философовой она была в их имении Богдановском в Псковской губернии, недалеко от пушкинского Михайловского. В гостиной Богдановского был маленький ломберный столик, внутри ящика которого Пушкин нацарапал свои инициалы. Мама с волнением их обнаружила». Добавим от себя, что Пушкин не раз посещал своего соседа, отставного чиновника 14-го класса и предводителя Новоржевского уездного дворянства Дмитрия Николаевича Философова, хотя этим бывала недовольна хозяйка, старосветская помещица, видевшая в госте опасного «картежника» и страшившаяся его дурного влияния на мужа (отсюда и ломберный столик, за которым засиживались игроки, и нацарапанные Пушкиным инициалы).

Мысль о Пушкине сопровождала Тыркову даже в разгар ее политической деятельности, когда, например, размышляя о «просвещенном дворянстве» своего времени, она невольно проводила аналогию с любимым поэтом, который как бы становился мерой всего в жизни: «Но и среди просвещенных дворян были такие, которые гордились заслугами своего сословия. Они, так же, как и Пушкин, помнили, какое место занимали их предки в развитии Российской Державы» («На путях к свободе»).

В самые тяжелые дни, уже после большевистского переворота, утратив веру в либеральные идеалы, она обращается к имени Пушкина: «Я презираю социалистов и вижу бессилие, ошибки, неподвижность своих друзей. Россия должна выдвинуть какие-то совершенно новые силы или погибнуть. Или нет уж ей спасения? Ведь глубоко, глубоко вошел яд безвластия, безгосударственности и самочинности. Чем его вытравить и можно ли? Хочу думать только о Пушкине. Если Россия возродится, он ей нужен. Если нет — пусть книга о нем будет могильным памятником, пусть она говорит о том, какие возможности были в русской культуре, что похоронили «товарищи».

«В те времена, — комментирует это признание А. Борман, — мама еще не говорила нам о своих планах писать книгу о Пушкине, но когда я был в декабре 1917 года вместе с ней в Москве, то она ходила в Румянцевский музей и читала пушкинские рукописи. Возвращаясь к нам, она рассказывала, как успокаивает чтение этих рукописей».

Несмотря на напряженную общественную деятельность, светские заботы (Гарольд Вильямс получил в эту пору престижный пост иностранного редактора газеты «Таймс»), писание политических статей для эмигрантских изданий, семейные хлопоты, Тыркова-Вильямс, можно сказать, самозабвенно отдается любимой теме. Аркадий Борман, живший тогда в Берлине, а затем в Париже, по ее письмам следил за этой подвижнической работой прямо-таки в кипении отвлекающих Ариадну Владимировну дел.

18 июня 1925 года:

«Я выпью чай и примусь за Пушкина. Когда молишься за меня, не забывай просить у Бога — «Дай ей кончить Пушкина». У меня спокойная неделя без гостей, только толпа царскосельских лицеистов кругом».

7 июля:

«У меня сегодня битком набитый день».

Это значит, что ей мешали работать над книгой.

4 декабря:

«Я с усилием, корявыми словами и мыслями возвращаюсь к Пушкину. Меня сбил последний налет на Париж».

А. Борман комментирует: «Она ездила в Париж по какому-то срочному общественному делу».

10 декабря:

«Идем завтракать с генералом Пулем. Надеюсь, что это последний завтрак, пока не выпущу Пушкина из Лицея».

(Генерал Пуль одно время командовал английскими войсками на Архангельском фронте.)

10 мая 1926 года Тыркова-Вильямс и ее муж завтракали с итальянским послом.

«Эти выезды, — писала Ариадна Владимировна сыну, — отрывают меня от рабочего расписания. Я их сейчас не люблю <...> Надо притянуть свои мозги к Пушкину, хотя через час опять уходить на заседание Красного Креста, где авось вытяну для русских детей в Варне несколько десятков фунтов».

9 ноября:

«Я наконец вчера, только вчера вернулась к Пушкину. <...> А сегодня Китай занял все мое внимание и время. Но ведь и Китай дело важное. Надо и его переварить».

18 ноября:

«Я в музей хожу с упоением, похожим на запой. Это не надолго. У меня, как у пьяного дьячка, все уже прочитано, только не написано, а написать, до смерти, хочется».

27 января 1927 года:

«Пишу тебе на кипе своих бумажек. Иногда прихожу в отчаяние. Взвалила на себя самые тяжелые тяжести. А справлюсь ли? Одно дело читать, выбирать, даже думать. Совсем другое дело из всего этого построить книгу, ясную и которую захочется прочитать. Ну, делать нечего, побреду дальше».

13 февраля:

«Я отбилась эти дни от Пушкина. Надо опять браться за свои листки. Но богословы внесли в мою жизнь суетливость».

Из Парижа приезжали друзья — русские богословы.

19 апреля 1927 года Тыркова-Вильямс пишет сыну в Париж из Наухейма, где она проходила курс лечения:

«Для меня биография Пушкина и школа, и откровение, и отдых, и неиссякаемый запас русского духа. Я подумала о ней в январе 1918 года, в минуты беспросветной тоски, отчаяния. Много лет с тех пор прошло, мало я еще успела сделать. Но если справлюсь, то верю, что это будет настоящее «белое дело». Источник веры в Россию. Я крепко это воспринимаю, но сумею ли передать? Оттого так ревниво и отгораживаюсь от другой работы».

23 июня:

«Ты спрашиваешь о Пушкине. Я писала. Потом остановилась. Рылась, опять пишу. Сейчас сложила листки, чтобы поговорить с тобой. Все равно не успею до обеда собрать мысли, а главное их сократить. Это о Марии Раевской. Так много об этом пустяков написано. Надо их все забыть и остаться только с Пушкиным и с ней».

13 октября:

«Брожу по Бессарабии, только не с цыганами, а с их певцом. Смутно мечтаю о сроках. Так хотела бы в октябре сдать в переписку, а в ноябре в печать».

5 апреля 1928 года:

«Меня очень радует, что вы с Соней читаете с удовольствием моего Пушкина. Я ведь тоже пишу его с удовольствием и мукой».

16 апреля:

«Мне было очень приятно читать твои похвалы лицейской главе. Я непременно сокращу, но когда все напишу. Над беснующимся Пушкиным я много повозилась. Очень трудно было строить. Надеюсь, что следующие главы пойдут по этому образцу. А то при всем моем упрямстве очень тяжело столько раз переделывать».

4 сентября:

«Стол завален. Мысли тоже. Все в книге. Четвертую часть посылаю в пятницу, надеюсь, что последнюю — в середине будущей недели. Гар[ольд] Вас[ильевич] хвалит. Значит, он и корректор уже на моей стороне. Но так как я в своем лондонском уединении почему-то накопила политических врагов, то жду, что книгу поднимут на дыбу».

5 ноября:

«Посылаю тебе пятую часть. Это конец первого тома <...> Устала. Дочитала себя до конца, и вдруг нашел ошеломляющий страх, да разве так можно кончить. Гар[ольд] Вас[ильевич] уверяет, что должно. Он в общем доволен. А у меня мозги исчерпаны до последнего предела. Ничего дописывать не в состоянии, кроме, конечно, предисловия».

Когда работа над первым томом «Жизни Пушкина» была завершена, Ариадну Владимировну постигло тяжелое горе: после скоротечной болезни 18 ноября 1928 года скончался ее любимый муж. Казалось, от этого удара она не придет в себя. Через тридцать лет Аркадий Борман нашел в ее бумагах запечатанное письмо, адресованное детям и друзьям. Оно содержало просьбу в случае сумасшествия Ариадны Владимировны перевезти ее во Францию.

В духовном выздоровлении помог Пушкин. Уже в начале 1929 года Тыркова-Вильямс заканчивает предисловие к книге, где говорит: «Мне было очень трудно писать о Пушкине. И очень радостно. Ощутить, впитать в себя очарование, излучающееся от гениальной личности, великая радость. И если читатель разделит ее со мной, моя работа не пропадет

даром». Тогда же появляется и второй эпиграф: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим» (Пушкин). Какая поучительная мысль — и особенно для русского либерализма! Однако продолжать работу над биографией Пушкина Тыркова-Вильямс не может. Она принимает решение написать книгу о своем покойном муже.

Работа над «Жизнью Пушкина» была прервана на несколько лет.

В эту пору из-под пера Ариадны Владимировны (параллельно с биографией Гарольда Вильямса) выходят политические и литературные статьи, а также страницы мемуаров для рижской газеты «Сегодня», берлинского «Руля», парижского «Возрождения». По-прежнему много сил отдает она общественной и благотворительной деятельности. Только в ноябре 1935 года наконец появляется по-английски книга о ее муже — «Щедрый собеседник». Теперь она готова вернуться к пушкинской теме. В марте следующего года Тыркова-Вильямс сообщает близкому приятелю и замечательному прозаику Ивану Созонтовичу Лукашу: «Ныряю в Пушкина. Знаете ли вы, что через него идет просветление русского лика, затемненного чадом марксистских искушений». Ей идет шестьдесят седьмой год, и она торопится.

Тогда же она пишет сыну Аркадию:

«Я крякнулась на пушкинские угодья и чувствую, что меня это захватывает». «Крякнуться на угодья», «крякнуться на покос, в лес», — комментирует А. Борман, — это язык наших новгородских крестьян. Мама любила его образность и иногда даже всерьез употребляла красочные выражения новгородских баб».

30 сентября 1936 года сыну:

«Была утром в церкви. Думала о том, как мы плыли на лодке к обедне, всегда опаздывали. Просторно катилась река жизни. Ну, делать нечего, надо уметь и по ущельям пробираться. Мой Пушкин все еще где-то в глубокой теснине Дарьяла. Сейчас за него принимаюсь».

27 января 1937 года:

«Сейчас стрелка моей жизни повернулась на сто лет назад. Я в гостях то у Зинаиды Волконской, то у Вяземских, то у Олениных. Хорошее общество, но описывать их нелегко. Не хочется думать о своих хозяйственных делах, так как надо еще женить Пушкина, и я стараюсь думать о его хозяйственных делах, а не о своих».

К 100-летию со дня гибели поэта во многом благодаря усилиям Тырковой-Вильямс в Лондоне был учрежден Пушкинский комитет, и 10 февраля прошло торжественное заседание. Вскоре после этого Ариадна Владимировна завершает работу над вторым томом «Жизни Пушкина». 29 марта она пишет сыну:

«Ну, вот, мой друг, вчера опустили тело Алек[сандра] Сер[геевича] в могилу, около которой стояло несколько крепостных, Александр Тургенев и жандарм. Я знаю, какое нужно еще усилие, чтобы и окончить и оформить все. Поэтому у меня нет чувства, что дорога пройдена».

Дорога оказалась куда длиннее, чем предполагала Тыркова-Вильямс: издать второй том удалось только в 1948 году.

В декабре 1939 года, когда уже полыхала вторая мировая война, Ариадна Владимировна приезжает из Англии с рукописью второго тома «Жизни Пушкина» к сыну Аркадию в Медон под Парижем. Она предполагала через несколько месяцев вернуться в Лондон, но обстоятельства сложились иначе. В мае 1940 года началось вторжение гитлеровских войск во Францию. Большую часть военного времени Борманы и Тыркова-Вильямс провели в Гренобле, на юго-востоке страны, в обстановке нужды, холода, недоедания. После освобождения города американцами вся семья собралась к лету 1945 года в Версале. Под Парижем Ариадна Владимировна прожила шесть лет, работая над воспоминаниями, после чего перебралась с сыном в США.

И в преклонные годы Тыркова-Вильямс сохраняла светлый ум, ясность позиции, острое перо, только все глубже проникаясь христианским православным мироощущением. Когда историк и общественный деятель С. П. Мельгунов начал выпускать в Париже свои «тетради», то в одной из них, озаглавленной «За Россию», Ариадна Владимировна напечатала статью, носившую характерное название: «По-Божески». Она писала:

«В основу всей преобразовательной работы должно лечь возрождение и раскрепощение духовных народных сил. Исполнителей надо искать среди тех, кто хочет и умеет жить по-Божески. Я верю, что, несмотря на все усилия большевиков дехристианизировать Россию, таких людей там много. Верю, что близится время, когда все народы, населяющие нашу Родину, получат долгожданную возможность жить по-человечески, жить по-Божески».

Впрочем, это стремление жить по-Божески возникло в ее душе давно. И им мерила она не только собственную биографию, но и биографию своего великого героя. Еще в 1933 году Тыркова-Вильямс писала сыну: «Я давно думала о Пушкине и о св. Серафиме, и было горько, что ходили они по земле одновременно и не встретились. Особенно за Пушкина горько. При его умении проникать в чужую душу он прямо впитал бы в себя новый свет».

Теперь ее настольная книга — один из томов отцов церкви «Добротолюбие», ее движущая сила — любовь. Ибо, как сказал блаженный Диодох, епископ Фотики, «духовным созерцанием, братие, да предводительствуют вера, надежда и любовь — и наипаче любовь; ибо те (две — вера и надежда) научают только презирать видимые блага, а любовь самую душу чрез добродетели сочетовает с Богом, умным чувством постигая Невидимого». Происходит оцерковление жизни Тырковой-Вильямс. «Без всяких страданий, — писал А. Борман, — она скончалась на моих руках 12 января 1962 года».

Возвращаясь к книге «Жизнь Пушкина», мы можем с полным правом утверждать, что это венец творчества и дело всей жизни Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс. Написанная раскованно и свободно, великолепным живым языком, эта книга обращена ко всем, кому дорог Пушкин, дорога родная словесность, дорога Россия.

Критика очень доброжелательно откликнулась на появление этой замечательной биографии. «Солидный труд г-жи А. Тырковой-Вильямс «Жизнь Пушкина», — отмечалось в белградской газете «Новое время», — принадлежит к числу выдающихся по добросовестности исследований, любви к предмету и тщательности научной обработки. Это <...> прекрасное художественное, научное воскресение перед нами нашей национальной гордости, поэта и человека — Пушкина». Правда, эмигрантские специалисты пушкиноведения — от Владислава Ходасевича до Модеста Гофмана — промолчали, «не заметив» книги, думаю, из-за несколько высокомерного отношения к «популярному» труду. Но был в этом и оттенок зависти, конечно, неосознанный. Еще бы! Ведь народную книгу о Пушкине удалось написать не поэту-книжнику или ученому-библиографу, но просто мудрой русской женщине, которая не чуралась учиться русскому языку у «новгородских баб» (как Пушкин — у московских просвирен).

«Веселое имя Пушкин», — сказал Блок. Веселый талант Тырковой-Вильямс позволяет ей как бы интимно приблизить

к читателю, без вульгаризации и дешевой сенсационности, глубинное содержание личности и творчества Пушкина. Добавим: и этим выразить себя, свои сокровенные начала. Но не о том ли писал и сам Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
(На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.)

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

Посвящаю моему мужу

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга о жизни Пушкина не потребовала бы предисловия, если бы она писалась в России. Но мне пришлось писать ее в Лондоне, вдали от русских книгохранилищ, и у читателей может возникнуть недоумение, даже сомнение, откуда я могла достать материалы.

Я нашла их в двух местах, в Британском музее и в Лондонской библиотеке (London Library). В первом — главным образом издания прошлого века, во второй — не только основные издания по Пушкину — сочинения Вяземского, Остафьевский архив и т. д., но и самые новейшие книги о Пушкине, изданные в России. Директор Лондонской библиотеки, Mr. Hagberg Wright, знает русский язык, любит русскую литературу и следит за ней. Я приношу ему искреннюю благодарность за его просвещенную помощь, значительно облегчившую мою работу.

Таким образом, в моем распоряжении был почти весь печатный материал по Пушкину, но от его рукописей и автографов я совершенно отрезана. Это огромное лишение. В январе 1918 года я успела только просмотреть некоторые рукописные тетради Пушкина, хранящиеся в Москве, в Румянцевском музее. Это волнующее чтение пробудило во мне потребность написать его биографию, но тем острее чувствовала я, когда ее писала, как мне не хватает его черновиков.

Цитируя Пушкина, я старалась придерживаться текста Академического издания. Их четыре тома, но они доведены только до 1827 года и при этом не включают в себя «Евгения Онегина», который начат в 1823 году. Том XI посвящен «Истории Пугачевского бунта». Поэтому часть текста пришлось брать из издания Брокгауза и Эфрона, под ред. С. А. Венгерова, а варианты, черновые наброски, отдельные строчки, рассыпанные в рукописных тетрадях Пушкина, я брала отовсюду понемногу, где только могла их найти.

До сих пор ни частные издатели, ни Академия наук, ни Пушкинский Дом не напечатали всего Пушкина, полностью. В России, вопреки всем катастрофам и потрясениям, создался и все еще растет культ Пушкина. Существует огромная Пушкиниана. Но никто не издал всего, что его рукой написано, переписано, отмечено, перечеркнуто, зачеркнуто, никто не опубликовал его сочинений целиком. Отсутствие исчерпывающего текста затрудняет, беднит работу исследователя, тем более биографа. Не зная всех вариантов, как проследить рождение и движение стихов, а в них ключ к пониманию его таинственной души. Его поэзия и его характер, его работа над рукописью и его работа над собой, над своим творчеством и над своим духом так слиты, что разъединить их нельзя.

Мне было очень трудно писать о Пушкине. И очень радостно. Ощутить, впитать в себя очарование, излучающееся от гениальной личности, — великая радость. И если читатели разделят ее со мной, моя работа не пропадет даром.

28 декабря 1928 г. **_Ариадна Тыркова-Вильямс_**
Лондон

Часть первая

МОСКВА

26 МАЯ 1799—1811

Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
Об отдаленной старине.

«Родословная моего героя».
1832

Дикость, подлость и невежество
не уважает прошедшего,
пресмыкаясь перед одним
настоящим...

Пушкин



Глава I

ПРОШЛОЕ

Пушкин родился в Москве, в Немецкой слободе, 26 мая 1799 года, на пороге двух столетий. Вокруг его колыбели стояли люди в напудренных париках. В семейной жизни его предков указы двух Императриц — Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны — сыграли решающую роль. Еще отблесками и обычаями их царствования жила Москва, где мальчик набирался первых житейских впечатлений, где он рос до одиннадцати лет.

Это была старая донаполеоновская Москва, не столько город, сколько огромная деревня, состоявшая из отдельных, больших и малых, помещичьих усадеб, обросших городскими домами. Еще не исчезли традиции богатого екатерининского двора, озарявшие привольное житье московских бар. Вышедшая из этой среды молодая дворянская интеллигенция, бежавшая в Первопрестольную от самодурства полоумного Императора Павла, с воцарением Александра вздохнула свободно. Все торопились жить, забыть короткое, но мрачное царствование несчастного сына блестящей матери.

Верхи русского общества, к которым принадлежали и Пушкины, торопливо впитывали западные влияния, поглощали плоды нового просвещения, главным образом французского. Длившаяся весь XVIII век европеизация усилилась после революции, когда изысканные французские аристократы и аристократки, превратившись в беженцев, появились в России. Но крепкий русский быт пересиливал заморские новинки. Вопреки французским модам, Москва жила своим широким, деревенским, исконным обычаем.

По неосвещенным, немощеным, грязным улицам разъезжали грузные кареты шестерней, с горластым мальчишкой форейтором на первой лошади. На запятках качался «букет» — трое слуг: гайдук в красном кафтане, напудренный лакей в чулках и башмаках и арапчонок. Иногда, на рассвете, такая карета подъезжала к одной из многочисленных московских

церквей. Гайдук откидывал бархатную подножку, и молодая красавица в парижском платье, в перьях и бриллиантах, послушная детской привычке, шла к ранней обедне прямо с бала.

Почти в каждом особняке можно было найти сочинения Вольтера, но это не мешало по старине молиться, по старине развлекаться. Театр, начало которому старалась положить Екатерина, все еще был частной забавой богатых или тароватых бар. Всенародными развлечениями в Москве начала XIX века, как и при царях московских, были петушиные, гусачьи и кулачные бои и гулянья. Ими равно тешились и высшие, и низшие сословия. В Лазареву субботу гуляли на Красной площади, в Семик — в Марьиной роще, 1 мая было самое многолюдное гулянье — в Сокольниках, оно же «гулянье на немецких столах». Сохранилось предание, что там еще Петр пировал с немцами. Ко дню гуляний торговцы раскидывали по полю балаганы и лотки. Для знатных господ слуги разбивали роскошные палатки, ставили для знакомцев и приятелей столы с яствами. Среди густой толпы пешего простонародья медленно двигались тарантасы мещан, купеческие дрожки, старые клячи тащили тяжелые, домодельные помещичьи рыдваны, великолепные рысаки в серебряной сбруе с перьями везли золотые кареты богачей. Знать наперегонки щеголяла пышностью выездов, яркими бархатными, с бобровой оторочкой кафтанами кучеров, многочисленностью свиты. Толпа нетерпеливо ждала появления фаворита Екатерины графа Алексея Орлова-Чесменского. Когда издали показывались его рысаки, по всему полю раздавались голоса: «Едет, едет!»

Вот как описал в своем дневнике молодой чиновник Жихарев гулянье 1 мая 1805 года, на которое нянька могла привести и маленьких Пушкиных:

«На статном фаворитном коне показался граф Алексей Орлов в парадном мундире, обвешанном орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и изукрашены драгоценными камнями. За ними, немного поодаль, на прекрасной серой лошади ехала его единственная, горячо любимая дочь Анна. (Та, что позже станет духовной дочерью сурового архимандрита Фотия.) Ее сопровождали дамы, также верхом, А. А. Чесменский (ее побочный брат), А. В. и И. Р. Новосильцовы, князь Хилков, Д. М. Полторацкий и много других особ». Вслед за кавалькадой берейторы и конюхи вели несколько десятков лошадей под попонами. Орловский выезд заключался вереницей карет, колясок, одноколок, причем все лошади этого праздничного поезда были подобраны в масть.

Граф Алексей Орлов, богатырь и petit maitre* XVIII века, в течение нескольких десятилетий задававший тон золотой молодежи, был страстный лошадник, гордившийся своей конюшней. Иногда в бархатной малиновой шубке, выезжал он на бега на своих «орловских» рысаках. Бывал и на петушиных и на гусачьих боях, которыми увлекались все классы. Нередко, вопреки сословным, даже крепостным перегородкам, в княжеских горницах собирались смотреть на петушьи бои дворяне, купцы, мещане, дворовые люди. Равенство в спорте распространялось и на кулачные бои. До них Алексей Орлов был великий охотник, не только как зритель, но и как участник. Годы не сломили ни его сил, ни его удали. Он был красочным представителем буйных красавцев, удальцов и повес XVIII века. Это удальство, захватив молодежь Александровской эпохи, докатилось и до пушкинского поколения, проявилось в их проказах, в озорстве, в бретерстве, дуэлях, а иногда и просто в драках.

Оно и не могло быть иначе. Дворянство, служилое сословье было прежде всего военным и с оружием в руках расширяло пределы Российской державы. Воевали деды, отцы, воевали сверстники Пушкина, покоряли Кавказ, дрались против Швеции и Турции, дрались под Бородином, отступали, гнали французов, брали Париж, усмиряли Варшаву, дрались на востоке, на западе, на севере, на всех рубежах ширившейся Империи. С пятилетнего до пятнадцатилетнего возраста Пушкин жил среди грозных военных волнений. Первое пробуждение его умственной жизни совпало с эпохой вооруженной борьбы русского Императора с Наполеоном. Да и внутри страны от представителей всех классов жизнь еще требовала физического уменья постоять за себя. Выезжая в свои подмосковные, за 30—40 верст от столицы, помещики попадали в густые леса, где водились волки, медведи, разбойники. В больших усадьбах часть дворни была вооружена. Нередко эти своеобразные феодальные дружины вступали в междуусобную брань с соседями. Мелкопоместным дворянам иногда туго приходилось от самодурства знатного и сильного соседа. За барские ссоры расплачивались крестьяне потоптанными нивами, а иногда и собственными боками. Было выгоднее и спокойнее числиться за крупными помещиками, достаточно сильными, чтобы заступиться за своих подданных, как владельцы называли иногда своих крепостных.

Нравы той эпохи давали простор жестокости и самодур-

---

*Петиметр, молодой щеголь, франт *(фр.) (Здесь и далее — прим. ред.)*

ству. Безграничная власть над крепостными разнуздывала злые инстинкты. Так же безгранична была и власть родительская. Еще в 20-х годах московская дворянка просила у приятельницы двух дюжих лакеев, чтобы высечь провинившегося сына-офицера.

Страшные воспоминания об изуверствах рабовладельцев вынесли из родной семьи два больших русских писателя — Тургенев и Салтыков. Пушкина судьба избавила от таких мрачных впечатлений. Семья Пушкина была слишком просвещенной для свирепого крепостничества. Хотя бывало, что за плохо вычищенные сапоги Сергей Львович Пушкин награждал оплеухой своего камердинера Никиту Тимофеича. Тот с горя напивался и, сидя на тумбе перед домом, горько рыдал, жалуясь на свою судьбу и прозой и стихами, так как Никита Тимофеич был сочинитель. Получали оплеухи и дети. Даже взрослую дочь Н. О. Пушкина при гостях не стеснялась учить собственноручно, что, впрочем, было в тогдашних нравах и не только в России. Но все-таки над домом Пушкиных веял свободолюбивый французский дух. Пушкины были недостаточно серьезны, чтобы дорасти до гуманизма, но они были вольтерьянцами, и некоторую сдержанность в их помещичьи привычки это вносило.

Это было время крепких родовых отношений. Жили по правилу: «Родство умей счесть и воздай ему честь». Подсчитать родство в семье поэта не так просто, так как в ней скрестились дворянские роды разной знатности и разных рас.

Со стороны отца, начиная с XIII века, тянется длинная вереница служилых предков. Купно с великими князьями, потом с царями московскими переживали Пушкины трудности, напряжения, достижения многовекового созидания старой Царской России. Позже, в России Императорской, они дальше отошли от источников власти.

Со стороны матери в Пушкине текла негритянская кровь. Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал, была по отцу родной внучкой Абрама-Арапа, при Петре и дочери его Елизавете выдвинувшегося на верхние ступени чиновничьей лестницы. Это было то новое дворянство, которое помогало Петру и его преемникам перестроить Московское царство в Русскую империю.

У Ганнибалов и Пушкиных все было различно: быт, прошлое, семейные связи, даже цвет кожи. К счастью, маленький Пушкин рос далеко от семьи Ганнибалов, из которых ни служебная карьера, ни любовь к книгам не вытравили южной, органической необузданности. Но и от африканских своих предков поэт получил наследство драгоценное —

страстную восприимчивость, стремительность, горячее волнение влюбчивой крови, ритм которой поет в его стихах.

Когда Пушкин, уже знаменитый поэт, задумался над русской историей, он с особым вниманием остановился перед недюжинной, своеобразной фигурой Арапа Петра Великого и создал из своего прадеда стилизованного героя повести, как позже Лев Толстой изобразил в старике Болконском своего деда.

В семье сохранились фантастические записи чернокожего вельможи: «Родом я из Африки, тамошнего знатного дворянства. Родился во владении отца моего, в городе Логань», — писал он. До Пушкина, вероятно, через устные рассказы, это дошло в таком претворении: «Он помнил любимую сестру свою, Логань, плывшую за кораблем».

Возможно, что Ибрагим был сын маленького абиссинского князька. Он попал «в одоманты» в Константинополь, откуда, по заказу Петра, был прислан в Петербург, к Царю в арапчонки. Петр его крестил и учил, карал и миловал. Бабушка Марья Алексеевна рассказывала, что небрезгливый Царь даже собственноручно вытягивал из арапчонка глистов. Когда Абрам-Арап подрос, его отправили в чужие края, во Францию. Он учился артиллерийскому и инженерному искусству, «был в службе его величества французским капитаном», участвовал в испанском походе. Из Парижа писал Царю жалобные письма, просил денег, приставал с пустяками. Ни за что не хотел возвращаться морем в Россию. «Я не морской человек, вы сами, мой Государь, изволите ведать, как я был на море храбр, а ныне пуще отвык». В то время он просто подписывался Абрам, или Абрам Петров, а в официальных бумагах назывался Аврам-Арап. Фамилию Ганнибал он присвоил себе только под конец царствования Елизаветы Петровны.

Возвратившись из-за границы, Абрам-Арап зачислен был в Преображенский полк, но продолжал оставаться при Царе. В письме к Екатерине II генерал Абрам Ганнибал писал: «Прежде всего счастие имел при блаженныя и вечно-достойныя памяти Государя Петра Великаго в смотрении моем иметь собственный Его Величества кабинет, в котором все чертежи, прожекты и библиотека хранились».

Петр каждого умел ставить на дело, отвечавшее его способностям и влечениям. Абрам-Арап был человек ума живого и деятельного, большой любитель книг. Несмотря на студенческую свою бедность, на которую он прежде так надоедливо жаловался Царю, он привез из Парижа 400 томов, что по тогдашнему времени было немало. Тут были книги по математике и инженерному искусству, история, литература, путешествия, Боссюэ, «История Кромвеля», «Любовные письма

португальской монахини», Брантом, Корнель, Расин, Овидий, «Способы познания Истины», «Всемирная История» — все это Арап привез из Парижа и таскал за собой по всей России, пока, много лет спустя после его смерти, его библиотека не успокоилась на полках Академии наук.

Петр считал своего Арапа настолько сведущим в науках, что в своем завещании назначил его учителем математики к малолетнему Царевичу Петру. Смерть Императора и частые смены правителей поколебали карьеру Абрама. Его отправили в Казань, потом переводили все дальше, до самых границ Китая. Беспокойный Арап то попадал под караул, то исполнял административные поручения. У чернокожего молодого инженера были в столице друзья, и связь с ними он поддерживал. По зову гениального преобразователя со всех концов света в Петербург собрались разночинцы, из среды которых в течение XVIII века выработался новый служилый люд, новый господствующий класс. Среди них кипели интриги, совершались перевороты, шла острая борьба личных вожделений, но вопреки всему эти люди делали большую государственную работу. Вложил в нее свой вклад и тот, кого Петр звал Абрамкой, кто с годами превратился в генерал-аншефа и кавалера многих орденов Абрама Петровича Ганнибала.

Прадед поэта был инженер и свое имя связал с фортификациями и водными путями в Кронштадте, в Пернове, в Ревеле, в Ладожском канале. Императрицы не даром жаловали его своими милостями. Из Сибири, по просьбе Миниха, вернула его Анна Иоанновна. Елизавета Петровна осыпала арапа чинами и пожаловала ему (в 1746 году) 500 душ и часть бывшей вотчины Царевны Екатерины Иоанновны, в Михайловской Губе, недалеко от Опочки.

Не только служебная, но и семейная жизнь Арапа была бурная. Возвратившись из Сибири, он женился на хорошенькой гречанке, которая совсем не хотела за него выходить «понеже он арап и не нашей породы». К тому же и влюблена была гречанка в другого. Ее все-таки выдали за арапа. Не одолев отвращения молодой жены, он запер ее в сумасшедший дом и начал дело о разводе. Не дождавшись решения суда, нетерпеливый африканец повенчался с другой. Его вторая жена была немка, дочь капитана Перновского полка — Христина Шеберг. Это было просто двоеженство, и первые дети, включая деда поэта — Осипа Абрамовича Ганнибала — были незаконные дети.

Христина Ганнибал была женщина с характером и с арапом не церемонилась. «Шерна шорт делает мне шорна репят и дает им шертовски имена», — на ломаном своем языке

жаловалась эта лифляндская дворянка, когда третьего ее сына, помимо воли матери, при крещении назвали Януарием. Мать всю жизнь звала его просто Осипом. Это был Осип Абрамович Ганнибал, дед поэта с материнской стороны.

Маленький Пушкин слушал рассказы об Арапе Петра Великого от бабушки Марьи Алексеевны, которая застала его еще в живых, когда вышла замуж за О. А. Ганнибала. Молодые жили в Петербурге, но часто гостили на мызе Суйда, где А. П. Ганнибал доживал свою долгую, разнообразную жизнь. Когда он умер (в 1781 году), ему было более 90 лет, но он до конца сохранил крутой, властный нрав. Вся семья трепетала перед ним. Молодую невестку так запугали рассказы мужа про отца, что при первой встрече со свекром она упала в обморок от одного его взгляда.

У Абрама Ганнибала было многочисленное потомство. Двое из его сыновей вышли в люди. С одним из них, генерал-аншефом от артиллерии, Петром, Пушкин после Лицея познакомился в деревне. Но внимание поэта привлекла более значительная фигура опекуна его матери, героя Наварина и строителя Херсона, генерал-поручика Ивана Абрамовича Ганнибала. В Гатчинском дворце среди других видных служак XVIII века хранился (может быть, и до сих пор хранится) его портрет в ленте, при звездах, с нарядными атрибутами власти, которыми любили окружать себя на портретах вельможи того времени. Позднейшие поколения относились к этому с усмешкой, забывая, что карты, глобусы, циркули, так же, как и ленты, ордена, мундиры, были не только тщеславными игрушками, но и символами связи с растущей Российской державой.

Дед Пушкина, Осип Абрамович Ганнибал, ни личным, ни патриотическим честолюбием не страдал, был не столько служака, сколько гуляка, не признававший над собой никаких законов. «Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекали его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой», — сдержанно писал про него Пушкин, составляя родословную своей семьи. Хотя от дворовых, от крестьян он, наверное, наслушался рассказов о проявлении этих африканских страстей. Полуэфиопские замашки Ганнибаловщины, как звали в Псковском крае потомков Абрама и при жизни поэта, и еще несколько десятилетий после его смерти, изумляли и потешали псковичей своей бурной дикостью.

Деда своего поэт не знал, но бабушка Мария Алексеевна Ганнибал занимала большое место в его детской жизни.

Мария Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина, была

типичной провинциальной русской дворянкой XVIII века, воспитанной вне иноземных обычаев. Она выросла в патриархальной тамбовской глуши, где ее отец — помещик средней руки Алексей Федорович Пушкин — был воеводой. Он даже француженку к любимой дочери не приставил, хотя это были времена Екатерины, когда французский язык считался для русского дворянства необходимым. И в русской грамоте Мария Алексеевна, как и многие захолустные дворянки, была не слишком тверда. В XVIII веке, когда беспрестанно воевавшие мужья уходили в поход, женщины, оставленные домовничать в усадьбе, частенько обращались к грамотею, чтобы отписать хозяину про домашние и местные новости.

Даже знатные русские дамы были не тверды в русской грамоте. Ек. Ник. Давыдова, мать генерала Н. Н. Раевского, сделала на письме своего сына к графу А. Н. Самойлову (ее родному брату) такую приписку: «Варенья посылает ктебе Николушка а миет сварить пришлю повара споваренком который едет вкиев там засвидетельствую верющее письмо мое которое я тебе даю. Покорная сестра К. Д.».

Женщинам тогдашнего правящего класса жизнь предъявляла требования не столько книжные, сколько хозяйственные, семейственные, нравственные. И в этом отношении Мария Алексеевна была даровитой представительницей своего поколения. Судьба не побаловала ее счастьем, но через все трудности и оскорбления разбитой женской жизни она сумела пронести талант домовитости, свила гнездо для дочери и для внуков, до конца жизни сохраняла ласковую рассудительность, которая вносила в хозяйство беспорядочных Пушкиных порядок, а в жизнь внучат — тепло и свет. «Предание изображает ее как настоящую домоправительницу, по образцу, существовавшему еще недавно. Девичья ее, как мы слышали, постоянно была набита дворовыми девками и крестьянскими малолетками, которые под неусыпным ее бдением исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки, каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно так же, чтобы ни одна сила не пропадала даром» *(П. В. Анненков)*.

Марии Алексеевне Пушкиной было уже 28 лет, когда она вышла замуж за молодого артиллерийского офицера Осипа Абрамовича Ганнибала, командированного из Петербурга в Липецк на заводы. Вскоре после свадьбы молодые уехали в столицу. Благодаря легкомыслию мужа брак вышел очень неудачным, и уже в 1776 году, через три года после свадьбы,

молодая женщина с трогательной простотой писала мужу: «Я решилась более вам своею особою тяготы не делать, а расстаться навек и вас оставить от моих претензий во всем свободна, только с тем чтобы дочь наша мне отдана была». Муж ответил ей язвительным пожеланием: «пользоваться златою вольностью».

Этим ответом, дышавшим веселым беспутством века пудры и красных каблуков, Мария Алексеевна не воспользовалась. Женщина строгих, старинных понятий о долге и женской чести, она отдалась хозяйству, дочери, внукам. А муж, следуя примеру своего пылкого черного отца, спустя шесть лет после брака женился от живой жены. Начался затяжной бракоразводный процесс. Сама Императрица Екатерина разбирала семейные дрязги Ганнибалов. Супруги были разведены по ее приказу. В наказание за двоеженство О. А. Ганнибал был послан сначала «на кораблях на целую кампанию в Северное море, дабы он службою прегрешения загладить мог», а потом сослан в Псковскую губернию, в село Михайловское, куда полвека спустя в наказание за стихи сошлют его гениального внука.

Приказом Императрицы О. А. Ганнибалу велено было выдать разведенной жене и малолетней дочери Надежде деревеньку Кобрино, Петербургской губернии, с приписанными к ней 110 душами. Там Мария Алексеевна и поселилась. В ее раздорах с мужем семья Ганнибалов приняла ее сторону. По тем временам одинокая женщина, да еще с ребенком, нуждалась в покровителях. Старший брат ее мужа стал опекуном маленькой племянницы и всю жизнь заботился о ней.

Много занимательных рассказов о Ганнибаловщине слышал мальчик от бабушки. Умная, наблюдательная Мария Алексеевна хранила в памяти своей, не засоренной чтением, сокровища яркого, сочного русского языка, поговорки, предания старины, семейные легенды. Маленькому Саше, когда он, спасаясь от материнского гнева, забирался к бабушке в рабочую корзинку, было что послушать. Когда позже Пушкин, вследствие и личных обид и раздражений, но главное, под влиянием растущего интереса к русской истории, к русскому прошлому, начнет разбираться в прошлом своего рода, изучать своих предков, он крепко, почти неразделимо для исследователей сплетет слышанное и читанное.

Мать поэта, Надежду Осиповну, звали в обществе La Belle Créole*. У нее были желтые ладони. Принято приписывать ее

---

* Прекрасная креолка *(фр.)*.

капризы, резкости, взбалмошность ее африканскому происхождению, хотя и русские барыни умели гневаться, придираться и даже драться не хуже эфиопок.

Выйдя замуж за капитана Измайловского полка Сергея Львовича Пушкина (1770—1848), Надежда Осиповна (1775—1836) не только приобрела девичью фамилию своей матери (это была другая ветвь той же семьи), но и вернулась в среду исконного, служилого русского дворянства, к которому принадлежали Пушкины. Пушкин имел право сказать о своих предках:

Они и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе
Служили доблестно царям.
(«Родословная моего героя». 1833)

В карамзинской «Истории государства Российского» имя Пушкиных упоминается 21 раз. Оно встречается в летописях, в синодиках, в разрядных книгах. «При Великом Князе Александре Невском прииде из немец муж честен по имени Радша». Из какой земли был он — неизвестно, так как немцами величали всех чужеземцев. От Радши произошло несколько знатных родов. В конце XIV века его потомок Григорий Пушка положил начало роду Пушкиных. В конце XV века Пушкины служили Новгородскому Владыке Геннадию. В 1514 году Иван Иванович Пушкин подписал договор с Ганзой. С молодым Царем Иваном Васильевичем Пушкины брали Казань. Вместе с земщиной терпели гонения от опричнины. При венчании племянницы Грозного с королем Литовским Пушкин держал «вторые сорок соболей». «Установление и дозоры сторожей в Серпуховском Государевом по Крымским вестям походе» (1601) поручается Пушкину. Они воеводствовали в Тюмени, межевали земли в Московском уезде, были администраторами на Черниговских окраинах, ходили в поход против султана турецкого и хана крымского.

В Смутное время выдвинулся Гавриил Пушкин, который при Годунове был в опале. Его и Плещеева, двух важных и расторопных бар, послал Лжедмитрий со своей грамотой поднимать народ в Москве. Они не побоялись прочитать ее народу с Лобного места. Но за следующими самозванцами Гавриил Пушкин уже не пошел, боролся с ними, оборонял Москву от поляков. Его сын Григорий, по словам Карамзина, «честно сделал свое дело», воюя в 1607 году в Нижегородском воеводстве, недалеко от Болдина, которое несколько лет спустя было пожаловано его родственнику Федору Пушкину «за Московское сиденье». Григорий Пушкин был выдающим-

ся дипломатом. Царь Алексей Михайлович посылал его вести переговоры со шведами и поляками. Отправленный послом в середине XVII века в Варшаву поздравлять короля Яна Казимира с вступлением на престол, Григорий Пушкин завязал дипломатические пререкания из-за каких-то обидных для России книг, продававшихся в Польше. По его настоянию книги были сожжены. К грамоте об избрании Романовых пять Пушкиных руку приложили. Один из Пушкиных был казнен за участие в стрелецком заговоре:

С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

Дед поэта, подполковник Лев Александрович Пушкин (1723—1790), пострадал за свою преданность императору Петру III.

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь Петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин.

Екатерина мягко расправлялась с противниками и, продержав Льва Александровича Пушкина два года в крепости, сослала его в Москву. Опальный барин, окруженный приживальцами, псарями, огромной дворней, крепостными любовницами, стал весело и беспутно мотать свое немалое состояние.

В течение нескольких столетий, переживая то милости, то опалу, род Пушкиных был близок к центру государственной власти, но в XVIII веке стал он отходить, точно не умел приспособиться к новым требованиям, или потухло в потомках сословное честолюбие. Дед поэта очутился в оппозиции. Его сыновья были уже далеки от государственной службы и от двора. Только спустя 60 лет после Ропшинского убийства его внук, Александр Сергеевич, снова войдет в опасную орбиту дворцовой жизни, но уже не через бранные заслуги, а благодаря своим писательским правам и заслугам.

Пушкины, как Ганнибалы, не блистали семейными добродетелями. Да это было и не в моде в XVIII веке, тем более что крепостная среда поощряла распущенность, давала помещикам возможность безнаказанно развратничать, почти не ставила запрета для страстей, иногда доходящих до свирепости.

В формуляре Л. А. Пушкина было отмечено, что он состоял под следствием «за непорядочные побои находяще-

тося у него на службе Венецианина Харлампия Маркадии». Расправа произошла в Болдине, где поэт много лет спустя наслушался о жестокостях сумасбродного деда. «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях... но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась — чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель, всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорил о странностях деда, а старые слуги давно перемерли».

Сумасбродство не помешало Л. А. Пушкину позаботиться об образовании детей. Правда, на иностранный лад, но тогда и не умели иначе воспитывать. Его сыновья, Василий (1767—1830) и Сергей (1770—1848), с детства были зачислены в гвардию, откуда начались и их литературные знакомства, так как почти все образованные русские люди прошли тогда через гвардию. Братья Пушкины были плохие служаки. Сергей Львович перешел из Измайловского в Егерский полк, но в обоих служил спустя рукава. Даже при Павле забывал мелочи дисциплины и одежды, к которой был так строг Гатчинский капрал. В его царствование братья Пушкины, как и многие дворяне, поспешили выйти в отставку и перебраться в Москву, подальше от диких царских вспышек. К этому времени Сергей Львович был уже женат. Опекун и покровитель Надежды Осиповны, И. А. Ганнибал, согласился на брак потому, что считал жениха очень образованным. Братья Пушкины знали французский язык и литературу, умели вести непринужденный разговор, умели держать себя на людях. Они любили читать и покупали книги, спорили, думали, дружили с сочинителями и сами сочиняли. Кругом них большинство дворян чванилось пышностью приемов и выездов, количеством дворни, собак и псарей. Среди наполненной сплетнями, ссорами, крепостными потехами московской жизни Пушкины создавали себе умственные интересы. Они были люди легкомысленные, ленивые, порхающие, но с ясно выраженными умственными потребностями, что заставляло их крепко

держаться той группы просвещенных дворян, откуда пошла русская интеллигенция, и занимать в ней определенное место. «За неимением действия, уже и разговоры были тогда действием», говорил об этой эпохе умный князь П. А. Вяземский.

В семье Пушкиных литературность и умственность шли, главным образом, от отца и от дядюшки Василия Львовича. Мать, Надежда Осиповна, была просто взбалмошная и балованная женщина, жизнь которой проходила между светскими забавами и частыми беременностями. Она родила восьмерых детей, из которых только трое — Ольга (1797), Александр (1799), Лев (1805) — пережили ее, остальные умерли детьми. Надежда Осиповна с детьми была очень не ровна. Любимцем матери был младший, Лев, и многое сходило ему с рук, хотя близок с матерью и он не был. Семья вообще была неласковая. Старшему же сыну, Саше, часто и сурово доставалось от матери.

Глава II

САША

Московская старожилка Е. П. Янькова, которая возила дочерей к Пушкиным в Немецкую слободу на танцевальные уроки, так рассказывает про них: «Пушкины весело жили и открыто. Всем домом заведовала старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная. Она и детьми занималась, и принимала к ним мамзелей, и сама учила. Старший внук ее, Саша, был большой увалень и дикарь, кудрявый, со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались. Иногда мы приедем, а он сидит в зале, в углу, огорожен кругом стульями, что-нибудь накуролесил и за это оштрафован, а иногда и он с другими пустится в пляс, да так был неловок, что над ним посмеются, а он губы надует и уйдет в угол... Бабушка любила его больше других и жаловалась: «Что-то его не расшевелишь и не прогонишь играть, а развернется, расходится, ничем не уймешь».

Было что-то в этом мальчике, что раздражало нетерпеливую Надежду Осиповну. Как и многим матерям, ей хотелось, чтобы ее сын был приятным, покладистым ребенком, чтобы он был, как все. А это ему с самых ранних лет было трудно. «Сашка», как звала Н. О. Пушкина своего первенца, был неловкий, сонный толстяк. Мать, вспыльчивая и резкая, хотела наказаниями и угрозами победить раздражавшую ее

упрямую лень, заставить мальчика принять участие в играх его сверстников. Раз на прогулке Саша незаметно отстал от других и преспокойно уселся среди улицы. Соседи, смеясь, смотрели из окна, как маленький барчонок с копной золотистых кудрей роется в пыли. Мальчик заметил их смех, обиделся, встал, сердито пробормотал: «Ну, чего зубы-то скалите?» — и побрел домой.

В материнских нападках сказывалось не только личное раздражение, но и неуклюжее желание воспитывать. У Саши была скверная привычка тереть ладони. Надежда Осиповна завязывала ему ручки за спину и так оставляла на целый день, даже есть не позволяла. Мальчик часто терял платок; мать приказывала пришить его к курточке, и потом заставляла мальчика выйти в гостиную, что больно задевало детское самолюбие. При столкновениях с гувернерами мать неизменно брала их сторону. Взбалмошная, она умела быть злопамятной. Рассердится и целый год не разговаривает с девятилетним сыном. Суровость капризной воспитательницы не смягчалась ни любовью, ни чуткостью. Мать Пушкина ни сердцем, ни умом не понимала сына, никогда и ничем не облегчила трудности и противоречия, с детства кипевшие в его своеобразной, страстной, нежной душе.

Ему было около восьми лет, когда в нем произошел крутой перелом. Мальчик точно проснулся от сна, соприкоснулся с каким-то невидимым источником, стал живым, шаловливым, увлекся чтением, стал писать стихи. Вдруг вспыхнул, чтобы до конца жизни не угаснуть, огонь, озаривший не только его личное существование, но осветивший отблеском духовной красоты миллионы русских жизней. Эта недетская кипучесть ума не вызывала в родителях любовного внимания, скорее обострила столкновения между ними и сыном.

Ни Сергей Львович, ни Надежда Осиповна не были людьми злыми и по-своему заботились о детях. Они ценили просвещение, гордились образованием, любовью к литературе, общением с писателями и, несмотря на свой безответственный эгоизм, давали детям наилучшее по тогдашним временам образование, то есть нанимали иностранок и иностранцев, которым и поручали воспитание и образование детей.

В те времена, как и еще несколько десятилетий спустя, французский язык и французские манеры для русского изрядного дворянина были главным атрибутом культуры. Научить им, значило приобщить ребенка к просвещению, открыть ему дорогу в жизни. Матери твердо знали, что приятность обращения и бойкая французская речь обеспечивают карьеру даже шалопаю, тогда как человек способный, но

лишенный лоска, на всю жизнь может затеряться среди рядового чиновничества. В правящем верхнем классе французский разговор создавал общность психологии. Сперанскому его семинарский французский выговор всю жизнь служил помехой. Помимо соображений пользы и тщеславия, французская культура удовлетворяла проснувшимся умственным и эстетическим запросам. Большое влияние и в гостиной, и в детской имели эмигранты. Воспитателями они чаще всего делались без подготовки, без призвания. Среди бежавших от революционных потрясений были люди разных убеждений, но даже после революции русские баре не боялись приставлять к своим детям самых ярых вольнодумцев. Сама Екатерина II, с такой исключительной вдумчивостью обставившая воспитание своего любимого внука, наследника престола — Александра, — поручила его заботам республиканца Лагарпа.

«Вы можете быть якобинцем, республиканцем, чем вам угодно, но я верю, что вы порядочный человек, и этого с меня довольно», — сказала ему умная Императрица.

На долю гениального русского поэта не досталось своего Лагарпа. Воспитание Пушкина не отмечено той настойчивой прививкой нравственных навыков, которые внушала своему внуку великолепная властная бабушка. «Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и либеральны», — писала она в одном из своих наставлений. Лагарп, убежденный последователь прав человека и гражданина, старательно внедрял эти демократические тенденции в своего воспитанника.

Ни к одному из своих домашних воспитателей не сохранил Пушкин той почтительной признательности, которую Император Александр всю жизнь проявлял к Лагарпу. Они были не опорой его детской жизни, а постоянным источником раздражения. В конспекте автобиографии Пушкин написал: «Первые неприятности. — Гувернантки. (Ранняя любовь). — Рождение Льва. — Мои неприятные воспоминания. — Смерть Николая. — Монфор — Русло — Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние. — Охота к чтению». Так, перечисляя своих гувернеров, он твердит один эпитет — «неприятный». И в скудных семейных воспоминаниях о детстве поэта его распри с гувернерами и гувернантками занимают первое место. Вероятно, они были не лучше и не хуже многих домашних учителей, но воспитанник им попался ни на кого не похожий. Безобидный Шедель больше любил играть в дурачки, чем учить; граф Монфор был скорее человек образованный, хороший музыкант и живописец. Русло сам писал стихи. Но именно он особенно досаждал, может быть, оттого,

что в лице Русло Пушкин первый раз ощутил грубое прикосновение литературного соперничества и зависти.

Маленький Саша, неровный, горячий, впечатлительный, самолюбивый, был не особенно покладистым воспитанником. В нем рано зажглась своя фантастическая внутренняя жизнь, порой всецело им овладевавшая. Никакие гувернеры не могли привлечь его внимания к тому, что его не интересовало. Деятельный, емкий, острый мозг то жадно вбирал внешние впечатления, то замыкался, покорный только внутренним зовам. Благодаря безошибочной памяти ученье всегда шло легко. Ему не к чему было заучивать наизусть отчеркнутые ногтем учителя страницы учебника. Ольгу, как старшую, спрашивали первую, а Саша за ней со слуха схватывал и повторял урок. Только к цифрам испытывал он непреодолимое отвращение. Заливался слезами над непонятными четырьмя правилами арифметики, безнадежно плакал над делением.

О том, чему успели научить мальчика эти воспитатели, можно судить по прошению, которое Сергей Львович подал в Лицей. В нем сказано, что сын его, Александр, получил воспитание дома, где «приобрел первые сведения в грамматических знаниях российского и французского языков, арифметики, географии, истории и рисования...». Ни английскому, ни немецкому Пушкин в детстве не учился; зато французским языком владел в совершенстве. Его детские первые литературные опыты писаны по-французски. Тут сказались не только уроки, но и общее офранцуженье тогдашней интеллигенции, которая еще не доросла до руссоведения. Только отдельные лица, между ними Императрица Екатерина, понимали необходимость изучения России, ее прошлого и настоящего. Давая наказ, как воспитывать Великих Князей, Екатерина писала: «Русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали как возможно лучше». Но и она поручила исполнить эту задачу не русскому наставнику, а иностранцу Лагарпу.

В падкой до всего заморского дворянской среде больше гнались за французской, чем за русской грамотой, и нередко русских барчат обучали по-русски пьяненькие дьячки. У Пушкиных детей учил русской грамоте и Закону Божьему просвещенный, начитанный законоучитель Мариинского института о. Ал. И. Беликов, хороший проповедник, издатель книги «Дух Масильона». Отцу А. И. Беликову очень не нравилось влияние на русское общество легкомысленных, неверующих французских эмигрантов, которых он называл «les apôtres du diable»*. Он боролся с ними, но нелегко было

* «Апостолы дьявола» *(фр.)*.

отогнать этих мелких бесов от зараженного галломанией и вольтерьянством российского дворянства.

Ранняя любознательность маленького Пушкина находила себе пищу не столько в классной комнате, сколько в разнообразии окружающей его жизни. Гостиная и девичья, московские улицы, деревенские рощи, разговоры взрослых, любительские спектакли в соседних барских домах, нянины сказки, бабушкины рассказы, отцовская библиотека — все это тысячью образов, впечатлений, мыслей, чувств, знаний и мечтаний запечатлелось и отразилось в ничего не забывающем мозгу поэта.

Точно отвечая растущим потребностям еще не нашедшей себя, еще не высказавшейся в слове русской души, Провидение в момент расцвета и роста России послало ей поэта, который, родившись на пороге двух столетий, успел уловить последние отголоски пышного разнообразия XVIII века и наложить печать своего гения на следующий, XIX век.

В гостиной Саша жадно упивался французскими разговорами, остротами взрослых, которые часто забывали о маленьких слушателях. В жилых комнатах, где ютились дети, слуги, приживалки, старые родственники, шла своя, более подлинная жизнь, пропитанная исконным русским бытом. В детской, в девичьей, в передней, где казачок вязал неизменные чулки, у бабушки в комнате, в подмосковном сельце Захарове иноземные влияния отступали. Там веяло Русью. Настанет строгий час творчества, и к этому могучему роднику припадет поэт.

Захарово было небольшое сельцо, которое бабушка М. А. Ганнибал купила вскоре после рождения старшего внука. Оно находилось в 38 верстах от Москвы, по Смоленской дороге, рядом с большим шереметевским селом Вязёмы. Зажиточные шереметевские мужики соблюдали красивую старинную обрядность в песнях, в хороводах, во всем укладе жизни. Все кругом дышало преданиями славного прошлого. Когда-то эти места принадлежали Борису Годунову. По его приказу в Захарове были вырыты пруды. При нем была выстроена в Вязёмах церковь с оригинальной колокольней в виде ворот. Поляки, в Смутное время проезжавшие с Мариной Мнишек Смоленским трактом, оставили на стенах этой церкви надписи по-польски и по-латыни. В Вязёмах в 1812 году стоял корпус Евгения Богарнэ. Французы сожгли часть старинных книг. К этому времени Захарово уже было продано, а Пушкин был в Лицее. Но когда ребенком он переезжал летом из Немецкой слободы в Захарово, он попадал в настоящую русскую деревню, где крепкая, медлительная москов-

ская преемственность еще всецело владела и делами, и душами. Кто знает, что нашептали старинные стены годуновской церкви быстроглазому, курчавому барчонку, в душе которого уже звучали таинственные, одному ему внятные голоса?

В Захарове эти голоса звучали громче, чем среди городской суеты и тесноты, и жарких дум уединенное волненье, с детства знакомое поэту, глубже проникало в его душу. Судя по его стихам — а стихи Пушкина самый точный источник для биографа, — в Захарове пришла к нему таинственная его спутница — Муза.

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами...
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной...
И сердце наполнял святым очарованьем.
(1821)

Пушкин рассказывал друзьям, как ребенком любил он бродить по захаровским рощам, предаваясь смутным, сладким мечтам, воображая себя героем сказочных подвигов. Раз, во время такой прогулки, ему навстречу бросилась сумасшедшая родственница, жившая у них. Ломая руки, заливаясь слезами, она умоляла мальчика спасти ее. Несчастная жаловалась, что ее считают огнем и поливают из пожарной кишки. С чисто пушкинской находчивостью мальчик галантно ответил: «Что вы! Они просто считают вас цветком».

Захарово было скромной, непритязательной усадьбой. В лицейских стихах Пушкина есть ее описание:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона...
(«Послание к Юдину». 1815)

Дом стоял на скате холма, откуда открывался широкий вид на окрестные поля, на холмы, покрытые темными хвойными лесами. Здесь маленький Пушкин играл под старыми липами, наслаждаясь чисто русским простором, целомудрен-

ной красотой северной природы, деревенским привольем, всем, что в течение еще целого столетия после них радовало и просветляло деревенских ребят, помещичьих и крестьянских.

В деревне должно было еще сильнее сказываться влияние на детей прислуги. У бабушки Марии Алексеевны был повар Александр Громов. Это был человек бойкий, словоохотливый и независимый. Позже он бежал в Польшу и там превратился в пана Мартына Колесницкого. С этим поваром Саша дружил, поверял ему свои заветные, грустные мысли, которые часто, незаметно для взрослых, таятся в детской душе. Повару рассказал будущий поэт, что ему хочется, чтобы его похоронили в любимой березовой роще в селе Захарове.

Был еще другой крепостной приятель у Саши — отцовский камердинер Никита Тимофеич, сказочник и песенник, сочинивший длинную балладу: «Соловей Разбойник, широкогрудый Еруслан Лазаревич и златокудрая царевна Милитриса Кирбитьевна».

Вскоре после его отъезда в Лицей Захарово было продано. Но Пушкин любил этот уголок. Много лет спустя, в смутную полосу своей жизни, перед самой женитьбой, Пушкин на несколько часов приехал из Москвы в это глухое местечко, точно прощаясь с далекими, светлыми воспоминаниями.

В жизни маленького Пушкина русская стихия ярче всего воплощалась в двух женщинах. Это были бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна, вынянчившая и Ольгу, и Александра, и Льва. Няня была ганнибаловской крепостной из села Суйды Петербургской губернии, где Арап Петра Великого доживал свою длинную живописную жизнь. Позже Арину Родионовну приписали к селу Кобрину, вместе с которым она перешла в собственность Марии Алексеевны Ганнибал. Когда Кобрино продали, Арине Родионовне и ее детям дали вольную, но она не захотела уйти от своих господ.

Бабушка и няня вносили в жизнь маленького Пушкина женственную ласку, баловство, тепло, которых резкая, капризная мать не умела да и не хотела давать. Вокруг бабушки и нянюшки создавался свой, отдельный мир, более уютный, более понятный детям, чем материнская гостиная. Бабушка и няня обвевали детей крепким русским бытом, приучали детский слух к богатству подлинной русской речи, наполняли их воображение рассказами о старине, песнями, былинами, сказками. Около отца и матери царил французский язык, беззаботная фривольность модных вольтерьянцев, а на бабушкиной половине светилась ясная практическая мудрость, незыблемое благочестие, теплота умного сердца.

Трудно сказать, о которой из двух своих первых наперсниц, о бабушке или о няне, думал 17-летний лицеист, когда писал:

Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало, —
Все в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

(«Сон». 1816)

Как царственный избранник богов, вступил маленький Саша в таинственное общение с невидимыми для простых смертных волшебницами, ловил ему одному доступную гармонию образов и звуков, был уже поэтом, когда еще никто кругом этого не подозревал.

Няня и бабушка сливаются, сплетаются, обе близкие, обе ласковые, любовно чуткие к детским радостям и горестям, обе насыщенные творческим русским духом. Когда много лет спустя «афей» Пушкин будет по вечерам, перед сном, крестить собственных детей, не образ нарядной матери, а ласковое лицо старой няньки встанет перед ним.

Арина Родионовна была не только ласковая няня, но и веселая болтливая сказочница. А бабушка была живой хроникой старины, хранительницей и рассказчицей семейных преданий, плотно сплетавшихся, как в большинстве дворянских семей, с историей Государства Российского.

Самый счастливый период жизни родителей поэта совпадает с ранним расцветом Москвы. Павел I был убит. С воцарением молодого Императора все вздохнули свободно,

не подозревая, что скоро над Москвой разразится другая, иноземная угроза.

Молодая чета Пушкиных любила выезды, приемы, дружеские вечерние беседы, на которые съезжались запросто, гулянья, любительские спектакли — все, что наполняло жизнь московского общества. Блестящий бытописатель и портретист Вяземский оставил яркую характеристику этих кругов: «Не одна грибоедовская Москва господствовала. При этой Москве была и другая, образованная, умственной и нравственной жизнью жившая Москва; Москва Нелединского, кн. Андрея Ив. Вяземского, Карамзина, Дмитриева и многих других единомысленных и сочувственных им личностей. Ведь своего рода Фамусовы найдутся и в Париже, и в Лондоне... В Москве доживали свой век живые памятники старины, ходячие исторические записки, вельможи и отставные красавицы не только Екатерины II, но чуть не Екатерины I. (Ныне никто не доживает, а скоропалительно спешит в могилу.) Москва была внутренними покоями русской жизни, куда удалялись после блистательного или тревожного поприща — Платон Зубов, кн. Екатерина Романовна Дашкова, гр. Растопчин и гр. Никита Панин, мартинист Лопухин и полиглот Бутурлин, остряк Петр Мятлев и Алексей Михайлович Пушкин, оригинал, плохой поэт, но отличный комик и мимик, европейские искатели приключений, подлинная французская аристократия, искавшая в русских снегах спасения от французского террора. Наконец, целая плеяда писателей — угасающий Херасков, важный И. И. Дмитриев, мечтательный Батюшков, Карамзин, Жуковский — все это были люди, к голосу которых прислушивалось общество, в котором уже проснулся интерес к литературе, потребность в умственной жизни. При тихой московской погоде это не был мертвый штиль... Были и в то время свои мнения, убеждения, вопросы, стремления и страсти. В этом обществе встречались люди противоположных учений, различных верований, разных эпох. Тут были люди, созревшие под влиянием и ярким солнцем царствования Екатерины, были выброски крушенья из следовавшего за ним царствования, уже выглядывали и обозначились молодые умы и молодые силы, развившиеся под благорастворением первоначальных годов царствования Александра I. Эти люди навеяли на общество новое дыхание, новую температуру...»

Дом кн. А. И. Вяземского-отца был одним из таких домов, куда ездили не для того, чтобы опиваться, объедаться, играть в карты, а для умственного общения. «Кн. Вяземский жил открыто и просто. Его дом у Колымажного двора, окружен-

ный обширным садом, был средоточием жизни и удовольствия просвещенного общества. Первый вечерний посетитель мог найти его дома в больших вольтеровских креслах у камина, с книгой. У него была обширная библиотека. Не только русские друзья, но и иностранцы находили в этом доме русское гостеприимство и прелести европейской образованности. Красавицы этой эпохи, которая была золотым веком светской образованности и утонченности, в сей мирной области царствовали» *(кн. П. Долгоруков. Родословный сборник)*.

В этой обстановке просвещенного барства выросли кн. Петр А. Вяземский и его сводная сестра, побочная дочь его отца, жена историка Н. М. Карамзина. Позже она перенесла многие московские традиции в свой царскосельский и петербургский салоны, где так часто бывал Пушкин. Ребенком поэт не бывал у Вяземских, да вряд ли бывали там и его родители, но это был тот же круг. В Немецкой слободе Пушкины жили бок о бок и постоянно бывали в доме другого красочного представителя сановитой интеллигенции, полиглота гр. Д. П. Бутурлина (1763—1829). Его жена, женщина очень светская, любила принимать, и в их доме гости не переводились. Гр. Д. П. Бутурлин, крестник Екатерины II, племянник кн. Е. Р. Дашковой, был человек очень богатый, независимый, свободный от служебного честолюбия, любитель цветов, книг, рукописей, картин. У него была отличная память, он очень много читал и поставил себе правилом каждый день приобретать какое-нибудь новое знание. Раз заезжий француз неосторожно вздумал, перевирая чужие стихи, выдать их за свои. Бутурлин взял с полки французскую книгу и с улыбкой раскрыл перед гостем страницу, где были напечатаны эти стихи. В 1812 году сгорел его дом, все собранные им книжные и художественные сокровища погибли. Гр. Д. П. Бутурлин спокойно сказал: «Бог дал, Бог и взял». Он переехал в Петербург, где был хранителем Эрмитажа. В 1817 году Бутурлин поселился во Флоренции, где снова собрал огромную коллекцию книг, рукописей, автографов. Возвращаться в Россию он не хотел, потому что был возмущен нежеланием Александра I оказать поддержку восставшим грекам, что и написал откровенно в письме к Императору.

На приемах в доме Бутурлиных московский чиновник, друг В. Л. Пушкина, Макаров встречал маленького Пушкина:

«Начиная с октября или ноября месяца непременно, как по должности, являлся я каждую субботу в Немецкую слободу к гр. Д. П. Бутурлину. Там танцевал, ухаживал за премиленькой, немного бледненькой баронессой Б. На нас, бальников

и бальниц, писали забавные стишки, рисовали карикатуры, где я был выставлен каким-то гусем, с какими-то английскими шагами... Под ногами у нас вертелся маленький Пушкин, ни мною, ни моими товарищами прыгунами почти не примечаемый...» Бывавшие по субботам у Бутурлиных гости заходили и к Пушкиным, которые «жили подле самого Яузского моста, то есть не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном, полудеревянном доме. Расстояния были огромные. Московская аристократия, забравшись с Поварской или Никитской в Немецкую слободу, сразу навещала обе семьи».

Как ни были поглощены собой танцоры, а все-таки временами маленький Саша привлекал к себе их внимание. «Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок. Он очень понимал себя, но никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сиживал, как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором угораздивался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще чаще подле какого-нибудь *графчика чувств;* этот тоже читывал и проповедовал свое, и если там или сям, то есть у того или другого вырывалось что-нибудь превыспренно-пиитическое, забавное для отрока — будущего поэта — он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уже он очень хорошо знал цену поэзии. Однажды точно при подобном случае, когда один поэт, моряк, провозглашал торжественно свои стихи и где как-то пришлось: «И этот кортик, и этот чертик», Александр Сергеевич так громко захохотал, что Надежда Осиповна подала ему знак, и А. С. нас оставил...

В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И. И. Дмитриев сказал: «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик». Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило очень скоро и смело: «По крайней мере отличусь тем и не буду *рябчик»*. Рябчик и Арабчик оставались у нас в целый вечер на зубах».

Так рябой поэт, важный И. И. Дмитриев, почетный гость московских салонов, получил рифмованную колкость от быстрого, дерзкого на язык мальчика. Способность дать словесный отпор была семейным свойством Пушкиных. Они были веселые шутники, неутомимые на зубоскальство и острословие. Вокруг Пушкина с детства не умолкали эпиграммы, каламбуры, стихотворные шутки, неистощимый jeu d'esprit,

необходимая литературная приправа жизни образованного дворянства той эпохи.

Макаров был свидетелем того, как рано познал Пушкин сладость ласкового женского любопытства, которым он в расцвете славы досыта упьется.

«В теплый майский вечер мы сидели в московском саду графа Бутурлина. Молодой Пушкин тут же резвился, как дитя, с детьми. Известный граф П. упомянул о даре стихотворства в А. С. Графиня Анна Ар. Бутурлина, необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости, чтобы как-нибудь не огорчить молодого поэта нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалой только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтобы он показывал нам свои стихи. Зато множество живших у графини молодых девушек, иностранок и русских, почти тут же окружили Пушкина с своими альбомами и просили, чтобы он написал для них хоть что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто Х., желая поправить это замешательство, прочитал детский «катрен» поэта, — и прочитал по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на «о». А. С. успел только сказать: «Ah, mon Dieu»* — и выбежал. Я нашел его в огромной библиотеке А. П. Он разглядывал затылки сафьяновых фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: «Поверите ли, этот Х. так меня озадачил, что я не понимаю даже книжных затылков». Вошел гр. Дмитрий Петрович с детьми, чтобы показать им картинки какого-то фолианта. Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой...»

В этой по тогдашнему времени очень образованной московской среде любовь Пушкина к чтению развилась в настоящую страсть к книгам, которая на всю жизнь в нем осталась. Его брат рассказывал: «Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой. Пушкин был одарен памятью неимоверной и на одиннадцатом году знал наизусть всю французскую литературу». Еще до Лицея, куда он поступил, когда ему было 12 лет, Пушкин прочитал Озерова, Ломоносова, Дмитриева, Фонвизина, Княжнина, Нелединского-Мелецкого, Карамзина, Батюшкова, Жуковского — всю тогдашнюю, не особенно богатую, русскую литературу. Но больше всего наглотался он французских книг. В книгохранилищах его отца, дяди и их друзей были греческие и римские классики, переведенные на французский, энциклопедисты, философы и поэты XVIII века;

---

* «Ах, Боже мой!» *(фр.)*.

Плутарх, Гомер, Вольтер, Руссо, Ювенал, Гораций, Парни, Верже, Мольер, Расин, Корнель, Грей, Гамильтон — все эти писатели, разных эпох и направлений, вливали свои мысли, образы, чувства, ритмы в раскрытую жадную детскую душу. Рано проснувшееся воображение мальчика острее всего волновали всеобщие любимцы, французские лирики — Парни, Верже и, конечно, Вольтер. Чтение книг дополнялось тем, что он слышал в гостиной. Тогда было в моде читать друг другу стихи, свои и чужие. Не только у Бутурлиных, но и в гостиной матери Пушкин видел и слышал русских писателей — Батюшкова, Жуковского, Дмитриева, наконец, дядюшку Василия Львовича.

В литературном и поэтическом развитии маленького Пушкина дядюшка Василий Львович сыграл свою роль. Это был первый стихотворец, первый сочинитель, к которому Александр Пушкин мог подойти близко, запросто, с которым он был в живом общении. Смена поколений, интересов, идей, литературных школ смела память о Василии Львовиче, но в свое время он был видным провозвестником, глашатаем русской дворянской культуры, довольно заметным стихотворцем. Когда в литературных кругах, до появления «Руслана и Людмилы», говорили Пушкин — подразумевали Василия Львовича. Как только удалось ему отделаться от военной службы, он посвятил себя литературе. Сюда входило все — чтение книг, сочинительство, дружба с сочинителями, декламация, наконец, неутомимое рысканье по Москве, чтобы развозить из дома в дом слухи и остроты, шутки и сведения, литературные новинки и сплетни, житейские и политические. Газет еще не было, а жажда знать, следить, быть к чему-то причастным, которая является одним из цементов общества, уже проснулась. Это занятие, быть живой газетой, быть живым носителем общественного мнения, делил с Василием Львовичем и отец поэта, Сергей Львович. Их каламбуры повторяла вся Москва. Смеялись иногда не только над остротами Василия Львовича, но и над ним самим, над его некрасивым лицом, над тем, как он в разговоре плевался, обливался потом. Наряду с любезностью, общительностью, добродушием было в нем что-то нелепое, комическое, что делало его мишенью постоянных бесцеремонных шуток. Возможно, что о нем думал Грибоедов, когда писал Репетилова.

В 1802 году В. Л. Пушкин собрался за границу. Перед отъездом он всем надоел своей суетливостью, потел и плевался больше обычного. Бывший однополчанин Василия Львовича И. И. Дмитриев, любивший потешаться над своим восторженным приятелем, еще заранее, до его отъезда в

Париж, описал его поездку в шуточной поэме «Путешествие из Москвы в Париж».

«Друзья, сестрицы, я в Париже; я начал жить, а не дышать. Садитесь вы друг к другу ближе мой маленький журнал читать. Я был в Музее, в Пантеоне, у Бонапарта на поклоне, стоял близехонько к нему, не веря счастью своему».

Шуточные предсказания сбылись. Василий Львович представлялся в Сен-Клу первому консулу, брал уроки декламации у знаменитого Тальма. Согласно пророчеству, он и книг накупил: «Какой прекрасный выбор книг, считайте, я скажу вам в миг: Бюффон, Руссо, Мабли, Корнелий, весь Шекспир, весь Понч и Юм, журналы Адисона, Стеля и все Дидрота, Бакервеля, Европы целый собран ум». Но даже И. И. Дмитриев, хорошо знавший своего чудака приятеля, не угадал, что, возвратившись из путешествия, В. Л. Пушкин будет так горд модной помадой huile antique*, что будет в гостиных предлагать дамам нюхать свою напомаженную голову.

Кроме нарядов и духов, он привез много книг, среди них некоторые из дворцовой библиотеки французских королей. Эти книжные сокровища сгорели в Московском пожаре, но Пушкин до отъезда в Лицей успел их проглотить. Василий Львович написал шуточную поэму «Опасный сосед», которую Саша Пушкин знал наизусть. Это неприличное, но бесхитростное, без всякой тени утонченного эротизма, описание кутежа и драки в притоне. Тема и стихи весьма незамысловатые, но язык бойкий и разговорный, что, так же, как и бытовые сцены, было литературным новшеством. «Опасный сосед» был напечатан позже, но в списках ходил по рукам, и его герой, Буянов, был нарицательным именем. Московские ветреники знали поэму наизусть, как и некоторые другие произведения Василия Львовича: басни, эпиграммы, идиллии, подражание Горацию и Парни и дружеские послания, хотя он долго ничего не печатал. Среди хлопотливых разъездов по гостиным и в Английский клуб не хватало времени привести свои стихи в порядок. Только в 1822 году, когда уже угасла его слава, выпустил В. Л. Пушкин свою единственную книгу. В нее, между прочим, вошли стихи, очень характерные для резкого перелома в слоге и настроениях офранцуженной нашей интеллигенции, написанные осенью 1812 года в Нижнем Новгороде, куда многие москвичи бежали от французов:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов,
Примите нас, мы все родные,
Мы дети матушки-Москвы...

---

* Античное масло *(фр.)*.

...Погибнет он.
Бог русских грянет,
Россия будет спасена...

«Он» — это тот самый Бонапарт, перед блеском которого еще недавно преклонялись тогдашние умники и сам автор.

Еще до нашествия Наполеона В. Л. Пушкин нашумел по Москве своим посланием к Жуковскому. Это было начало знаменитого спора между сторонниками старых литературных форм, которых возглавлял адмирал А. С. Шишков, и поклонниками Карамзина.

Вяземский, который никогда не мог отказать себе в удовольствии высмеять своего восторженного, добродушного приятеля, в письме к А. И. Тургеневу описал, как В. Л. Пушкин разъезжает по Москве с речью Дашкова, прочитанной в Обществе любителей Российской словесности: «Василий Львович, как разумеется, читая ее, бил себя по ... тер руки, хохотал, орошал всех росою уст своих и в душе повторял клятву и присягу боготворить Дашкова и дивиться каждому его слову» *(4 апреля 1812 г.)*.

В. Л. Пушкин, который всей душой был на стороне Карамзина, не ограничился восторгами перед речью Дашкова и сам в послании к Жуковскому изложил свои литературные взгляды:

Я, признаюсь, люблю Карамзина читать,
И в слоге Дмитриеву стараюсь подражать.
Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
. . . .
Отечество люблю, язык я русский знаю,
Но Тредьяковского с Расином не равняю.

Послание В. Л. Пушкина к Жуковскому было одним из первых выстрелов в этой, по-своему очень значительной, литературной войне, волновавшей и умы и чувства русских сочинителей и читателей даже тогда, когда над Россией грянула настоящая война.

Саша Пушкин, с детства зараженный семейной страстью к литературе, еще до Лицея знал подробности спора, вслушался в эту полемику, из которой возник позже Арзамас. В те времена русские литераторы еще умели спорить весело, перебрасываясь не только аргументами, но и шутками, часто сохраняя приятельские отношения.

Отец поэта, хотя и пописывал, по обычаю того времени, стишки, на поэтическом поприще уступал Василию Львовичу, зато в острословии, в импровизированных салонных

шутках, шарадах, спектаклях он затмевал старшего брата. Дома часто хмурый, он был любезен и весел в обществе. Незаменимый устроитель празднеств, собраний, в особенности домашних спектаклей, Сергей Львович оживал на людях. У Пушкиных в крови было легкомыслие, шутливость, смешливость, зубоскальство. Эти свойства поэт унаследовал от отца и дяди с избытком, часто на свою голову. Пушкины не могли удержаться от красного словца, устоять перед страстью к шутке, к озорству, к повесничеству. В декламации, в шарадах, в любительских спектаклях искали Пушкины выхода для своей ребяческой потребности баловаться. Особенно любили они театр. Общественных театров еще не было, но свои театры были у многих бар, даже средней руки. Гулянья были общенародной забавой, а театры — господской. Кто жил открыто, тот окружал себя музыкантами, певцами, танцовщицами, актерами, чаще всего крепостными. Живые картины, шарады, балеты, любительские спектакли, где лицедействовали сами господа, были в моде еще с легкой руки Екатерины II и ее Эрмитажного театра. Простодушный богатырь Алексей Орлов не стал бы утруждать себя учением ролей. Мольеру он предпочитал петушиные бои. Но следующее поколение дворян, уже более просвещенное, увлекалось сценой и как зрители, и как актеры.

Сергей Львович был мастер читать, играть, ставить пьесы, главным образом французские. Мольера он знал наизусть, любил его декламировать не только перед гостями, но даже перед собственными детьми. Затаив дыхание, слушали отца Ольга и Саша и потом, в детской, сами устраивали театр. Сестра поэта рассказывала впоследствии своему сыну, как Саша импровизировал комедии, где сам был и автором, и актером. Взрослые приходили смотреть на их затеи и освистали его пьесу «L'Escamoteur». На это маленький драматург ответил эпиграммой:

Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Hélas! c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Molière*.

Из-за другого литературного произведения, тоже написанного по-французски, над мальчиком разразилась одна

---

*Скажи мне, почему «Похититель»
Освистан партером?
Увы, потому, что бедный автор
Похитил его у Мольера *(фр.)*.

из тех домашних бурь, которые в детском сердце надолго оставляют глубокий след. Начитавшись вольтеровской «Генриады», мальчик написал шуточную героическую поэму «Tolyade», о войне карлов и карлиц при славном короле Дагобере.

Je chante le combat que Tolye remporta,
Ou maints guerrier périt, ou Paul se signala
Nikolas Maturin et la belle Nitouche
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche*.

Заветная тетрадь попала в руки гувернера. Племянник поэта, Павлищев, рассказывал, что гувернером был тогда Русло, сам писавший плохие стихи. Русло высмеял поэму, довел своего воспитанника до слез и в заключение пожаловался Надежде Осиповне. Мать, как всегда, приняла сторону гувернера, распекла и наказала мальчика, а Русло прибавила жалованья.

П. В. Анненков немного иначе излагает историю этой, первой из дошедших до нас, писательской неприятности Пушкина. Тетрадку с поэмой нашла гувернантка, схватила ее и побежала к матери жаловаться, что monsieur Alexandre за таким вздором забывает об уроках. Какова бы ни была версия этой детской драмы, но можно себе представить, в каком бешенстве был вспыльчивый monsieur Alexandre, так рано познавший «суд глупца и смех толпы холодной».

Ни в письмах, ни в семейных воспоминаниях не сохранилось для него никакого ласкательного имени. Сашка, monsieur Alexandre, Александр, позже Пушкин — вот как звали его родные. Отец с матерью были не из ласковых. Неуютно и холодно было ему и в детстве, и позже под родительским кровом. Нигде не оставил он ни одного слова упрека матери, но нигде не обмолвился он о ней нежным словом. Зато няню Арину Родионовну назвал «голубка дряхлая моя», сумел найти для нее любовный эпитет, показывающий, как многогранны были его привязанности. Около няни, около бабушки находил мальчик уютную домовитость, мудрость неистощимой женской заботливости — все, что радует детей. Многое скрашивала дружба с сестрой. Пушкин вообще не был несчастным ребенком. Для этого он был слишком даровит, любознателен, жизнерадостен. Но равнодушная ветреность отца, вспыльчивая злопамятность матери, тупость гувернеров иногда приво-

---

* Пою сей бой, в котором Толи одержал победу,
Где погиб не один воин, где Поль отличился,
Николая Матурена и прекрасную Нитущ,
Рука которой была трофеем ужасной стычки *(фр.)*.

дили мальчика в «нестерпимое состояние». Описания этих взрывов, этих «неприятностей» Пушкин не оставил. Взрывы вообще проходят через всю его внешнюю жизнь, хотя его внутренний рост шел для такой горячей натуры удивительно ровно, непрерывно.

В детской душе рано и властно прозвучали таинственные, неслышные другим голоса, которым до конца жизни остался он верен. Но едва ли не одновременно с пробуждением поэтического творчества пробудились страсти в этом горячем мальчике, кипевшем и умственными интересами, и чувственным любопытством. Отсюда постоянные осложнения, вспышки, но отсюда же и огромное накопление предметного, в самом широком смысле чувственного опыта, из которого обеими пригоршнями будет черпать он материал для поэзии. В трудном деле выработки первичного, ребяческого мироощущения, из которого складывается позже характер взрослого человека, Пушкин до поступления в Лицей не нашел около себя ни одного разумного руководителя. А соблазнов кругом было сколько угодно.

В веселой сутолоке дворянской Москвы вертелся среди взрослых кудрявый смешливый мальчик, с быстротой ребенка и жадностью художника впитывая в себя то книжную мудрость, то книжный яд, то важную литературную беседу, то фривольную шутку взрослых. Наблюдательные детские глаза много видели, острые детские уши много слышали такого, что принято от детей скрывать. Так было не только у Пушкиных, а почти у всех. Вяземский ребенком случайно услыхал вольный разговор между отцом и поэтом Ю. А. Нелединским-Мелецким (1752—1829). Князь-отец заметил незваного слушателя и нахмурил брови. Потом взял сына за плечо и наставительно сказал: «Ну, уж если тебе суждено быть mauvais sujet, будь им на манер Нелединского».

Вечно увлекавшийся женщинами, Вяземский исполнил не только раннее наставление отца, но и описал любовные похождения Нелединского-Мелецкого, который был и солдатом, и поэтом, и придворным. Его сентиментальные песенки, часто сочиненные на походе, распевали за клавесинами красавицы XVIII века. Императрица Мария Феодоровна считала его своим придворным поэтом.

У Нелединского была сумасшедшая жена, к которой он относился с необыкновенной мягкостью, требуя внимания к ней и от детей. «Это не мешало ему, — говорит Вяземский, — с одной стороны, всегда иметь кумира, перед которым он страстно благоговел, которого он воспевал подобно Петрарке и Данту, чистыми песнями. А с другой стороны,

говоря его собственными словами: il était un libertin et pour toute sa vie»*.

Свои сентиментальные увлечения Нелединский доводил до комизма. Ему было уже под 60 лет, когда раз на балу он спросил пятнадцатилетнего Вяземского, как одета молодая фрейлина Обрезкова, в которую он был тогда влюблен. «Да что вы меня спрашиваете, ведь вы сейчас с ней в вист играли?» — «Играл. Но я дал себе слово на нее не смотреть, это меня слишком волнует».

Дети многое понимали в жизни взрослых. Раз Василий Львович стал читать Дмитриеву свои стихи и перед этим велел племяннику выйти из комнаты. Саша рассмеялся: «Зачем вы меня прогоняете? Я все уже знаю, я все уже слышал».

Насколько можно судить по тому, что до нас дошло, в этом отношении отец и мать Пушкина были выше своей среды. Но общее направление жизни, обычаев, разговоров дышало заразой дешевого скептицизма, моральной безответственности и распущенности. Кроме того, на впечатлительный детский ум, на пробуждающееся отроческое воображение влияли французские эротические книги, которыми были полны книжные полки и у Пушкиных, и у их друзей. Наконец, особенное влияние должна была иметь близость девичьей, близость крепостной женской прислуги, доступной, безответной, постоянно шмыгавшей и по городскому, и по деревенскому дому вокруг барчат.

«Смерть Николая. Ранняя любовь», — отметил Пушкин. Когда Николай умирал, поэту было семь лет. Вот, значит, с какого возраста начались его любовные волнения. Такое раннее пробуждение пола встречается гораздо чаще, чем это принято думать, особенно у людей художественно одаренных (Достоевский, Толстой). Возможно, что у Пушкина ранняя любовь совпала с пробуждением всей его своеобразной, горячей, гениальной личности, когда он точно проснулся от какого-то толчка, преобразился, загорелся. И брат, и сестра рассказывали, что переворот произошел в нем на восьмом году; это совпадает с его пометкой о ранней любви. Ни родители, ни воспитатели не поняли, что делается с мальчиком. Никто не помог ему справиться с ошеломляющими зовами. Хрупкая полоса перелома и отроческого брожения усилила окружавшее его непонимание, отдалила его от окружающих. Все недоразумения, все несправедливости, нередко

---

* Он был распутником, и это длилось всю жизнь *(фр.)*.

омрачавшие его детскую жизнь, закончились одним из тех взрывов, которыми отмечена вся жизнь Пушкина.

Вот как это рассказал Анненков, ссылаясь на единогласное свидетельство знавших дела семьи: «Прежде всего оказалось, что постоянное умственное, мозговое раздражение ускорило обновление и изменение его организма, уже подготовленного годами. Библиотека отца оплодотворила зародыши ранних и пламенных страстей, существовавшие в крови и в природе молодого человека, раздвинула его понятия и представления далеко за пределы возраста, который он переживал, снабдила его тайными целями и воззрениями, которых никто в нем не предполагал, и наконец, что всего важнее, мало-помалу воспитала великое самоуважение, не допускающее власти над собою и не признающее ее законности ни в каком виде, ни над каким предметом. Надо сказать, что никакое брожение страстей не исключало у молодого Пушкина некоторого рода застенчивости и даже робости при людях, о чем свидетельствуют многие старые друзья этого дома. Известно, что застенчивость и робость часто бывают примерами высокого понятия человека о самом себе. В первых столкновениях с возникающим характером и нарождающимся образом мыслей гувернеры и гувернантки не могли играть очень благотворной роли для такого сложного характера, каким уже являлся молодой Пушкин. Они свели свою задачу на то, чтобы добиться от него наружного повиновения и встретили совсем неожиданное сопротивление, которое устояло и перед попытками побороть волю мальчика развитием так называемой начальнической строгости. Все настойчивые или вспыльчивые требования самих родителей приводили к одному и тому же результату — яростному отпору. Молодое сердце, оскорбляемое ими и уже способное к вражде и ненависти, начинало не скрывать своих чувств. Так как ближайшая причина этого непонятного явления оставалась все-таки неизвестной воспитателям, то объяснение его одной жестокостью чувства и враждебным упорством ребенка само собой напрашивалось на ум. От этого уже недалеко было прийти под конец к заключению о несчастной, извращенной природе мальчика и, после сожаления и негодования, достичь, наконец, отвращения и ужаса. Так оно, если не ошибаемся, в самом деле и случилось».

Родители, не доверявшие характеру сына, не чуявшие заложенного в нем великого дарования, решили поскорее отправить непокладистого мальчика с дядюшкой Василием Львовичем в Петербург, в школу к иезуитам. Одна из тетушек наградила Сашу на дорогу сотенной бумажкой, которую,

кстати сказать, беспутный, вечно нуждающийся в деньгах Василий Львович забрал себе. Мальчик это знал, и вряд ли бесцеремонное обращение с его деньгами усилило его уважение к старшим.

Кончилась детская жизнь Пушкина в родительском доме. Без сожаления оставлял одиннадцатилетний мальчик отца и мать, которые, также без сожаления, его провожали и ничего от него не ждали. Никто среди этих московских дворян-интеллигентов не заметил, каким огнем горят веселые глаза «Сашки». Даже ближе всех его знавший дядюшка Василий Львович не сразу распознал в своем проказливом племяннике соседа по Парнасу. Хотя все же Пушкин в Лицее писал:

Поэтов грешный лик
Умножил я собою...
Мой дядюшка поэт
На то мне дал совет
И с Музами сосватал.
(«К Дельвигу». 1815)

На самом деле, пленительные гостьи еще раньше пришли к нему:

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
Влетела в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!
(«Мечтатель». 1815)

Часть вторая

ЛИЦЕЙ

19 ОКТЯБРЯ 1811 — 9 ИЮНЯ 1817

В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.



Глава III

ЦАРСКАЯ ШКОЛА

Вы помните: когда возник Лицей,
Как Царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж Царственных гостей.
(«19 октября 1836»)

Пушкин пробыл в Лицее с октября 1811 года по июнь 1817-го. Он поступил туда ребенком с туманными, но уже острыми литературными стремлениями, влечениями, задатками, а вышел поэтом, в котором творчество било ключом могучим и радостным. В Лицее написал он 130 стихотворений, из которых многие были тогда же напечатаны. Крупнейшие писатели того времени с изумлением и восторгом прислушивались к стихам лицеиста.

Шесть лицейских лет Пушкин и его товарищи почти безвыездно провели в Царском Селе. Лицей был закрытым, но не замкнутым учебным заведением. Первокурсники не были отрезаны ни от людей, ни от жизни. Да это было и невозможно среди волнений той эпохи.

Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.
(«19 октября 1836»)

Через год после поступления Пушкина в Лицей началась война 1812 года. Вместе с учителями читали лицеисты газеты и военные реляции, провожали и встречали войска, вместе со всем образованным обществом переживали повальную влюбленность в Александра и постепенное охлаждение к нему. В размеренную, тщательно, до мелочей, обдуманную лицейскую жизнь доносились отголоски общерусских потрясений, горечь поражений, гордость побед. Бурно развертывались

европейские события, потрясая Европу и Россию. За шесть лет их пребывания в Лицее не только сами лицеисты выросли, изменились, но и вокруг них произошел ряд перемен в литературе, в языке, в политике, в настроениях и устремлениях русского общества и правительства.

Но сам Лицей остался таким, каким его еще в первую мечтательно-либеральную полосу своего царствования, до жестоких уроков истории, задумал Александр в сотрудничестве со Сперанским и Лагарпом. Хотя сам Император за эти годы пережил крутой перелом в своем миросозерцании и во многом разошелся со своим прекраснодушным наставником.

Александр еще наследником, тайком от Царя-отца, мечтал о просвещении России, толковал с друзьями о школах, об издании книг, о борьбе с невежеством. Часть этих мечтаний он претворил в жизнь. Ставши Императором, создал Министерство народного просвещения, улучшил положение университетов, посылал молодежь учиться за границу, требовал, чтобы профессора читали по-русски, открывал школы. Лицей был одним из самых утонченных, одним из самых блестящих проявлений царской заботы о народном просвещении.

Сперанский любил приписывать себе идею Лицея, целью которого было «образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составляемого из отличнейших воспитанников знатных фамилий». Это основное задание отвечало потребностям Сперанского, который в своей государственной работе постоянно чувствовал недостаток в образованных чиновниках, подготовленных к государственной службе. Но в школьном плане, в постановке воспитания видна рука Лагарпа. Он внес в устав гуманизм, насыщенный верою в добрую природу человека, в абсолютную силу разума и знания. Как воспитание, так и обучение были отмечены благожелательством к детям, стремлением понять их интересы, считаться с их характерами, уважать в них человеческое достоинство. В то время, когда не только в России, но и во всем мире воспитание еще основывалось на принуждении и угрозе, когда розга считалась необходимостью, лицейский устав уже запрещал телесные наказания.

Все подробности лицейского быта, весь строй жизни, количество и качество наставников, самое помещение Лицея в одном из флигелей Царскосельского дворца, бок о бок с царской семьей, — все придавало новой школе в глазах общества особую значительность. Даже непривычность на-

5*

звания — не гимназия, не корпус, не семинария, а Лицей, или, как некоторые говорили, Ликей, действовала на воображение, выделяла Лицей из ряда других школ.

Сначала предполагалось, что в Лицее будут учиться младшие братья Государя, великие князья Николай и Михаил. Если бы это исполнилось, Пушкин попал бы на одну школьную скамью с Императором Николаем Павловичем. Этот план расстроился. По одной версии (И. Селезнев) благодаря войнам с Наполеоном, по другой (И. И. Пущин) — потому, что Императрица-мать находила неприличным слишком тесное общение царственных своих сыновей с детьми простых смертных. Но в орбите непосредственного царского внимания Лицей остался, и надолго.

Открытие Лицея состоялось 19 октября 1811 года. Оно было обставлено с той торжественной, чинной ласковостью, которую тогда умели вносить даже в официальные приемы. После обедни в дворцовой церкви, которая стала и лицейской церковью, двинулись процессией по длинным внутренним коридорам в лицейский флигель. Впереди шло духовенство с певчими, за ними Император, обе Императрицы, великая княжна Анна Павловна, наследник цесаревич Константин Павлович. Дальше придворные, министры, члены недавно созданного Государственного Совета и «многие другие знаменитые особы», персонал Лицея, лицеисты, их родственники. В конференц-зале, белой с золотом, расписанной заново в модном ложно-классическом стиле, было все приготовлено для гостей, которые расселись по чинам.

Государь занял председательское место за длинным столом, покрытым красным с золотой бахромой сукном, на котором лежала Высочайшая Грамота, дарованная Лицею. По левую сторону стола выстроили профессоров и служащих, по правую в три ряда стояли тридцать первокурсников, наряженных в новенькие синие с золотом мундиры.

Рядом с Государем сидел министр народного просвещения, граф А. К. Разумовский. На столе лежала Грамота, написанная на пергаменте, разукрашенная рисунками, переплетенная в золотой глазет с кистями. Два адъюнкт-профессора развернули ее и торжественно держали перед директором департамента Мартыновым, который читал:

«Прияв от Источника Премудрости скипетр, Мы удостоверены были, что бессмертным светом сиять он будет тогда токмо, когда в пределах Державы Нашей исчезнет мрак невежества...»

После витиеватой Царской Грамоты начались не менее витиеватые речи педагогов. Испуганный придворным блес-

ком, скромный, милый директор Лицея В. Ф. Малиновский, невнятно бормотал: «Лицей будет воскрылять молодые таланты к приобретенью славы истинных сынов отечества и верных служителей престола...»

Зато профессор государствоведения, А. П. Куницын, прочел свою речь с молодой уверенностью: «Здесь будут вам сообщены сведения, нужные для гражданина, необходимые для государственного человека, полезные для воина. Вы должны рассчитывать не на знатность предков, а на самих себя... Любовь к славе и к отечеству да будут вашими руководителями...»

В свою речь он не вставил ни одного слова приветствия Императору, хотя Александр был основателем Лицея, хозяином дома, под крышу которого слетелись эти «воспитанники знатных фамилий». Но время было еще вольнолюбивое, и молодой либеральный профессор боялся всякой тени сервильности.

Мальчиков, большинству которых было 12—13 лет, занимали не столько речи, сколько вся обстановка, то, что они были центром всеобщего внимания. Их представили Государю. Профессор Н. Ф. Кошанский вызывал учителей и учеников по списку. «Каждый, выходя перед стол, кланялся Императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны», — описывал потом друг Пушкина, Пущин, этот милый лицеистам день.

Вечером Разумовский угостил собравшихся «богатейшим столом, стоившим министру 11.000 рублей», как почтительно отметил современник. Лицеисты тоже веселились, по-своему. «Вечером нас угощали десертом а discrétion вместо казенного ужина. Кругом Лицея были поставлены плошки, а на балконе горел щит с вензелем Императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к нам» *(Пущин)*.

А главное, не подозревая, что среди них есть избранник богов, что их лицейская жизнь озарится светом его гения, что благодаря Пушкину все подробности, мелочи, шалости первого курса на долгие годы сохранятся в памяти русских людей, станут подробностью русской истории.

По словам Пущина, в Лицее были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. У многих лицеистов, и прежде всего у Пушкина, домашняя жизнь была гораздо беспорядочнее, теснее, скучен-

нее. А тут был просторный, светлый дворцовый флигель, где при Екатерине помещались ее внучки, великие княжны. В распоряжении Лицея была огромная столовая, конференц-зала, рекреационная, классы, физический кабинет, библиотека, читальня, больница. В верхнем этаже были спальни. В каждой стояла железная кровать, комод, умывальник и даже конторка с чернильницей — знак того, что воспитанники имеют право уходить к себе заниматься. Спальни были номерованные, и лицеисты часто звали друг друга по номерам. Пушкин был № 14, рядом с ним был Пущин, № 15. Общие комнаты освещались масляными лампами, роскошь по тогдашнему времени такая же редкая, как и железные кровати. Россия еще сидела при сальных свечах и при лучинах. Лампы горели только во дворцах да у немногих богатых людей. Лицеистов отлично кормили, сначала даже поили английским портером. Когда война 1812 года разорила казну, началась экономия, все стало проще, и с заморского портера лицеистов перевели на родной квас. То же было и с одеждой. Государев портной, бородатый Мальгин, сшил им сначала франтоватые синие мундирчики, с галунными воротниками и белые панталоны в обтяжку; при этом полагались ботфорты и треуголки. Это была праздничная форма. Для будней были сюртуки попроще, с красными воротниками. После 1812 года лицеистов переодели в серые брюки, в серые штатские сюртуки и фуражки, чем они были очень недовольны, так как такая же форма была у маленьких придворных певчих.

Первые три года лицеистов не пускали в гости. Но они могли пользоваться парком, и в жизни этой молодежи большое место заняли сады, со всех сторон обступавшие Лицей. Среди длинных аллей и зеленых лужаек было много простора и для ребяческих забав, и для юношеских мечтаний. А позже и для любовных проказ.

Большим воспитательным новшеством было то, что для прогулок, игр, физических упражнений отводилось гораздо больше времени и внимания, чем это было принято в других русских школах. Жизнь текла размеренно. Раз навсегда установленный порядок соблюдался строго. «Вставали мы по звонку в 6 часов, одевались, шли на молитву в зал. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух, по очереди. От 7—9 класс. В 9 чай. Прогулка во всякую погоду до 10. От 10—12 класс. От 12—1 прогулка. В час обед. От 2—3 или чистописание или рисование. От 3—5 класс. В 5 чай. До 6 прогулка. Потом повторение уроков или вспомогательный класс. В половине девятого звонок к

ужину. До 10 в зале мячик и беготня. В 10 вечерняя молитва и сон» *(Пущин).*

Пушкин на всю жизнь сохранил эту привычку рано вставать. Утро было его рабочим временем.

Но среди этих правил и установленных порядков лицеисты совсем не чувствовали себя в тисках. Письма, писанные из Лицея первокурсником Илличевским к его приятелю Фуссу, отражают жизнь, полную движения и молодого простора: «Учимся в день только 7 часов и то с переменами, которые по часу продолжаются. На местах никогда не сидим, кто хочет учится, кто хочет гуляет. Уроки, сказать по правде, не весьма велики, в праздное время гуляем, а нынче начинается лето и мы с утра до вечера в саду, который лучше всех летних петербургских» *(апрель 1812 г.).* Два года спустя он с еще большей похвалой, если не похвальбой, пишет: «Благодаря Бога, у нас царствует свобода, а свобода дело золотое. Летом досуг проводим на прогулках, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними и смеемся» *(1814).*

Хорошо, даже с размахом была поставлена научная часть. Лицеистов хотели научить решительно всему. Программа была так разнообразна, что граф А. К. Разумовский еще до открытия Лицея резко осудил ее «за множество и важность предметов», особенно не одобрил за астрономию, греческий язык и философию. «История мнений философических о душе, идеях и мире, большею частью нелепых и противоречащих между собой, не озаряет ума полезными истинами, но помрачает заблужденьями и недоуменьями... Понятия смешанные, скороспелые, кои такого многоведа сделают скорее несносным и вредным педантом, нежели основательным знатоком». Записка эта, составленная, вероятно, графом Жозефом де Местром, влияния не имела. Философия осталась в длинном списке лицейских наук, куда вошли: «психология, военные науки, политическая экономия, эстетика, энциклопедия права, математика, французская и немецкая риторика, история, география, статистика, латынь, русская словесность, рисование, фехтование, танцы, верховая езда, и по возможности архитектура и перспектива, как искусства, в общежитии необходимые».

Изумительнее всего, что при такой программе за шесть лет лицеисты все-таки многому научились. Главное, научились любить знание, литературу, книги. Их не мучили уроками, самостоятельная умственная жизнь не преследовалась, а поощрялась. Состав наставников был подобран исключительно удачно. Нелегко было найти в неграмотной стране обра-

зованных, даровитых педагогов. Ученье на Руси еще только начиналось. Гимназий не было. В Московском университете, этом рассаднике русского научного образования, профессора с трудом пробивались через непривычные научные дебри. Преподаватель практического законоведения говорил на лекциях московским студентам: «Конституция, господа, есть то, что русскому не к роже». Профессор психологии, Брянцев, так определял душу: «Душа — это безусловное условие всего условного». А. И. Тургенев, описывая состояние московских ученых обществ, жаловался: «О русской истории должен писать профессор физики Снегирев, который, кроме толкования о семи таинствах, ничего не знает, несмотря на то, что читает антропологию. Гаврилов объявил в печатном каталоге, что он будет учить русскому стилю по Бате и Гердеру. Но прикроем наготу свою Карамзиным, Жуковским, Дмитриевым, Мерзляковым...» *(6 декабря 1805 г.)*.

Только за восемь лет перед открытием Лицея был издан приказ профессорам, как русским, так и иностранцам, читать лекции по-русски. Несколько лет спустя А. И. Тургенев радостно писал из Петербурга в Геттинген брату своему Николаю: «В здешнем Педагогическом Институте иначе и не преподают ни одной лекции, как на русском языке. Дажс и политическая экономия преподается теперь на русском» *(1809)*.

Еще не было ни русских ученых, ни русского научного языка. Усилия всех даровитых писателей были направлены на то, чтобы освободить литературный язык от галлицизмов, германизмов и славизмов.

То были счастливые времена расцвета и роста русских сил. На разных поприщах русские люди являлись созидателями русских культурных починов, из которых с годами складывалась традиция. Эта честь выпала не только на долю самого Пушкина и его поколения, но еще раньше, на долю его наставников. Из них трое: профессора Галич, Кошанский, Куницын, были люди и выдающиеся, и молодые. Они имели влияние на своих учеников и в русском учебном деле оставили след, закладывали, зачинали русскую педагогику. Европейски образованные, они остались русскими, воспитывали русскую молодежь без рабского подражания иноземным образцам, свойственного предыдущему веку. Благодаря им и первому директору Лицея, Малиновскому, широко задуманный устав не остался мертвой буквой. Быстро выработался своеобразный и свободный лицейский дух. Узких сторонников старины он возмущал, друзей просвещения и свободы радовал. Менялись в Лицее директора, учителя, воспитанники. Но росла и крепла общность устремлений, навыков, интересов, даже

чувств. Когда позже первокурсники будут вспоминать лицейскую жизнь, то, несмотря на все перемены и смены, шесть лет сольются для них в единое, радостное, цельное воспоминание, которое Пушкин так солнечно выразил в своих стихах.

Первым встретил, первым принял, первым обласкал маленьких лицеистов В. Ф. Малиновский (1765—1814). Это был кроткий, застенчивый, душевный человек, кабинетный мечтатель, образованный либерал, проповедник всеобщего братства и всеобщего мира. По образованию он был филолог. Кончил Московский университет. Лично знал Карамзина, Жуковского. Побывал за границей, служил в русской миссии в Лондоне, был одним из учредителей Библейского общества, переводил Св. Писание с древнееврейского, издавал журнал («Осенние Вечера»), написал пацифистскую книгу «О мире и войне». В самом начале царствования он через графа Кочубея подал Царю «Записку об освобождении рабов». Энциклопедическое разнообразие лицейских наук, так пугавшее министра просвещения, было очень по душе Малиновскому, этому типичному русскому интеллигенту Александровской эпохи.

Малиновский старался дополнять и расширять классное обучение лицеистов чтением, беседами, сочинительством, передать им свои умственные и духовные запросы. Лицеисты бывали у него запросто и очень любили ходить к нему. Его смерть была для них тяжелой потерей. Но за полтора года директорства он успел так крепко наладить их жизнь, что ее не испортили даже два года анархического междуцарствия, когда Лицеем попеременно правили то профессор Кошанский, то австриец Гауеншильд. Первого любили, но не слушались. Второго и не любили, и не слушались. Лицеисты во всеуслышание распевали песню, сложенную в честь Гауеншильда.

В лицейском зале тишина,
Диковина меж нами,
Друзья, к нам лезет сатана,
С лакрицей за зубами,
Друзья, сберемтеся гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем за щекой,
Дадим австрийцу свалку...

В марте 1816 года директором был назначен Е. А. Энгельгард, который восстановил дисциплину. Е. А. Энгельгард был рижский немец, добросовестный, честный, сентиментальный и ограниченный. У него не было сложных умственных инте-

ресов и разнообразных познаний Малиновского. Но он заботился о лицеистах и со многими из них подружился на всю жизнь, только не с Пушкиным. По мнению Энгельгарда, «добродетель, кротость и нравственность составляют истинную цену человека и гражданина, без них просвещение и ученость теряют свою силу». В Пушкине-лицеисте этих добродетелей не было. Других его свойств Энгельгард понять не сумел и относился к юноше-поэту если не враждебно, то, во всяком случае, недоверчиво. Но личная неприязнь директора не испортила Пушкину жизни в Лицее, тем более что с другими учителями и воспитателями он ладил.

Из них на умственную жизнь лицеистов больше всего имели влияние Куницын, Галич и Кошанский.

Ученик Геттингенского университета, А. П. Куницын читал в Лицее психологию, логику, философию права. Было в его характере и образе мыслей что-то внушавшее уважение даже этим ветреным и насмешливым сорванцам. Куницын был убежденный сторонник теории естественного права, на котором зиждилось политическое миросозерцание большинства образованных людей того времени, включая Императора Всероссийского. Куницын и книжку свою озаглавил: «Естественное право». В ней он между прочим говорил: «Сохранение свободы есть общая цель всех людей... Каждый человек внутренне свободен и зависит только от законов разума. А по сему другие люди не должны употреблять его как средство для своих целей».

На лекциях молодой профессор уже открыто обличал крепостное право, и его негодующие речи находили горячий отклик в сердцах лицейской молодежи.

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Так торжественно помянул его Пушкин, но в Лицее предметы, которые читал Куницын, мало интересовали поэта. Еще в Москве зародилась в нем любовь к литературе, и уроки словесности были для него куда привлекательнее. Для Пушкина, ненасытного читателя романов и стихов, с раннего детства литература была необходимостью, как для музыканта необходимы звуки. На его счастье, оба профессора словесности любили литературу, каждый по-своему. Обоим Пушкин многим обязан, но с Кошанским плохо ладил, а с Галичем дружил. Память об их дружбе осталась в его стихах, веселых и ласковых.

Н. Ф. Кошанский (1785—1831) кончил Московский университет, где изучал древнюю, классическую литературу и получил степень доктора философии и магистра изящных наук. Он написал диссертацию на тему «Миф Пандоры» и издал полезную антологию «Цветы Греческой Поэзии» *(1811).* Он был хороший преподаватель латыни и древней литературы, но к преподаванию русского языка и риторики Кошанский подходил как литературный старовер. А лицеисты зачитывались Карамзиным и Жуковским.

Лицеист А. Д. Илличевский, считавшийся вначале опасным поэтическим соперником Пушкина, написал оду «Освобождение Белграда»:

Уныло граждане друг на друга смотрели,
Что в крайности такой им было предпринять,
В отчаяньи врагу врата отверзть хотели
И преклоня главу о жизни умолять.

Кошанский нашел стиль недостаточно возвышенным и поправил:

Уныло граждане с высоких стен взирали,
Колеблясь мыслями, что в бедствах предпринять.
Уже врагу отверзть врата они желали...

Одноклассник Пушкина, желчный барон М. А. Корф, оставивший жесткие воспоминания о поэте, писал: «Кошанский, преданный слабости к крепким напиткам, от которых в наше время не раз подвергался белой горячке, был род жеманного и чопорного франта, ревностно ухаживавший за прекрасным полом, любивший говорить по-французски, впрочем, довольно смешно. И Пушкина и других жестоко преследовал за стихи».

Вернее, не Кошанский лицеистов, а они его преследовали за стихи, которые он печатал в «Вестнике Европы» бок о бок с произведениями лицеистов.

Поступивший в Лицей через 9 лет после Пушкинского выпуска, мягкий, вдумчивый Я. К. Грот гораздо теплее отзывается о Кошанском: «Мы полюбили Кошанского, с нетерпеньем ожидали его лекций и доверчиво показывали ему свои поэтические грехи».

Это делали и первокурсники, но их литературные беседы с учителем риторики нередко кончались столкновениями, отражавшими литературное расхождение двух поколений. И если лицеисты прислушивались, иногда даже увлекались уроками профессора Кошанского — Пушкин говорил, что Дельвиг Горация изучил в классе под его руководством, — то поэта

и ритора Кошанского они самым безжалостным образом высмеивали.

Когда умерла молодая графиня Ожаровская, в которую Кошанский был влюблен, он написал высокопарную Оду на ее смерть. Свое искреннее горе он излил в таких высокопарных виршах, что даже добродушный Дельвиг не выдержал и написал в ответ «Оду на смерть кучера Агафона». Кошанский писал:

Эроты слезы льют,
Супруг и грации венки на урну вьют,
И оросив твой прах слезою,
Почий, вещают, мир с тобою.

Дельвиг ответил:

Кухарки слезы льют,
Супруга, конюхи венки из сена вьют,
Глася отшедшему к покою:
Когда ты умер, чорт с тобою.

Так мало церемонились лицеисты с профессорами, что безжалостная пародия Дельвига была напечатана в Лицейском журнале, который все читали.

Кошанский долго не сдавался перед гением Пушкина, долго видел в нем не столько поэта, сколько проказливого, подчас заносчивого мальчишку. Трудолюбивый профессор риторики не сумел угадать в своем воспитаннике будущего законодателя русской словесности. А ученик не признавал за ним права учить литературному вкусу и тайнам стихосложения. Быстро отросли у орленка и крылья и когти. На уроки учености сухой он ответил посланием «Моему Аристарху». Это не ребяческая дерзость, а уверенная шутка поэта, познавшего сладость вдохновения. Забавляясь, играя, слегка рисуясь, рассказывает пятнадцатилетний лицеист своему суровому цензору, как слетаются к нему рифмы:

Люблю я праздность и покой,
И мне досуг совсем не бремя;
И есть и пить найду я время,
Когда ж нечаянной порой
Стихи кропать найдет охота,
На славу дружбы иль Эрота, —
Сижу ли с добрыми друзьями,
Лежу ль в постели пуховой,
Брожу ль над тихими водами
В дубраве темной и глухой,
Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю.

(1815)

Как противоположность легкой радости вдохновения описывает он тяжелые потуги ремесленника:

Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу — трехстопный вздор...
Так пишет (молвить не в укор)
Конюший дряхлого Пегаса...
Служитель отставной Парнаса,
Родитель старыньких стихов...

Весь Лицей знал, о ком идет речь.

Иные отношения установились у Пушкина со вторым преподавателем словесности, с А. И. Галичем.

Галич (1783—1848) учился в Геттингене философии и истории, писал книги о красноречии, философии, теории изящного, был под влиянием Канта и Шеллинга. «Человек не только по существу своему есть дух, но еще стремится к беспрепятственному выражению богоподобного характера и в земном существовании своем», — писал он в своей книге по антропологии «Картина человека» *(1834)*.

Его философия вряд ли интересовала лицеистов, в особенности Пушкина. Но Галич был не доктринер, а ленивый хохол, юморист. В классе он по-товарищески болтал с молодежью, в которой бродили и кипели близкие ему умственные интересы. Как с равными мог разговаривать молодой профессор с Дельвигом, с Пушкиным. «Этот предобрый и презабавный чудак» (барон М. А. Корф) учил без педантизма, без наставлений, без поучений, в живой беседе обостряя и направляя их любознательность. В противоположность Кошанскому Галич был не служителем, а поклонником Муз, хотя Пушкин и назвал его своим соседом по Пинду и Парнасским бродягой. Но это такая же поэтическая вольность, как и описание их «жирных утренних пиров». Лицеисты опьянялись не бокалами, даже не кружками с «пивом золотым», а главное — остротами, молодостью, смехом, стихами, чужими и своими. В 1815 году Пушкин посвятил Галичу два послания, еще раньше упомянул о нем в «Пирующих студентах», с которых началась его лицейская популярность. Он совершенно запросто обращается со своим профессором философии: «Ты Эпикуров младший брат, душа твоя в бокале...», «Ленивец мой, любовник наслажденья..», «О Галич, верный друг бокала и жирных утренних пиров... Тебя зову, мудрец ленивый, в приют поэзии счастливой». Это своеобразное обращение школьника к наставнику было в том же году напечатано в «Российском Музеуме». Только подписи Пушкина еще не было. Вместо нее стояли цифры 1...14—17.

Лицеисты охотно читали Галичу свои творения, послания, куплеты, баллады, басенки, сонеты. Много лет спустя Пушкин записал в дневник:

«Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои «Воспоминанья в Царском Селе» *(17 марта 1834 г.)*.

Глава IV

ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ

В садах Лицея лицеисты не только проходили длинный курс наук и читали Апулея и Цицерона. Они учились общежитию, учились проявляться, ощущать личность соседа, считаться с ней. Многому научился в Царском Селе и Пушкин. Великодушный и своеобычный, вспыльчивый и добрый, неистощимый на зубоскальство и чуткий на дружбу, он был далеко не покладистым воспитанником и не всегда покладистым товарищем. Неровности его характера всегда навлекали на него неприятности, особенно среди тех, кто тяготился его умственным превосходством. Лицеисты первые почувствовали его исключительность, одни радостно, другие с раздражением. Но большинство первокурсников ценили и любили его, гордились им. В Лицее нашел он друзей, научился дружбе, которая нередко скрашивала его бурную жизнь. Изменчивый в любви, Пушкин был другом верным и нежным.

Первый выпуск подобрался очень даровитый, насыщенный ранними умственными интересами и исканиями, сочинительским честолюбием, жаждой творчества. В то время рано начинали жить. Четырнадцатилетних девочек выдавали замуж, пятнадцатилетние воины командовали ротами. Братья Раевские участвовали с отцом в Салтыковском бою, когда одному было двенадцать, другому четырнадцать лет. Сама эпоха, раскаты и встряски мировых событий торопили, будили умы. Не только Пушкин, но и его товарищи рано созрели. Не над серой посредственностью, а над яркой толпой талантливых юношей, полных умственных запросов, поднялся Пушкин в Лицее. Так было и позже в жизни. Пушкину было суждено родиться и жить в созидательную эпоху стремительного внешнего и внутреннего усиления России. Непрерывный рост его гения совпал с ростом Империи, с расцветом всенародного русского творчества, государственного и художественного. Еще в Лицее стал он действенной частью этого процесса.

В письме лицеиста А. Д. Илличевского к другому школьнику, Фуссу, сохранилось самое раннее упоминание о влиянии Пушкина на современников: «Что касается до моих стихотворных занятий, я в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека, который, живши между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вкуса. Хотя у нас, по правде сказать, запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкой» *(25 марта 1812 г.).*

Этот «молодой человек», украдкой сочинявший стихи, и был двенадцатилетий Пушкин.

Запрещение сочинять было вызвано тем, что за сочинительством лицеисты забывали об уроках. Но запрещение было скоро отменено, так как сочинительство поощрялось. Для лицеистов выписывалось семь русских журналов, восемь французских и немецких. Была собрана недурная библиотека, куда вошло около 800 томов по истории, литературе, политической экономии и философии. Это было редкое богатство. Тогда еще не было общественных библиотек. Даже Императорская Публичная библиотека открылась только три года спустя.

Илличевский в одном из своих писем Фуссу с юношескою хвастливостью рассказывает: «Мы хотим наслаждаться светлыми днями нашей литературы, удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. Не худо иногда подымать завесу протекших времен, заглядывать в книги отцов отечественной поэзии, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева. Там лежат сокровища, от коих каждому почерпать должно. Не худо иногда вопрошать певцов иноземных, у них учились предки наши беседовать с умами Расина, Вольтера и, заимствуя от них красоты неподражаемые, переносить их в свои стихотворения» *(10 декабря 1814 г.).*

Так, в духе Кошанского, высокопарно описывал юноша умственную жизнь своего курса. А неисправимый брюзга, барон М. А. Корф писал:

«Основательного, глубокого в наших познаниях, конечно, было не много, но поверхностно мы имели идею обо всем и были очень богаты блестящим всезнанием. Мы мало учились в классе, но много в чтении и в беседе при беспрестанном трении умов...»

«Трение умов», или, иначе говоря, неутомимое кипение молодых дарований и литературных соревнований, началось в Лицее с первого же года и продолжалось до дня выпуска. В этой радостной, непрестанной творческой игре отросли и окрепли орлиные крылья Пушкина.

Почти все лицеисты писали стихи. Целый костер литературных вдохновений пылал в лицейском флигеле Царскосельского дворца. Политика была еще только в зачатке, но любовь к литературе, умение сочинять стихи считались необходимым признаком образованности. В дворянской чиновничьей среде, к которой принадлежали лицеисты, как и в доме Пушкиных, уже окрепла привычка читать, обмениваться литературными впечатлениями и мыслями, излагать их в форме стихотворных посланий. Многие лицеисты из родительской семьи принесли в школу любовь к книге, к знанию, к изящному слову, к умственной жизни. Писательство было модой и потребностью. Лицеисты читали, запоминали наизусть, списывали в альбомы стихи, сами сочиняли на злобу дня так называемые национальные песни, которые распевали хором. Манией сочинительства весь Лицей был заражен, независимо от Богом каждому данных дарований. Писали лицеисты, писали наставники, писали даже лицейские сторожа. Литературной одержимости, вихрями носившейся по пушкинскому Лицею, хватило еще на несколько следующих выпусков. В бумагах Я. К. Грота сохранились вирши, писанные в 20-х годах лицейским дядькой Гаврилой Зайцевым:

А вы готовьтесь носить ни саблю, ни шпагу,
Иметь перед собой чернила, перо, бумагу.
Пускай летит ваш гордый ум,
Пускай врагов он попирает
И в горесть страшну погружает.

Первый литературный кружок был основан сразу после открытия Лицея. Тот самый надзиратель Мартын Пилецкий, которого в конце концов лицеисты выжили за его шпионские ухватки, предложил, очевидно, по указанию И. Ф. Малиновского, «учредить собрание всех молодых людей, которых общество найдет довольно способными к исполнению должности сочинителя».

Молодые люди, из которых большинству не было 14 лет, охотно отозвались на зов и рьяно принялись за сочинительскую должность. Лицей был открыт 19 октября, а уже к концу года было выпущено два журнала: «Сарско-Сельская Лицейская Газета» и «Императорскаго Сарско-Сельскаго Лицея Вестник». Это были серые листки плохой бумаги, с детски беспомощными заметками, неумелые, неуклюжие затеи юных сочинителей, Илличевского и Кюхельбекера.

На следующий, 1812 год среди лицеистов оказалось столько писателей, что они разделились на два литературных лагеря. Пушкин, Дельвиг и Корсаков издавали «Неопытное

Перо». Илличевский, Вольховский, Кюхельбекер и Яковлев издавали журнал «Для Удовольствия и Пользы». В 1813 году оба кружка слились и под общей редакцией выпустили журнал «Юные Пловцы».

Самым удачным и долговечным журналом был «Лицейский Мудрец» (1813—1816 гг.). Данзас и Корсаков числились в нем издателями, а Дельвиг – редактором.

«Лицейский Мудрец» есть архив всех древностей и достопримечательностей Лицейских. Для того мы будем помещать в сем журнале приговорки, новые песенки, вообще все, что занимало и занимает почтенную публику...» — объявлялось в первом номере. За три года его издания дети превратились в юношей. «Лицейский Мудрец» носил отпечаток их быстрого роста. Стихи, проза, юмористика, забавные карикатуры — все это близко к уровню тогдашних журналов. Только язык проще, жизненнее, так как лицеисты, оправдывая один из параграфов своего устава, избегали высокопарности.

«Лицейский Мудрец» был летописью лицейской жизни, часто беспощадной. Свободный дух Лицея разрешал вышучивать не только лицеистов, но и педагогов. В очередных куплетах национальных песен доставалось всем. Были, конечно, любимые жертвы, как всегда бывает в толпе, да еще молодой. Больше всего попадало Тыркову, Мясоедову, Кюхельбекеру, которого высмеивали за его литературные потуги: «В соседстве у нас находится длинная полоса земли, называемая Бехелькюриада, производящая великий торг мерзейскими стихами»... и т. д.

В одном из номеров, в отделе политики была рассказана, да еще с приложением карикатуры, история с гоголь-моголем, где гувернер был изображен в виде свиньи, пробирающейся под столом.

Молодые зубоскалы до всех добирались, попадало и Пушкину, особенно за вывезенную из родительского дома страсть к сквернословию. О нем в куплетах пелось: «А наш француз свой хвалит вкус и м[атерщин]у порет!»

Куплеты и песни перекладывались на музыку Яковлевым или Корсаковым и распевались хором.

Лицейская литература блестела даровитостью и весельем, звенела молодым смехом и шутками, иногда колючими, меткими. Среди анонимных стихов и статей лицейских журналов трудно найти следы пушкинского таланта. Иногда в коллективных национальных песнях, отчасти в полемике, как будто слышится его голос. Он принимал близкое участие в этой товарищеской писательской хлопотне. Она была ему понятна и мила. Десять лет после выпуска Пушкин в Михайловском вспоминал:

Златые дни, уроки и забавы,
И черный стол, и бунты вечеров,
И наш словарь, и плески мирной славы,
И критику лицейских мудрецов.

Но он быстро перерос школьную журналистику. Это была его судьба — перерастать своих сверстников, но все-таки на лету от них учиться.

В тесном, сжившемся за шесть лет кружке лицеистов были любопытные характеры, разнообразные дарования. Не все за порогом школы сдержали обещания, но в Лицее самая пестрота способностей являлась дрожжами в той борьбе честолюбий, настроений и способностей, из которых сплетается человеческое общежитие.

Если не считать московского гувернера Русло, то первым литературным соперником Пушкина был лицеист А. Д. Илличевский (1798—1837).

Ему покровительствовал Кошанский. В 1812 году он дал об Илличевском такой отзыв: «Соединяет счастливые способности памяти и понятливости с сильным воображением и начитанностью книг». Профессору риторики нравилась напыщенность стихов Илличевского, которого он, как и некоторые лицеисты, сначала ставил выше Пушкина. Лицейские сочинители писали: «О, бессмертный Илличевский, меж поэтами ты туз». Илличевского сравнивали с Державиным, Пушкина только с Дмитриевым. Вначале они шли рядом, брали общие темы. В стихотворении «О, Делия драгая», которое вошло во все собрания сочинений Пушкина, несколько строк было написано Илличевским. Пушкин его начал, не кончил и бросил, а Илличевский подобрал черновик и дописал стихи. Они были положены на музыку лицеистом Корсаковым, и под его гитару лицеисты распевали эту смесь Пушкина с Илличевским. Илличевский, как и Пушкин, рисовал веселые карикатуры и писал юмористику для лицейских журналов. Пушкин эти его таланты больше ценил, чем его торжественные стихи.

«Остряк любезный, по рукам! Полней бокал — до суха, И вылей сотню эпиграмм На недруга и друга!» — обращался Пушкин к Илличевскому в «Пирующих студентах». Это было к концу 1814 года. За эти два года поэтическое превосходство Пушкина уже трудно было оспаривать. Но окончательную грань между ними поставил публичный экзамен 15 января 1815 года. Илличевский сочинял к этому дню стихотворение «Весенний вечер». Но вместо него выпустили Пушкина, который прочел «Воспоминание о Царском Селе». С этого дня лицейскому сопернику оставалось только склониться перед непрерывно растущей славой Пушкина. Илличевский, по

словам Корфа, был человек «желчный и завистливый», по словам Я. К. Грота, «вспыльчивый, задорный и сварливый». Вероятно, нелегко было ему признать себя побежденным. Но в его письмах к приятелю из Лицея уже видно полное признание превосходства и значительности Пушкина. «Пушкин пишет комедию в пяти действиях в стихах, под названием «Философ»... Дай только Бог ему терпенья и постоянства, что редко бывает в молодых писателях: они то же, что мотыльки, которые не долго на одном цветке покоятся... Дай Бог ему кончить, это первый большой ouvrage, начатый им, ouvrage, которым он хочет открыть свое поприще при выходе из Лицея. Дай Бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться на его товарищах» *(16 января 1816 г.)*.

Через три месяца опять о Пушкине: «Посылаю тебе две гусарские пьесы нашего Пушкина (Усы и Слеза). Оне прекрасны».

Несмотря на внешнюю общность умственных и поэтических интересов, Пушкин не дружил в Лицее с Илличевским, не переписывался с ним и даже 19 октября не находил для него тех летучих строф, которыми увековечил других лицеистов. Или это была одна из тех встреч, когда гениальный человек видит рядом с собой посредственность, в которой копошатся недоразвитые возможности того, что в его собственном творчестве даст пышные цветы? Видит и тяготится кривизной отражения, карикатурностью сходства.

Не только в поэзии пришлось им пройти рядом часть жизненной дороги. Дважды скрестилась их судьба в любви. В Лицее оба влюбились в прелестную, молоденькую фрейлину Бакунину и оба писали ей стихи.

Десять лет спустя оба будут ухаживать и опять писать стихи хорошенькой А. П. Керн.

Совсем иные, более сложные, то мальчишески драчливые, то сердечные и задушевные отношения сложились у Пушкина с другим лицейским поэтом, с чудаком Кюхлей, как прозвали они Вильгельма Кюхельбекера (1797—1846). «Длинный до бесконечности, при том сухой и как-то странно извивавшийся всем телом, что и навлекло ему эпитет глиста, с эксцентрическим умом и с пылкими страстями, с необузданной вспыльчивостью, он почти полупомешанный, всегда был готов на всякие проделки» *(барон М. А. Корф)*.

Комическая внешность и тяжелые литературные потуги Кюхельбекера вызывали товарищей на постоянные шутки, доходившие до издевательства. Бедный Кюхля даже топился. Его вытащили из пруда и еще паче осмеяли, да еще печатно, в «Лицейском мудреце». Особенно изводил его Пушкин. Лежа

в лазарете, Пушкин написал «Пирующих студентов». Пришли лицеисты послушать новую песню.

«Внимание и общая тишина, глубокая, по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он весь был тут, в полном упоеньи. Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:

Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

«При этом возгласе вся публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхельбекер. Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой».

Кюхельбекер был действительно писатель за свои грехи, всю жизнь искренно влюбленный в поэзию, исполненный каких-то сложных, но не выясненных замыслов. Когда он поступил в Лицей, он плохо говорил по-русски и всю жизнь делал ошибки. В «Лицейском Вестнике» было напечатано его произведение:

...Увы из небес горящих
Размножает гнездо летящих
И колосы по полю лежащих
Грады быстро падущий...

Писать просто он никогда не научился. Вот его стихи о Наполеоне:

Венцов и скипетров на груду
Воздвигнул изверг свой престол,
И кровью наводнил и град, и лес, и дол,
И области покрыл отчаяния туманом.
(1815)

Лицеисты, вслед за Карамзиным, Жуковским и Батюшковым, старались писать стихи на хорошем русском языке. Они безжалостно высмеивали Кюхельбекера. Но Пушкин и дразнил, и любил его. Поэт почуял в этом полубезумном мечтателе искреннюю, глубокую, умственную жизнь, богатую и разнообразную, которую Кюхельбекер не был способен передать в словах.

После Лицея Пушкин так раздразнил Кюхлю шутливыми стихами, что тот вызвал его на дуэль. А когда Кюхельбекер

стал государственным преступником, Пушкин нежно называл его «мой брат по Музе и Судьбам»*.

В богатой, бурной своей жизни Пушкин подходил к самым разнообразным людям, и порой несколько строчек в его стихах сохранили для следующих поколений отблеск жизни даже случайно промелькнувших попутчиков.

О многих лицеистах никто не вспомнил бы, не будь Пушкина. Но в тесную лицейскую семью каждый вносил свое, как каждый певчий вносит свой голос в хор. И Пушкину почти все пригодились, от каждого взял он каплю меда, не только от тех, с кем сочинял, но и от тех, с кем проказничал.

Среди лицеистов двое, красавец Н. А. Корсаков (1800—1820) и весельчак М. Л. Яковлев (1798—1868), были гитаристами и композиторами. Они сочиняли музыку для лицейских песен, которые еще много лет распевались в Лицсе. Неистощимый балагур и весельчак Яковлев, по прозванию добрый Мишка, и сам писал стихи, впрочем, плохие. Его прозвали Паяц, Комедьянт за способность имитировать. Сохранился шуточный список: «Яковлев паясил, представлял начальство, дам, слона, черепаху, сына отечества, прелестную Наташу Кочубей, колченогого дьячка, Пушкина, персидского посла и т. д.». Всего было перечислено 200 номеров. Дарования Яковлева пропали даром, он сделался не актером, а чиновником. Пушкин на всю жизнь остался его приятелем.

Своеобразные, кокетливые отношения со школьной скамьи установились у Пушкина с князем А. М. Горчаковым (1798—1883), красивым, сильным, блестящим и холодным баловнем судьбы. Пушкин еще на приемном экзамене залюбовался красотой маленького Горчакова, и это первое детское эстетическое чувство долго жило в нем.

В своем лицейском, вероятно, прощальном послании к Горчакову поэт дал своему товарищу характеристику, похожую на пророчество:

Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и славный, —
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав...

(1817)

---

*Стихи написаны Пушкиным до выступления декабристов, 19 октября 1825 года.

Любопытно, что Кошанский к Горчакову применил оценку, по праву принадлежавшую Пушкину: «Быстрая понятливость, соединяясь с каким-то благородным, сильным честолюбием, превышающим его лета, открывают быстроту разума и некоторые черты гения». Горчаков кончил Лицей первым, а Пушкин одним из последних.

Настоящих друзей у Пушкина в Лицее было трое — И. В. Малиновский (1796—1873), И. И. Пущин (1798—1858) и барон А. А. Дельвиг (1798—1831). В каждом из этих несходных между собой юношей поэт находил какое-то дополнение к своей многогранной, вечно переливающейся личности. Он говорил, умирая: «Отчего нет около меня Пущина и Малиновского. Мне было бы легче умирать». «А, ты повеса из повес, На шалости рожденный, Удалый хват, головорез, Приятель задушевный!» — так в «Пирующих студентах» определил Пушкин Малиновского. То была полудетская дружба, не столько умов, сколько еще не сложившихся, но созвучных характеров. То, как их сблизила смерть В. Ф. Малиновского, директора Лицея, как остро оба пережили эту потерю, показывает, что их буйная дружба питалась в глубине сердечными источниками. «Перед незасыпанной могилой они поклялись в вечной дружбе», — рассказывает дочь И. В. Малиновского, С. И. Штакеншнейдер. Они сдержали юношескую клятву, хотя дороги их скоро разошлись. Малиновский, пробыв недолго в гвардии, уехал на юг, был предводителем дворянства Харьковской губернии, где заслужил всеобщую любовь готовностью бороться с беззаконием и несправедливостью. «Преодоление неправды его страсть» — писали о нем люди, его знавшие.

Крепкая дружба между Пушкиным и Малиновским выросла, несмотря на резкое расхождение их мировоззрений. Малиновский был верующий, православный человек. Его задевал атеизм, которым Пушкин открыто бравировал. Много лет спустя после Лицея, перед женитьбой поэта, Малиновский написал горячее письмо к своему гениальному другу, укоряя его за безверие. С. И. Штакеншнейдер рассказывала, что в ответ на это письмо поэт прислал старому другу свои стихи о Мадонне.

Другим лицеистом, о котором, умирая, вспомнил Пушкин, был И. И. Пущин. Их дружба началась во время выпускных экзаменов и с годами окрепла. Об этом рассказали нам И. И. Пущин в своих воспоминаниях и Пушкин в своих стихах.

В 1815 году он посвятил Пущину два стихотворения (И. И. Пущину и «Воспоминание») и несколько строк в

третьем («Мое завещание друзьям»). Это был для лицеистов буйный год, когда они еще не подпали под спокойное начало директора Энгельгарда, когда юная удаль уже начала переливать через край. Этим молодечсством дышат и стихи к Пущину. В стихотворении «Воспоминание» Пушкин описывает историю с гоголь-моголем, которая могла для них плохо кончиться:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом, пенистом вине?

В связи с пирушкой обращается он к Пущину и в меланхолическом «Завещании друзьям»:

Ты не забудешь дружбы нашей,
О, Пущин! ветреный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!

Третье стихотворенье — это поздравление с именинами счастливца, которому даже желать нечего:

Ты счастлив, друг сердечный!..
Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот:
Ты любишь звон стаканов
И трубки дым густой,
И демон метроманов
Не властвует тобой.

Зная раннюю точность Пушкина в характеристиках живых людей и в подробностях быта, надо принять И. И. Пущина-лицеиста, каким он встает из этих шаловливых стихов, то есть просто таким же веселым повесой, каким были почти все первокурсники. Так же, как они, он готов был кутнуть и выпить, хотя в одном отношении он был своего рода редкостью, что Пушкин и отметил в последней строчке. И. И.Пущин действительно не писал стихов. Только в прозе, да и то редко, отдавал он дань общелицейской страсти к сочинительству. В «Вестнике Европы» (1814 г. № 18) был напечатан его перевод из Лагарпа «Об эпиграмме и надписи у древних». Так мало было тогда грамотных людей, что редактор «Вестника Европы», Вл. Измайлов, вступил из Москвы в переписку с переводчиком, и, не подозревая, что пишет 16-летнему школьнику, просил его давать сведения о петербургских театрах.

В 50-х годах, после возвращения из тяжелой сибирской ссылки, уже по памяти, написал И. И. Пущин воспоминания о поэте. Время стерло многие ступени, переходы, сплело пережитое, виденное, слышанное в одну нить. Читая эти записки или основываясь на них в изучении Пушкина, надо помнить, что в них нет юношеской непосредственности, которая вылилась не только в стихах Пушкина, но и в письмах Илличевского, несмотря на их напыщенность. Но И. И. Пущин, по справедливому определению Л. Майкова, «отличался ясным и трезвым умом и в то же время обладал нежным, любящим сердцем», и его рассказ о Пушкине все же является драгоценным материалом для понимания изменчивого и пленительного облика поэта, кипящего могучей юностью и могучим творчеством.

Вот как описал Пущин ранние свои впечатления: «Мы все видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы даже и не слыхали, но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал высказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам и раньше и легче находят случай чему-нибудь научиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым, признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только показать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч. ...В этом даже участвовало его самолюбие, бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетания разных внутренних наших двигателей? Случалось точно удивляться переходам в нем, видишь бывало его поглощенным, не по летам, в думы и чтение, и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острове, куда возил нас иногда в ялике гулять Василий Львович».

Судя по ссылке на В. Л. Пушкина, это относится к первым их встречам, частью даже долицейским. Позже, в Лицее, точно присмотревшись, привыкнув к этому внутреннему блеску и богатству, которое сначала его ослепило, Пущин придирчивее отмечает бестактности, вспышки, резкие углы, постоянные перемены настроения, все, что раздражало това-

рищей. Они не могли понять, что судьба бросила в их среду великого художника и что художники всегда капризны.

Но у Пушкина было и другое свойство великих артистов. У него было великое сердце. Это сказывалось в дружбе, это сказывалось в умении ценить и любить в людях их лучшие свойства. Если в воспоминаниях Пущина о его гениальном друге проскальзывают нотки мнимого раздражения, то ни в прозе, ни в стихах Пушкина нет сколько-нибудь критической или хотя бы скептической оценки Пущина. Напротив, всякая строка, связанная с его именем, дышит верной, нежной дружественностью. Он ценил в нем твердое нравственное чутье, чувство чести. Перед самым выпуском Пушкин писал в прощальном послании, которыми обменивались лицеисты:

Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья.
(1817)

Третьим лицейским другом Пушкина был барон А. А. Дельвиг (1798—1831). Из всех лицеистов он один до конца и без оговорок любил Пушкина и, конечно, больше всех понимал его значительность, понимал силу таинственных голосов, которые звучали вокруг Пушкина не только днем и наяву, но порой и во сне. Из всех лицеистов один Дельвиг был способен понять этого Пушкина. Он сам был даровитый поэт, для которого стихи были не забавой, а потребностью.

Ни время, ни неравный рост поэтических сил не поколебали этой дружбы. Она началась среди садов Лицея и кончилась у гроба Дельвига, хотя при общности эстетических потребностей и духовного устремления они были не похожи ни характерами, ни внешностью. Пушкин, невысокий, гибкий, ловкий, быстроглазый, вечно подвижный и горячий, был всегда готов на игру, на самое стремительное напряжение. Он все кругом замечал, на все отзывался.

Высокий, грузный, неуклюжий, голубоглазый Дельвиг был очень близорук. В Лицее запрещалось носить очки, и все женщины казались ему красавицами.

— Как я разочаровался после выпуска, когда надел очки, — с улыбкой рассказывал он позже.

Дельвиг не умел смеяться, только улыбался подкупающей улыбкой, доброй и умной. А Пушкин хохотал, громко, звонко, заразительно и не утратил с годами этого дара детского смеха.

По-разному устанавливались у них отношения с людьми. Вспыльчивый, невоздержанный в шутках, быстрый на зубо-

скальство, Пушкин, часто сам того не желая, обижал людей. Дельвиг, мягкий, снисходительный, никогда не ссорился, отчасти по добродушию, отчасти по лени. Его и звали — ленивец сонный, сын лени вдохновенный.

Это была лень физическая, а не умственная. «Дельвиг никогда не вмешивался в игры, требовавшие проворства и силы. Он предпочитал прогулки по аллеям Царского Села и разговоры с товарищами, коих умственные склонности сходствовали с его собственными» *(Пушкин)*. В умственном развитии Дельвиг не только не отставал от других, но вел их, шел впереди, уступая дорогу только Пушкину. Писал он мало и с трудом, не любил самого процесса писания. Лучший биограф Дельвига, лицеист В. Гаевский, собиравший сведения непосредственно от первокурсников, из устного предания, писал: «А. А. Дельвиг был восприимчив к впечатлениям, но ленив на передачу их, и только огненная натура Пушкина могла вызвать его к деятельности». Дельвиг был отличный рассказчик и выдумщик. Лицеисты любили играть в рассказы. В этой игре Дельвиг перегонял даже Пушкина, который уступал ему в способности к импровизации, в выдумке. Пушкин прибегал к хитрости, выдал историю двенадцати спящих дев за собственное сочинение. Но все-таки на одном из этих состязаний Пушкин сочинил фабулу «Метели» и «Выстрела». Это один из многих примеров того, как поэт откладывал в умственную свою кладовую материал, которым позже пользовался. В короткой характеристике Дельвига, писанной после его смерти, Пушкин говорит, что он знал наизусть почти всех русских поэтов: «С Державиным он не расставался. Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием; Горация изучил в классе под руководством профессора Кошанского... Первыми его опытами в стихотворстве были подражания Горацию. Оды к Диону, к Лилете, Дориде писаны им на пятнадцатом году и напечатаны в собрании его сочинений безо всякой перемены. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял» *(Пушкин)*.

Немецких классиков читал Дельвиг с Кюхельбекером, на которого Пушкин, по условиям цензуры, мог только намекнуть, так как Кюхельбекер сидел тогда в тюрьме. Но вкусы Дельвига клонились больше к античной литературе. Кошанский и его «Цветы греческой поэзии» *(1811)* открыли доступ к греческим классикам. О влиянии Кошанского на молодежь говорить нельзя. Влиять — значит заражать своим вкусом, а в этом ученики разошлись с учителем. Они брали от него

знания, сведения, но его вкусу и его стилистическим советам отказывались подчиняться. Когда Пушкин и Дельвиг начали писать, привычка к мифологической фразеологии еще царила в поэзии. И поэты, и прозаики не умели писать без ссылок на Эпикура, Киприду, Амура, Помелу, Гименея. Но Дельвиг взял от классицизма его ясную спокойную красоту, а не лжеклассическую пышность.

Отношения между Пушкиным и Дельвигом, умение этих двух поэтов друг друга понимать, щадить, ценить, поддерживать, то, как они вместе учились думать и вместе радовались красоте, — все это редкая по цельности и внутреннему богатству история дружбы двух наперсников богов. Дельвиг никогда не завидовал ни гению, ни славе своего друга. Его младенчески ясная, мягкая душа не способна была к зависти. Вместе с ростом творческих сил Пушкина росло восхищение Дельвига. Он радовался «пенью райской птички, которое, слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет» *(1824)*.

Один из первых угадал Дельвиг гений Пушкина и первый в печати воспел его в красивых, плавных стихах, написанных под ярким впечатлением экзамена, где Пушкин читал «Воспоминания в Царском Селе». В «Российском Музеуме» (1815), под заглавием «А. С. Пушкину», напечатано было торжественное послание Дельвига:

Кто, как лебедь цветущей Авзонии,
Осененный и миртом и лаврами...

Дальше шло чисто риторическое построение. Сначала отрицание — тот, кто в советах не мудрствует, не гоняет кораблей с золотом, не приносит жертв богу войны —

Но с младенчества он обучается
Воспевать красоты поднебесныя,
И ланиты его от приветствия
Удивленной толпы горят пламенем...
Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением
. . . .
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий...

Год спустя в стихотворении, написанном «На смерть Державина» *(9 июля 1816 г.)*, Дельвиг писал:

Державин умер! чуть факел погасший дымится, о, Пушкин,
О, Пушкин, нет уж великаго: рыдает Муза над прахом...
Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто — Пушкин.
Молися Каменам! и я за друга молю вас, Камены!
Любите младого певца, охраняйте невинное сердце,
Зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты!

Оба поэта, и в стихах, и в письмах, умели найти значительные слова: «Великий Пушкин, маленькое дитя», — писал Дельвиг в письме к поэту. Другой раз писал: «Целую крылья твоего гения, радость моя».

Но и Пушкин был полон поэтического уважения и мужественной нежности к собрату по сочинительству. Точно золотым убором, украсил он эту дружбу стихами:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две Музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для Муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...

(«19 октября». 1825)

Рассказывали, что у Пушкина с Дельвигом была привычка, встречаясь, целовать друг другу руку.

Глава V

ОТЗЫВЫ

В лицейском журнале, куда начальство вписывало как бы дневник о поведении воспитанников, есть ряд любопытных записей о поведении и характере Пушкина.

Учился он легко. Вернее, совсем не учился, а брал памятью. Но все-таки одна из последних записей, сделанная в журнале незадолго до выпуска *(1816 г., октябрь — декабрь)*, показывает, что некоторых наук он так и не одолел. В журнале под именем Пушкина значилось: «Энциклопедия права, Политическая экономия, Военные науки, Прикладная математика, Всеобщая политическая история, Статистика, Немецкая риторика, Эстетика — 4. Поведение и прилежание — 4. Русская поэзия и французская риторика — 1».

Баллы считались с конца. Высшая отметка, единица, была у Пушкина только за поэзию и словесность, а за все остальное 4, предпоследний балл снизу, по-нашему, единица. Особенно не далась ему математика. «В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его, наконец: «Что же

вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю». — «Хорошо. У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Рассказав этот анекдот, И. И. Пущин прибавил: «Профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина». На самом деле наставники совсем не понимали, какого ученика им послала история. Многое в нем их сердило, сбивало с толку. Прежде всего отсутствие внешней усидчивости, ученис на лету, по памяти. Потом семейная пушкинская шутливость, насмешливость, зубоскальство. Не только на школьной скамье, но и позже в жизни, многие не верили, глядя на проказы Пушкина, что в нем есть что-нибудь дельное.

В лицейском журнале записано: 1812 г. 15 марта: «Александр Пушкин больше имеет понятливости, нежели памяти, более имеет вкуса, нежели прилежания; почему малое затруднение может остановить его; но не удержит: ибо он, побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желает сравниться с первыми питомцами. Успехи его в Латинском хороши; в Русском не столько тверды, сколько блистательны» *(Кошанский)*.

19 ноября: «Пушкин весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне не прилежен: он способен только по таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики, особенно по части логики» *(Куницын)*. 20 ноября: «Больше вкуса к изящному, нежели прилежания к основательному» *(Кошанский)*.

Тогда же, в ноябре, в нескольких не особенно грамотных записях, отметил поведение Пушкина воспитатель-иезуит Мартын Пилецкий. Этот высокий, тощий, с горящими глазами человек любил, как кошка, подкрадываться к лицеистам и подслушивать их разговоры, за что они его терпеть не могли. Вот что записал Пилецкий: «Пушкин 6-го числа в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что логики я, право, нс понимаю, да и многие даже лучше меня оной не знают, потому что логические силлогизмы весьма для них не внятны. 16-го числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на счет 4-го Департамента, зная, что отец его там служит, произнося какие то стихи... 18-го толкал Пущина и Мясоедова, повторял им слова, что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывернуться умею. 20-го в рисовальном классе называл Горчакова вольной польской дамой... 21-го за обедом громко говорил, увещаниям инспектора смеется. Вообще, Г. Пушкин вел себя все следующие дни весьма смело и ветрено. 23-го (в этот день Пилецкий хотел отобрать у Дельвига какие-то бумаги) Пушкин с непри-

стойной вспыльчивостью говорит мне громко: «Как вы смеете брать наши бумаги? Стало быть, и письма наши из ящика будете брать?». 30-го Пушкин Г. Кошанскому изъяснял какие-то дела С.-Петербургских модных французских лавок, которые называются Маршанд де Мод. Я не слыхал сам его разговора, только пришел в то время, когда Г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли, кому оный придет в голову. Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог мне его разговора повторить, из скромности, как видно».

За тот же 1812 год в табели было отмечено: по рисованию: «Отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен. Успехи не ощутительны». По нравственной части: «Мало постоянства и твердости, словоохотлив, остроумен, приметно и добродушие, но вспыльчив с гневом и легкомыслен». Фехтование: «Довольно хорошо».

1813 г. 30 сентября: Гувернер Чириков, добрый и снисходительный, пишет: «Александр Пушкин легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив. Впрочем, добродушен, усерден, учтив. Имеет особенную страсть к поэзии».

15 декабря: «Александр Пушкин имеет больше понятливости нежели памяти».

1814 г. 1 января: «Александр Пушкин при малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованьям. В поведении резв, но менее против прежнего».

5 октября: «Из резвости и детского любопытства составляли напиток, под названием гогель-могель, который уже начали пробовать».

История с гогель-могелем была своего рода событием, воспетым и в «Лицейском Мудреце», и в послании Пушкина к Пущину *(1815)*.

Вспоминает о нем и Пущин: «Я, Малиновский и Пушкин затеяли выпить гогель-могель. Я достал бутылку рома, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас, были и другие участники, но они остались за кулисами по делу, а в сущности, один из них, именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот после ужина всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело, и что мы одни виноваты. Исправлявший тогда должность директора, профессор Гауэншильд, донес министру. Граф

Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный выговор».

Суд профессорской конференции оказался довольно милостивым: постановили записать в черную книгу и на две недели поставить на колени во время молитвы.

За всю лицейскую жизнь первокурсников это был единственный случай занесения в черную книгу, да и тот не имел для них серьезных последствий. Когда дело подошло к выпуску, Е. А. Энгельгард попросил предать дело забвению, чтобы детская шалость не наложила печати на карьеру юношей. Это очень показательно для духа Лицея, тем более что к одному из провинившихся, к Пушкину, Энгельгард относился очень недоверчиво. В своей записке «О воспитанниках старшего курса Лицея» он так характеризует Пушкина: «Его высшая и конечная цель блестеть и именно поэзией, но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный — французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто, в нем нет ни любви, ни религии, может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствованья унижены в нем воображеньем, оскверненным всеми эротическими произведеньями французской литературы, которые он при поступлении в Лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитанья» *(1816).* Здесь ответ на недоумение И. И. Пущина: «Для меня оставалось неразрешимой загадкой, почему все внимания директора и его жены отвергались Пушкиным? Он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого с ним сближения. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгарду, которого я душой полюбил, сильно меня волновала». Пущин не понял, что чуткий Пушкин, уже тогда читавший в сердцах, за внешней приветливостью Энгельгарда ясно ощутил враждебность, нравственное осуждение и отошел в сторону.

Все три профессора — Куницын, Кошанский, Галич — пережили поэта. Но ни один из них не оставил воспоминаний о нем. Эти геттингенцы, почтительно возившиеся с латинскими и немецкими четырехстепенными поэтами, не подумали записать, сохранить для будущих поколений память о том, как на их глазах кудрявый, озорной мальчишка превратился в гениального поэта.

Зато царственно великодушный Пушкин отплатил им за все заботы величавой красотой стиха:

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
(«19 октября». 1825)

От лицейских времен сохранились два, мало между собой сходных, пушкинских портрета: один — рисованный в начале, другой — в конце лицейской жизни. Первый, по какому-то недоразумению, приписывают великому мастеру К. Брюллову, хотя рисовал его гувернер Чириков. Судя по тому, что Н. И. Гнедич приложил в 1822 году этот портрет к первому изданию «Кавказского пленника», вероятно, в нем было сходство.

Но это неконченый, неприкрашенный набросок. На нем изображен мальчик в ночной рубашке, с расстегнутым воротом. Он сидит, подперев щеку кулаком. Лицо некрасивое. Негритянские крупные губы, широкий нос. Короткие, крутые завитки волос вьются над высоким светлым лбом. С недетской пристальностью смотрят светлые глаза.

Другой портрет принадлежал Е. А. Энгельгарду. Он рисован цветными карандашами. На высоком форменном, туго застегнутом воротнике мундира, на щеках, на губах, даже на носу положены нежно-алые блики. Лицо юношески красиво. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным негритенком первого портрета. Только светлый лоб да острота взгляда те же.

Как нам, через сто с лишним лет, угадать, который из двух настоящий Пушкин-лицеист? Думается, что скорее первый. Второй портрет написан для немца Энгельгарда, которому хотелось, чтобы вверенные ему лицеисты выглядели прилично. Подлинное, изменчивое лицо Пушкина не легко было изобразить. Мы даже хорошенько не знаем, какого цвета были у него волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие свидетели (Макаров, П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр Пушкин смолоду был скорее белокур, но после 17 лет его волосы потемнели. Он сам написал по-французски свой шуточный автопортрет: «J'ai le teint frais, les cheveux blonds et la tête bouclée»*.

Еще труднее, по рассказам современников, восстановить единообразный внутренний облик юного Пушкина. Легче найти подлинного Пушкина в его стихах, в его прозе. Как всякий великий художник, он дал себя в своих творениях.

---

* «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова» *(фр.)*.

Потомкам, на расстоянии, легче вглядеться в этого кристаллизованного Пушкина, чем тем, кто встречался с ним.

Два лицсиста, барон Модест Алекс. Корф (1800—1876), по прозвищу Дьячок, и С. Д. Комовский (1799—1880), прозванный, за преданность начальству, Смолой и Лисичкой, оставили очень неблагосклонные памятки о поэте.

В 1851 году по просьбе биографа Пушкина П. В. Анненкова С. Д. Комовский написал о нем краткие воспоминания. По его словам, ни профессора, ни лицеисты недолюбливали Пушкина. «Пушкина называли французом, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяной и смесью обезьяны с тигром... Пушкин, увлекаясь свободным полетом своего гения, не любил подчиняться классному порядку и никогда ничего не искал в своих начальниках... Кроме любимых разговоров своих о литературе и авторах с теми товарищами, кои тоже писали стихи, как-то: с Дельвигом, Илличевским, Яковлевым и Кюхельбекером, Пушкин был вообще не очень сообщителен с прочими своими товарищами и на вопросы их отвечал, обыкновенно, лаконически. Вместе с некоторыми гусарами Пушкин, тайком от начальства, любил приносить жертвы Бахусу и Венере, причем проявлялась в нем вся пылкость и сладострастие африканской породы».

Тут другой первокурсник, М. Яковлев, которому П. В. Анненков давал записку Комовского на прочтение, сделал такое примечание:

«Эта статья относится не только до Пушкина, а до всех молодых людей, имеющих пылкий характер. Пушкин вел жизнь более беззаботную, чем разгульную. Так ли кутит большая часть молодежи?»

Комовский писал: «Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще 15—16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов, взор его пылал и он кряхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна».

Яковлев опять сделал примечание: «Описывать так можно только арабского жеребца, а не Пушкина, потому только, что в нем текла арабская кровь».

Но есть одно очень выразительное описание Пушкина и у С. Д. Комовского:

«Не только в часы отдыха, но и на прогулках, в классах, даже в церкви ему приходили разные поэтические вымыслы, и тогда лицо его то хмурилось необыкновенно, то прояснялось от улыбки, смотря по роду дум, его занимавших. Набрасывая же свои мысли на бумагу, он удалялся всегда в самый уединенный угол комнаты, от нетерпения грыз перья и, насупя брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя написанное».

М. Л. Яковлев приписал: «Пушкин писал везде, где мог и всего более, в математическом классе, и ходя по комнате, и сидя на лавке. Лицо Пушкина часто то хмурилось, то прояснялось от улыбки».

Это своего рода комментарии к пушкинскому:

Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю...

Умный, честолюбивый барон, впоследствии дослужившийся до графского титула, М. А. Корф тоже оставил воспоминания о Пушкине, к которому у него всю жизнь было враждебное чувство.

Сын прусского офицера, перешедшего в русское подданство, барон М. А. Корф вырос в скромной, благочестивой немецкой семье. Лицейское начальство дало мальчику такую характеристику: «Любит порядок и опрятность. Весьма благонравен, скромен и вежлив. В обращении столь нежен и благороден, что за все время нахождения в Лицее ни разу не провинился. Но осторожность и боязливость препятствует ему быть совершенно открытым и свободным» *(1812).*

Какая противоположность, и по характеру, и по воспитанию, с шаловливым, нерасчетливым, страстным, буйным Пушкиным, который к тому же щеголял юношеским фривольным безбожием. Возможно, что именно кощунственные шутки юного вольтерьянца навсегда отвратили набожного Корфа от гениального поэта. Тем более что божественную сущность поэзии Корф не понимал, не чувствовал. Его воспоминания писаны уже сановником, самолюбие которого досыта было напоено служебными успехами и почестями, но в них нет ни одного дружеского, ни одного примирительного слова о Пушкине. Застарелой, неутоленной злобой против умершего поэта дышит этот тяжелый, неприятный документ. Воспоминания Корфа дают возможность понять, каким Пушкин представлялся своим недоброжелателям и даже врагам, какие острые углы его характера вызвали враждебность. Ведь не только недостатки Пушкина, но вся его личность, его своеобразность, достоинства и достижения, наконец, творческая сила, из него исходящая, некоторых людей тяготили и раздражали.

Вот что писал Корф: «Между товарищами, кроме тех, которые сами писали стихи, искали его одобрения и протекции, он не пользовался особенной приязнью... Пушкин в Лицее решительно ничему не учился, но уже блистал своим дивным талантом... Он пугал начальников злым языком, и они смотрели сквозь пальцы на его эпикурейскую жизнь... Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погру-

женный в поэтические свои мечтания и с необузданными африканскими страстями, избалованный от детства похвалой и льстецами, Пушкин ни на школьной скамье, ни после в свете не имел ничего любезного, ни привлекательного в своем обращении... Пушкин не был способен к связной беседе, были только вспышки или рассеянное молчание... В Лицее он превосходил всех чувственностью... предавался распутству всех родов... непрерывная цепь вакханалий и оргий... Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже для высшей любви или истинной дружбы... В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств... Пушкин представлял тип самого грязного разврата...»

Очернив поэта, Корф точно вдруг вспоминает, что должно же было быть в Пушкине нечто, что подняло его на недосягаемую высоту, и прибавляет: «Единственная вещь, которой он дорожил в мире, — стихи, под которыми не стыдно подписать имя Пушкина. У него господствовали только две стихии — удовлетворение плотским страстям и поэзия. В обеих он ушел далеко».

«Вечером после классных бесед, когда прочие бывали или у директора, или в других семействах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами (лейб-гусарами) нараспашку. Любимым его собеседником был гусар Каверин, один из самых лихих повес в полку».

На этом месте записок барона М. А. Корфа князь П. А. Вяземский сделал следующее примечание: «Был он вспыльчив, легко раздражен, это правда, но когда самолюбие его не было задето, был особенно любезен и привлекателен, что доказывается многочисленными приятелями... Ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата. Он не был монахом, а был грешен, как и все мы в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в его поэзии... В гусарском полку Пушкин не пировал только нараспашку, а сблизился с Чаадаевым, который вовсе не был гулякой. Не знаю, что было прежде, но со времени переезда Карамзиных в Царское Село Пушкин бывал у них ежедневно по вечерам. А дружба его с Иваном Пущиным?»

Не только у тех, кто не любил Пушкина, но иногда и в заметках приятелей о поэте, есть снисходительное недоумение, высокомерное пожимание плечами. От этого оттенка не свободны даже воспоминания И. И. Пущина, которого Пушкин так доверчиво называл: «Мой первый друг, мой друг бесценный, товарищ верный, друг прямой...»

«Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей, — писал И. И. Пущин. — Не то, чтобы он играл какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных, но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело к новым промахам, которые иногда не ускользают в школьных отношениях... В нем была смесь излишней смелости и застенчивости, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется тактом, это капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено и почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых столкновений повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем... Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось».

Самую яркую характеристику дал себе в шести строках сам Пушкин:

...Порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.

Глава VI

ГОЛОСА ЖИЗНИ

В Царском Селе Пушкин не был замкнут в узком школьном мире. В сады Лицея врывались голоса жизни, и лицеисты к ним прислушивались. Беспокойный дух творчества, владевший Пушкиным, заражал, усиливал брожение в умах его товарищей. Но и молодежь подобралась даровитая, а общенародный подъем обострял их даровитость. Россия переживала не только военное воодушевление: юношески свежее дыхание государственного созидания веяло во всех областях

народной жизни. Ярче всего проявлялось общенациональное напряжение в натурах более сильных, более впечатлительных, самой судьбой предназначенных, чтобы стать вожаками, прокладывать пути непроторенные.

Я. К. Грот, который поступил в Лицей в 1826 году, когда там еще «над всеми преданиями царило славное имя Пушкина», дает такую оценку Лицею: «Счастливый приют, где удаление от шума столицы, и красота местности, и стечение особых обстоятельств, и, наконец, славные современные события как бы нарочно соединились к тому, чтобы плодотворно направить образование гениального отрока и ускорить развитие его способностей... При оценке поэтического характера жизни I курса лицеистов нельзя упускать из виду и того живительного влияния, которое должны были производить на него славные события эпохи, которую переживала Россия при общем патриотическом чувстве и национальной гордости, одушевлявших все сословия».

Трудно было найти для «юношества, предназначенного к важным частям службы государственной», более подходящее помещение. Сквозь просторную красоту царского поместья воспринимали лицеисты пленительность русской северной природы, традиции и легенды минувшего века. Огромный дворец был выстроен с просторной пышностью XVIII века. Деревья, лужайки, цветы, статуи, голубое озеро, над которым белела Камеронова галерея, где матушка Екатерина в светлые летние ночи принимала гостей, русских и заморских, не забывая среди забав и отдыха дел государственных. Легенды о славных днях ее царствования, соблазнительные рассказы о любовных успехах Императора, и рядом тихое лицо Императрицы Елизаветы Алексеевны — все разжигало фантазию романтически настроенных лицеистов, живших так близко к царской семье. Был даже проект заставить их дежурить наравне с пажами. Но лицейское начальство побоялось, что суетность дворцовых церемоний вскружит юношам головы, отобьет всякое желание учиться, и отклонило эту честь.

Царя и его семью лицеисты встречали в церкви, в парке, на прогулках. Сплетни, слухи, все жужжанье дворцовой жизни со всех сторон просачивалось в Лицей. И царская семья знала лицеистов, хотя в Лицее Александр был только два раза — при открытии и в день выпуска. Барон М. А. Корф рассказывает:

«Он никогда не говорил с нами, ни в массе, ни с кем-нибудь порознь. Только летом 1816 и 1817 гг., когда певали у Энгельгарда на балконе, Государь подходил к садовой решетке и, облокотясь, слушал наше пение. Балкон был обтянут

парусиной, из-за которой Царя было не видно, но лицеисты по колыханию парусины догадывались, что он тут, и пели «Боже, Царя храни» по английской мелодии».

Лицеисты видели Царя в церкви, в парке, в Царском Селе, в торжественные дни на придворных празднествах. Императрица-мать по случаю возвращения державного сына из Парижа устроила 27 июля 1814 года в Павловске пышное торжество. Был поставлен балет на лугу, около Розового павильона. Талантливый декоратор и балетмейстер Гонзаго соорудил огромную декорацию Парижа и Монмартра с его ветряными мельницами. Императрица входила во все подробности празднества, даже сама редактировала написанные на этот случай стихи Вяземского, Батюшкова и Нелединского.

«Наш Агамемнон, миротворец Европы, низложитель Наполеона, сиял во всем величии, какое только доступно человеку» *(Корф)*. Его окружала ликующая толпа, золотая молодежь в аксельбантах и эполетах, только что возвратившаяся из Парижа со свежими лаврами. Лицеисты смотрели на балет из сада, на бал с галереи, окружавшей зал.

От дворца к бальному павильону были устроены довольно узкие триумфальные ворота. Над ними огромными буквами были выписаны заказанные на этот случай поэтессе А. Буниной стихи:

Тебя, текуща ныне с бою,
Врата победы не вместят.

Пушкин по этому случаю нарисовал карикатуру: потолстевший Александр старается пролезть сквозь триумфальные ворота и не может. Бросается свита и шашками прорубает ему дорогу. Карикатуры вышли очень похожие, и рисунок имел большой успех. Даже слишком большой, так как скоро начались розыски автора, которого не нашли. Карикатура долго хранилась у Е. А. Карамзиной.

Другую проказу своего неугомонного приятеля, на которую Государю пришлось обратить внимание, забавно описывает И. И. Пущин:

«Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в котором между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами Императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и кн. Волконская. У Валуевой была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встречаясь с ней в темных переходах коридора, и полюбезничать; она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду? Однажды

идем мы по коридору маленькими группами. Пушкин на беду был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается целовать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед нами сама кн. Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки. На другой день Государь приходит к Энгельгарду: «Что же это будет? Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей?»

Энгельгард постарался выручить Пушкина, говорил о его раскаянии. Государь смягчился и на первый раз простил. Потом, смеясь, прибавил: «La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous sois-dit»*.

Снисходительность к амурным проказам была тогда в моде. Человек строгих правил казался смешным. Волокитство считалось молодечеством. Любовные похождения и увлечения самого Императора ни для кого не были секретом. Не были они тайной и для лицеистов. Молодые глаза зорки на любовь, а плащ Дон-Жуана так шел к победоносному красавцу Государю.

Прекрасная! пускай восторгом насладится
В объятиях твоих российский полубог,
Что с участью твоей сравнится?
Весь мир у ног его — здесь у твоих он ног.
(1817)

Это Пушкин, уже перед самым выпуском, написал молоденькой баронессе Софье Вельо, с которой у Александра бывали тайные свидания в Баболовском дворце, стоявшем на самом отдаленном конце парка. За хорошенькой девушкой приударяли и лицеисты. Благосклонность к ней Императора придавала ей особую прелесть. Это было незадолго до выпуска, когда лицеисты были уже на студенческом положении. Их синие с золотым шитьем мундиры составляли одну из подробностей царскосельской жизни. По вечерам лицеисты толпились около гауптвахты, где играл военный оркестр. Военная музыка слилась для Пушкина с лицейскими воспоминаниями. Много лет спустя, в палатке под Эрзерумом, он набросал:

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает...
Звук привычный, звук живой,

---

*«Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря» *(фр.)*.

Сколь ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой...

(1829)

Вокруг Лицея били барабаны и развевались знамена, не только потому, что русский двор был военным двором с разводами, с караулами, с гвардией. Но с 1812—1815 годов Россия непрерывно воевала. 11 июня 1812 года Наполеон перешел Неман. Вторжение вражеской армии в пределы России, пожар Москвы, поражение и победа, напряженная борьба с могучим врагом — все будило национальное чувство. Письма, дневники, воспоминания современников, напитаны им. Подростки-лицеисты не могли не заразиться. П. В. Анненков, знавший участников и современников Отечественной войны, говорит:

«Народное чувство, волновавшее тогда Россию 1812 года, сообщилось и всему населению только что возникшего училища, от мала до велика. Войска, проходившие через Царское Село, должны были слышать воинственные крики лицеистов, приветствующих их из-за решетки своего сада. Вплоть до 1815 года библиотека Лицея полна была воспитанниками, узнававшими из газет и реляций судьбы и подвиги русских армий. Они толковали между собой и с профессорами, и на уроках о событиях, потрясавших Европу».

«Эффект войны 1812 года на лицеистов был необыкновенный, — говорит барон М. А. Корф в своей записке... — Весной и летом 1812 года почти ежедневно шли через Царское Село войска. Под осень нас самих стали собирать в поход. Явился Малыгин (царский портной) примерять нам китайчатые тулупы на овечьем меху. Лицей собирались перевести в Архангельск или в Петрозаводск, так как ждали французов и в Петербург».

«Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве, — вспоминал И. И. Пущин. — Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея, мы всегда были тут при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми. Усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестами. Не одна слеза была тут пролита... Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов. Читались напере-

рыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях, всему живо сочувствовалось у нас, опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и приучали следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное».

Много лет спустя эти полудетские патриотические переживания воскреснут в мозгу поэта чеканными стихами:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

(1836)

Вяземский, по свойствам своего скептического ума мало склонный к романтическим преувеличениям, писал: «От Царя до подданного, от полководца до последнего ратника, от помещика до смиренного поселянина, все без изъятия, вынесли на плечах своих и на духовном могуществе своем Россию из беды и подняли ее на высшую степень славы и народной доблести».

До восстания декабристов патриотизм, в который включалась любовь и личная преданность Государю, был основным, необходимым атрибутом всякого образованного русского. Раньше, вплоть до конца царствования Александра I, личность Царя стояла на Руси не только на верху пирамиды, но и в центре жизни. В Царе сосредоточивалась вся сила власти. Царь был живым воплощением государства, отчизны, средоточием национального бытия, его политическим и культурным проявлением. Вокруг царского престола собиралось, к нему стягивалось все, что было наиболее образованного, деятельного, творческого, все созидательные русские силы. Русские люди были действительно преданы Царю не только за долг, но и за совесть. Пленительная личность Александра превращала долг в непосредственный порыв.

Император Александр I по яркости и блеску был прямым наследником Петра и Екатерины. Другими приемами, в иных условиях, чем они, но с родственным им размахом, сумел он расширить, укрепить, прославить Российскую Державу. Он был в полном смысле слова обожаемым монархом. Молодой красавец с обворожительной улыбкой, взявший от XVIII века энциклопедизм, гуманизм, а также и приятную изысканность манер, русский Император умел и хотел пленять. История оплела его целой гирляндой событий, которые, сливаясь с

личностью Александра, усиливали для современников его очаровательность.

Когда он сменил на престоле своего полоумного отца, Павла Петровича, все обрадовались избавлению и сквозь пальцы смотрели на подробности переворота, на сына, не защитившего отца от убийц. Дней Александровых прекрасное начало заслонило кровавую расправу в Инженерном замке. Но в самой царской семье напоминали Царю о страшной мартовской ночи: вдовствующая Императрица-мать, над которой убитый Павел измывался, с которою он в последние месяцы жизни чуть не развелся, которая далеко не была неутешной вдовой, в Павловском дворце, в комнате, через которую должен был проходить Александр, чтобы попасть в кабинет матери, устроила своеобразный музей реликвий. На стуле висел мундир убитого Императора. Рядом стояла походная кровать, с которой в роковую ночь его подняли заговорщики. Под одеялом, на матрасе, еще темнели пятна крови.

Но об этой жуткой комнате знали только немногие приближенные. В государственных делах, на людях, все казалось светлым.

Пылкий геттингенский студент А. И. Тургенев писал в дневнике: «Еще радостнее для меня свобода духа, не стесняемая цензурой. Всем дозволено рассуждать, хотя бы то было о тайной канцелярии. Никто не боится ни хвалить, когда надобно, Государя, но всякий охотно ищет к тому удобного случая — и, кажется, что писателям нашим приятно произносить имя Александр» *(1803)*.

Молодежь гордилась молодым Императором, следила за его реформами, верила, что Россия пойдет новыми путями. Потом начались войны, конгрессы, борьба с великим гипнотизером Наполеоном, горечь Аустерлица, боль Москвы, ряд головокружительных успехов, народы у ног Александра. Россия вдруг превратилась из полусказочного, полуазиатского царства в сильнейшую из европейских держав. И в центре всего, чем в течение 20 лет кипела Европа, — имя Александра, Императора Всероссийского, победителя Наполеона.

И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобожденью от рабских уз рукой,
И власть мятежная исчезла пред тобой!

Так пел еще юношеским, ломающимся, но уже звучным голосом 16-летний Пушкин, когда Государь 2 декабря 1815 года вернулся из Парижа.

Какими только хвалебными эпитетами, то льстивыми, то искренними не осыпали тогда Александра: Агамемнон, Бла-

гословенный, России божество, Царь Царей. Но все эти хвалители и льстецы не могли понять сложную, мучительную натуру Царя, всю состоявшую из противоречий.

Он жаждал истины и не умел быть искренним. Питал отвращение к насилию и вступил на престол, перешагнув через изуродованный труп отца. Был одним из первых идеологов пацифизма и десять лет водил по Европе свои войска, то побежденные, то победоносные. Мечтал о всенародном просвещении и еще от царственной бабки своей воспринял правило: «Будьте мягки, человеколюбивы, сострадательны и либеральны», а под конец жизни сдружился с Аракчеевым.

Подданным и современникам осталась недоступна, непонятна его внутренняя жизнь, богатая и надломленная, глубокая и трагическая.

Фигура Александра не могла не привлекать воображение Пушкина. Вечно деятельный ум Пушкина (его слова о Петре) много раз возвращался, снова и снова взвешивал и вникал в этот сложный характер, с двойным упорством психолога и художника, отыскивая для него все более точную формулу. В Лицее Пушкин еще был во власти ходячих определений.

Потом пришла длительная полоса критики, отрицания, насмешки, сквозь которую мелькало иное чувство. Почти накануне смерти Александра, 19 октября 1825 года, ссыльный Пушкин писал в Михайловском:

Ура, наш Царь! Так выпьем за Царя.
Он человек, им властвует мгновенье,
Он раб молвы, сомнений и страстей,
Но так и быть, простим ему гоненье,
Он взял Париж и создал наш Лицей».
(1825)

Спустя четыре года Пушкин где-то на Кавказе наткнулся на мраморный бюст Александра и написал к нему эпитафию:

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен,
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.
(1829)

Опять проходят годы. Жизни и мысли, как волны морские, бьются о душу поэта. Опять в день 19 октября вспоминает он Царя, но уже плавными, благосклонными строфами:

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздался.
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните — как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг.
(1836)

Глава VII

СТРАСТЕЙ ВОЛНЕНЬЕ

Влюбчивость пробудилась в Пушкине так же рано, как и сочинительство. Тут был не только его так называемый «африканский темперамент». Вся обстановка жизни плохо ограждала детское воображение, пробужденное сладострастием французской поэзии и нескромной болтовней взрослых. Дядюшка Василий Львович был неприятно поражен, что Сашка, еще до поступления в Лицей, знал его «Опасного соседа». Но гораздо сильнее, чем эта грубая, шутливая поэмка, могла повлиять на мальчика самая жизнь дядюшки. Когда летом 1811 года они приехали в Петербург и остановились в доме сановитого и важного поэта И. И. Дмитриева, В. Л. Пушкин привез с собой не только одиннадцатилетнего племянника, будущего лицеиста, но и свою молоденькую сожительницу, Анну Николаевну. Неизменный ветреник, неугомонный куплетист и салонный литератор поручил ей надзор за мальчиком. «Часто в его (Василия Львовича) отсутствие мы оставались с Анной Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубливала, случалось, что и побранит, когда мы надоедим ей нашими ранновременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтобы наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами побалагурить, поговорить, а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностью и некоторой свободой в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило и до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди» *(И. И. Пущин)*.

Фамильярность с молодой любовницей пожилого дядюшки была прощальным отголоском московской детской жизни, где крепостная женская прислуга являлась непрестанным соблазном для барчат. Лицей поставил преграду рано проснувшимся чувственным желаниям поэта, ввел несложившийся характер в рамки. Лицеисты кипели литературным романтизмом, поэтизировали в стихах свои увлечения каждым хорошеньким личиком.

Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.
Владея чувствами, умом,
Она сияла совершенством,
Пред ней я таял в тишине:
Ее любовь казалась мне
Недосягаемым блаженством.
(«Евгений Онегин». 1826)

Пушкину было 15 лет, когда он пережил первую яркую влюбленность. 29 ноября 1815 года он записал в свой дневник:

Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!

«Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив, поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! — наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, — сладкая минута!..

Он пел любовь, но был печален глас,
Увы! он знал любви одну лишь муку.
(Жуковский)

Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов — ах! какое положенье, какая мука! Но я был счастлив 5 минут».

Е. П. Бакунина была сестра лицеиста, молоденькая, хорошенькая фрейлина, по которой сходил с ума весь первый курс. Ей посвящали стихи, в ее честь сообща сочиняли национальные песни и пели их хором. К этому времени Пушкин уже далеко опередил своего недавнего соперника в поэзии Илличевского. Они оба написали стихи, где просили живописца нарисовать портрет их красавицы. Тяжело двигаются слова у Илличевского:

Всечастно мысль тобой питая,
Хотелось мне в мечте
Тебя, пастушка дорогая,
Представить на холсте.

У Пушкина стремительно, легко, танцуя, бегут строчки:

Дитя харит и вдохновенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши...

Пущин тоже ухаживал за Бакуниной. Много лет спустя, вспоминая в Михайловском веселые дни Лицея, Пушкин в одном из черновиков написал:

...Как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз,
Как мы впервой все трое полюбили —
Наперсники, товарищи проказ.
(«19 октября». 1825)

Для «Северных Цветов» (1827) Пушкин эти строки выпустил.

В зиму 1815/16 года, когда хорошенькая Бакунина кружила головы лицеистам, стихи Пушкина отличаются не свойственным ему унынием, неудовлетворенностью, томлением.

Я знал любовь, но я не знал надежды,
Страдал один, в безмолвии любил...
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в увядшем сердце множит
Все горести несчастливой любви
И тяжкое безумие тревожит.
(«Желание». 1816)

Любовь, отрава наших дней,
Беги с толпой обманчивых мечтаний,
Не сожигай души моей,
Огонь мучительных желаний.
(«Элегия». 1816)

Любовь одна — веселье жизни хладной,
Любовь одна — мучение сердец:
Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.
(1816)

И, наконец, уже голосом Ленского пропоет он, прощаясь с печально-светлой юношеской влюбленностью:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали...
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?
(1816)

Задолго до Чайковского русские барышни, сидя за клавикордами, будут распевать эту томную любовную элегию.

Ни Бакунина, ни Наталья Кочубей, в замужестве гр. Н. В. Строганова, о которой М. А. Корф писал: «Едва ли не

она (а не Бакунина) была первым предметом любви Пушкина», не зародили в нем сколько-нибудь длительного чувства. Это была влюбленность в любовь, потребность найти предмет для юношеского романтизма. По натуре своей и бурной и трезвой, Пушкин мало был склонен к модным длительным, а главное, безнадежным воздыханьям. В. А. Жуковский, как влюбился в 14-летнюю Машу Протасову, так на целых десять лет наполнил и свое сердце, и свои стихи сладостной печалью, воспеванием неудачной любви.

Пушкин на это был не способен. Он был не томный вздыхатель, не рыцарь бедный, а прирожденный донжуан. И если его стихи в 1816 году полны уныния, то как ни мила была Бакунина и в черном платье, и в светлых вечерних нарядах, но вряд ли только от нее ложились тени на мятежную душу поэта. Обычно любовь не ослабляла, а питала его творчество. Скорее его томила переходная полоса, когда, уняв веселых мыслей шум, он остановился в раздумье, проверяя звучавшие в нем голоса. Не случайно 1816 год, количественно богатый — за этот год написано 40 стихотворений и 9 эпиграмм, — по содержанию, по поэтическому развитию беднее других.

Всегда строгий к себе, Пушкин настолько был не удовлетворен своей работой 1816 года, что для первого собрания своих стихотворений (1826) выбрал из них только четыре. При этом одно, А. А. Шишкову, полно своеобразной усмешки над собой, над своей Музой:

> По доброте души я верил в упоенье
> Мечте, шепнувшей: ты поэт, —
> . . . .
> Угодник Бахуса, я, трезвый меж друзьями,
> Бывало, пел вино водяными стихами;
> Мечтательных Дорид и славил и бранил...
> Но долго ли меня лелеял Аполлон?
> Душе наскучили парнасские забавы;
> Не долго снились мне мечтанья муз и славы.
> *(«А. А. Шишкову». 1816)*

Это похоже на кокетство. Однако десять лет спустя Пушкин внес эти стихи в тщательно подобранный им сборник. Значит, была в них какая-то для него ценная подлинность.

Как раз в 1816 году в жизни лицеистов произошла большая перемена. Новый директор Энгельгард разрешил им ходить в гости. Кончилась их замкнутость, и сразу у лицеистов завелось много знакомых. Веселый, общительный Пушкин стал бывать у Карамзиных, у гусарских офицеров. Вначале бывал он и на вечерах у Энгельгарда, у которого лицеисты собира-

лись каждую субботу. Но Пушкин недолго был его гостем. Гаевский, лично знавший первокурсников, рассказывает, что в семье Энгельгарда жила молодая вдова, Мария Смит: «Весьма миловидная, любезная, остроумная, она умела оживлять и соединять собиравшееся у Энгельгарда общество. Пушкин, который немедленно начал ухаживать за нею, посвятил ей довольно нескромное послание «К молодой вдове». Но вдова, не успевшая забыть мужа и готовившаяся быть матерью, обиделась, показала стихотворение своего вздыхателя Энгельгарду, и это обстоятельство было главною причиною неприязненных отношений между ними, продолжавшихся до конца курса».

Послание «К молодой вдове», написанное в духе Парни, действительно могло своей вольностью («наслажденьем утомленный... когда вкушаю быстрый обморок любви...») молодую женщину обидеть, а хозяина дома взбесить. Пушкин никогда не отдавал его в печать.

Бывал Пушкин еще в доме учителя пения и музыки, приветливого, образованного и оригинального барона Теппера де Фергюсона. У него по воскресеньям собиралась молодежь потанцевать, попеть, подурачиться, поухаживать за барышнями. Устраивались литературные состязания, на которых Пушкин был всегда первым. Он уже мастер был ухаживать, уже вызывал ревнивое удивление товарищей своим даром привлекать женское внимание.

Можно с уверенностью сказать, что в этот последний свой год в Лицее Пушкин от романтических мечтаний о Вакхе и Дориде перешел к подлинным кутежам, от платонической влюбленности к «безумству бешеных желаний». Об этом говорят откровенно его стихи. «Письмо к Лиде» (1817) писано не робким обожателем недоступной красоты, а нетерпеливым и счастливым любовником. Это не точно датированная, но яркая биографическая отметка в его любовной жизни. Стихи любопытные и для его творческой биографии. По началу они сходны со стихами Парни «Dès que la nuit sur nous demeure»*. В издании П. В. Анненкова они даже отмечены как перевод, хотя и с указанием «по энергии стиха перевод кажется выше подлинника». Тут сказался упрямый, уцелевший до недавнего времени литературный предрассудок, согласно которому Пушкин долго оставался подражателем Парни, хотя на самом деле он был больше читатель его, чем ученик. «Письмо к Лиде» один из многих примеров того, насколько любовная лирика Пушкина сильнее и проще, стремительнее и заразительнее стихов французского поэта.

---

* «Покуда ночь над нами замерла» *(фр.)*.

По скорой поступи моей,
По сладострастному молчанью,
По смелым, трепетным рукам,
По воспаленному дыханью
И жарким, ласковым устам,
Узнай любовника...

(1817)

У Парни этого нет. Да и вообще нет у него этого быстрого биения влюбленной крови.

К концу лицейской жизни голос Пушкина уже раздавался далеко за пределами Царского Села. Сладострастный ритм его стихов одних волновал, других задевал. Он скупо отдавал в печать, но стихи его повторялись, переписывались, заучивались наизусть, и не только в Лицее. Его читали сочинители, офицерство, вообще образованные верхи. Особенно военная молодежь. В те времена гвардия не была отделена от литераторов стеной обоюдных предрассудков. Это была одна среда, с общими корнями в дворянском, помещичьем классе, с общими интересами и идеалами.

«Блестящее сословие гвардейских офицеров давало тогда свой тон и окраску всему молодому поколению, не исключая и тех лиц, которые по роду службы и призвания к нему не принадлежали. Это сословие создавало свой собственный тон изящества и благородства, казавшийся непогрешимым идеалом для целого поколения» *(П. В. Анненков)*.

Гвардия соединяла в себе ореол победителей с заразительным пафосом либерализма. Наши гусары, уланы, иногда даже казаки, взяв Париж, сменили недавнее увлечение военным гением Наполеона увлечением политикой. Лекции Бенжамена Констана о конституции, о правах гражданина и человека, о равенстве, свободе и братстве точно открыли перед ним новый мир. Весь строй европейской жизни опьянил любомудрых, любознательных помещичьих детей. Насыщенные новыми политическими идеями и впечатлениями, вернулись они в Россию, в страну рабов, в страну господ. Резкий контраст не мог не вызвать резкой вспышки.

Но, когда Пушкин еще в Лицее познакомился с гвардейской интеллигенцией, откуда позже должны были выйти заговорщики Союза Благоденствия, их политические увлечения были в периоде прекраснодушных мечтаний, не требовали от них жертв, не мешали им жить и веселиться.

Это соединение умственного кипения с кипением страстей, с буйными кутежами бросалось в голову крепче вина. Но и вина бывало выпито немало.

Давайте жить и веселиться,
Давайте жизнию играть...

Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и вине...
(1817)

Для разгула и проказ Пушкина и его друзей нет строгих календарных перегородок. Это началось, когда еще в садах Лицея первокурсники превратились из детей в юношей, а кончилось... Ну это нелегко сказать, когда Пушкин перестал быть повесой, перестал дурачиться. Во всяком случае, еще в Лицее Пушкин писал:

Я знаю, что страстей волненья
И шалости, и заблужденья
Пристали наших дней блистательной весне.
(1817)

Это великолепные строчки из стихотворного извинения, которое он вынужден был послать бывшему геттингенскому студенту, гусару П. П. Каверину (1794—1855). «Каверин, в том и в другом звании, был известен проказами своими и скифскою жаждою, но был он в свое время известен и благородством характера и любезным обхождением» (Вяземский). Каверин был едва ли не первый (если не считать профессоров) человек «с душою прямо Геттингенской», с которым Пушкин дружил, хотя с ним же чуть не подрался на дуэли из-за шуточной «Молитвы лейб-гусарских офицеров». Сохранился записанный Гаевским и повторенный даже Л. Майковым в комментариях к академическому изданию рассказ:

«На дежурстве гусара, графа Завадовского, Пушкин написал шуточные стихи на гусарских офицеров; оброненная бумажка с этими стихами была поднята гусаром Пашковым, который обиделся на насмешку против него и обещал «поколотить» Пушкина; но Завадовский принял вину на себя, вследствие чего у него произошла ссора с Пашковым, грозившая кончиться дуэлью. Но командир гвардейского корпуса И. В. Васильчиков принял меры к примиренью поссорившихся, что ему и удалось. В числе обидившихся на Пушкина был Каверин...»

«Молитву лейб-гусарских офицеров», о которой идет речь, Л. Майков не внес в академическое издание, так как до сих пор не установлено, что ее написал Пушкин. Хотя молитва полна похожих на него метких эпитетов. Когда история разгорелась, поэту пришлось, как Орфею, лирными звуками смягчать разгневанные сердца. Это дало повод 17-летнему Пушкину в 27 строках дать блестящую апологию молодой буйной радости жизни. Не себя он оправдывал, а в увлекательном ритме, в пленительных стихах украсил, убрал гир-

ляндами повседневное, многим досаждавшее, повесничество золотой молодежи. Уже с тех пор был он выразителем настроений, заблуждений и страстей своего поколения.

Стихи к Каверину Пушкин напечатал только в 1828 году. До тех пор они ходили по рукам, в многочисленных списках и вариантах. Для печати он переработал и сжал первоначальный текст, из 27 строк оставил только 16. В первой редакции было:

...Что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть.
(1817)

В позднейшей переделке:

...Что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.
(1829)

Пушкин совсем выкинул строки, так ярко характеризующие его настроение в Лицее и в ближайшие после выпуска годы:

Я знаю, что страстей волненья
И шалости, и заблужденья
Пристали наших дней блистательной весне.
(1817)

В этой блестящей толпе военной молодежи Пушкин встретился с Чаадаевым, влияние которого оставило резкий след на умственном развитии поэта.

Биограф Чаадаева, арзамасец М. И. Жихарев, рассказывает: «Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском Селе между офицерами полка и воспитанниками недавно открытого Царскосельского Лицея, образовались непрестанные, ежедневные и очень веселые отношения... Воспитанники поминутно пропадали в садах державного жилища, промежду его живыми зеркальными водами, в тенистых вековых аллеях. Шумные скитания щеголеватой, утонченной, богатой самыми драгоценными надеждами молодежи очень скоро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатичного благоволения охарактеризования. Юных разгульных любомудрецов он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками». Прозвание было принято с боль-

шим удовольствием, но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько тот, кому впоследствии было суждено сделаться национальным сокровищем, лучшею гордостью и лучезарным украшением России».

Глава VIII

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЛИЯНИЯ

Литературные вкусы лицеистов, включая Пушкина, в значительной степени складывались под влиянием кипевших тогда споров между двумя писательскими лагерями. С одной стороны, были староверы, славянороссы, Шишковисты, с другой стороны, литературные новаторы, сплотившиеся вокруг Карамзина. В конце 1815 года они назовут себя Арзамасцами, но шпаги скрестились гораздо раньше, чем была найдена кличка.

В течение всего XVIII века русские брали от иностранцев обычаи, понятия, слова, часто не успевая все это переварить. Этот процесс денационализации не России, конечно, а ее тонкого, верхнего, дворянского слоя, приостановился при Екатерине, отчасти при ее содействии. Немецкая принцесса, шутя просившая доктора выпустить из нее всю немецкую кровь, Екатерина, став русской Царицей, хотела, чтобы все кругом было русским. В «Былях и Небылицах», которые она печатала в 1783 году в «Собеседнике любителей русского слова», она требовала: «Если пишешь по-русски, думай по-русски и слова клади ясные». Это уже было Арзамасское требование. Писательские способности самой Императрицы были недостаточны, чтобы повернуть русскую литературу на новый путь. Но чутье у нее было верное. В ее царствование одним из первых стал писать по-русски Карамзин. Его повести и стихи кажутся теперь вычурными и сладкими, но для современных читателей это была литературная революция. Одни восторгались, другие возмущались тем, что считали недопустимым опрощением, вульгаризацией словесности.

В 1803 году вышла в Петербурге без имени автора книга: «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Сочинители, против которых она была направлена, знали, что писал ее адмирал А. С. Шишков (1753—1841). Высмеивая новые литературные течения, он выставлял в противовес им свою теорию слога, стараясь примирить преданья угасающего псевдоклассицизма с новыми националистическими, славянофильскими потребностями. А. С. Шишков различал три слога: высший, средний и низший и, сообразно этому, и слова

делил на три группы. Высокий стиль должен состоять из «красноречивого смешения словенского величавого слога с простыми, российскими, свойственными языку нашему, оборотами речей». Чтобы научиться такому слогу, надо внимательно читать Св. Писание и Четьи-Минеи. «Милую Орлеанскую Девку полезно променять на скучный Пролог, на непонятный Нестеров Летописец», — насмешливо писал Шишков, намекая на всеобщее увлечение вольтеровской «Орлеанской Девственницей».

Двадцать лет спустя Пушкин тоже будет указывать на Четьи-Минеи, как на ценный литературный источник. Но во времена Шишкова его противники смеялись даже над тем, над чем позже им смеяться не захочется. Будущий важный сановник и граф, а тогда просто молодой чиновник с литературными замашками, Д. Н. Блудов, острил: «И вот бледнеющий над Святцами Шишков».

Адмирал порой очень недурно высмеивал манерность нерусских оборотов у молодых писателей: «Сия отмена была именно следствием отклонительного желания его», — цитирует Шишков и спрашивает, почему тогда не сказать — «одевательное платье»? Он приводит фразу: «Когда настанет решительная точка времени», и спрашивает: «Почему не запятая и не вопросительный знак?»

Сам Шишков выражался ясно и обладал чутьем к слогу, к ритму. Цитируя стихи Ломоносова: «Ударил по щиту, звук грянул меж горами» — Шишков правильно указал: «В полустишии расстановка, какая в самой природе между ударом и отголоском».

Но он боялся новизны. Вокруг него шло неутомимое словотворчество, литературный язык неутомимо развивался, освобождался от тяжкого груза иностранщины. Шишкова это пугало, а не радовало. Такие слова, как «отборность», «безвкусность», «разумность», «животность», «творчество», казались ему непонятными новшествами. Теперь, когда часть их вошла в наш обиход, трудно понять охранительную тревогу Шишкова, который сам выдумывал слова, гораздо менее удачные. Он предлагал говорить не «изобиловать», а «угобзить», не «изнеженный», а «ветротленный», не «противоречия», а «любопрения» и т. д. В чрезвычайном собрании Российской Академии, где выбирали Карамзина (10 июля 1818 г.), Шишков предложил: «Приступить к избранию в действительные члены Академии на имеющиеся в оной упалыя места».

Карамзин, Жуковский и вся их школа, для выражения новых понятий, переводили корни иностранных слов на корни соответствующих русских слов. Шишков считал, что

это опрощает литературный язык, и, стараясь соблюсти степенность сановитой старины, обращался за словами к церковным книгам. Спасаясь от иноземщины, он впадал в славянщину, но к разговорной русской речи не прибегал.

В энергичном адмирале сидело писательское сознание силы и власти слова, но оно наводило его не только на литературные, но и на полицейские мысли. Его нелюбовь ко всему французскому была связана с отвращением к французской революции, к ее «духу свободы, страсти и безумия».

В 1815 году Шишкова сделали председателем Российской Академии. Он представил в Государственный Совет записку о цензуре, советуя поручить ее Академии. В записке указывалось, что если необходимо следить за поступками людскими, то тем более надо следить за книгами: «Слово, хитростью ума испещренное, ядовитее и опаснее змеи. Оно под различными видами — то угождением сладострастию, то остротою насмешки, то мнимою важностью мудрости, то сокровенностью мыслей, а иногда и самой темнотою и бестолковщиной, очаровывает и ослепляет неопытные умы. Лучше не иметь ни одной книги, нежели иметь 1000 худых».

Шишков был учредителем одного из первых в России литературных обществ — Беседы Любителей Русского Слова (1811). Председателем был Державин. «Собирались обыкновенно в его затейливом и уютном доме. Беседа имела свои частные и публичные заседания. Сии последние бывали по вечерам и отличались присутствием многих посторонних слушателей, допускаемых туда по билетам. Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор красивыми колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались уступами ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины Муз поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном». На заседаниях читались стихи, басни, драмы, статьи, «узаконялся язык» *(«Москвитянин», 1851, № 21).*

Другой современник оставил менее хвалебное описание: «Беседа имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах».

Это тоже пристрастное суждение, так как в некоторых членах Беседы отвращение к новизне совмещалось с подлинной любовью к литературе, к мыслям, но только не к вольномыслию. Умный, талантливый Державин искренно радовался каждому новому дарованию, росту русской поэзии. После одного из заседаний будущий Арзамасец Жихарев отметил в дневнике: «Державин не большой охотник до

грамматики, а просто поэт». Это признавал и враждебный Беседе лагерь. На Державине все сходились, но не певец Фелицы, а адмирал Шишков вел славянороссов в бой против Карамзинистов, со стороны которых одним из первых застрельщиком выступил В. Л. Пушкин.

Летом 1810 года он написал и усердно рассылал Послание, которое, хотя и не было напечатано, послужило сигналом для многолетней литературной войны. Стрельба шла эпиграммами, эпистолами, изредка комедиями. Для нас потеряна соль их острот. Нам скучно читать «Певца во стане Славяноросов» *(1813)* К. Н. Батюшкова или длинные послания Жуковского к князю П. А. Вяземскому и к В. Л. Пушкину *(1814)*, всю обильную стихотворную полемику той эпохи. Но современники ею жили. Это была их духовная пища. Они страстно негодовали, получая удары, так же страстно радовались, их отражая. Так велико было значение этих споров для немногочисленной тогдашней интеллигенции, что, несмотря на общий обеим сторонам подлинный патриотизм, даже грозные события военные, даже Москва, отданная французам, не остановили спорящих. Под грохот пушек, под лязганье подлинных сабель продолжали они затянувшийся словесный поединок, которого хватило и на следующие поколения. Только в 40-х годах он будет называться спором между славянофилами и западниками.

Карамзинисты сначала шли рассыпным строем. Их окончательно сплотила комедия кн. Шаховского «Липецкие Воды» *(1815)*, где автор жестоко вышутил кумира молодежи, Жуковского: «Страсти разгорелись. Около меня дерутся, и французские волнения забыты при шуме Парнасской бури», — писал по этому поводу Жуковский *(ноябрь, 1815 г.)*. Перчатку поднял Д. Н. Блудов, большой приятель Жуковского, и написал памфлет в стихах: «Видение в какой-то ограде», где высмеял шишковскую Беседу под именем Словесницы. В предисловии к «Видению» упоминается о «мирных литераторах Арзамаса».

«Общество друзей литературы, забытых фортуною и живущих вдали от столицы, собиралось по назначенным дням в одном Арзамасском трактире. Они никогда не ссорились, но часто спорили... Раз, услыхав в соседней комнате шипение и бормотание, они заглянули в щелку и увидали, что какой-то тучный человек мечется по комнате. Потом он впал в магнетический сон и прокричал реляцию о каком-то видении». Ему виделся старец (Шишков) в лучах из замерзлых сосулек, который стал вещать: «Дух твой не зависит от мыслей и дар твой не требует знаний и дар твой питается одним чувством

(в скобках было пояснено: злобой и завистью)... И хвали ироев русских и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России и будь для русской сцены бесславием и русский язык прославляй стихами не русскими... Омочи перо твое в желчи твоей и возненавидь кроткого юношу, дерзнувшего оскорбить тебя талантами и успехами... И представь не то, что в нем есть, но чего ты желал бы ему, и чтобы он казался глупцом, ты вложи в него ум свой и стихи его да завянут в руках твоих, как цветы от курения смрадного и заснет он спокойно, под шум ругательств твоих».

«Видение в какой-то ограде» сразу получило широкое рукописное распространение, хотя напечатано оно было только в 1899 году. Это один из многих примеров тогдашнего влияния рукописной литературы. Молодые писатели сразу объявили себя Арзамасцами, обрадовались, что нашли определение для давно накопленного содержания. Арзамасский Гусь стало почетным званием, своеобразным титулом этой своеобразной Академии. Шестьдесят лет спустя Вяземский писал П. Бартеневу: «Мы были уже Арзамасцами между собой, когда Арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства» *(1875)*.

Другой Арзамасец, гр. С. С. Уваров, так охарактеризовал «Арзамас» в своих воспоминаниях: «Это было общество молодых людей, связанных между собой одним живым чувством любви к родному языку, литературе, истории и собиравшихся вокруг Карамзина, которого они признавали путеводителем и вождем своим. Направление этого общества, или лучше сказать, этих приятельских бесед, было преимущественно критическое».

Как в большинстве памяток, писанных много лет спустя, в этой оценке, по существу справедливой, все-таки уже нет подлинного запаха жизни. Все это можно было бы сказать и о Беседе, подставив имя Карамзина вместо имени Державина. Чтобы услыхать шум, ритм современности, чтобы понять, какое значение имел в то время «Арзамас», надо заглянуть в письма и дневники 1815—1818 годов.

«Наша российская жизнь есть смерть, — в припадке хандры писал из Москвы Вяземский А. Тургеневу, — какая-то усыпительная мгла царствует в воздухе и мы дышим ничтожеством. Я приеду освежиться в Арзамасе и отдохнуть от смерти» *(22 января 1816 г.)*.

Той же зимой Карамзин, подавленный новой для него атмосферой двора, где уже чувствовалась тяжелая рука временщика Аракчеева, писал жене в Москву: «Здесь из мужчин всего любезнее для меня Арзамасцы: вот истинная русская

Академия, составленная из молодых людей умных и с талантом» *(28 февраля 1816 г.)*.

В своей книге «La Russie et les Russes*» суровый доктринер Н. И. Тургенев высокомерно осудил Арзамасцев главным образом за то, что они занимались литературой, а не политикой: «Я был далек от их литературных споров, потому что долго не был в России, да и вкусы мои влекли меня к предметам более серьезным». Но это писано 30 лет спустя, а пока был «Арзамас», Н. И. Тургенев писал Вяземскому: «Либеральные идеи у вас (в Варшаве) переводят законосвободными, а здесь их можно покуда называть Арзамасскими» *(1818)*. Так, один из самых влиятельных либералистов признавал свою идейную близость с этим молодым веселым кружком, который с самого начала был отмечен духом свободолюбия. Направляя к А. И. Тургеневу испанского эмигранта, графа Треска, Вяземский писал: «Политического кортеса поручаю благотворению Арзамасцев, то есть литературных кортесов» *(28 ноября 1816 г.)*.

Арзамасцы не серьезничали, но по-своему были серьезны. В противовес чинной Беседе, в «Арзамасе» царила непринужденность, равенство, веселье и шутки. Жуковский твердил, что: «Арзамасская критика должна ездить верхом на галиматье». А ведь он был не только секретарем «Арзамаса», но и следующим, после Карамзина, вождем литературной молодежи. Это не мешало ему быть главным зачинщиком Арзамасских проказ и церемоний: «Жуковский не только был гробовых дел мастер, как мы прозвали его, но шуточных и шутовских» *(Вяземский)*.

«Арзамас» вначале не имел устава. Заседания и прием новых членов обставлялись комическими церемониями. Посвящаемый в Гуси был обязан произнести надгробное слово над одним из живых покойников, то есть над одним из членов Академии или Беседы. Это называлось брать покойников напрокат. Для пламенного Арзамасца, В. Л. Пушкина, который нескладным своим видом и неисчерпаемым восторженным простодушием и добродушием подстрекал приятелей на зубоскальство, Жуковский придумал сложнейшую церемонию посвящения. Беднягу нарядили в хитон, обвешанный раковинами, в широкополую шляпу. Дали в руки посох и лук и велели пустить стрелу в чучело, изображавшее Дурной Вкус, или Шишкова.

Каждому Арзамасцу, помимо общего титула — Его Превосходительство Гений Арзамаса или Арзамасский Гусь — давалось прозвище, чаще всего взятое из баллад Жуковского.

---

* «Россия и русские» *(фр.)*.

Жуковского звали Светланой, Блудов назывался Кассандрой, Вяземский — Асмодей, Уваров — Старушка, В. Л. Пушкин — Вот и Староста, А. И. Тургенев — Эолова Арфа, за непрестанное бурчанье в животе и Две Огромные Руки, за страсть собирать книги и рукописи. Арзамасцы с гордостью носили свои клички, часто ими пользовались. Надо знать эти прозвища, чтобы разбираться в их переписке, как, чтобы понять дух и значительность «Арзамаса», нужно знать его личный состав. Из уцелевших отрывков речей, из длинного стихотворного протокола XX заседания (июнь 1817-го) этого не поймешь. Личные связи Арзамасцев превращали это литературное общество в тесную дружескую артель. Новые произведения Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, позже и самого Пушкина рассматривались с Арзамасской точки зрения. Когда Государь назначил Жуковскому пенсию, А. Тургенев восторженно писал Вяземскому: «Если Арзамасское твое сердце не выпрыгнет от радости из Арзамасской груди твоей или не выльется из нее в прекрасных Арзамасских стихах и не скажет спасибо Эоловой Арфе, которая поспешила добряцать до тебя эти Арзамасские звуки, то ты не Асмодей. Мы делаем у меня Арзамас и я председателем в первый и, вероятно, единственный раз» *(2 января 1817 г.)*.

А. И. Тургенев был постоянным ходатаем за всех писателей. Его прозвали — Арзамасский хлопотун. Он неутомимо устраивал служебные (тогда все служили) дела своих друзей, писателей. Это он устроил командировку Батюшкова в Неаполь. Когда Вяземский истомился своим московским бездельем, Тургенев устроил его на службу в Варшаву: «Вместе с двумя Арзамасцами ездил я, — пишет А. И. Тургенев, — на поклонение к новорожденному Арзамасцу Николаю (Карамзину) в город Сарское Село и там виделся и говорил с Новосильцевым, душой Арзамасцев, об Асмодее. К счастью, это было перед самым его докладом Государю — и дело в шляпе» *(17 августа 1817 г.)*.

Через две недели он сообщает о другой, еще более важной, победе, о назначении Светланы — Жуковского учителем к молодой В. К. Александре Федоровне. «Халдей (Шишков) хотел отбить у него это место, но Арзамасец Карамзин отстоял честь и славу Арзамаса и козни халдейские не удались» *(25 августа 1817 г.)*.

Пройдут года, разойдутся по разным дорогам Арзамасцы, но, встречаясь на разных рубежах жизни, по-прежнему найдут общность языка, будут обмениваться Арзамасскими приветствиями, при случае поддержат друг друга. Меткий Вяземский правильно окрестил «Арзамас» «братством». В ту юную пору

русской образованности, когда так трудно было находить собратьев по умственным интересам, сознание, что есть ряды, где можно стать плечом к плечу с единомышленниками, имело огромное значение. На всем пути развития русской словесности мы находим такие боевые содружества. Эти кружки порождали страстность, порой переходившую в пристрастность, но они же будили, обостряли, поддерживали интерес к мыслям, к литературе. Первый биограф Пушкина, Анненков, говорит: «Несколько подробностей об «Арзамасе» тем более необходимы здесь, что без них трудно понять, как деятельность нашей полемики между 1815 и 1825 годами, так и многое во взглядах, привязанностях и убеждениях самого Пушкина».

Лицеисты следили за Арзамасскими боями, по-своему участвовали в них и еще до открытия «Арзамаса» горели Арзамасскими страстями. В 1814 году в апрельской книге «Вестника Европы» было напечатано стихотворение «К другу стихотворцу». Читатели не знали, что за скромной подписью «Александр Н. к. ш. п.» спрятался 14-летний лицеист Александр Пушкин. Это первое из напечатанных стихотворений Пушкина и в то же время первый его очерк психологии писателя, его обязанностей, трудностей, радостей. Оно обращено не то к Кюхельбекеру, не то вообще к лицеистам, одержимым демоном метромании, и полно дидактических рассуждений о горькой писательской доле:

Довольно без тебя поэтов есть и будет;
Их напечатают — и целый свет забудет...
Потомков поздних дань поэтам справедлива;
На Пинде лавры есть, но есть там и крапива...
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо...
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон...

Несмотря на отроческую неуверенность и приподнятость, в стихотворении уже слышится голос будущего поэта и критика: «Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет... Хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштеину французов побеждать...» Дальше идет чисто Арзамасский выпад против староверов:

Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
И Фебова на них проклятия печать.

Под этими прозрачными кличками — такая была тогда мода — подразумеваются те литераторы Беседы, с которы-

ми Карамзинисты вели особенно яростные споры: Рифматов — князь С. А. Ширинский-Шихматов, Графов — граф Д. И. Хвостов, Бибрус — С. С. Бобров.

В лицейском дневнике Пушкина — дата не ясна, но это, вероятно, 1815 год — сейчас же вслед за многозначительной для юного поэта записью: «Жуковский дарит мне свои стихотворения», стоит: «28 ноября. Ш...ков и г-жа Бу...на увенчали недавно князя Шаховского лавровым венком; на этот случай сочинили очень остроумную пиесу, под названием: «Венчанье Шутовского». (Гимн на голос: de Bechamel!)

Вчера в торжественном венчаньи,
Творца затей,
Мы зрели полное собранье,
Беседы всей,
И все в один кричали строй:
Хвала, хвала тебе, о, Шутовской!
Хвала герой!
Хвала герой!

Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад;
В беседе добрый усыпитель,
Хлыстову брат.
И враг талантов записной...

В этой длинной коллективной песне лицеисты собрали обычные Арзамасские насмешки над Шаховским и Шишковым. Пушкин обычно принимал участие в сочинении этих лицейских песен. Но он и самостоятельные эпиграммы посвящал шишковистам. 10 декабря он записал в тот же дневник: «Третьего дня и хотел я начать ироическую поэму «Игорь и Ольга», а написал эпиграмму на Шах., Шихм. и Шишк., вот она:

Угрюмых тройка есть певцов:
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов!
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

Позже зрелый ум Пушкина пересмотрит эти полемические суждения, но в то время он еще брал на веру ходячие мнения. Между прочим, Ширинский-Шихматов написал в 1807 году поэму «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия». В лагере славяноросов поэма вызвала огромный энтузиазм. В одну из суббот ее читали у Державина. Молодой чиновник Коллегии иностранных дел, будущий Арзамасец, С. П. Жихарев, был изумлен, с каким воодушев-

лением обычно спокойный «седовласый старец» Шишков декламировал:

И род Романовых возвысив на престол,
Исторгли навсегда глубокий корень зол.
Два века протекли, как род сей достохвальный
Дарует счастие России беспечальной,
Распространил ее на север и на юг,
Величием ее исполнил земной круг,
Облек ее красой и силою державной
И в зависть мир привел ее судьбою славной.

Этой поэме, которую Арзамасцы беспощадно высмеивали, считая ее высокопарной риторикой, Пушкин посвятил эпиграмму:

Пожарский, Минин, Гермоген
Или спасенная Россия —
Слог дурен, темен, напыщен —
И тяжки словеса пустые.

Если правильно предположение, что эпиграмма писана в 1814 году, то приходится признать, что Пушкин с ранних лет был метким стрелком в литературных сражениях.

За последний год жизни в Лицее он мог набраться Арзамасского духа и от личного знакомства с главарями. В конце марта 1816 года Василий Львович, проезжая из Петербурга в Москву, вместе с приятелями своими, Карамзиным и Вяземским, остановился в Царском Селе и зашел в Лицей, чтобы показать им племянника, который к этому времени уже напечатал в «Вестнике Европы» и в «Российском Музеуме» 16 вещей, а написал их около 70.

Этого посещения в Лицее ждали. 20 марта Илличевский писал приятелю:

«Как же это ты пропустил случай видеть нашего Карамзина, бессмертного историографа отечества? Стыдно, братец. Мы надеемся, что он посетит наш Лицей, и надежда наша основана не на пустом: он знает Пушкина и им весьма много интересуется, он знает также и Малиновского. Признаться тебе, до самого вступления в Лицей я не видел ни одного писателя — но в Лицее видел Дмитриева, Державина, Жуковского, Бат-ова, Вас. Пушкина и Хвостова. Еще забыл Нелединского, Кутузова, Дашкова».

Скупой на похвалы Карамзин — племянника своего, Вяземского, он долго не признавал поэтом — обласкал Пушкина. «Приветливым меня вниманием ободрил». Василий Львович, который всегда отражал суждения своего кружка, писал из Москвы племяннику: «Вяземский тебя любит и писать к тебе будет. Николай Михайлович (Карамзин) в

начале мая отправляется в Сарское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем» *(17 апреля 1816 г.)*.

Пушкин, еще до получения письма от дядюшки, написал Вяземскому, напоминая ему его обещание прислать лицеистам свои стихи: «...Уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство; сами виноваты; зачем дразнить было несчастного Царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеной Демон бумагомарания».

В стихах и прозе жалуется он на то, что лицейское уединение ему надоело: «Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно. Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой Россиады, даже с присовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы Гр. Разумовской сократил время моего заточенья. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей Российского Слова. Но делать нечего,

Не всем быть можно в равной доле,
И жребий с жребием не схож.
(Вяземский)

От скуки часто пишу я стихи довольно скучные (а иногда и очень скучные), часто читаю стихотворения, которые их не лучше, недавно говел и исповедывался — все это вовсе не забавно. — Любезный Арзамасец! утешьте нас своими посланиями — и обещаю вам, если не вечное блаженство, то, по крайней мере, искреннюю благодарность всего Лицея...» *(27 марта 1816 г.)*.

Так в Лицее началось живое общение Пушкина с «Арзамасом», в члены которого он был принят только после выпуска. Но, и помимо «Арзамаса», даже до Лицея, его кудрявая голова была полна русской и французской поэзией. Он со слуха запоминал сразу две страницы стихов. И кого только он не читал: Ариост, Тасс, Виргилий, Гомер, чувствительный Гораций, Ванюша Лафонтен, Крылов, Дмитриев нежный, воспитанный Амуром Вержье, Парни с Грекуром, Озеров с Расином, Руссо с Карамзиным, с Мольером исполином, Фонвизин и Княжнин... Это его собственный перечень с мимоходом отмеченными, быстрыми эпитетами, которые дают понятие, как эти поэты отражались в его собственной душе.

Быстро пронесся книжный подражательный период. Можно без особого труда, даже с пользой для ума (всегда полезно пристально вчитаться в стихи Пушкина, вслушаться в них), разбить на группы все, что Пушкин писал в Лицее. Отдельно собрать эротические пьесы, писанные под влиянием Парни («Фавн и Пастушка», «Амур и Гименей», «Фиал Анакреона» и т. д.); во многих стихотворениях отыскать следы восхищения Вольтером, вольтерьянства. «Фернейский злой крикун, Поэт в поэтах первый... Отец Кандида, — Он все: везде велик Единственный старик» *(«Городок». 1814)*. Или: «О, Вольтер, о муж единственный... Будь теперь моею Музою» *(«Бова». 1815)*.

Нетрудно найти влияние античной поэзии в «Лицинии» *(1815)*, в «Торжестве Вакха», с которого так великолепно, так пророчески открывается 1817 год, действительно насыщенный для Пушкина дионисиевским началом. Но разве понять древнегреческий дифирамб и претворить его в новую певучесть русской речи значит подражать? Это скорее дар претворения, перевоплощения, открывающий перед художником тайны веков, народов и характеров. На давнее старание кропотливых словесников отколупнуть кусочки от пушкинского монолита, чтобы доказать, что и он состоит из мозаики, хорошо ответил мудрый пушкианец, Л. Майков:

«Пушкин даже в ранней юности не умел быть точным переводчиком, но очень рано обнаружил способность усваивать себе тон и характер чужих произведений — не путем внешнего подражания им, а проникновением в сущность чужой мысли, чужого чувства и фантазии. Таковы его юношеские любовные элегии, в которых так часто чувствуется влияние Парни и в то же время так редко можно указать прямое от него заимствование. Но Парни все-таки человек недалекого прошлого, и Пушкину легко было, так сказать, породниться с ним по самому свойству его душевного настроения. Гораздо труднее было молодому поэту усвоить себе особенности античной поэзии».

Лицейские стихи говорят о знании не только французских, но и русских поэтов. Творчество Пушкина тесно связано с непосредственными его русскими предшественниками, с теми писателями, которые еще в 80-х годах XVIII века начали освобождаться от иноземного влияния, стремились в русских стихах, в русской прозе выразить быстрый рост государственных и народных сил России. Гений Пушкина углубил и раздвинул эту работу предыдущих поколений.

Пушкин, даже в заносчивые года юности, отдавал дань чужим заслугам и дарованиям. Лицейские стихи полны отзву-

ками его увлечения родными поэтами. Московский профессор русской словесности, С. П. Шевырев, вспоминая о Пушкине, писал: «Весь Парнас русский, начиная от Ломоносова до непосредственных предшественников Пушкина, участвовали в его образовании. Он есть общий питомец всех славных писателей русских и он достойный и полный результат в прекрасных формах языка отечественного. Сознание этих отношений своих к русскому Парнасу и благодарную память предания Пушкин выразил в стихотворении, благородно венчающем его могучую юность и свидетельствующем раннюю зрелость его гения. Это послание Пушкина к непосредственному его учителю Жуковскому, начинающееся словами: «Благослови, поэт» *(Шевырев. «Москвитянин». 1841).*

Поступая в Лицей, Пушкин, как и Дельвиг, ужс знал Державина наизусть. Они видели в Державине и Ломоносове первоисточники русской поэзии. Они любили торжественный, полнозвучный стих того, кого Пушкин назовет «Царей певец избранный, крылатым гением венчанный». *(«К Жуковскому». 1817).* Но прямое воздействие на его стихи оказали не столько Державин, сколько Карамзин, Жуковский, Батюшков. Именно воздействие, влияние. Белинский это хорошо сказал: «Кто может химически разложить воду Волги, найти в ней Оку или Каму? Муза Пушкина приняла произведения предшествующих поэтов и возвратила их миру в новом преображенном виде... В Жуковском, как и в Державине, нет Пушкина, но и весь Жуковский, как и весь Державин, в Пушкине».

Если прислушаться к юношеской поэзии Пушкина, в ней можно найти чужие отрывочные фразы, строчки, слова. Жуковский послал Батюшкову «в подарок пук стихов» *(1812).* Пушкин послал сестре «в подарок пук стихов» *(1814).* Василий Львович Пушкин в послании к Жуковскому пишет: «Я вижу весь собор безграмотных славян» *(1811).* Его племянник, тожс в письме к Жуковскому, переделал: «Спесивых риторов безграмотный собор» *(1817).* Таких строк немного, и в них не столько подражания, сколько отражения крылатых, повторных словечек, которыми обмениваются быстро думающие люди, особенно в эпоху двух борющихся течений.

«Лицейские стихи Пушкина показывают, что он был сперва счастливым учеником Жуковского и Батюшкова, прежде чем явился самостоятельным мастером» *(Белинский).*

Умный и тонкий исследователь русской литературы, Я. К. Грот, также указывал на эту поэтическую преемственность:

«Пушкин нашел русский поэтический язык уже значительно обработанным в стихах Жуковского и Батюшкова, но

Пушкин придал ему еще большую свободу, простоту, естественность, более и более сближая его с языком народным».

Из всех предшествующих Пушкину русских поэтов ближе всего был ему Батюшков. У Пушкина — это он сам признавал — была созвучность с батюшковским стихом. Несмотря на то, что Пушкин был оптимист, а Батюшков пессимист, есть что-то родственное в их восприятии мировой гармонии, в их оркестровке, в их ритме. Не случайно начинающий Пушкин с первым своим стихотворным посланием обратился именно к Батюшкову. Из всех старших поэтов он был по настроению, по содержанию, по силе песенного звука ближе всего Пушкину, да и другим лицеистам. Они знали наизусть стихи «Парни Российского», как Пушкин с недетской меткостью назвал Батюшкова, скучали, если долго не находили его новых стихов в журналах. Об этом лестном читательском нетерпении говорит первое послание Пушкина Батюшкову *(1814 г.):*

Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых Аонид...
Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?

Любовная лирика Батюшкова отвечала настроению лицеистов. Его страстные песни нравились больше, чем меланхолическая влюбленность Жуковского. Лицеисты увлекались насыщенными сдержанным сладострастием переводами из Парни, которого так любил Батюшков. В воображении юных читателей голубоглазая, златокудрая Лилета, воспетая Батюшковым, дышала живым соблазном. Подражая ему, Дельвиг и Пушкин, еще не зная женской любви, уже пели мечтательных Дорид и Лилет. В первом послании Пушкина к Батюшкову, неемотря на робость, на незрелость мысли, уже есть строчки, где мысль сжата в двух-трех словах: «Певцу любви — любовь награда... Но, упоен любовью страстной, и нежных Муз не забывай... Поэт, в твоей предметы воле... Всё, всё дозволено поэту...»

Через год Пушкин написал второе послание к Батюшкову *(1815)*. За этот богатый событиями год Пушкин познал сладость вдохновения, соблазн славы, триумф публичного экзамена, одобрение старших сочинителей. После «Лициния» изменилось отношение семьи к непокорному Сашке. Так радостно было ощущение собственного роста, веселой жизни шум, так плавно, так легко превращавшийся в звучные пленительные строфы. Менялся Пушкин, превращаясь из

школьника в поэта. Менялось его место среди людей. Появилось сознание своей поэтической независимости.

Батюшков, который пробыл в Петербурге с июля 1814 года по февраль 1815-го, и за это время познакомился в Царском Селе с Пушкиным, пробовал направить его на более важные темы.

Сидя за школьной оградой, лицеисты не знали, какая глубокая, потрясающая перемена произошла с певцом Лилеты. В начале 1812 года Жуковский, обеспокоенный бурными кутежами Батюшкова, мягко, дружески поучал его:

«Отвергни сладострастья погибельны мечты... Отринь их, разорви Лаис коварных узы, друзья стыдливых Музы... Любовь есть неба дар. Душа, земное отвергая, небесного полна».

Это нерифмованная холодная дидактика. Жуковский в этих стихах выразил собственный томительный романтический опыт.

Но Батюшков еще не изжил тревог и бурь молодых страстей. Его заставили оторваться от наслаждений не увещания друга, а тяжкие раскаты исторических событий. Его разбудили голоса, звучащие не любовью, а ненавистью. Не сразу ощутил он грозный смысл этих лет. Из Нижнего Новгорода, куда он попал осенью 1812 года вместе с другими москвичами, бежавшими от Наполеона, Батюшков еще шутливо писал Вяземскому в Вологду: «Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына. Книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и насилу мог вчера прочитать Архаровым басню о соловье. Вот, до чего он и мы дожили! У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба... Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: point de paix*» *(конец сентября)*.

Но события втянули любимца Харит в свой круговорот. Весь 1813 и 1814 год он провел в походах по Европе, состоял при генерале Н. Н. Раевском, не раз участвовал в битвах, включая битву под Лейпцигом, вступил вместе с русскими войсками в Париж, побывал в Англии, в Швейцарии. Все это совершенно изменило его, придало его мыслям новую серьезность и глубину. Хотя еще из Парижа он писал Н. В. Дашкову: «А ножка, милый друг, она Харит создание (Кипридиных подруг). Для ножки сей, о, вечны боги, усейте розами дороги, иль пухом лебедей» *(1814)*. Но в этом восторге перед женскими ножками (тоже сходство с Пушкиным) допевались по-

---

*Никакого мира *(фр.)*.

следние отголоски прежней его языческой радости. Другие образы вошли в душу поэта, овладели и омрачили ее. Батюшков вырвался из заколдованного круга любовных забав. В ответ на просьбу своего друга Д. В. Дашкова «петь любовь и радость, беспечность, счастье и покой» *(1813),* Батюшков пишет с новой для него, суровой, торжественностью:

Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!..
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость...
(1813)

За эти годы смерть стала для него близкой, ощутимой, овладела его воображением. И дрогнула хрупкая, впечатлительная душа Батюшкова. Ушла разгульная беспечность. То новое, что светилось в его глазах, звучало в его словах, было чуждо, непонятно Пушкину. Почуяв в юноше могучее дыхание великого таланта, Батюшков пытался оторвать его от беспечного эпикурейства, хотел, если не заразить его своими трагическими ощущениями, то хотя бы распахнуть двери в более широкий мир, еще гудевший раскатами недавних войн. Вот как Пушкин, с ранних лет точный, передает советы старшего поэта:

Ты хочешь, чтобы славы
Стезею полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

Он не послушался этих советов. Войны он не видал. Для Пушкина-лицеиста море зла, груды тел, пожары и стоны матерей — только риторика. Для него война — это стройные ряды солдат, выступающих с развернутыми знаменами, это триумфальные арки, звучные оды, Царь Царей, молодецкие рассказы о победах.

Так и не вышло ничего из личных встреч Батюшкова и Пушкина. Они скорее их отдалили, чем сблизили. Поэтам, оказалось, легче говорить, понимать друг друга на языке

богов, чем при житейском прозаическом общении. Точно заглянули они друг другу в глаза и не нашли там того, что ждали. Батюшков и по внешности не был похож на поэтического юношу «с венком из роз душистых, меж кудрей вьющихся златых», каким он представлялся Пушкину. Не резвостью, а печалью светились его глаза, которые тщетно искали в голубых, радостно горящих глазах Пушкина отблеска ранней мудрости. Она пришла, когда перебродил первый хмель молодости. Но тогда потерявший рассудок Батюшков был уже заживо мертв.

Л. Майков, определяя сильное, но рано окончившееся влияние старшего поэта на младшего, говорит: «Один из первых, на ком сказалось литературное влияние Батюшкова еще до издания его «Опытов» *(1817)*, был гениальный юноша, который воспитывался в ту пору в Царском Лицее, самые ранние стихотворения Пушкина, относящиеся к 1812—1815 годам, отзываются подражанием Батюшкову».

Сам Пушкин находил отблески этого родственного ему дарования даже в своих позднейших стихах. В 1828 году в расцвете славы, вписывая в альбом незначительного литератора (Иванчина-Писарева) свои стихи «Муза» *(1821)*, он сказал: «Я люблю их, они отзывают стихами Батюшкова».

И еще позже написал: «Батюшков, счастливый соперник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянцев».

Глава IX

СТИХИ

Трудно определить, когда это началось с Пушкиным или когда этого не было с ним, когда впервые зазвучали в нем, вокруг него, через него таинственные голоса, отзвуки которых до сих пор поют в русской душе.

Пущин смутно помнил, как не то в 1811 году, не то в начале 1812 года Кошанский задал им задачу описать розу стихами: «Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которые нас всех восхитили». Если Пущин не сбился в дате, то это стихотворение до нас не дошло. Среди лицейских стихов есть одна Роза: «Где наша роза, друзья мои?..» Но комментаторы, в том числе Л. Майков, относят ее к 1815 году.

Каким веселым звонким смехом залился бы на весь Лицей Пушкин, если бы ему сказали, что много ученых страниц будет напечатано о двенадцати строчках его «Розы», что

почтенные профессора и важные академики будут ломать свои насыщенные книжной мудростью головы над каждой строкой его «Пирующих студентов».

Пушкин вел свое поэтическое летосчисление с 1814 года. В его бумагах нашли конспект автобиографии, где под этим годом значилось: «(Экзамен. Галич. Державин — стихотворство — смерть). Известие о взятии Парижа. — Смерть Малиновского. Безначалие (Приезд Карамзина. Первая любовь. — Жизнь. — Карамзин), Б... Приезд матери. Приезд отца. Стихи etc. — Отношение к... Мое тщеславие». (В скобках поставлено то, что он сам вычеркнул.)

1814 год полон стихами. Точно они забили сразу, фонтаном. Лицейские песни, эротические стихи, подражание Оссиану, эпиграммы, романсы, послания, чего только не пишет этот стремительный мальчик, то погруженный в задумчивость, то раздражительный, вспыхивающий против каждого неосторожного слова, неловкого прикосновения, то необузданно веселый, готовый повесничать очертя голову:

В те дни, как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткий,
Считал схоластику за вздор
И прыгал в сад через забор.

Прыгал чаще всего в царский сад и там, вместе с другими лицеистами, дрался с садовником Ляминым, который защищал яблоки своего державного хозяина от опустошительных набегов дерзких школьников.

После таких, а может быть, и худших, проказ, разгоряченный, насыщенный мальчишеской, телесной радостью озорства, Пушкин вдруг замыкался, уходил в себя, видел и слышал недоступное другим. В этих переходах, в сложном построении его и цельной, и многогранной жизни, была основная трудность общения Пушкина с людьми. «Веселых мыслей шум» далеко не всегда сливался с шумом окружающей жизни. Он был, как все, и ни на кого не был похож, часто казался не выше, а ниже многих. Потом взмахнет крылами и улетит на недоступные высоты. С ранних лет ощутил он трагическую двойственность гения. Знал то, что после выразил с такой мудрой силой: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел».

Все, что написано в Лицее, пересыпано рассуждениями о сочинительстве, о положении поэта, о его правах и обязанностях, а главное, образным изображением вдохновения.

Никто лучше, проще Пушкина, никто с такой слышимой видимостью (выражение Белинского), не описал таинства стихорождения:

Задумаюсь, взмахну руками
На рифмах вдруг заговорю...
(1815)

Так, упруго и радостно, взвивается в молодой душе мгновенный вихрь ритма.

В Лицее Пушкин сочинял везде и всегда. Стихи лились точно весенняя вода через плотины, днем и ночью, наяву и во сне. Раз ночью ему приснилось двустишие:

Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая...

Проснувшись, он развил эти две строчки в целое стихотворение *(1815)*. Над ним долго стояло: «Лицинию» и обманчивая ссылка на латинскую словесность, откуда будто бы оно почерпнуто, хотя, на самом деле, это совершенно оригинальная вещь.

Среди чтения и проказ, прогулок, танцев, любовных увлечений, а позже и кутежей, среди лицейских занятий, развлечений и отвлечений, живя в тесной товарищеской компании, шумной, озорной, неспособной уважать уединение, Пушкин за три года написал более 100 вещей. Начиная с 1814 года и до выпуска «стихи текут и так и сяк». В 1814 году их написано 26 и в том же году пять напечатано. В 1815 году 27 написано, напечатано 17. В 1816 году уже написано 50. Как раз в этот, особенно плодовитый, год ничего не было напечатано. В 1817 году написано 33. Пушкин никогда не торопился печатать. Суровая требовательность к слову таилась в этом ветреном, легкомысленном юноше. Четырнадцатилетний школьник уже сознает значительность своего призвания, своего права «гулять по высотам Парнаса». В раннем стихотворении «К Батюшкову» он говорит с самолюбивой скромностью:

Безвестный в мире сем поэт
Я песни продолжать не смею...
(1814)

А через год уже признается: «Дана мне лира от богов, поэту дар бесценный». И в том же стихотворении, «Мечтатель», обращается к таинственной своей спутнице: «И Муза верная со мной...»

В стихотворениях 1815 года он часто говорит о своем призвании: «О, Дельвиг, начертали мне Музы мой удел». «В

пещерах Геликона я некогда рожден; во имя Аполлона, Тибуллом окрещен» *(Батюшкову).*

Несмотря на то, что в 1816 году он написал так много, это был год не свойственной ему неуверенности в жизни, в себе, даже в своей Музе:

Прервется ли души холодный сон,
Поэзии зажжется ль упоенье, —
Родится жар, и тихо стынет он;
Бесплодное проходит вдохновенье.
(«Любовь одна веселье жизни хладной...»)

И ласки муз и радость и покой
Я все забыл!
(«Элегия»)

Душе наскучили парнасские забавы;
Не долго снились мне мечтанья муз и славы.
(«А. А. Шишкову»)

К 1816 году принято относить «Сон», где есть удивительное описание того особого полудремотного, и в то же время ясного состояния душевных сил, которое у художников порой предшествует моменту созидания:

Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум...
И в вымыслах носился юный ум...

Прямая, непрерывная линия проведена от прелести детских полуснов, полуфантазий, к сладкому вымыслу поэта.

Автограф этого отрывка не сохранился. Сам Пушкин в печать его не отдавал. У первого издателя П. В. Анненкова была копия, но он ее уничтожил, и по каким основаниям он отнес «Сон» к 1816 году, неизвестно. Если датировка правильная, то для разнообразия творчества Пушкина это любопытно, так как ни по настроению, ни по ритму стихи не похожи на 1816 год.

Несмотря на то, что стихи сами рождались в его голове, что рифмы приходили к нему без усилия, Пушкин с отрочества скреплял вдохновение упорной, вдумчивой работой над рукописью. От 1814 года до нас дошел автограф «Казака», свидетельствующий об этом умении себя направлять. Автограф принадлежал И. И. Пущину. На нем надпись: «Любезному Ивану Ивановичу от автора», и подпись «А... Аннибал

Пушкин». Это едва ли не единственный случай, когда Пушкин подписался дедовской фамилией. Но в «Российском Музеуме», где «Казак» был напечатан в 1815 году, стояли только цифры 1—14—16. Так нередко подписывался Пушкин-лицеист. Между автографом и печатным текстом есть довольно существенная разница. Молодой автор настойчиво выбрасывал аляповатые, простонародные выражения, заменяя их более простыми. Сначала было:

Глядь, он видит красну деву
Черна бровь дугой...

Во втором варианте это переделано:

Храбрый видит красну деву,
Сердце бьется в нем...

В первой редакции:

Нет, мне матерь говорила,
Бойся, дочь, мужчин.
Мать не раз мне то твердила,
Нет... не без причин...

Эта строфа переделана в гораздо более выразительную:

Нет! к мужчине молодому
Страшно подойти,
Страшно выйти мне из дому
Коню дать воды.

Так с первых шагов Пушкин искал и добивался более простых слов, более крепкого ритма. Уже сказывалось органическое стремление великого художника к совершенству. Эту потребность ремесло поставить подножием искусства не ослабил даже головокружительный успех первых песен. В ту первоначальную пору юности Пушкин уже писал стихи, которые сразу, накрепко впивались в мозги его современников. «Пирующих студентов» распевали не только первокурсники, но и позднейшие выпуски лицеистов. В том же, 1814 году написал Пушкин романс, который разлетелся далеко за пределы Лицея. Комментаторы считают, что «Под вечер осенью ненастной» написано под влиянием «Песни матери над колыбелью сына», появившейся за год перед тем в «Вестнике Европы» в переводе Жуковского (из Берклея). Конечно, нельзя забывать связь и сочетание мыслей, образов, идущих от поэта к поэту. Но сходство темы еще не подражание. В расплывчатых стихах Жуковского героиня жалуется на бросившего ее любовника:

Но сколь он знал к моей напасти,
Что все его покорно власти...

Пятнадцатилетний Пушкин говорит другим языком, кует другой ритм и к теме подходит иначе. Его героиня страшится не за себя, она печалится за судьбу своего ребенка:

Несчастный будешь грустной думой
Томиться меж других детей,
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.

Многие ли в России знали и тем более запомнили «Песнь матери над колыбелью сына»? И многие ли в России не знали «Под вечер осенью ненастной»?

Только 13 лет спустя Пушкин разрешил, да и то нехотя, напечатать романс в альманахе «Памятник отечественных Муз на 1827 год». В книгу стихов, изданных им в 1826 году, он его не включил. Но гораздо раньше появления в печати романс был положен на музыку. Его пели по всей России, сначала в Лицее под гитару, потом в гостиных под клавикорды, наконец, на улице под шарманку. Из гостиных он спустился в девичью, обошел все круги русской жизни, вошел во все песенники, дал сюжет для сотни тысяч лубков.

Уже излучался из пятнадцатилетнего поэта тот дар заражать своими переживаниями, образами, настроениями, который, по справедливому определению Льва Толстого, является первым и необходимым свойством художника. Властная магия слова звучит в некоторых стихах 1814 года, хотя писал их безусый мальчишка-сорванец:

Судьба на руль уже склонилась,
Спокойно светят небеса,
Ладья крылатая пустилась —
Расправит счастье паруса.
(«К Н. Г. Ломоносову». 1814)

Не юноша поет, колдует старая колдунья, прислушиваясь к мерному шуму волн: «Судьба на руль уже склонилась... Расправит счастье паруса...»

Не о своей ли судьбе он думал, прислушиваясь к ритмическому плеску стихов, денно и нощно звеневших в его обуянной, одержимой творчеством душе? Он уже знал свой удел, знал, что богиня песнопения дана ему в спутницы навек, до самых врат могилы:

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
(1830)

С первым ранним, весенним потоком стихов пришло к Пушкину тоже изумительно-раннее признание его таланта.

Это случилось 8 января 1815 года. В этот день, в красной с золотом зале Лицея, был торжественный акт. Дряхлый Державин дремал в кресле. И вдруг проснулся, сразу почуял в маленьком кудрявом лицеисте с горящими глазами и звонким голосом своего царственного преемника. Как подлинный поэт, старик радостно встрепенулся, забыл преграду лет и сана, рванулся навстречу певцу. Как в былинах старшие богатыри, отходя к вечному покою, говорили младшим богатырям: «Наклонись-ка, дай дохну на тебя», так Державин дохнул на Пушкина.

Этот первый публичный экзамен, устроенный в присутствии министра просвещения, знатных особ и родственников лицеистов, был настоящим событием в жизни Пушкина, да и Лицея.

«На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать поэта и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его не было: он убежал!»

Так обычно сдержанный И. И. Пущин летописует этот день, когда даже шумные школьники притихли, почуяв веяние непонятной силы.

Сам Пушкин описал этот день полушутливо, хотя и через его усмешку слышится волнение.

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперев-

ши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи... Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои Воспоминания в Ц. С., стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли».

Вечером на обеде у графа А. К. Разумовского отец Пушкина слушал похвалы поэтическому дару своего Сашки. Министр народного просвещения глубокомысленно заметил: «Я бы желал, однако, образовать сына вашего к прозе». — «Оставьте его поэтом!» — с жаром возразил Державин. Вскоре после этого Державин сказал С. А. Аксакову: «Вот кто заменит Державина».

Старик Державин мог услыхать в «Воспоминаниях» отзвуки своих стихов, но в юношеском голосе поэтического наследника чуткое ухо старика уловило и новые напевы. Пятнадцатилетний лицеист уже нашел новые словосочетания. В художественную условность оды молодой Пушкин внес простоту, задушевность. Среди металлически-звучных стихов, напоминающих мерный топот конницы, врывается детская песня:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!

Слушатели сразу рванулись навстречу молодому поэту, потому что для них это была не риторика, это было упоминание о свежей ране, о потрясениях и потерях, для которых этот школьник нашел стихи, струившиеся как весенний ручей. 8 января 1815 года русское общество показало, что в нем уже проснулась жажда красоты, что оно уже умеет ценить поэзию и поэтов. А позднейшая жизнь Пушкина показала, что ценить еще не значит беречь.

Быстро разлетелась слава Пушкина по Петербургу и Москве. В московских гостиных дядюшка Василий Львович и Жуковский восторженно декламировали «Воспоминания в

Царском Селе». Стихотворение было напечатано в апрельской книге «Российского Музеума» за полной подписью: Александр Пушкин. Издатель сделал примечание: «За доставление сего подарка благодарим искренне родственников молодого поэта, талант которого так много обещает».

В том же году и в том же журнале было напечатано «Послание Пушкину» Дельвига. Написанное под живым впечатлением первого литературного триумфа Пушкина, оно сразу оттенило быстро разгоревшуюся славу поэта. В приветствии Дельвига уже было и предчувствие:

Пушкин! Пушкин! Он и в лесах не укроется!
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.
И ланиты его от приветствия
Удивленной толпы горят пламенем...

Так повеса-лицеист превратился в сочинителя Александра Пушкина, к голосу которого с изумлением стали прислушиваться те, кого он открыто признавал своими учителями — Державин, Батюшков, Жуковский.

Суховатый П. В. Анненков писал: «Тем людям, которые застали Пушкина в полном могуществе его творческой деятельности, трудно и представить себе надежды и степень удовольствия, какие возбуждены были в публике его первыми опытами, но внимательное чтение их, и особенно, сравнение с тем, что делалось вокруг, достаточно объясняют причину их успеха. Стих Пушкина, уже подготовленный Жуковским и Батюшковым, был в то время еще очень неправилен, очень небрежен, но лился из-под пера автора, по-видимому, без малейшего труда, хотя, как скоро увидим, отделка пьес стоила ему немалых усилий. Казалось, язык поэзии был его природный язык».

Подошел год выпуска. Буйный, гусарский, озорной, поэтический 1817 год открывался великолепным «Торжеством Вакха»*. Стихи, звучные, как тимпаны, мчатся бурно, стремительно, отбивая молодой ритм горячей, влюбчивой крови. Вырвавшись из душных сумерек сентиментальной неудовлетворенности, бросается он навстречу весенним вихрям.

---

*В академическом издании Пушкина. Какими стихами он на самом деле открылся, неизвестно *(прим. к изданию 1929 г.)*.

Теки, вино, струею пенной
В честь Вакха, Муз и красоты!
Эван, эвоэ! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!

На несколько лет этот призыв многое заглушит в душе поэта.

Уже тесно становилось юношам в Лицее. Пора было на волю, чтобы по-настоящему, досыта, допьяна упиться блеском молодой жизни. «Мы начали готовиться к выходу из Лицея, — пишет И. И. Пущин. — Разлука с товарищеской средой была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивою, незнакомою далью. Кто не спешил в тогдашние наши годы соскочить со школьной скамьи? Но наша скамья была так заветно приветлива, что невольно, даже при мысли о наступающей свободе, оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаньях и обетах, сердце дробилось!»

Лицейские поэты обменивались прощальными посланиями. Пушкин писал послания Дельвигу, Илличевскому, Кюхельбекеру, Пущину и всем товарищам вместе. Но уже не столько товарищи шестилетней лицейской жизни, сколько новые его друзья, гусары, будят в нем острые, меткие слова, звучные новые рифмы. Полным светом сияла его звезда в Лицее, но выпускную песню напишет уже не он, а Дельвиг.

Так увлекся Пушкин гусарами, что мечтал сам стать гусаром. Но скупой, совершенно запутавшийся отец отказался дать на это средства. Сын не настаивал и определился, вместе с Горчаковым, Ломоносовым, Кюхельбекером и Юдиным, в Коллегию иностранных дел.

В отпускном свидетельстве только по трем предметам отмечены у Пушкина превосходные успехи: по российской и французской словесности и по фехтованию. Пушкин, так же как и его друг Дельвиг, кончил по 2-му разряду, то есть вышел 10-м классом, с правом получать от казны жалованья 700 рублей в год. День выпуска был назначен на 9 июня 1817 года. Император Александр присутствовал при этом, как за шесть лет перед тем в той же зале присутствовал он при открытии Лицея. Но насколько открытие было праздничным и торжественным, настолько выпуск прошел тихо.

Выпускных лицеистов по очереди представили Царю. Государь сказал им краткую речь. Пушкин прочел свое «Безверие». Еще несколько официальных речей, еще несколько низких поклонов, и Государь ушел.

Энгельгард раздал заказанные им на память чугунные кольца. Он так и будет звать первокурсников позже — мои чугунники. Но Пушкина только после его смерти он назовет своим, скажет про него, уже мертвого, — наш Пушкин.

Стихотворение «Безверие», которым Пушкин официально закончил свое лицейское творчество, плохо вяжется с его тогдашним атеистическим настроением.

Василий Львович внес в эти стихи свои поправки и с ними сначала читал их, а потом и напечатал в «Трудах Общества любителей Российской словесности». Сам Пушкин не перепечатывал этих стихов, полных тяжеловесной условности. Но в них есть подлинность, если не личного настроения, то изображения духовного состояния человека, у которого «ум ищет Божества, а сердце не находит». Как отнести эти строфы, которые влекутся тяжело, как камни, к самому Пушкину, когда о себе всегда писал он стихами и послушными и незабываемыми?

Лицейские стихи Пушкина — ступени, по которым он взбегал все выше к ясным вершинам поэзии. Это еще ученичество. Он еще подражает, сбивается, расплывается. Но с каждым месяцем крепнет голос Пушкина, и уже в последние два года Лицея нельзя смешать его с другими голосами.

Гений есть прежде всего гений по праву рождения. В нем или через него выражается ему одному данная сила. Пушкину было дано услыхать такие созвучия русской речи, которых до него никто не подслушал, никто не сочетал. Как и всякий смертный, он был наследником предыдущих поколений. Родившись на пороге двух эпох, он впитал их формы, их идеи, их устремления, мысли, чувства. Но его кипучий мозг по-своему все переработал. Не стоит возиться с догадками, чем был бы Пушкин, не будь у него за спиной Вольтера, Парни, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковского. Даже люди, просто способные, впитывают, задерживают в своем мозгу как непосредственные, собственные впечатления жизни, так и ее отражения в чужой душе, в чужом творчестве. У Пушкина эта способность все схватить, все сложить в мозговую лабораторию достигала исключительных размеров.

«Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и проницательностью. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь», — сказал его друг Плетнев. Исключительная емкость и цепкость памяти составляла незыблемый фундамент его могучего умственного аппарата. Пушкин запоминал сказанное, виденное, слышанное, промелькнувшее в душе — все и навсегда.

Кончая Лицей, Пушкин уже имел право сказать:

Блажен, кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов.

У него уже было поэтическое прошлое, было сознание своего призвания. Сильнее его собственной ветрености, сильнее каких бы то ни было событий, влияний, поощрений, осуждений, признаний звучал в нем тайный голос. Но раннее признание надо отнести к одному из многих благоприятных условий, среди которых созревал талант поэта. То, как радостно встретила Пушкина грамотная Россия, показывает, какое значение имела литература в тогдашнем русском обществе, где умственные потребности уже стали необходимостью. Длительные войны, вторжение наполеоновских войск в пределы России, пожар Москвы, потери, жертвы, походы — все эти потрясения не только не огрубили тогдашнюю интеллигенцию, а, напротив, пробудили ее к национальной жизни. И в то же время развили, обострили чуткость к родной речи, к родному искусству.

Могучая юность Пушкина совпала с эпохой могучего развития русской государственности.

Гениальный русский поэт созревал в бурную, тяжелую эпоху потрясений, которая закончилась усилением России и ее международного значения. Он мог черпать из огромного духовного резервуара, куда история щедро плеснула целую волну новых мыслей и опытов. Менялись обычаи, язык, людские отношения, людские характеры. Это был заключительный этап целого периода Императорской России, который начался при Петре и кончился со смертью Александра I. Поскольку можно говорить о начале и конце там, где развитие страны и народа развивается без перерыва, как развивается и растет здоровый живой организм. Но за этот период известный цикл людей и идей был исчерпан. Недаром Пушкин всегда пристально вглядывался в Петра и его время, а под конец жизни изучал его. В семейных преданиях, в рассказах бабушки слышал он живые отголоски всего XVIII века. Государство Российское, над которым грозой разрушительной, но и созидательной пронеслась гигантская фигура первого Русского Императора, показало сто лет спустя, в борьбе с Наполеоном, свою жизненность и силу. Герцен говорил, что на призыв Петра образоваться Россия через сто лет ответила гениальным явлением Пушкина. Но ведь и общенародный порыв 1812 года был тоже ответом на героические слова Петра: «А мне ничего не надо, была бы Россия жива».

Этой молодой, полной жизни России, уже осознавшей свою государственность, нужно было найти свое выражение и отражение в Слове. Ей нужен был поэт. Ритмом песни нужно было связать, скрепить, породнить миллионы отдельных душ, из которых вырастает общенародная душа.

И Пушкин родился.

Накануне 1799 года Карамзин послал другу своему Дмитриеву шутливое пророчество на наступающий год, якобы найденное в бумагах Нострадамуса. Пророчество кончалось шутливыми стихами:

Чтоб все воспеть, родится вновь Пиндар.

Сбылось пророчество.

В 1799 году родился тот, кому суждено было «все воспеть», кто открывал русским Россию, кто облек русскую речь в магию чарующего музыкального ритма.

Лицей и его порядки, наставники и товарищи, политические события и народные вожди, все, что кружилось и нарастало кругом Пушкина, служило материалом, из которого в глубине его гениальной души строились таинственные здания. Не он один все это видел, все это пережил. Но только он один, восприняв, отразил тогдашнюю жизнь такими единственными, пленительными, незабываемыми стихами. Пушкинская поэзия родилась из русской стихии, из русской души, чтобы потом стать животворящей и неизменной частью этой стихии, этой души.

Лицей помог ему, окружил его могучую юность красотой и простором. До конца жизни любил Пушкин обращаться мыслями к Лицею, к этой радостной, свободной поре, точно в источник живой воды окунался, точно искал в юношеской своей цельности опоры против налетавших на него волн. Сколько раз в воздушных стихах помянет он Лицей:

Я думал о тебе, приют благословенный,
Воображал сии сады,
Воображаю день счастливый,
Когда средь вас возник Лицей,
И слышу наших игр я снова шум игривый
И вижу вновь семью друзей.
Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я.

(«Воспоминания в Царском Селе». 1829)

Для тех, кто старается понять, что такое творчество, лицейские стихи Пушкина есть все еще не до конца разобранная, неисчерпанная, бесконечно увлекательная книга.

Часть третья

БЕСНУЮЩИЙСЯ ПУШКИН

9 ИЮНЯ 1817 — 5 МАЯ 1820

«Чудесный талант! Какие стихи!
Он мучит меня своим даром,
как привидение».

(Из письма В. А. Жуковского
князю П. А. Вяземскому.
17 апреля 1818)



Глава X

НА СВОБОДЕ

Восемнадцатилетний Пушкин, кончив Лицей, бросился навстречу жизни со всей страстностью влюбчивой крови, со всей ненасытностью художника. В нем кипели силы, искрилась неистощимая жизнерадостность.

«Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями, — говорит об этой эпохе Анненков. — Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, езды верхом и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля».

Он весь движение, быстрота, дерзость и дерзание.

«Пушкин бесом ускользнул», — написал он про себя в шутливой застольной балладе. Таким он и мелькает в письмах друзей, в воспоминаниях, в собственных стихах. Неуловимо подвижный, проказливый, жадный к встречам и мыслям, к впечатлениям и наслаждениям. Все вберет, все заметит, все запомнит, чтобы позже все преобразить в могучей своей духовной лаборатории. Светский повеса, но уже художник, обреченный всю жизнь свою служить Слову.

Внешняя жизнь коллежского секретаря Александра Пушкина, причисленного к Коллегии иностранных дел, была похожа на жизнь многих молодых дворян, которые не столько служили, сколько числились. Жалованья он получал 700 рублей. Жить одному на такие деньги было трудно, пришлось поселиться у родных, на Фонтанке, у Калинкина моста, в доме Клокачева.

Н. О. и С. Л. Пушкины перебрались в Петербург еще в 1815 году. С ними была дочь Ольга. Младшего сына, Льва (1806—1852) поместили в Пансионе при Педагогическом институте. Жили Пушкины неряшливо и неуютно. Сергей Львович хозяйством, то есть имениями и крепостными, заниматься не умел и не хотел, состояние свое бестолково размотал и искал спасения в скупости.

Барон М. А. Корф тоже жил в доме Клокачева. Вот как этот недоброжелательный сосед описывает пушкинский быт:

«Дом их представлял какой-то хаос: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой пустые стены или соломенный стул, многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана... Все семейство Пушкина взбалмошное. Отец приятный собеседник, но пустой болтун. Мать не глупая, но эксцентричная, до крайности рассеянная. Ольга из романтической причуды обвенчалась тайно. Лев добрый малый, но пустой, вроде отца».

Аккуратному Корфу органически было противно семейное пушкинское легкомыслие. К тому же на Фонтанке между Корфом и Пушкиным чуть не произошла дуэль из-за пьяного дворового человека Пушкина, который забрался к Корфу и затеял драку с его лакеем.

Описанная Корфом смесь безденежья и светских претензий, из которых складывалась жизнь москвичей Пушкиных, тянувшихся за чинной петербургской знатью, тяготила молодых членов семьи. Пушкин в письме к брату из Одессы писал:

«Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург: когда, больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкова моста, он вечно бранился за 80 копеек (которых, верно б, ни ты, ни я не пожалели для слуги)» *(25 августа 1823 г.)*.

Еще больше, чем бедностью, тяготилась молодежь семейной неуютностью. Средне-высшее русское дворянство, к которому принадлежал Пушкин, было безденежно не только тогда, но и позже, вплоть до своей классовой гибели. Помещики умудрялись соединять чисто мужицкую приспособляемость к денежным нехваткам с растущей утонченностью культурных, умственных и душевных запросов и потребностей. Пушкин, веселый, юный, кипевший жизнью, с родительской бедностью сумел бы примириться. Но холодно было в семье. Легкомысленный эгоизм отца и не погасшая взбалмошная вспыльчивость матери тяготили взрослых детей. Никто из них не был по-настоящему привязан к родителям. Ольга вышла замуж, чтобы освободиться от их гнета. Александр еще ребенком в Москве пережил резкий бурный разрыв с отцом и с матерью. Так на всю жизнь и остались они чужими. Ни мать, ни отец никогда не были его учителями жизни. Помимо них, вопреки им, сберег и вырастил он в

своей таинственной гениальной душе дар дружбы с людьми и с Музами. Ни от отца, ни от матери не ждал он ни ласки, ни поддержки, и любви между ними не было. Быстро растущая слава Сашки заставила Пушкиных шаг за шагом вернуться к сыну. Это было родительское тщеславие, но не любовь, и чуткое сердце поэта эту разницу отметило безошибочно.

После Лицея, поселившись вместе с ними, поэт пугал, а иногда и дразнил их своими выходками. П. Бартенев рассказывал, будто бы Пушкин назло отцу бросал червонцы в Фонтанку, любуясь игрой золота в воде. Этот маловероятный рассказ, похожий скорее на Байрона, характерен для репутации Пушкина, для легенд, которые рано начали вокруг него создаваться.

Когда Пушкин из Лицея переехал в отцовский дом, бабушка Мария Алексеевна еще была жива. Но она точно выпала из жизни семьи. Не видно следов ни ее хозяйственности, ни ее мудрой любви, согревавшей жизнь маленьких Пушкиных в Москве и в Захарове. Как-то незаметно, не то в 1818-м, не то в 1819 году, умерла она в Михайловском. Ни о смерти бабушки, ни об ее жизни Пушкин нигде не упоминает, хотя почти все, кого он видел, с кем соприкоснулся, а тем более все, кого он любил, остались жить в его заметках, письмах, стихах. Это наводит на сомнение — не преувеличили ли биографы ее значение в жизни внука? Вся обстановка родной семьи, среда, связи, быт — все это имело на него влияние, но проследить влияние отдельных членов невозможно.

Летом Пушкины уезжали в Псковскую губернию, в село Михайловское, которое Надежда Осиповна унаследовала после смерти отца. Это была часть царской вотчины Михайловская Губа. В 1746 году Императрица Елизавета Петровна пожаловала ее прадеду поэта, Абраму Петровичу Ганнибалу. Его размножившиеся потомки, получившие в народе название Ганнибаловщины, поделили вотчину между собой и расселились по отдельным поместьям. Сельцо Михайловское досталось деду поэта, Осипу Абрамовичу Ганнибалу (1744—1803). Рассказы о невоздержанной жизни, кутежах и тяжбах этого двоеженца долго повторялись соседями и, вероятно, дошли и до поэта. В первый же свой приезд в деревню Пушкин встретился с другим арапским предком, с братом О. А. Ганнибала, генерал-аншефом от артиллерии Петром Абрамовичем (1747—1822). Он жил недалеко от Михайловского, в сельце Петровское. Об их первой встрече в бумагах Пушкина сохранился отрывистый рассказ: «...попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не

поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого Арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда...»

Крепостной слуга Михаил Калашников рассказывал Анненкову: «Старый барин занимался на покое перегоном водок и настоек. Занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной был его помощником в этом деле, но имел и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своей музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной. Когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них выносили на простынях».

Черное лицо Петра Абрамовича явственно напомнило Пушкину, что он «потомок негров».

В первые свои два приезда в Михайловское, летом 1817-го и 1819 года, поэт мало интересовался прошлым. Историк еще не проснулся в нем. Слишком буйно билась кровь в его жилах. Он весь был в настоящем, целиком вкладывал себя в каждое набегающее мгновение.

«Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу...» *(отрывок из записки 1824 г.)*.

К концу августа, не дождавшись конца двухмесячного своего отпуска, вернулся он к шуму и толпе в Петербурге.

Петербург был полон приманок и развлечений не только для юноши, только что вырвавшегося из школы. Это были яркие годы мощных государственных достижений и напряженного общественного роста. Победоносная русская армия принесла с собой из Парижского похода новые мысли и новые надежды. Все кипело, бурлило кругом. Впечатления не успевали преломиться в творчество. Действительность перегоняла поэта. Его тогдашние стихи только отрывисто успевали отразить ее. Но, может быть, ни в одну эпоху своей богатой жизни не проявил Пушкин с такой силой своей способности совмещать ясную четкость наблюдений и суждений, безошибочность памяти с радостной непосредственностью, с умени-

ем забавляться и наслаждаться. Мудрость с безумием. Эти три года, от выпуска до вынужденного отъезда на Юг, интересны не столько тем, что Пушкин за это время написал, сколько тем, кого он видел, чьи мысли слушал, как наблюдал и как переживал новые уроки житейского опыта. Позже, отдаленные временем и пространством, характеры и идеи, страсти и наблюдения, встречи, движения, краски, голоса этого знаменательного Петербургского периода найдут в его стихах отражение и выражение. Для понимания этих судьбоносных для России лет сочинения Пушкина являются историческим пособием, все еще не исчерпанным. Почти во всех его позднейших произведениях мы найдем отголоски и отблески блестящей эпохи русского общества, каким оно было до роковой трещины 14 декабря.

Петербург доживал последние счастливые годы национального единства, всеобщей веры в Россию. Этой державной цельностью, этим могучим народным здоровьем вскормлены те произведения Пушкина, зачатки которых заложены в первом петербургском периоде его жизни, внешне такой беспутной, угарной, пряной.

Его самого судьба наградила исключительным здоровьем, телесным и душевным. Его не могли расшатать ни излишества, ни невзгоды, ни разразившиеся над ним политические бури. Страстный, стремительный, вечно в движении, Пушкин хранил в себе тайну гармонии, равновесия, казалось, совсем несовместимую с броским, необдуманным, ветреным его существованием. Жизнь его проходила в непрестанном мелькании, в удовольствиях и кутежах, в проказах и излишествах, всегда на людях, в толпе, в суетности, в шуме. И трудно было угадать, что в этом светском юноше зреет труженик, упорный и добросовестный.

По рождению, по родству, по личным связям, которые расширялись с каждым стихотворением, Пушкин принадлежал к родовитому дворянству. Это было время, когда русская знать выделяла из себя подлинную аристократию духа, когда образованные, думающие русские люди выходили из дворянской среды. При дворе Пушкин еще не бывал, но семья Царя, начиная от неизменно благосклонной к сочинителям Императрицы-Матери, знала и слышала о нем от Карамзиных, от Жуковского, от А. И. Тургенева. Они все имели доступ к Царю, встречались и беседовали с ним. Сразу после Лицея Пушкин был принят в Арзамас, где собирались верхи тогдашней интеллигенции. За Пушкиным долго держалось Арзамасское прозвище — Сверчок. Иногда Жуковский называл его: «Сверчок моего сердца». Один из мемуаристов, Вигель, так

объясняет эту кличку: «В некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами, уже подавал звонкий свой голос». Это неубедительное толкование. Арзамасцы слишком ценили песни Пушкина, чтобы сравнивать их с монотонной мелодией сверчка. Скорее это было физическое сравнение. Смуглый, быстрый, гибкий, легконогий, всегда готовый прыгать, юный Пушкин мог напоминать кузнечика или сверчка. Нет протокола от того собрания, где его посвящали в Арзамасские Гуси. Много лет спустя Вяземский по памяти привел отрывки из вступительной речи Пушкина:

Венец желаниям, и так я вижу вас,
О, други светлых Муз, о, дивный Арзамас!
Где славил наш Тиртей кисель и Александра,
Где смерть Захарову пророчила Кассандра...

Пушкин изобразил «Арзамас» «в беспечном колпаке, с гремушкой, лаврами и розгами в руке».

В писанном рукой Жуковского отрывке одного протокола, вероятно, от 1818 года, сказано: «Сверчок, закопавшись в щелку проказы, кричит, как в стихах, я ленюсь».

К этому времени «Арзамас» уже замирал. Есть протокол XX заседания, на котором произошла крупная размолвка из-за политики. Многолетние шутки, переходящие порой в шутовство, начинали утомлять даже таких легкомысленных и покорных членов, как Василий Львович. Даже он корил «Арзамас» за ветреность. В 1817 году в «Арзамас» вступили трое молодых политиков: Н. И. Тургенев (Варвик), Никита Муравьев (Адельстан) и Михаил Орлов (Рейн). Они сразу предложили бросить «литературные перебранки и пустяки» и обратиться к «предметам высоким и серьезным».

М. Орлов, вместо положенной шутливой вступительной речи, обратился к Арзамасцам с серьезным предложением издавать политический журнал. Многие из них и раньше об этом думали. Жуковский даже присылал Дашкову из Дерпта подробную программу и предлагал список сотрудников: Вяземского, Дашкова, Воейкова, Блудова, Батюшкова, Северина, Никиту Муравьева. «Говорят, что Дмитриев что-то написал — смотри, голубчик, эта святыня должна быть наша. Его новые статьи могут быть вместо чудотворного образа, который заманит молельщиков в нашу часовню. На Ал. Пушкина понадеяться можно, у него многое готово» *(1817)*.

Но, хотя предположения их сходились, Жуковский, судя по шуточному тону, которым он написал протокол, не придал значения речи Орлова:

«Собрались на Карповке, у С. С. Уварова, под сводами Новосозданного храма, на коем начертано имя Вещего Штейна, породой Германца, душой Арзамасца... Нечто пузообразное, пупом венчанное вздулось, громко взбурчало, и вдруг гармонией Арфы стало бурчание... Влезла Кассандра на пузо и стала вещать... Душа из пуза инкогнито шепчет: полно тебе, Арзамас, слоняться бездельником. Полно нам, как портным, сидеть на катке и шить на халдеев дурацкие шапки из пестрых лоскутьев Беседных... Смех без веселости только кривляние. Старые шутки, старые девки... Бойся ж и ты, Арзамас, чтобы не сделаться старою девкой». Кассандра (Блудов) призывал их к работе на пользу родине: «Так, Арзамасцы. Там, где, во имя отечества две руки во едину слиты там оно соприсутственно».

После речи старого Арзамасца заговорил М. Орлов: «Тут осанистый Рейн разгладил чело от власов обнаженно, важно жезлом волшебным махнул — и явилось нечто, пышным вратам подобное, к светлому зданию ведущим. Звездная надпись сияла на них: Журнал Арзамасский. Мощной рукой врата растворил он. За ними кипели в светлом хаосе призраки веков... С яркой звездой на главе гением тихим неслось, в свежем гражданском венке, Божество: Просвещение, дав руку грозной и мирной богине Свободе. И все Арзамасцы, пламень почуя в душе, к вратам побежали... Все скрылось. Рейн сказал: потерпите, голубчики, я еще не достроил».

И опять обычные шутки над Шишковым, Хвостовым, Академией, споры и шум. «Приятно было послушать, как вместе все голоса слились в одну бестолковщину...»

Вскоре после этого «Арзамас», как-то сам собой кончился, но след оставил яркий. Люди разъехались, мысли изменились. Переместился центр внимания. Но Пушкин успел соприкоснуться с этим веселым, но зорким Ареопагом, возглавляемым спокойным и трезвым гением Карамзина. Для Пушкина это была верхняя питательная среда, из которой он брал не впечатления, — их он искал в других кругах, а обобщения, формы, обмен мыслей, игру ума, отчасти навыки общественности.

В группе старших писателей молодой Пушкин сразу стал своим человеком. Перед ним были открыты двери некоторых великосветских салонов, где охотно принимали веселого юношу, ловкого танцора, да еще и поэта. Хотя значительности его стихов тогда еще почти никто не понимал. Был еще и третий круг, тесно сплетавшийся с двумя первыми, где Пушкин был своим человеком. Это был круг золотой молодежи, главным образом гвардейских офицеров. Среди них, вместе

с ними повесничая, вместе с ними волнуясь мыслями, нашел Пушкин свою краткую формулу — «Ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом».

Тонкий знаток родного ему просвещенного барства, Вяземский писал: «Разгул и молодечество были обычны в царствование Екатерины II, их обуздали и прижали при Павле, но с воцарением Александра они на некоторое время очнулись». Он рассказывает, что в конце XVIII века в Москве существовало дружеское разгульное общество «Галера», где Василий Львович был одним из видных членов. Среди членов был гусар Хитрово. «Этот Дон Жуан, блистательный повеса, потихоньку от товарищей гусар возил в сумке свежий томик Парни: «Пусть считают меня малограмотным гулякой».

Во времена Александра и Пушкина повесничество открыто уживалось с литературными интересами. Щеголь должен был не только пить, но и петь. Не только читать, но и наизусть знать поэтов, французских и русских, Парни и Вольтера, Батюшкова, Жуковского, Вяземского, а вскоре и Пушкина. Некоторые его стихи станут вакхическим припевом на их пирушках и забавах.

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.
(1819)

Так обращался Пушкин, в веселом, непристойном послании к одному из своих приятелей по кутежам, к красавцу улану Ф. Г. Юрьеву.

У рыцарей лихих был свой, своеобразный, орден «Зеленой Лампы». Один из членов этого кружка, Я. Н. Толстой, рассказывает, что общество образовалось в 1818 году в доме Никиты Всеволожского. «Цель оного состояла в чтении литературных произведений». Общество называли «Зеленой Лампой», так как собирались в столовой, где висела зеленая лампа. «Но под сим названием крылось, однако же, двусмысленное подразумевание, и девиз общества состоял из слов Свет и Надежда». Были розданы кольца, на которых была вырезана лампа. Общество не имело политической цели, но «статут приглашал на заседаниях объяснять и писать свободно и каждый член давал слово хранить тайну». Членов было около двадцати. Собирались раз в две недели. Это показание, изложенное во всеподданнейшем прошении, присланном Толстым из Парижа уже после процесса над декабристами. На допросе их спрашивали, что такое «Зеленая Лампа»?

Живописной подробностью «Зеленой Лампы» был мальчик калмык. «Как скоро кто-нибудь отпускал пошлое красное словцо, калмык наш улыбался насмешливо, и, наконец, мы решили, что этот мальчик всякий раз, как услышит пошлое словцо, должен подойти к тому, кто его сказал, и сказать: «Здравия желаю». С удивительной сметливостью калмык исполнял свою обязанность. Впрочем, Пушкин ни разу не подвергся калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: «Калмык меня балует. Азия протежирует Африку» *(рассказ Я. Н. Толстого).*

Вокруг стола, уставленного бутылками, освещенного таинственным зеленым светом, ламписты тешили свою ветреную младость не только негой и вином, но также и сладострастием высоких мыслей и стихов. Как в «Арзамасе» сочинители шутя вели нешуточную литературную борьбу, так и под «Зеленой Лампой» не только кипел вечерний пир, где веселье — председатель, но шли беседы о философии, о политике, о литературе, кипели споры о новых актрисах и пьесах, Никита Всеволожский читал свои статьи по русской истории. Никита Всеволожский, сослуживец Пушкина по Коллегии иностранных дел, был «почетный гражданин кулис и обожатель очаровательных актрис», страстный театрал, переводчик комедий и оперных либретто, дилетант-историк. Так определяем мы его на расстоянии столетней давности. Время все и всех окаменяет, мумифицирует. Для Пушкина Никита Всеволожский был «Амфитрион веселый, счастливец добрый, умный враль» и «лучший из минутных друзей моей мгновенной молодости». (Вариант письма к Якову Толстому.) Состав ламшистов был разнообразный. Счастливый баловень природы красавец Юрьев и добродушный ленивец и мечтатель Дельвиг, философ ранний Яков Толстой, счастливый беззаконник, наслаждений властелин, попросту говоря, расточительный богач и картежник В. В. Энгельгард, Каверин и Грибоедов, Мансуров и князь Сергей Трубецкой. Наконец, сам Пушкин, необузданный трубадур этих рыцарей лихих. В его письме к ламписту П. Б. Мансурову в Новгород есть типичная смесь распущенности и либерализма. После ряда непристойных шуток Пушкин пишет: «Зеленая Лампа нагорела — кажется, гаснет, — а жаль... Поговори мне о себе — о военных поселеньях. Это все мне нужно — потому, что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм» *(27 октября 1819 г.).*

В более позднем письме, к Я. Н. Толстому из Кишиневской полуссылки Пушкин даст смягченное, похорошевшее от времени изображение Зеленой Лампы.

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?..
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна, —
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина, —
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, калмык!

(26 сентября 1822 г.)

Вокруг «Зеленой Лампы» ходили разные легенды. Анненков, который мог еще лично опрашивать лампистов, писал: «Какие разнообразные и затейливые формы принимал тогдашний кутеж, может показать нам общество «Зеленой Лампы», основанное Н. В. Все-м, и у него собиравшееся. Разыскания и опросы об этом кружке обнаружили, что он составлял со своим прославленным калмыком, не более, как обыкновенное оргиаческое общество, которое в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, погибель Содома и Гоморры и проч., им устраиваемых, в своих заседаниях занималось еще и представлением из себя ради шутки собрания с парламентскими и масонскими формами, но посвященного исключительно обсуждению планов волокитства и закулисных проказ». Так некоторые видели в «Зеленой Лампе» просто разгульное сообщество, а правительство подозревало в лампистах опасных заговорщиков. И все эти, отчасти имевшие основание, но сильно преувеличенные, слухи и шепоты создавали лампистам, в том числе и Пушкину, репутацию и развратника, и якобинца.

Уже в этот первый петербургский период имя Пушкина стало повторяться все чаще. «От великолепнейшего салона вельможи до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали его с восхищеньем, питая и собственную его суетность этой славой, которая неотступно следовала за каждым его шагом» *(Плетнев)*.

«Люди читающие увлечены были прелестью его поэтического дарования; другие на перерыв повторяли его ост-

роты и эпиграммы, рассказывали его шалости» *(П. В. Бартенев)*.

Его можно было встретить — на великосветских балах и в Красном Кабачке, на субботниках Жуковского и в мещанской гостиной актрисы Колосовой, у Карамзиных и ветреных Лаис, то есть, попросту говоря, у продажных женщин. Из светских домов чаще всего бывал он у Трубецких, у Бутурлиных, у графини де Лаваль, у княгини Голицыной.

«Графиня де Лаваль, — рассказывает П. Бартенев, — любительница словесности и всего изящного с удовольствием видала у себя молодого поэта, который, однако, и в это время, уже тщательно скрывал в большом обществе свою литературную известность и не хотел ничем отличаться от обыкновенных светских людей, страстно любя танцы и балы. Он не любил, чтобы в свете его принимали за литератора».

Это зависело отчасти от уровня светских людей, с которыми он встречался. В одних домах Пушкин главным образом танцевал — он был отличный танцор — и «врал с женщинами», в других веселье и танцы сменялись серьезными разговорами об искусстве и поэзии. Так было в доме богатого и гостеприимного барина, мецената, коллекционера и сановника Ал. Н. Оленина (1763—1843). Оленин был одновременно статс-секретарем Государственного Совета, президентом Академии художеств, директором недавно (1814) открытой Императорской Публичной библиотеки. Личный друг Оленина, Арзамасец С. С. Уваров (позже граф и министр народного просвещения) в своих «Литературных воспоминаниях» *(«Москвитянин», 1851, № 12)* так описывает семью Олениных:

«Искусство и литература находили скромное, но постоянное убежище в доме А. Н. Оленина... Сановник и страстный любитель искусств и литературы, — покровитель художников (включая Кипренского и Брюллова), один из основателей русской археологии... Его жена Ел. Марковна (Полторацкая) образец женских добродетелей, нежнейшая из матерей, примерная жена, одаренная умом ясным и кротким нравом. Совершенная свобода в обхождении, непринужденная откровенность, добродушный прием хозяев давали этому кругу что-то патриархальное». В их гостиной встречались художники, литераторы, сановники, просто образованные люди. Здесь читались вслух литературные новости, иногда импровизировались эпиграммы и стихи, часто в честь хорошенькой дочки.

На именинах Е. М. Олениной, которые справлялись на их мызе Приютине, Пушкин с Жуковским сообща сочинили для шарады шуточную балладу. Там есть эта строчка:

Пушкин бесом ускользнул.

В приютинском саду над Невой долго сохранялась беседка, исписанная автографами тогдашних поэтов в честь хорошенькой А. А. Олениной. В их доме Пушкин уже был не только принят, но и признан. После его ссылки на юг Оленин нарисовал известную виньетку к первому изданию «Руслана и Людмилы».

Раннее признание Пушкина — одно из самых красивых доказательств тонкости вкуса и подлинности духовных потребностей русского просвещенного дворянства Александровской эпохи. Они точно чувствовали, что этот непоседливый, смешливый повеса обессмертит своими стихами противоречия и красоту их неряшливой, богатой, просторной жизни, закатную пышность барского быта, который еще отливал блистательными днями Екатерининского времени, но уже отражал сложные запросы европейской духовной жизни, потрясенной французской революцией и Наполеоновскими войнами.

Даже в эти первые годы радостного опьянения молодостью, светом, писательскими успехами жизнь Пушкина не была усеяна одними розовыми лепестками. Его задорные остроты, его дерзкий язык, его шалости пугали даже друзей. Быстрый рост его популярности смущал души педантов.

«Великий Пушкин, маленькое дитя», еще не выработал в себе защитной осторожности в обращении с людьми. Порой жестоко страдали молодое самолюбие и гордость поэта. Хроническое безденежье тяготило, ставило в трудное положение, тем более что большинство его приятелей сорило деньгами. Пущин, записки которого, при всей их дружественности, звучат затаенным сознанием нравственного своего превосходства над беззаконным поэтом, рассказывает: «Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной усмешкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо все слушает,

начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется... Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне теми же чувствами; но невольно, из дружбы к нему желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание».

Ни в письмах, ни в дневниках других сколько-нибудь значительных современников поэта нет и намека на его склонность к заискиванию.

Не в ответ ли на это приятельское осуждение Анненков написал: «Никаких особенных усилий не нужно было молодому Пушкину для того, чтобы пробиться в круги знати по выбору: он был на дружеской ноге почти со всей ее молодежью, находился в коротких отношениях с А. Ф. Орловым, П. Д. Киселевым и многими другими корифеями тогдашнего светского общества, не говоря уже о застольных друзьях его. Притом же Пушкин возбуждал любопытство и интерес сам по себе, как новая нарождающаяся, бойкая и талантливая сила. Со всем тем, кажется, Пушкин не миновал некоторого неприятного искуса при своем вступлении на эту арену, где он был только с 30-х годов, как у себя дома».

Это полезная поправка. Она напоминает, что даже дружеские воспоминания о великих людях надо принимать осторожно, особенно если они написаны много лет спустя, как писал Пущин. Несравненно более ценны даже отрывистые заметки современников.

От 1819 года сохранилось не особенно складное, но выразительное стихотворение Я. Н. Толстого (1791—1863), офицера генерального штаба, богатого театрала, в доме которого иногда собиралась «Зеленая Лампа». Толстой выпрашивает у Пушкина обещанные стихи:

Когда стихами и шампанским
Свои рассудки начиня
И дымом накурясь султанским,
Едва дошли мы до коня,
Уселись кое-как на дрожки,
Качаясь, ехали в тени...
В то время мчались мы с тобою
В пустых Коломенских краях...
Ты вспомни, как, тебя терзая,
Согласье выпросил тогда,
Как сонным голосом, зевая,
На просьбу мне ты молвил: «да!»
Но вот проходит уж вторая
Неделя с вечера того, —
Я слышу, пишешь ты ко многим,
Ко мне ж покамест ничего...

Толстой скромен. Он не просит длинного посланья:

Ты напиши один мне листик,
И я доволен буду тем.

Но в этих нескольких строчках «пиита сладкогласный, владыко рифмы и размера» должен открыть Толстому «тайну вкуса и витийства силу, что от богов тебе даны» —

Во вкусе медленном немецком
Отвадь меня низать мой стих...
Давно в вражде ты с педантизмом
И с пустословием в войне,
Так научи ж, как с лаконизмом
Ловчее подружиться мне...
Прошу, очисти мне дорогу
Кратчайшую во вкуса храм
И, твоего держася слогу,
Пойду пиита по стопам!

На это тяжеловесное, но выразительное прошение Пушкин ответил блестящими стансами:

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни...
Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горациев фиал.
(1819)

Мудрствования Толстого могли носить и политический характер. Он был не только лампистом, но и членом Союза Благоденствия, хотя Пушкин этого мог и не знать.

Не один Толстой уже выпрашивал у него стихов, как милости. В эти бурные годы Пушкин мало писал, еще меньше печатал, но каждую его строчку уже ловили, запоминали, твердили. Много лет спустя, в 8-й песне Онегина, прерывая роман Татьяны для истории своего романа с Музой, Пушкин так описывает эту полосу своей жизни:

Я Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как Вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

Глава XI

А. И. ТУРГЕНЕВ И ЕГО ПИСЬМА

Эти письма сохранились благодаря редкой в России культурной бережливости и заботливости Вяземского и его семьи. «Материалы Остафьевского архива», так тщательно, так роскошно изданные гр. Шереметевым, являются важным литературным памятником, бесценным источником при изучении Пушкина и его эпохи. Переписка Вяземского с друзьями, главным образом с А. И. Тургеневым, — это летопись тогдашней жизни, особенно ценная потому, что она писана со всей непосредственностью и откровенностью дружбы. «Только с тобой говорится прямо от сердца и все, что на ум придет, из-под пера без труда выльется» *(Тургенев — Вяземскому. 19 августа 1819 г.)*.

Их обширная переписка началась в 1812 году и продолжалась до смерти Александра Тургенева (1845). Среди анекдотов, умозрений, служебных назначений, острот, душевных излияний, эпиграмм, светских сплетен и политических новостей, среди рассказов о необычной стерляжьей ухе у Архаровых и о речи Императора в Польском сейме, среди всего, чем жило, волновалось и забавлялось просвещенное русское барство, видными представителями которого были и Тургенев и Вяземский, временами мелькает быстрая тень Пушкина.

О стихах его они пишут с неизменным, растущим интересом и восхищением, о его поведении, проказах, провинностях и промахах часто неодобрительно. Но ни тот, ни другой ни разу не обвиняют Пушкина в «жалкой привычке изменять благородству своего характера» и терпеть «покровительственные улыбки», за что Пущин не побоялся покорить своего уже мертвого друга. Между тем эти умные наблюдательные люди, в общем довольно строгие к юному поэту, вряд ли могли проглядеть в нем такую черту, особенно отталкивающую для независимых арзамасцев. Вяземский, с которым позже у Пушкина установилась большая умственная близость, в то время его почти не знал. Он служил в Варшаве, откуда внимательно следил за столичной жизнью, хотя бывал в Петербурге только проездом в Москву. В его суждениях о Пушкине сказывалась и разница лет, так как он был на семь лет старше. Еще резче сказывалась она в отношениях между Пушкиным и А. И. Тургеневым (1784—1845). Он уже занимал видное положение, когда помогал Василию Львовичу устроить племянника в Лицей, а когда Пушкин его кончал, Тургенев уже был сановником.

А. И. Тургенев принадлежал к богатой дворянской семье, оставившей свой след в истории дворянской культуры. Его отец, И. П. Тургенев, был масон и мистик, член Новиковского кружка. Екатерина сослала его в симбирское поместье. Павел вернул опального «друга человечества» и назначил его куратором Московского университета, где и получили образование его четыре сына: Андрей (1781—1803), Александр (1784—1845), Николай (1789—1871) и Сергей (1790—1827).

Дом Тургеневых одно время был центром московской интеллигенции. Молодежь переняла от старших потребность к умственной жизни, но далеко не всегда разделяла их взгляды. Младшие Тургеневы не любили ни масонства, ни мистики. Но общее устремление духовных сил, поднявшее немногочисленную группу молодых дворян над еще косной русской стихией, было в преемственной связи с моральными исканиями и общественными идеалами Новиковского кружка. На развитие миросозерцания этой молодежи, к которой примыкал и Жуковский, влияла не французская, а немецкая поэзия и философия. Гёте и Шиллер были им ближе, чем Парни, Вольтер, и даже ближе, чем Руссо. Они стремились к добродетелям, из которых главными считались доброта, нравственное усовершенствование, любовь к отечеству, органически связанная с преданностью Государю, и религиозность. Позже Николай, будущий автор «Опыта теории налогов» и «La Russie et les Russes», стал атеистом. Но Александр на всю жизнь остался верным сыном Православной Церкви.

По-видимому, самым талантливым в семье Тургеневых был старший брат, Андрей, который умер совсем молодым. Память о нем свято хранилась в семье и среди многочисленных друзей, из которых некоторые позже стали также друзьями Пушкина. Через них до поэта долетел отблеск умственной жизни этого даровитого юноши. Кто знает, может быть, Тургеневы показывали Пушкину дневник покойного брата, где между прочим есть одно пророческое пожелание.

20 декабря 1800 года Андрей Тургенев записал свой спор с Жуковским и Мерзляковым. Они оба восторгались прозой и стихами Карамзина, а Андрей Тургенев считал, что Карамзин «вопреки русскому климату, слишком склонен к мягкости и нежности». Он высказал такое пожелание: «Пусть бы писали хуже, но только писали бы оригинальнее, важнее, мужественнее и не столько занимались мелочными родами. Правда, что иногда один человек явится и увлечет за собой своих современников. Но этот человек пусть был бы подобно Ломоносову, а не Карамзину. Теперь такого надо ожидать, напитанного оригинальным русским духом, с великим об-

ширным разумом, который дал бы другой поворот русской литературе».

Братья Тургеневы доучивались за границей. А. Тургенев учился в Геттингене истории и философии, вывез оттуда страсть собирать рукописи, автографы, документы, за что в «Арзамасе» его прозвали «Две огромные руки». Вернувшись из-за границы, он быстро стал продвигаться на службе.

По обычаю того времени Тургенев совмещал несколько должностей. Был директором департамента духовных дел, членом комиссии по устройству евреев, исполняющим должность статс-секретаря департамента законов.

Вяземский, с которым А. Тургенев всю жизнь был близок, так описал его:

«А. И. Тургенев был толстый, грузный человек, который любил хорошо поесть, засыпал после еды, даже когда Карамзин читал свою Историю, на что добродушный историограф не обижался. В то же время у Тургенева была в натуре потребность рыскать. Он вечно носился по городу, отчасти из потребности всех видеть и все знать, отчасти по чужим делам, так как он всегда за кого-нибудь хлопотал». Друзья, подшучивая над непоседливостью Тургенева, адресовали письмо: «Беспутному Тургеневу где-нибудь на распутьи». Его приятель, почт-директор Булгаков, отправил почтальона с этим письмом в Пулково, чтобы там подстеречь на перекрестке Тургенева, часто ездившего в Царское Село. Почтальон удачно исполнил поручение.

«Он был умственный космополит, на лету схватывал мысли и книги, бывал за границей, знал Шатобриана, Рекамье, В. Скота. Был горячий и ловкий спорщик. Но на всю жизнь остался дилетантом и полнее всего выразился в обширной переписке и в добрых делах... Он был долгое время посредником, агентом по собственной воле, уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах Русской Литературы при предержащих властях и образованном обществе» *(«Старая Записная Книжка». Вяземский).*

Помимо природной потребности делать добро, в А. Тургеневе были задатки публициста и общественного деятеля, но спроса на эти политические дарования в России еще не было. Политика вершилась в тесном кругу Государевых приближенных. Общественность сводилась к разговорам в литературных кружках и салонах. За неимением газет, сведения о событиях и их оценка черпались из дружеской переписки.

Пушкин часто встречался с А. Тургеневым, бывал у него на Фонтанке, против Инженерного замка. В этой квартире останавливались и другие два брата, Николай и Сергей. Тут

слышал Пушкин политические разговоры, тут воспринимал отголоски тех духовных нравственных стремлений, которым начало было положено еще в Новиковских кружках. Хотя это не мешало молодому повесе возмущать А. И. Тургенева своим зубоскальством и кощунственными выходками. Несмотря на общность умственных и литературных интересов, их разъединяла разность умственных привычек. С годами растаял ледок в добром сердце Тургенева, но в юности Пушкину не раз доставалось от старшего Арзамасца.

«Посылаю послание ко мне Пушкина-Сверчка, — пишет Тургенев Жуковскому, — которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, тоже площадное 18-го столетия. Где же пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете. Пожури его» *(12 ноября 1817 г.)*.

Послание к А. И. Тургеневу есть одно из многочисленных дружеских посланий, где Пушкин, соблюдая танцующую резвость стиха, выразил не только свое настроение, но и дал портрет того, кому писал. Несмотря на молодость Пушкина, несмотря на буйную стремительность его жизни, эта портретная галерея уже писана твердой, безошибочной рукой «великого художника и гениально-умного человека» (определение Майкова).

В ответ на упреки в «лености бесплодной» юный Арзамасец лукаво перечисляет все пустяки, над которыми хлопочет, которыми заполняет свое время его обвинитель, и кончает радостным вызовом:

А труд и холоден и пуст;
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.
(8 ноября 1817 г.)

Возможно, что влюбчивый Тургенев в душе соглашался с этим возгласом, но кутежи Пушкина его сердили. Вблизи, воочию всегда труднее мириться с кипучей жадностью поэтов, особенно пока слава не утвердила их значительности. Но именно это критическое отношение к поэту, еще не проявившемуся, придает особую ценность отрывистым заметкам, рассыпанным в «Остафьевском Архиве».

Впервые А. И. Тургенев упоминает о Пушкине 6 июня 1816 года, когда тот еще был в Лицее: «Поэт Пушкин получил часы от Государыни за куплеты (Стансы принцу Оранскому), которые с переменою пошли в дело».

Со второй половины 1817 года Тургенев уже говорит о нем, как о постоянном своем госте: «Ахилл и Сверчок,

проводя Светлану, сейчас возвратился, и Сверчок прыгает с пастором Ганеманом. Иду усадить его на шесток» *(5 октября).* Но с 1818 года чаще начинает попадаться имя Пушкина: «Сейчас возвратился из Петергофа, где провел время с Карамзиными, Жуковским и Пушкиным. Следовательно приятно» *(середина июля).* «Жуковского и Пушкина (поэта) вижу ежедневно» *(23 июля).* «Жуковский здесь, весь изленился; Пушкин также и исшалился. Не могу уговорить его по сию пору сыскать для тебя стихи твои, тобою требуемые...» *(28 августа).*

«Ты один еще не предался той праздной лености, которая, как грозный истребитель всего прекрасного и всякого таланта, парит над Жуковским, Пушкиным и пр. и пр. Ты требуешь стихов Жуковского, но где взять этот магнит, который должен приподнять тебя? Он сам лежит с грамматикой или сидит за жирным столом у великого князя, а потом зевает в ожидании вдохновения. Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал; целый день делает визиты б..., мне и Голицыной, а ввечеру иногда играет в банк; вот, что дружба говорит вслух также одной дружбе и просит ее помощи против лени друзей и преступной праздности гения. Третьего дня ездил я к животворящему источнику, то есть к Карамзиным, в Царское Село. Там долго и сильно доносил я на Пушкина. Долго спорили меня, и он возвращался, хотя тронутый, но вряд ли исправленный» *(4 сентября).*

Вероятно, грехи и провинности Пушкина были не так уж велики, так как его продолжали запросто принимать в строгой семье Карамзиных. «Жуковский и Пушкин были вчера в Царском Селе» *(18 сентября).*

«В воскресенье Жуковский, Пушкин, брат и я ездили пить чай в Сарское Село, и историограф прочел нам прекрасную речь, которую написал он для торжественного собрания Русской Академии» *(25 сентября).* (Тургенев пишет то Сарское Село, то Царское.)

«Вчера проводили мы Батюшкова в Италию. Во втором часу перед обедом К. Ф. Муравьева с сыном и племянницею, Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское Село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал Impromptu, которого послать нельзя, и в девять часов вечера усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились» *(20 ноября).*

«Пушкин уже на четвертой песне своей поэмы, которая будет иметь всего шесть. То ли дело как двадцать лет ему стукнет! Ой, старики, не плошайте!» *(3 декабря).*

«Сверчок прыгает по бульвару и по <...> До того ли ему, чтобы писать замечания на чужие стихи: он и свои едва писать успевает. Но при всем беспутном образе жизни его, он кончает четвертую песнь поэмы. Если бы еще два или три... так и дело в шляпе. Первая болезнь была первою кормилицею его поэмы» *(18 декабря).*

В следующем, 1819 году, опять не раз пишет он о Пушкине.

«Пушкин слег: старое пристало к новому, и пришлось ему опять за поэму приниматься. Буду навещать его» *(12 февраля 1819 г.).* «Пушкин уже на ногах и идет в военную службу» (5 *марта).* «Пушкин, которого вчера видел у кн. Голицыной, написал несколько прекрасных стихов о Елизавете Алексеевне императрице. Он не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войной. Я имею надежду отправить его в чужие края, но он уже и слышать не хочет о мирной службе» *(12 марта).*

«Поэт Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной <...> которая не пускала его в дождь к себе, для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Quel combat de générosité et de libertinage»* *(18 июня).*

«Пушкину лучше, но был опасно болен» *(25 июня).*

«Пушкин выздоравливает» *(1 июля).*

«Пришлю тебе два послания Пушкина, уехавшего к отцу в деревню» *(16 июля).*

«Явился (к Карамзину) обритый Пушкин из деревни и с шестою песнью. Здесь я его еще не видал, а там он как бес мелькнул, хотел возвратиться со мною и исчез в темноте ночи, как привидение» *(19 августа).*

Тургенев любил по субботам отдыхать от светской суеты, от служебных повинностей в Царском.

«Нигде я столько и так хорошо не читаю и не думаю, как на дороге туда и в садах. Там у меня и голова свежее, и сердце спокойнее» *(19 августа 1817 г.).*

Он останавливался у Карамзиных. По другую сторону царского парка, в Павловске, жил Жуковский, с которым он был очень дружен. «Письмо твое получил по возвращении из Царского Села и Павловска, где провел три дня на родинах у великой княгини и в садах с приятелями и книгами. По ночам наслаждался Жуковским (honni soit qui mal y pense**) сколько усталые силы позволяли и встречал с ним три раза прекрасный день» *(13 августа).*

---

* Какая борьба благородства с распущенностью *(фр.).*

** Позор тому, кто дурно об этом подумает *(девиз английского ордена Подвязки, фр.).*

Любил бывать в Царском и Пушкин. Но Тургенев, богатый барин, камергер, сановник, катался в Царское и обратно в хорошем своем экипаже, а Пушкин, безденежный сын бесхозяйственного отца, нередко отправлялся к Карамзиным пешком. Легкий, ловкий, гибкий, он любил спорт и делал это весело, в охотку, а его приятели, ленивые богатые барчата, с усмешкой посматривали на пешехода. «Из Царского Села свез я ночью в Павловск Пушкина. Мы разбудили Жуковского. Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра. Потом принялись мы читать новую литургию Жу-ого, при сем к вашему святейшеству прилагаемую, и панихиду его чижику гр. Шуваловой, коей последние два стиха прелестны. Поутру первым делом нашим было читать твое «Послание к Дмитриеву» и карандашом отмечать то, что нам не нравилось... Прислал ли я тебе «Деревню» Пушкина? Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства. Дорогой из Царского Села в Павловск писал он послание о Жуковском к павловским фрейлинам, но еще не кончил. Что из этой головы лезет! Жаль, если он ее не сносит! Он читал нам пятую песнь своей поэмы, в деревне сочиненную. Здесь возобновил он прежний род жизни. Волос уже нет, и он ходит бледный, но не унылый» *(26 августа).*

Это последняя их поездка в Царское Село. Кончилось лето, и Петербург с его светской жизнью опять манил к себе. «Арзамас соберется на невском пепелище или леднике» (слова Вяземского). Письма Тургенева опять полны суеты, светского мелькания.

«В четыре часа возвратился с балу Кочубея, и в голове пусто, как в приемной отставного министра... Завтра директор департамента духовных дел наряжается дежурным камергером на бал к ее величеству и будет там проповедовать военным камер-юнкерам против...» *(12 ноября).* Хотя в письме поставили точки, но нетрудно догадаться, что это проповедь против деспотизма за свободу, о которой в переписке упоминается наряду со свадьбами, сплетнями, книгами и т. д.

В этом же письме Тургенев торопит Вяземского печатать его «избранные места», пугает соперником: «Беснующийся Пушкин печатает уже свои мелочи, как уверяют меня книгопродавцы, ибо его мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смиренный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался

ее cavalier servant*, наблюдает между тем природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит gratis»** *(12 ноября)*.

Это позабавило Вяземского, который сам волочился раньше за этой кассиршей. Он ответил совершенно непристойной шуткой на счет львиной любви. Непристойности не удивляли, почти не задевали. Даже А. И. Тургенев, очень сдержанный и более чистоплотный, чем оба поэта, по поводу эротических стихов Пушкина «Платонизм» писал Вяземскому: «Он написал послание à une branleuse*** и право первой стыдливости читать можно» *(10 декабря)*. Гораздо осторожнее упоминает он в письмах о политических стихах Пушкина: «Пушкин переписал для тебя стансы на с., но я боюсь и за него и за тебя посылать их к тебе. Les murs peuvent avoir des yeux et même des oreilles»****. Вяземский вскипел: «Присылай же песню Пушкина. Что ты за трусишка такой? Смелым Бог владеет. Я никого и ничего не боюсь. Совесть, вот мое право» *(1 ноября)*.

Стансы на таинственную букву с., иначе говоря «Ода на свободу», скоро положили предел первому Петербургскому периоду жизни Пушкина. Но еще в феврале 1820 года Тургенев не подозревал о надвигавшейся грозе и писал:

«Племянник почти кончил свою поэму, и на сих днях я два раза слушал ее. Пора в печать. Я надеюсь от печати и другой пользы, лично для него: увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. Теперь его знают только по мелким стихам и по крупным шалостям, но, по выходе в печать его поэмы, будут искать на нем если не парик академический, то, по крайней мере, не первостепенного повесу. А кто знает, может быть, схватят и в Академию? Тогда и поминай как звали!» *(25 февраля 1820 г.)*.

Глава XII

ПОБЕЖДЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Не случайно в этих письмах так часто стоят рядом имена Жуковского (1783—1852) и Пушкина. Они постоянно виделись, это было начало их дружбы, которая продолжалась всю жизнь.

---

* Услужливым кавалером *(фр.)*.

** Бесплатно, даром *(фр.)*.

*** Одной бездельнице *(фр.)*.

**** Стены могут иметь глаза и даже уши *(фр.)*.

Еще ребенком в Москве Пушкин мог попадаться на глаза Жуковскому. Но внимание его он привлек к себе только в начале 1815 года, когда до Жуковского, проводившего зиму в Москве, дошли «Воспоминания в Царском Селе». «Вот у нас настоящий поэт!» — с восхищением сказал он своей родственнице А. П. Елагиной.

Вернувшись в Петербург, он навестил Пушкина и подарил ему книжку своих стихов. Для лицеиста это было событие.

«Жуковский был тогда на верху славы. Его читали все, царская семья его ласкала, — рассказывает со слов современников Бартенев. — Без всякого оттенка зависти сдружился он, полюбил как родного вдохновенного юношу, радовался его успехам, был снисходителен к его страстям, берег его и заботился. Недаром Пушкин называл его своим Ангелом-Хранителем».

Их художественные дарования были совершенно различны и качественно, и количественно.

О подражании Пушкина Жуковскому говорить не приходится. Но Жуковский тоже был прирожденный поэт и писатель. Он умел думать вслух и других заставлял думать. Его политические стихи, особенно те, которые он писал по влечению, а не по долгу службы, бросили некоторый отблеск на некоторые политические стихи Пушкина. Даже позже, в 20-х годах, Пушкин, после стихов о Наполеоне, вдруг вписал в свою черновую тетрадь несколько строк из Жуковского «Стихи, петые на празднике английского посла» *(28 марта 1816 г.)*.

Жуковский был любимцем лицеистов. Возможно, что Пушкин и Дельвиг читали умную, ясную статью Жуковского «О критике», напечатанную в «Вестнике Европы» еще в 1809 году. Он говорил в ней: «Критика есть суждение, основанное на правилах образованного вкуса, беспристрастное, свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату — чувствуете удовольствие или неудовольствие, вот вкус, разбираете причину того или другого — вот критика».

Но для обуянных демоном метромании лицеистов было легче ту же мысль воспринять в ритмической форме. «То с пламенником гений, наука с свитком Муз, и с легкою уздою очами зоркий вкус» *(«Послание Батюшкову». 1812 г.)*.

Их очень занимали мысли о критике, о сущности и значении поэзии, о психологии поэтов. Пушкин в лицейских стихах постоянно возвращается к ним. Он должен был с особой жадностью вчитываться в это послание Жуковского, к Батюшкову, где мягкий, вдумчивый воспитатель царей и

поэтов вырабатывал для русских сочинителей вместо «славолюбия убийственны мечты» кодекс независимости и скромной гордости.

Сноси ж без ропота богов определенье,
Не мысля почитать успех за обольщенье
И содрогаться от похвал.
Хвала друзей — поэту вдохновенье,
Хвала невежд — брящающий кимвал.
Страшися, мой певец, не смелости, но лени
Под маской робости не скроешь ты свой дар,
А тлеющий в твоей груди священный жар
Сильнее, чем друзей и похвалы и пени.
(«Вяземскому». 1814)

Жуковского и Пушкина с первой встречи сразу потянуло друг к другу, несмотря на то, что между ними было 17 лет разницы, несмотря на то, что Пушкин был мальчишка-повеса, щеголявший вольтерьянством, а Жуковский, человек верующий, щепетильно-нравственный, привыкший строго наблюдать за своими словами и поступками.

Пушкин поразил его своим не по годам зрелым умом, безошибочностью поэтического слуха и памяти. Жуковский не умел, не любил поправлять свои стихи и приходил читать их Пушкину в Лицей. Если Пушкин забывал какой-нибудь стих, Жуковский его менял, иногда совсем вычеркивал. Так зародилась между ними писательская близость. Она стала еще крепче, когда Пушкин кончил Лицей.

«Вышедши из Лицея, Пушкин был для Жуковского приятнейшим необходимым существом. Они как первоклассные поэты понимали друг друга вполне. Им весело было разделять друг с другом каждую мысль. Никто вернее не мог произнести приговора о новом плане, о счастливом стихе, как они вместе» *(Плетнев)*.

Жуковский был наставником в. кн. Александры Федоровны и должен был вместе с Императорским двором переезжать то в летнюю резиденцию Павловск, то в Москву, где он прожил зиму 1817/18 года. Когда он бывал в Петербурге, то в его квартире, у Кашина моста, бывали субботники. «На них собирались писатели и любители просвещения. Было что-то редкое в этом общении лучших талантов, лучших умов столицы. Совершенствование произведений ума и вкуса столько же у всех было на сердце, как слава и благосостояние отечества... Так называвшееся Арзамасское общество, в котором из-под шуточных форм юношеской причудливости много блеску, остроумия и свежести сообщалось Русской литературе, видимо, продолжало существование свое на вечерах Жу-

ковского. Главнейшие подвижники идеи Прекрасного и здесь были те же. Они только возмужали в суждениях и серьезно принялись за дело. Еще до отъезда в Италию Батюшкова туда же явился Пушкин, с первыми песнями Руслана и Людмилы. Каждую субботу приносил он новую песнь».

Насчет поэмы это не совсем точно. Поэма росла не от субботника до субботника, не неделями и даже не месяцами, а годами. Но Пушкин уже был одной из приманок на этих субботниках. Он приносил с собой новые стихи и неистощимый запас шуток, острот, проказ, заразительного смеха. До всего этого Жуковский был большой охотник. В квартире Жуковского сочинил Пушкин одну из своих шуток, которая чуть не привела к дуэли с его лицейским товарищем Кюхельбекером.

«Кюхельбекер, как и многие тогдашние молодые стихотворцы, хаживал к Жуковскому и отчасти надоедал ему своими стихами. Однажды Жуковский куда-то был позван на вечер и не явился. Его спросили, отчего? Жуковский отвечал: «Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер и я остался дома». Пушкин написал экспромт:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.

Выражение «мне кюхельбекерно» стало в кружке поговоркой. Бедняга взбесился и, несмотря на уговоры друзей, вызвал Пушкина на дуэль. Первым стрелял Кюхельбекер и промахнулся. Пушкин бросил пистолет, не стреляя. Кюхельбекер в неистовстве кричал — стреляй, стреляй. Его едва успокоили» *(П. Бартенев)*.

Пушкин и Жуковского умел вышутить, на что тот никогда не обижался и от души смеялся над пародией Пушкина на «Тленность» — «Послушай, дедушка, мне каждый раз...». Даже тонкая, блестящая пародия на «Двенадцать Спящих Дев», вставленная Пушкиным в четвертую песнь «Руслана и Людмилы», не рассердила «родоначальника ведьм и чертей». («Друзья мои, вы все слыхали, как бесу в древни дни злодей предал сперва себя с печали...» и т. д.). Да и как было сердиться, когда «Сверчок моего сердца» тут же просил прощенья в таких неотразимо вкрадчивых стихах:

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений
Любви, мечтаний и чертей,

Могил и рая верный житель,
И Музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей!

Жуковский не только не обиделся, но, когда поэма была закончена, подарил Пушкину свой портрет, на котором написал: «Победителю — ученику от побежденного учителя».

Их сближала любовь к Прекрасному, составлявшая содержание и смысл богатой духовной жизни Жуковского. Его отзывчивость, личная и художественная, радовала Пушкина. Мягкая, искренняя ласковость Жуковского согрела с детства незаласканного поэта. Жуковский один из первых полюбил в Пушкине не только гениального поэта, но и пленительного человека.

Связывало их также взаимное умение радоваться чужим достижениям, общность умственных занятий, родственность музыкального слуха, сходное благородство характера при полном несходстве поэтического темперамента и жизненного ритма.

Жуковский — поскольку можно судить по тому, что до нас дошло, — никогда не принимал с Пушкиным того наставительного, высокомерного тона, полного сознания своего морального превосходства над грешником, который проскальзывает у многих приятелей поэта.

Правда, Жуковский был не приятель, а друг. У Пушкина, как и у всех людей, друзей было не много. Но он умел быть не только верным, но и нежным другом, вносить поразительное при его страстном, неровном характере, чувство равенства и меры. Он был так умен, что не мог не понимать своего превосходства и над врагами, и над друзьями. Но он точно старался скрыть свой рост и не ходил, а летал между ними. Пушкин бесом ускользнул...

Внешне жизнь двух поэтов протекала по-разному. Пушкин жил в неряшливой обстановке, в беспечной семье, порывисто разбрасывал свое время и силы. Таким его видели, за это его журили и корили друзья и недруги. Не замечали, как среди хаоса пробивал себе художник дорогу к творчеству, к ремеслу, к рабочим навыкам.

Жуковский был всегда одинаково ровный, сдержанный, человек порядка и расписания. «Безвкусия или беспорядка он не мог видеть перед собой. У него все было приготовляемо с определенной целью, всему назначалось место, на всем высказывалась оценка. Чистые тетради, перья, карандаши, книги в приятном размещении ожидали руки его. Огромный высо-

кий стол, у которого работал он стоя, уставлен был со всевозможными прихотями для авторского занятия. Куда бы он ни переселился, даже на несколько недель, первая его забота была устроение такого стола». Так описал Плетнев аккуратные, нерусские привычки Жуковского. Это относится к той эпохе, когда Жуковский был воспитателем в царской семье. Но и в 20 лет педантически искал он размеренности внешней и внутренней. Он писал в дневнике:

«Хочу спокойной, невинной жизни. Нахожусь сегодня в приятно унылом настроении» *(1805)*. Набрасывал программу: «Рассмотреть свою собственную жизнь, разобрать свой собственный характер и характер некоторых знакомых. Сделать план для будущей жизни. Привести в порядок свою систему. Какая цель моей жизни и как до нее достигнуть? В чем должен положить свое счастье?.. Как говорить правду? Откровенность и скрытность? О деятельности. Здравие телесное необходимо для совершенства умственного. Женитьба есть товарищество для совершенства» *(1806)*.

Даже в творчество пытался Жуковский внести расписание.

«Я давно написал бы свое Послание, если бы не был рабом своего немецкого порядка и восхищению стихотворному назначен у меня час особый, свой. Но это восхищение как-то упрямо и не всегда в положенное время изволит ко мне жаловать» *(А. Тургеневу. 1810 г.)*.

Восхищение сходило на Жуковского туманно и редко, окутанное дымкой мечты. После свидания с Гёте он писал:

Почто судьба мне запретила
Тебя узреть в моей весне,
Тогда душа бы воспалила
Свой пламень на твоем огне.
(1826)

В одном из лучших своих стихотворений, в отрывке «Невыразимое», у Жуковского, рядом с тревожным ощущением космических сил, которое позже так хорошо передавал Тютчев, есть печальное признание бессилия творчества и слова, которое не может «создание в словах пересоздать»:

Невыразимое подвластно ль выраженью?
Святыя таинства, лишь сердце знает вас.
Настал величественный час
Вечернего земного преображенья,
Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена,
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,

Ненареченному хотим названье дать —
И обессиленно безмолвствует искусство.
(1818)

Какой контраст с Пушкиным. Он не вечерний, он весь солнечный. Он не ждет чужого пламени, других зажигает он своим огнем. Вся его жизнь есть выявление ненареченного и невыразимого в яркости нового слова.

Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю.

Стихи Жуковского, как и стихи Пушкина, еще не разобраны по месяцам, да и вряд ли удастся когда-нибудь добросовестнейшему комментатору восстановить такую точную хронологию. Но в послании Пушкина к Жуковскому «Когда к мечтательному миру...» *(1818)* — как будто есть отклики, если не на самое стихотворение, «Невыразимое», то, во всяком случае, на то настроение, которое подсказало его Жуковскому.

Послание было напечатано в «Сыне Отечества» *(1821)* под заглавием: «К Ж... По прочтении изданных книжек «Для немногих». Под ним стояло примечание: «Сочинитель не подписал своего имени, но кто не узнает здесь того поэта, который в такие лета, когда еще учатся правилам стихотворства — стал наряду с нашими первоклассными Писателями. Издатели».

Книжки «Для немногих» печатались как учебные пособия для ученицы Жуковского, в. кн. Александры Федоровны. В них, с одной стороны, был напечатан по-немецки текст Гербеля, Шиллера, Гёте и других поэтов, а на противоположной странице перевод Жуковского. Хотя среди них есть его переводческие шедевры, как, например, «Лесной царь», но все-таки не верится, чтобы перевод, хотя бы и художественный, мог вдохновить Пушкина на это Послание, поразительное по воздушной четкости, по научно-психологическому изображению творческого процесса.

Пушкин умел ценить, даже восхищаться дарованиями своих друзей. Но тут не о переводах с немецкого идет речь. Царственным жестом подымает он Жуковского на свою крылатую колесницу и мчит его в ту волшебную мглу, где земная суета сменяется восторгом золотым, где звенят и поют слова, «невыразимые» для бескрылых детей земли.

Особенно выразительна первая редакция. Суровый к себе Пушкин откинул почти половину первоначального текста для издания 1826 года, из 44 строк оставил 22.

Первый вариант начинался так:

Когда младым воображеньем
Твой гордый гений окрилен;
Тревожит лени праздный сон,
Томясь мятежным упоеньем...

Это отброшено, так же как отброшены великолепные строчки: ...«Пламенный поэт, вниманьем сладким упоенный, на свиток гения склоненный, читает повесть древних лет... От сна воскресшими веками он бродит тайно окружен... И в нем трепещет вдохновенье!»

10 лет прошло между первоначальной и последней редакцией. Пушкин умел так возвращаться к старым своим произведениям и много лет спустя придавать им новую законченность. Вот в каком виде Послание появилось в издании 1829 года:

Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе, —
Ты прав, творишь ты для немногих,
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.
(1818)

Огонь, разлитый в этих стихах, обжег Жуковского. Как вздрогнул угасающий Державин, услыхав магический ритм Пушкинского стиха, так содрогнулся Жуковский.

«Он мучит меня своим даром, как привидение». Так никто о Пушкине не говорил. Может быть, оттого, что из тех людей, среди которых Пушкин тогда кружился, больше всего был наделен мистическим чувством Жуковский. Он видел, что у Пушкина душа не такая, как у всех, что в ней горят ослепительные огни. Пушкин, как всегда точный, предметный, сам

раскрыл эту тайну, сам употребил эти слова — пламень, молния...

Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молненной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И тайно съединясь, в восторге пламенела!

(1817)

Мудрено ли, что Жуковский, при всей своей нежной любви к поэту, испытывал иногда холодок страха, жуткость, как перед чем-то выходящим из круга обычных явлений земных. «Он мучит меня своим даром, как привидение!»

Умный, остроглазый наблюдатель Вяземский, получив письмо Жуковского (от 17 апреля 1818 г.), где были эти слова, не подхватил их, не понял их значительности. Но самое Послание Пушкина привело его в восторг: «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши. В дыму столетий... это выражение — город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших... Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий? О прочих и говорить нечего...» *(25 апреля 1818 г.)*.

Пушкин, отрезая для издания 1829 года последние 17 стихов, не пожалел и пленившего Вяземского стиха: «Он духом там, в дыму столетий».

Глава XIII

ТВЕРДЫЙ КАРАМЗИН

Совсем иные отношения сложились у Пушкина с Н. М. Карамзиным (1766—1826). В них нет и тени пленительной задушевности, сердечности, взаимного понимания, которыми пронизана дружба Пушкина с Жуковским.

Карамзин был сильнее, умнее, значительнее Жуковского, и Пушкину было что от него взять. Отец поэта в неизданной записке о своем сыне рассказывал: «В самом младенчестве он показывал большое уважение к писателям. — Не имея шести лет, он уже понимал, что Н. М. Карамзин не то, что другие. — Одним вечером Н. М. был у меня, сидел долго, во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговор и не спускал с него глаз; ему был шестой год» *(М. Гофман)*. Несомненно, что Пушкин с детства зачитывался его прозой и стихами. «Бедная Лиза», «Письма русского путешественника», стихи в альманахах «Наши Музы» и «Аониды», все это в

Лицее читал он с жадностью. Но когда Карамзин навещал Пушкина в Лицее и принимал его у себя в Китайском Доме, он был уже не поэтом, а историографом, работавшим над «Историей государства Российского», личным другом многих выдающихся людей, включая Императора Александра. По странной прихоти судьбы, когда Карамзин погрузился в прошлое, отошел от современной литературы и ее противоречий, его имя стало боевым лозунгом для русских сочинителей, разделившихся между «Арзамасом» и «Беседой», хотя сам он не был полемистом и участия в битвах не принимал.

В богатой портретной галерее талантливых русских людей Карамзин занимает почетное место.

Он прежде всего и больше всего писатель. Его многотомная переписка с И. И. Дмитриевым, начавшаяся при Екатерине II и кончившаяся при Николае I (со смертью Карамзина), полна рифм, стихов, литературных новостей, суждений о книгах, непрестанного стремления расширить пути русской литературы, поднять ее, возвысить, усилить ее влияние на жизнь.

В ранней молодости Карамзин, в Москве, был близок с кружком Новикова, с масонами и мартинистами. Возможно, что они и командировали его с каким-то поручением за границу (1789—1790). Он побывал в Германии, в Швейцарии, в Англии и во Франции, где был свидетелем революции. Этот суровый урок заставил его многое передумать. Гуманист, один из первых читателей Руссо в России, он писал Дмитриеву:

«Ужасные происшествия Европы волнуют всю мою душу. Бегу в пустую мрачность лесов, но мысль о разрушенных городах и погибели людей везде теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кишотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество» *(1793).*

После ареста Новикова *(1792)* Карамзин обратился к разгневанной, напуганной Императрице с очень смелой одой «К милости»:

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах,
Доколь доверенность к народу
Видна во всех твоих делах,
Дотоле будешь свято чтима...

Поэт, сочинитель повестей, редактор альманахов, потом создатель «Вестника Европы» *(1803),* он воспитал новое по-

коление и сочинителей, и читателей. Вяземский писал о нем: «Сперва попыткою искусства на новый лад настроив речь, успел он мысль свою и чувство прозрачной прелестью облечь. Россия речью сей пленилась и с новой грамотой в руке читать и мыслить приучилась на Карамзинском языке... Снял с речи тяжкие оковы и слову русскому дал ход...»

От этих оков он не сразу освободился. В 1793 году Карамзин еще считал большой вольностью употреблять в стихах слово «пичужка». Слово «парень» казалось ему отвратительным, недопустимым, вызывало представление «о дебелом мужике, который чешется неблагопристойным образом».

В 1803 году он был назначен историографом. Это назначение многих встревожило. Связи Карамзина с мартинистами, его независимость, то неискоренимое республиканство, которое сидело в нем, как и в Александре I, наконец, его популярность среди передовой молодежи — все это беспокоило неподвижные умы староверов. «Не могу равнодушно смотреть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г. Карамзина. Вы знаете, что оные исполнены вольнодумства и якобинского яда... Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие...» *(1810),* — так жаловался попечитель Московского университета П. И. Кутузов министру народного просвещения гр. Разумовскому.

Карамзин знал, что у него много недоброжелателей, но говорил: «Мщения не люблю, довольствуюсь презрением и то невольным».

Этот якобинец был горячий патриот, преданный Престолу и Отечеству, лично привязанный к Александру, который ему отвечал если не дружбой, то неизменным благоволеньем, с оттенком кокетства. В своеобразный роман между крупным русским писателем и Царем зловеще вкралось третье лицо — Аракчеев. Как мог Александр одноврсменно отличать своим доверием таких не сходных людей, понять трудно. Но, чтобы попасть к Царю, Карамзину пришлось пройти через приемную Аракчеева.

Царь был к нему постоянно ласков, внимателен до мелочей. Собственноручной запиской извещал он Карамзиных, что им пора перебираться к нему в гости, так как «в Царском Селе сухо и чисто в саду, а в Китайском его жилье тепло и прибрано». Тут сказалась приветливость хозяина, у которого в поместье годами гостит историограф со всей семьей. Бывая в Царском Селе, Царь вел с Карамзиным долгие беседы о самых важных государственных делах, выслушивал его подчас горячую критику, сам читал его рукописи, делал свои замечания.

Они подолгу вместе гуляли в «Зеленом кабинете», как прозвал Царь любимую свою аллею в парке. Спугивая шумную компанию арзамасцев, Царь запросто приходил в гости к Карамзиным. «Заглянул даже в мой кабинет, то есть в нашу спальню; подивился тесноте и беспорядку».

Об этой рабочей спальне Вяземский рассказывает: «Трудно было понять, как могла в ней уместиться История Государства Российского! Все, даже пол, был завален рукописями и книгами, но Карамзин чутьем знал, где у него что лежит».

При всей преданности, при всем гипнозе, исходившем от обворожительного Александра, его ученый друг сохранял независимость не только личную, но и во взглядах. Они расходились в существенных политических вопросах, да и мистического настроения Царя Карамзин не разделял. Сложный умственный и духовный опыт своей ранней молодости Карамзин переварил по-своему. Он был близок к московским мистикам и много лет спустя дал им очень точную характеристику: «Мартинисты были не что иное, как Христианские мистики. Толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, хвалились древними преданьями, унижали школьную мудрость и проч., но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность Государю».

Из этого кружка Карамзин вынес крепкую нравственную стойкость, чистоту, независимость, стремление к добру, но мистицизма в нем не осталось. Вяземский, его родственник и воспитанник, считал его «только деистом». Чуткое ухо христианина мистика Новикова уловило в первых же томах истории что-то для себя чужое.

Прочтя их, он посоветовал своему бывшему ученику прочитать 4-ю главу I Послания Св. Ап. Иоанна Богослова. На это Карамзин отвечал: «Один Бог знает Бога совершенно. У нас Библия в моде. Все говорят текстами» *(1816)*.

Он намекал на ханжество, захватившее придворные, сановитые круги. Пользуясь новым настроением Царя, который из неверующего превратился в мистика и в православного, его приближенные даже Библию превращали в ступеньку для карьеры. Карамзин писал А. Тургеневу:

«Я не мистик и не адепт; хочу быть самым простым человеком; хочу любить как можно более; не мечтаю даже и о возрождении нравственном в теле. Будем в среду немного получше того, как мы были во вторник, и довольно для нас, ленивых» *(1816)*. Через год он писал своему старо-

му другу, И. И. Дмитриеву: «Отныне кураторами у нас будут люди известного благочестия. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров. Не по моей системе будет единственно, что угодно Богу. Государь желает добра» *(18 января 1817 г.).*

Эта уверенность не мешала ему иногда очень резко расходиться с Царем во взглядах на политику. «Я любил его искренно и нежно, иногда негодовал, досадовал на монарха и все любил человека», — писал Карамзин тотчас после смерти Царя *(18 декабря 1825 г.).*

Как это часто бывает с людьми независимого ума, либералы обвиняли Карамзина в обскурантизме, а консерваторы в якобинстве. Хотя он не был ни тем, ни другим. В нем был запас вежливой надменности, которая помогает крупным людям, поставившим себе большую задачу, ограждать свою внутреннюю свободу от хулителей и от льстецов, от ударов судьбы и от ее баловства. «Я горд смирением и смирен гордостью», — говорил он о себе.

Он был правее Царя в польском вопросе и левее его во внутренней политике. Вот несколько его собственных признаний:

«Я хвалю Самодержавие, а не либеральные идеи, то есть хвалю печи зимою в Северном климате» *(22 ноября 1817 г.).*

«Sire, je méprise les libéralistes du jour, je n'aime que la liberté qu'aucun Tyran ne peut m'ôter»* *(письмо Государю 29 декабря 1819 г.).*

«Я не безмолвствовал о налогах, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых сановников, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные» *(18 декабря 1825 г.).*

Когда польская политика Царя показалась Карамзину опасной для Государства Российского, он не удовольствовался дружескими спорами в Зеленом кабинете или в своей заваленой книгами спальне и подал ему записку: «Мнение русского гражданина о Польше» *(17 октября 1819 г.).* Карамзин боялся, что Александр слишком далеко зайдет в своих обещаниях Польше, и что первым опытом их независимости будет отторжение от России. Он напоминал Царю, что самодержцы, вступая на престол, дают клятву «блюсти целость своих держав». «Вы, любя свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, как за

---

* «Сир, я презираю нынешних либералов, я люблю лишь свободу, которую никакой тиран не может мне предоставить» *(фр.).*

благо рассудите? Россия, Государь, безмолвна перед Вами... но мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю».

Он ждал, что после такой укоризненной записки они «расстанутся душой на веки». И был счастлив, когда убедился, что его прямота не отдалила от него Александра.

С лета 1816 года Карамзин поселился в Царском Селе, в Китайском Доме, Пушкин часто бывал у историографа, уже обвеянного литературной сановитостью. Поэт-лицеист принимал участие в живых беседах о политике, о литературе, о книгах, о людях. Жадный, быстрый, молодой ум все схватывал, все претворял. Он внимательно прислушивался к Карамзину, около него насытился, напитался и русской историей, и литературной и культурной традицией, зародившейся еще в кругах Новикова, среди русских гуманистов Екатерининского царствования.

Это влияние, эту связь поколений так определял Я. К. Грот, сам непосредственно перенявший Пушкинскую традицию: «Литературные взгляды Карамзина сделались законом целой школы писателей, гордившихся названием его последователей: не искать легкого успеха в одобрении мало смыслящей толпы, дорожить только сочувствием немногих, но просвещенных судей, не унижать своего достоинства ни словом, ни делом, — таковы были правила, которым следовали приверженцы Карамзина еще до основания Арзамасского общества, которые ранее всех наследовал от него Жуковский, которые позднее принял и Пушкин».

Хотя в дверях карамзинского дома надо было сбрасывать с себя то удалое озорство, которое кипело среди лицеистов и их приятелей гусар, и позже в петербургских его кругах, но Пушкин очень ценил возможность бывать у Карамзиных.

«У них собирались люди государственные, писатели, все, кто искали наставительной, приятной беседы. Тогда литература занимала в понятии образованного общества высокое место, — говорит Гаевский в статье о Дельвиге. — В обществе Карамзина воспитывали свое мышление не только первоклассные писатели наши, но и те, которым предназначено было преобразовать и усовершенствовать разные отрасли гражданского ведения. Туда спешили кн. Вяземский, Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин, там же, между гр. С. Румянцевым, Сперанским и Олениным, сидели Уваров, Дашков, Блудов».

Это был своего рода Олимп, где Пушкина скоро стали принимать как равного, где он слушал чужие мысли и сам

думал вслух, судил чужие произведения и выслушивал суд над своими. Еще лицеистом слушал он, как Карамзин в тесном кругу друзей читал посвящение к «Истории государства Российского». Сохранился рассказ Киреевского, что Пушкин от слова до слова запомнил это посвящение, вернувшись в Лицей, записал его и прочел товарищам, которые познакомились с посвящением раньше, чем оно было напечатано.

С тех пор ему нередко приходилось быть участником самых интимных бесед вокруг Карамзина. Подготовляя вступительную речь в академию, Карамзин прочел ее предварительно Жуковскому, двум братьям Тургеневым и девятнадцатилетнему Пушкину.

Появление Карамзина в Российской академии *(5 декабря 1818 г.)* было событием для арзамасцев, публичным выявлением Арзамасского духа, объясняющим значение и идеологию «Арзамаса». Карамзин говорил на тему о воздействии словесности на жизнь государства: «Для того ли образуются, для того ли возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением; чтобы одна, низвергая другую, через несколько веков обширною своею могилою служила вместо подножия державе, которая во чреду свою падет неминуемо? Нет! Жизнь наша и жизнь Империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства, все бессмертно в их успехах!» В этой же речи он сказал: «Слова не изобретаются Академиями, они рождаются вместе с мыслями».

Речь эта произвела впечатление даже на шишковистов. Для арзамасцев это было настоящее торжество. На некоторое время слова Карамзина, «все для души», стало лозунгом их кружка.

Как писатель и историограф, Карамзин, несомненно, оставил след в умственной жизни Пушкина, который оказался его прямым наследником. От него Пушкин учился знаниям, работе, росту мыслей и самовоспитанию. От Карамзина шла заразительная любовь к пожелтевшей рукописи, к старой книге, к преданию устному и письменному, ко всему, чем 1000 лет жила, болела, радовалась и крепла Русь. Молодому Пушкину посчастливилось со школьной скамьи быть близким свидетелем огромной, многолетней исторической работы, в центре которой стояло Государство Российское. Прямо из Лицея, через парк, мимо белого с золотом царского нарядного дворца, мимо синего озера с лебедями, с плакучими ивами, со всей прелестью водного и небесного простора, с

красноречивыми памятниками старины, — попадал он в заветный Китайский Домик, где весь склад жизни Карамзиных свидетельствовал о русской культуре, говорил о непрестанной, ищущей, напряженной работе ума.

Когда, в феврале 1818 года, вышли первые восемь томов Истории, Пушкин, вместе со всей читающей Россией, пережил их появление как событие. Еще никогда не имела русская книга такого всеобщего, такого ошеломляющего успеха. В Петербурге в несколько дней разошлось 1800 экземпляров, стоимостью по 50 рублей. «Я не дивлюсь, что в Москве и в Иркутске разошлось почти равное количество экземпляров, — с легкой иронией писал Карамзин жене, — моя история в 25 дней скончалась» *(11 марта 1818 г.)*.

Есть отрывок автобиографии Пушкина, где он рассказывает, как в феврале 1818 года он выздоравливал после гнилой горячки. В это время вышла «История государства Российского». «Я прочел их в моей постеле с жадностию и со вниманием. Появление сей книги... наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлось в один месяц... — пример единственный на нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать Историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили».

Пушкин говорит, что среди читателей были и недовольные. М. Ф. Орлов пенял на Карамзина за то, что он «не поместил какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян». Главные нападки шли из либерального лагеря. «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал Историю свою в России». Это написано Пушкиным, после смерти Карамзина, в начале 1826 года. Когда История вышла в свет, Пушкин сам был якобинцем, или либералистом, как называл их Карамзин. До декабрьского восстания передовая молодежь не только не скрывала своего вольномыслия, но и щеголяла им. Карамзина сердили остроты и шутки Пушкина, который сам, без всякого красованья, точно уступая дорогу умершему учителю, рассказал об одном их столкновении.

«...Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал,

уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мною... упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности...» *(1826).*

В послании к Жуковскому Пушкин в очень торжественных словах дает характеристику Карамзину:

Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил.

(1817)

Это еще Арзамасская литературная почтительность. Когда закружатся вокруг Пушкина политические мысли и чувства, источником которых являются будущие декабристы, изменится и отношение его к Карамзину, который упорно «хвалит печи зимою в северном климате». Либералисты считали это отсталостью, обскурантизмом и осыпали его эпиграммами. В те времена газет почти не было. Эпиграммы заменяли газетную полемику, отчасти и политические прокламации. Только писались он хорошим русским языком и потому хорошо запоминались, передавались из уст в уста, накопляя своеобразное устное предание, которое связывалось, хотя и не всегда заслуженно, с именем того или другого популярного поэта.

В своей заметке о Карамзине Пушкин написал: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни». О какой эпиграмме он говорит, неизвестно. В академическом издании под 1819 годом напечатаны две его эпиграммы на Карамзина. Одну из них, наиболее острую —

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута —

Вяземский не считал за пушкинскую. Сам Пушкин признавался в одной эпиграмме на Карамзина, но в какой, неизвестно.

Гордый смирением Карамзин не был обидчив, да и не в моде было обижаться на эпиграммы. Но между ним и Пушкиным никогда не было дружеской теплоты, возможной и между представителями разных поколений. От старшего к младшему, от Карамзина на Пушкина шел холодок. В противоположность Жуковскому, Карамзин не испытывал к моло-

дому поэту не только нежности, но даже благоволения. Он не поддавался тревожной прелести Пушкина, не видел, что у него душа крылатая, не ощущал его личности: Пушкин от него бесом ускользнул. Хотя и ум и талант он рано признал за Пушкиным. В те дни, когда старшие держали молодежь на некотором почтительном расстоянии (даже сесть в присутствии старшего не всегда разрешалось), Карамзин запросто принимал юного поэта, допускал его во внутренние покои, куда не пускали чужих, непосвященных в умственную жизнь верхов. Значительность его признал. Но в сердце свое его не принял.

Нигде в обширной переписке историографа нет ни одного теплого слова о молодом поэте, нет предчувствия, что ему, даровитому исследователю путей и перепутий Государства Российского, судьба послала навстречу могучего охранителя единой России, который молнией слова свяжет населяющие ее племена.

Богатое содержание буйной, страстной, гениальной натуры Пушкина чем-то застилалось от строгих глаз Карамзина. Его раздражало повесничество, зубоскальство, неразборчивое волокитство, эпикурейство, вольтерьянство, — все, что было так чуждо Карамзину.

Свой ум, свой писательский дар отдал Карамзин на служение Государству Российскому. Этого служения ждал он и от идущих ему на смену писателей. В их толпе все громче, все пленительнее звучал голос Пушкина. Сам прирожденный писатель, Карамзин даже сквозь ветреность Пушкина ощутил магическую силу и властность его поэтического дара. Быть может, никогда так явственно не ощущал Карамзин опасность для России отвлеченного, заимствованного в чужих краях либерализма, как читая заразительно звучные политические стихи Пушкина.

Была еще одна полулегендарная причина для этого недоброжелательства. Сохранились рассказы о том, что Пушкин был влюблен в жену Карамзина. Она была гораздо моложе своего мужа, но когда семнадцатилетний Пушкин познакомился с ними, Екатерине Андреевне было уже 36 и она была матерью многочисленных детей. Гр. Каподистрия острил, что Карамзин каждый год производит на свет один том истории и одного младенца. Семейная жизнь Карамзиных производила впечатление крепкой, прочной, любовной. Екатерина Андреевна, красивая, умная, обходительная и обаятельная, умела принять и привлечь выдающихся людей, собиравшихся около

ее мужа. К этой женщине, окруженной всеобщим дружественным уважением, потянулась дерзкая влюбчивость Пушкина.

Арзамасец граф Д. Н. Блудов рассказывал П. И. Бартеневу, «что Карамзин показывал ему кресло в своем кабинете, облитое слезами Пушкина. Головомойка Карамзина могла быть вызвана и случайностью: предание уверяет, что, по ошибке разносчика, любовная записка Пушкина к одной даме с назначением свидания попала к Е. А. Карамзиной (тогда еще красавице)».

По другой версии, тоже Бартеневым записанной: «Пушкину вдруг вздумалось приволокнуться за женой Карамзина. Он даже написал ей любовную записку. Екатерина Андреевна, разумеется, показала ее мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор он их полюбил и они сблизились».

Если вглядеться внимательнее в многолетние отношения Пушкина с семьей Карамзиных, то ясно становится, что дружен он был не столько с главой семьи, сколько с его женой и ее падчерицей. Это подтверждается мнениями женщин, а в сердечных делах женщины хорошие наблюдательницы.

«Я наблюдала за его обращением с г-жей Карамзиной: это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой, — это нечто более ласковое» *(Смирнова-Россет)*.

«Меня очень тронуло, что первая особа, о которой после катастрофы спросил Пушкин, была Карамзина, предмет его первой и благородной привязанности», — писала графиня Р. С. Эдлинг после смерти поэта.

И, наконец, веская свидетельница А. П. Керн прямо говорит в своих воспоминаниях, что первой любовью Пушкина была Е. А. Карамзина.

От самого Пушкина тут ничего не узнаешь.

Определенные, твердые правила чести Пушкин с юности себе поставил. В них входило очень бережное отношение к репутации женщин, за которыми он ухаживал. Даже в те годы, когда молодые люди охотно выбалтывают приятелям и собутыльникам свои любовные секреты, Пушкин, такой открытый, болтливый, весь нараспашку, умел молчать, умел окружать свою влюбленность тайной.

Как-то раз, уже в разгаре славы, в 1826 году, Пушкин вписал в альбом хорошенькой московской барышни, Е. Н. Ушаковой, длинный ряд женских имен. Его принято называть Дон-Жуанским списком Пушкина. Не только позд-

нейшие комментаторы, но и современники и друзья ломали и ломают над ним голову, но до конца расшифровать не могут. В этой сдержанности как огонь страстного поэта есть что-то рыцарское, средневековое.

Дон-Жуанский список открывается Натальей. Второе имя — Екатерина. Но это, конечно, ничего не доказывает. Блудовский рассказ о кресле Карамзиных, облитом слёзами Пушкина, легче вяжется не с влюбленностью поэта, а с историей его первого столкновения с правительством, когда «твердый Карамзин», по словам Пушкина, «глубоко оскорбил и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность».

Глава XIV

ВЛЮБЧИВАЯ КРОВЬ

Женщины занимали огромное место в разнообразной, богатой, деятельной жизни Пушкина. Поэзия и любовь — это две основные его стихии. Когда в его крови горела страсть, огонь перекидывался в его творчество. В глубине его стремительного, гибкого, сильного тела любовь и творчество переплетались, сливались, били из одного родника. Ритм жизни переходил в ритм песни. Сама кровь пела вечную Песнь Песней.

Кровь у него была влюбчивая, как и воображение. Но при ненасытном влечении к любви, к женщине Пушкин не был рыцарь бедный, романтический вздыхатель. Он был прирожденный Дон-Жуан, знаток науки сердца нежной. Его присутствие волновало женщин. Может быть, отчасти потому, что они знали, что он тоже всем своим существом ощущает их присутствие. Трудно теперь провести грань, отделявшую чувственную ветреность Дон-Жуана, ищущего соблазна новой красоты, от изменчивости поэта в погоне за своеобразием мечты.

«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно, — рассказывал его брат, — ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должно заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его». Зато, по

мнению Л. С. Пушкина: «Разговор Александра с женщинами едва ли не пленительнее его стихов».

В годы своей первой петербургской жизни Пушкин не успел ни развить, ни проявить по-настоящему свой дар сердца тревожить. Не чувство, а чувственность искрится в его стихах этого периода. Между тем его поэзия самая точная летопись его жизни. В ней, как в волшебном зеркале играет и переливается его прозрачная, неуловимая душа. В стихах за 1817—1820 годы, наряду с бесстыдством бешеных желаний, есть беглые намеки на иные переживания.

...Чувство есть другое.
Оно и нежит, и томит,
В трудах, в заботах и в покое
Всегда и дремлет, и горит...
(1818)

По времени этот отрывок можно отнести к княгине Авдотье Ивановне Голицыной, в которую Пушкин влюбился вскоре после Лицея.

Княгиня Авдотья Ивановна Голицына (1780—1850), прозванная за привычку превращать ночь в день princesse Nocturne*, была женщина красивая, обаятельная, в мыслях независимая, в жизни своеобразная. С мужем, за которого помимо ее воли выдал ее Павел I, она разошлась сразу после смерти Павла. В ее, похожем на музей, богатом доме на Миллионной собирались по вечерам ее многочисленные друзья и поклонники, блестящая знать и блестящие таланты, писатели, художники и просто образованные люди. Княгиня не только прислушивалась к их суждениям и взглядам, но и умела думать по-своему. Она была славянофилкой едва ли не раньше, чем это слово было произнесено, и, уж во всяком случае, раньше, чем это понятие было выявлено.

В 1812 году кн. Голицына приехала на бал в Благородное Собрание в Москве в кокошнике, обвитом лаврами. «С насмешливым любопытством смотрели барыни на эту Марфу Посадницу» (Вяземский). После победы над Бонапартом она убеждала петербургское дворянство ходатайствовать перед Александром I, чтобы на стенах Кремля было водружено в память Отечественной войны особенное знамя с изображением креста. Ей и в русский государственный герб хотелось включить знамя с крестом. Когда, по окончании войны с Наполеоном, обратная волна русских войск принесла с собой из Европы новое брожение либерализма, кн. Голицына не

---

* Ночная княгиня *(фр.)*.

заразилась модными мыслями. Большинство ее посетителей и друзей, Вяземский, Тургенев, Пушкин, ген. М. Орлов, были вольнолюбивыми арзамасцами, но кн. Голицына считала конституционные идеи для России опасными. Она негодовала на кокетничание Александра с поляками, и даже Карамзин казался ей недостаточно славянином и патриотом.

Вяземский писал, что в их кругу никто не любил «синих чулок и политических дам», считая их «кунсткамерным уклонением от природного порядка», но так велико было женственное обаяние Голицыной, что ей прощали даже ее политический энтузиазм, да еще не совпадавший с их собственным.

Княгиня была очень красива. Память о ее редкой красоте сохранили писанные лучшими художниками портреты и воспоминания современников. Вяземский, который оставил в своих записках блестящую портретную галерею тогдашних красавиц, так описывает Голицыну:

«Не знаю, какою она была в первой молодости, но вторая и третья ее молодость пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная, придайте к этому голос, произношение необыкновенно мягкие и благозвучные. Вообще красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнегреческое изваяние, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в ее салоне, хотелось бы сказать — в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее вообще, туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы подумать, что тут собирались не просто гости, а посвященные... Разговор самой княгини действовал на душу как Россиниева музыка».

Было в ней беспокойное внутреннее горение, и впечатление жрицы производила она не на одного только Вяземского. Но не всем это нравилось. «Она благородная и, когда не на треножнике, а просто на стуле, — умная женщина», — писал о ней А. Тургенев.

Карамзин насмешливо писал Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в пифию Голицыну и теперь уже проводит у ней вечера: лжет от любви, сердится

от любви, только еще не пишет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в пифию, от ее трезубца пышет не огнем, а холодом» *(24 декабря 1817 г.).*

В это время Пушкину было 18 лет, а княгине 37, но она была еще в полном расцвете своей красоты «огненной, пленительной, живой». Батюшков писал около этого времени А. И. Тургеневу: «Трудно кому-нибудь превзойти Вас в доброте, точно так, как кн. Голицыну, Авдотью Ивановну, в красоте и приятности. Вы оба никогда не состаритесь, Вы душою, она лицом» *(июнь 1818 г.).*

Пушкин посвятил princesse Nocturne две пьесы. Посылая ей оду «Вольность», он сопроводил ее короткой, почти банальной записочкой в стихах («Простой воспитанник природы»). Свою влюбленность вложил он в другой блестящий мадригал, который начинается покаянными словами:

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.
(30 ноября 1817 г.)

Это не только яркий портрет княгини Авдотьи Ивановны, но и характеристика тех увлечений всем чужеземным, на которых воспиталась русская оппозиция. Вероятно, мадригал писан в ответ на одну из тех пламенных патриотических речей, за которые друзья ласково, недоброжелатели язвительно, прозвали Голицыну пифией.

Пушкин этого стихотворения в печать не отдавал.

Трудно сказать, сколько времени продолжалось это первое светское, как говорил Вяземский, «воодушевление» Пушкина. Поэт не выставлял напоказ своих увлечений, их надо расшифровывать в его стихах. Найти в них кн. Авдотью Ивановну трудно. Есть мнение, очень гадательное, что к ней обращено прелестное начало шестой песни «Руслана и Людмилы»:

Ты мне велишь, о друг мой нежный...

Пушкин никогда не пел любовь, не воплощая ее в определенной женщине. Но шестая песнь писана в 1819 году, а влюбленность в princesse Nocturne так же быстро слетела, как и налетела. А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Я люблю ее (Голицыну) за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя... Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее, а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете, который и для нас был бы очарователен, особливо в некотором отдалении во времени» *(3 декабря 1818 г.).*

Но Пушкин продолжал бывать у нее. Остыла кровь, прошла влюбленность, но осталась дружба, как это не раз бывало с ним. С юга России с ласковой шутливостью спрашивает он петербургских приятелей: «Что делает поэтическая, незабвенная, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына?» *(1 декабря 1823 г.).* «Целую руку К. А. Карамзиной и кн. Голицыной constitutionelle, ou anti-constitutionelle, mais toujours adorable comme la liberté»* *(14 июля 1824 г.).*

«Передать ее потомству в поэтическом свете» Пушкин все-таки пробовал. Есть несомненное сходство между Голицыной и Полиной *(«Рославлев»).* К сожалению, это только этюд к портрету, так как роман остался неоконченным.

Княгиня на много лет пережила Пушкина. После декабрьского восстания правительство стало так недоверчиво, что даже княгиня Авдотья Ивановна попала под тайный надзор. Сохранился донос, писанный какой-то Екатериной Хозяинцевой, вероятно служившей в ее доме: «Княгиня весь день спит, целую ночь пишет бумаги и прячет, говорят, что она набожна, но я была в спальне и в кабинете и не нашла ни одной набожной книги» *(8 апреля 1828 г.).*

Во вторую половину жизни Голицына увлеклась математикой и метафизикой, завела переписку со знаменитыми учеными и выпустила двухтомную работу: «De l'Analyse de la force»** (1835—1837). Ее пытливый ум интересовался магнетизмом, которым позже так интересовался и Пушкин.

В 1850 году она умерла. Ее похоронили на Александро-Невском кладбище. Для своего надгробного памятника она сама составила надпись: «Прошу православных русских, проходящих здесь, помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа русского».

Как относилась кн. Авдотья Ивановна к «воодушевлению»

---

* «Конституционалистке или антиконституционалистке, всегда обожаемой, как свобода» *(фр.).*

** «О составляющих силах» *(фр.).*

своего юного, веселого, стремительного поклонника, неизвестно. Подозревала ли она, что «потомок негров безобразный» сделает для сохранения духа русского больше, чем кто бы то ни было из ее даровитых друзей?

За три года петербургской жизни, между окончанием Лицея и ссылкой на юг, вероятно, не одна только princesse Nocturne волновала влюбчивого Пушкина. Но никакого другого женского имени не сохранили нам ни его стихи, ни память современников. Дорида, Ольга — крестница Киприды, это только имена собирательные.

В годы ранней, буйной молодости Пушкин больше кутил, чем любил. «Златом купленный восторг» составлял общепризнанную необходимость жизни как Пушкина, так и большинства его сверстников, но не от него рождалось вдохновение. За эти годы Пушкин почти не писал любовных стихов, кроме нескольких отрывков. Позже не раз сурово, горько помянет он шалости и заблуждения своей блистательной весны.

Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златые,
И вы забыты мной...

(Сентябрь 1820 г.)

Это писано на корабле между Феодосией и Гурзуфом. Точно вдруг омылось сердце очистительным дыханием моря. Без горечи, с тихой, вдохновляющей печалью, он говорит:

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...

За несколько месяцев перед этим, в Петербурге, Пушкин написал стихотворение «Дорида»:

Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял, но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали.
И имя чуждое уста мои шептали.

(1820)

О ком думал он в объятиях Дориды, о ком вспоминал, прислушиваясь к ропоту черноморской волны? Кто знает? Хитро и ревниво прятал пламенный поэт свое сердце от бесцеремонного любопытства приятелей, современников, позднейших исследователей. Кажется, так просто. Столько стихов, кипящих всеми мелодиями, всеми оттенками любовной страсти. И столько пленительных женских головок вокруг него. Столько хорошеньких женщин, осчастливленных утонченной, вкрадчивой лестью его мадригалов, радостным сознанием, что мимолетная их прелесть увековечена алмазным узором Пушкинской похвалы.

Но где настоящая его любовь? И сколько их было? И что мечталось ему самому, когда он думал о настоящей любви, — об этом до сих пор спорят и всегда будут спорить.

Глава XV

В РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ

Музы плохо уживались с наследницами Киприды. Шум рассеянной, бурной жизни заглушал непрестанное жужжание рифм, кружившихся вокруг Пушкина-лицеиста. За три года (июнь 1817-го — апрель 1820-го) он написал, если не считать первую большую поэму «Руслан и Людмила», только несколько эпиграмм, два больших политических стихотворения, несколько любовных шалостей и двенадцать дружеских посланий. Нет одержимости стихами, которая владела им в садах Лицея. Это скорее годы собирания, накопления, выучки, а не творчества.

Русские писатели и просто образованные люди любили тогда излагать свои суждения, главным образом литературные, в длинных рифмованных посланиях. Писал их и Пушкин. В Лицее это было подражание старшим поэтам, потом, по-своему, круто изменил он эту форму сочинительства. Позже совсем от нее отошел. Послания Пушкина, короткие, яркие, стремительные, вырвались из застывшего медлительного темпа. Он откинул рассуждения, дидактику, полемику, вложил в них биение жизни, улыбку сладострастных уст, быстро, верно набросанные портреты и самого себя. Так никто до него не писал. Немудрено, что, прочтя послание к гусару Юрьеву, где Пушкин дерзко хвалится: «А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний», — Батюшков с тревогой воскликнул: «О как стал писать этот злодей!»



Александръ Пушкинъ

Герб рода Пушкиных.



Алексей Федорович Пушкин. *Неизвестный художник. 3-я четв. XVIII в.*



Сарра Юрьевна Пушкина, урожд. Ржевская, прабабушка поэта. *Г. Сердюков (?). 3-я четв. XVIII в.*



Герб рода Ганнибалов.



Предполагаемый портрет Абрама Ганнибала.



Иван Абрамович Ганнибал.
Неизвестный художник.
1790-е гг.





Церковь Богоявления в Елохове.

Запись о рождении Пушкина в книге церкви Сретенского Сорока за 1799 г.

73 27 Во дворѣ колежскаго ре
гистратора ивана ва
сильева скварцова у жильца
ево Моэора сергія лвови
ча пушкина родился сынъ
александръ крещенъ іюня
8 дня восприемникъ графъ
артемій ивановичъ воро
нцовъ кума мать означе
наго сергія пушкина вдо
ва олга васильевна пу
шкина



Надежда Осиповна Пушкина, урожд. Ганнибал, мать поэта. *Миниатюра Ксавье де Местра. 1810.*

Сергей Львович Пушкин. *К. К. Гампельн. 1824.*



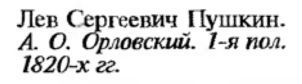


Василий Львович Пушкин.
И. О. Вивьен де Шатобрен.
1823 г.

Дом на Старой Басманной, 36, в котором жил В. Л. Пушкин.

Летний Сад. *Неизвестный художник. Нач. 1800-х гг.*

Ольга Сергеевна Павлищева, урожд. Пушкина. *Е. А. Плюшар. Сер. 1830-х гг.*


Лев Сергеевич Пушкин. *А. О. Орловский. 1-я пол. 1820-х гг.*





Царское Село. Лицей. *А. А. Тон. 1822.*

Егор Антонович Энгельгардт.



Василий Федорович Малиновский.

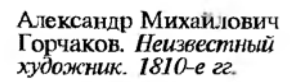




Иван Иванович Пущин.
Ф. Верне. 1817.



Антон Антонович Дельвиг.
П. Л. Яковлев. 1818.



Александр Михайлович Горчаков. *Неизвестный художник. 1810-е гг.*



Михаил Лукьянович Яковлев.
Неизвестный художник. 1810-е гг.





Большой зал Лицея. *Фотография.*

Царское Село. Вид на Большое озеро и Камеронову галерею.
Литография. 1815.



Петр Яковлевич Чаадаев.
Неизвестный художник.
1810-е гг.



Петр Павлович Каверин.



Михаил Сергеевич Лунин.



Екатерина Павловна Бакунина. *Автопортрет. 1816.*



Наталья Викторовна Кочубей. *1813.*

Царское Село. Вид на Болышое озеро. *А. Е. Мартынов. 1815.*



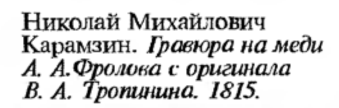
Евдокия (Авдотья) Ивановна Голицына. *Д. Грасси. 1-я четв. XIX в.*



Василий Андреевич Жуковский.
Е. Эстеррейх. 1820.



Петр Андреевич Вяземский.
Литография с рис. И. Е. Вивьена. 1820-е гг.



Николай Михайлович Карамзин. *Гравюра на меди А. А. Фролова с оригинала В. А. Тропинина. 1815.*



Екатерина Андреевна Карамзина. *Неизвестный художник. Конец 1830-х гг.*





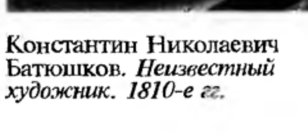
Николай Иванович Кривцов.
Неизвестный художник.
1810-е гг.



Федор Николаевич Глинка.
К. П. Беггров. 1821.

Никита Всеволодович Всеволожский. *А. О. Дезарно. 1817.*





Константин Николаевич Батюшков. *Неизвестный художник. 1810-е гг.*

Евгений Абрамович Баратынский. *Литография Ф. Шевалье. Конец 1830-х гг*

Александр Иванович Тургенев. *М. И. Теребенев. 1831 (?) г.*



Николай Иванович Тургенев.



Над петербургскими посланиями (кроме тех, что писаны Жуковскому, Чаадаеву, Горчакову и М. Орлову) можно поставить эпиграфом:

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель.

В них поет языческая радость молодого горячего тела. И первая поэма «Руслан и Людмила» насыщена той же непосредственной радостью жизни, неудержимой влюбленностью в любовь, которая пленяла, заражала читателей.

Точно искупая вину перед Музами, Пушкин в эти ветреные годы еще скупо отдавал свои стихи в печать. Только несколько лет спустя напечатал он послания к Жуковскому (второе), Юрьеву (первое), А. Орлову, Всеволожскому. Остальные при жизни поэта вовсе не были напечатаны. Это не помешало им сразу войти в устную, или, как тогда говорили, в карманную литературу. Послания Пушкина к друзьям переписывались, вписывались в альбомы и в заветные тетради, рассылались в письмах по всей России, заучивались наизусть.

Молву и гром рукоплесканий,
Следя свой дальний идеал,
Поэт могучий обгонял.
  А рок его подстерегал.

Так неуклюже, но выразительно описал поэт Федор Глинка быстрый рост славы Пушкина, который стал любимцем столичной молодежи. К нему ходили на поклон. Один из таких поклонников описал свою встречу с Пушкиным и позже напечатал это описание в «Русском Альманахе» (1833).

Вместе с бароном Д. (Дельвигом), отправился он к П., «который в это время по болезни не мог выходить из комнаты... Хотя было довольно далеко до квартиры П., ибо он жил тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста, но дорога показалась нам короткою... Мы неприметно достигли цели своего путешествия. Мы взошли на лестницу; слуга отворил нам двери, и мы вступили в комнату П. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкой на голове. Возле постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем П. продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришел, подал обе руки моим товарищам со словами: «Здравствуйте, братцы!» Вслед за сим он сказал мне с ласковой улыбкой: «Я давно желал знакомства с вами, ибо мне сказывали, что вы

большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы».

Дядя Александр, как называет себя рассказчик, «владел шпагой, а не пером», но это приветствие его задело, и он вежливой фразой постарался доказать Пушкину, что он находит удовольствие не только в устрицах, но и в чтении «прелестных ваших произведений». Разговор перешел на литературу.

«Суждения П. были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно поэтической иронии, которая подъемлется над ограниченною жизнью смертных и которой мы столько удивляемся в Шекспире. Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целое. Я высказал это желание; товарищи мои присоединились ко мне, и П. принужден был уступить нашим усиленным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно было истинно превосходно. И теперь еще с восхищением вспоминаю я о высоком наслаждении, которое оно мне доставило!»

Рассказ дяди Александра — это голос из растущего хора восторженных читателей. Более близкие люди, среди которых был весь цвет тогдашней образованной молодежи, видели в Пушкине «владыку рифмы и размера». Старшие сочинители, мастера литературы, прислушивались к каждой его строчке с изумлением, с восторгом. Писал он немного, но так очевидно излучалась из него сила крепнущего таланта — скоро раздастся и слово «гений», — что самые различные свидетели сходятся на одной характеристике: «Пушкин атлет молодой...» (Дельвиг), «Могучая юность Пушкина» (Шевырев), «Поэт могучий» (Ф. Глинка).

Все отчетливее ощущал свою поэтическую силу Пушкин. Это сознание наполняло его душу, расширяло прирожденную физическую жизнерадостность. Казалось, должна была от этого расти и его ветреность. Зачем искать, добиваться, когда стихи сами родятся в душе, когда пленительные строфы бегут за ним, как женщины за Дон-Жуаном:

Ведь рифмы запросто со мной живут,
Две придут сами, третью приведут...

Тем более что лень считалась признаком хорошего тона даровитости. Пушкин заливался веселым, звонким хохотом, когда старшие корили его за то, что он изленился и исшалился. Сам говорил: «А я, повеса вечно праздный». Жадный к наслаждениям, с воображением ненасытным, с влюбчивой кровью, весь погруженный в обольщения и прелести мирские, он и Музу свою привел на шум пиров и буйных споров.

Но в то же время все три года петербургской жизни, среди увлекательных забав, тщеславия, соблазнов, новых встреч, увлечений и просто кутежей, преодолевая внешнее рассеяние и собственную непоседливость, страсть к шалости, легкомыслие, влюбчивость и чувственность, Пушкин незаметно и упрямо работал над первой своей поэмой, учился ставить ремесло подножием искусству. Его рукописи — это памятник его упорства. С ранних лет владела им писательская воля. Она заставляла его, не довольствуясь сладким холодом вдохновения, скреплять его усилием, неустанно стремиться к предельному совершенству формы. Следы этой работы мы видим в его черновиках. Тем, кто любит Пушкина, трудно читать их без волнения. Много десятилетий тому назад первый его биограф Анненков писал: «Если бы нам не передали люди, коротко знавшие Пушкина, его обычной деятельной мысли, его много различных чтений и всегдашних умственных занятий, то черновые тетради поэта открыли бы нам тайну и помимо их свидетельств. Исполненные заметок, мыслей, выписок из иностранных писателей, они представляют самую верную картину его уединенного, кабинетного труда. Рядом со строками для памяти и будущих соображений стоят в них начатые стихотворения, оконченные в другом месте, прерванные отрывками из поэм и черновыми письмами к друзьям. С первого раза останавливают тут внимание сильные помарки в стихах, даже таких, которые в окончательном своем виде походят на живую импровизацию поэта. Почти на каждой странице их присутствуешь, так сказать, в середине самого процесса творчества и видишь, как долго, неослабно держалось поэтическое вдохновение, однажды возбужденное в душе художника; оно нисколько не охладевало, не рассеивалось и не слабело в частом осмотре и поправке произведения. Прибавьте к этому еще рисунки пером, которые обыкновенно повторяют содержание написанной пьесы, воспроизводя ее таким образом вдвойне».

Трудно не согласиться с этой оценкой, только рисунки Пушкина не повторяют содержания пьес, а часто расходятся с ними. Мозг Пушкина обладал способностью работать сразу в нескольких направлениях. Мысли, образы, намеки, часто

отрывки полурожденных, не до конца заполненных ритмических словосочетаний плавали в его голове друг над другом, как в летний день плавают облака, сходясь и расходясь с разной скоростью в разных плоскостях. Наряду с сочинительством, с творчеством клубились личные чувства, отголоски страстей, обид и радостей. Их чаще всего и отражают небрежные рисунки Пушкина.

Если не считать отдельных отрывков, то первой из сохранившихся рукописей Пушкина является хранящаяся в Румянцевском музее большая, в лист, переплетенная тетрадь. На ней рукой писаря-жандарма выведено: «Рокописная (так и есть) книга подлинного оригинала А. С. Пушкина, вышедшего в свет при жизни его сочинений». На заглавном листе, уже рукой Пушкина, с росчерком: «№ 2. Стихотворения Александра Пушкина. 1817 г.». Первые листы заняты начисто переписанными юношескими его стихотворениями с позднейшими поправками и пометками, сделанными, вероятно, для издания 1826 года, более установившимся почерком. На остальных 40 листах отрывистые записи, рисунки, черновики. Из них половина заполнена черновыми набросками «Руслана и Людмилы». Это двери, ведущие в рабочую комнату, где Пушкин из бешеного сорванца превращался в упорного, строгого к себе художника.

«Руслана и Людмилу» принято считать юношеской забавой, стихотворным баловством молодого поэта. На самом деле это важная ступень в его ремесле, это поэтический семинарий, рисовальные классы, где он учился рисунку, краскам, композиции, набрасывал отдельные эскизы, штрихи, искал связи, учился сжимать, всматриваться в еще неясные очертания. Все это теснилось, двигалось, перемещалось. Сменяются виденья перед тобой в волшебной мгле...

«Автору было двадцать лет от роду, когда кончил он «Руслана и Людмилу». Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником Царскосельского Лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни. Этим до некоторой степени можно извинить ее недостатки», — так, переиздавая поэму, написал Пушкин в предисловии к изданию 1828 года. Пока он ее писал, друзья и поклонники с нетерпением следили за его работой. В переписке тогдашних писателей сохранилась отрывистая хронология роста «Руслана и Людмилы», указывающая на то внимание, то признание, которое сразу за дверями Лицея встретило Пушкина.

Батюшков писал Вяземскому: «Пушкин пишет прелестную поэму и зреет» *(9 мая 1818 г.)*. Из Неаполя он просил

Тургенева прислать ему «Руслана и Людмилу», очевидно, думая, что она уже кончена *(1 марта 1819 г.)*. О том же дважды просит из Москвы Тургенева И. И. Дмитриев, не особенно долюбливавший литературную молодежь. Тургенев с самого начала нетерпеливо следит за ростом поэмы, корит и журит «племянника» за лень и получает от него лукавый ответ:

А труд и холоден и пуст.
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.

Это озорство, зубоскальство. На самом деле Пушкин уже тогда знал прелесть труда.

Чистовой список поэмы не сохранился, как не сохранился и ее план, если даже он и был. Среди черновиков есть два коротких конспекта:

«Людмила, обманутая призраком, попадается в сети и усыпляется Черномором. Поле битвы. Руслан и голова. Фарлаф в загородной даче. Ратмир у двенадцати спящих дев (Руслан, Русалки, Соловей Разбойник). — Руслан и Черномор. Убийство».

Спустя несколько страниц другой план:

«Источник воды живой и мертвой. — Воскресение. — Битва. — Заключение».

Первые строчки поэмы написаны в Лицее, в карцере на стене. Но по-настоящему сложилась поэма в самом процессе работы. В черновике картины идут не в той последовательности, как в окончательной редакции. В черновике после второй песни записан отрывок из первой. Отрывки четвертой песни идут после шестой, даже после третьей. Кажется, что отдельные места и строфы врывались, перегоняя и тесня друг друга. Иногда это запись отдельных стихов, точно поэт боялся, что ускользнут теснящиеся в его голове строфы. Иногда он упорно ловил недающуюся форму, слово, образ. Отдельные картины, в особенности описания природы, стоили ему много труда. Долго не давался в IV главе пейзаж вокруг волшебного замка, к которому подъезжает Ратмир:

Он ехал (меж угрюмых скал)
мимо черных скал
(Пещер угрюмых) (столетних)
Угрюмым бором осененным грозою над Днепром.

Через две страницы опять:

Он ехал (между) меж (лесистых)
мохнатых скал
и взором
Ночлега меж (кустов) дерев искал.

И наконец:

Наш витязь между черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.

Так же не сразу далось описание замка, с его роскошными банями, с его красавицами, которые манили и тешили Ратмира. Со страницы на страницу (52, 54, 64), чередуясь с отрывками других произведений, идет описание бани, первый раз до приезда Ратмира, помимо него, на той же странице, где:

Я люблю вечерний пир.

Тут уже намечена общая картина — фонтаны, девы, мягкие ткани, русская баня.

На 54-й странице сбоку записано отрывисто, наскоро:

Уж (ха) Ратмир
(Ратмир) ( )
(Голова, ложе из цветов)
И брызжут хладные фонтаны.
И (прелестные)
Над (ложе)
Хан обоняет запах роз
Ратмир лежит и
Зари берез.

Часть этих подробностей Пушкин выбросил, другие развил и создал из них законченную полную красок картину сладострастия.

Он много раз переписывал, перечеркивал, восстановлял даже дружеское, шутливое, казалось, мимоходом брошенное, обращение к Жуковскому:

Музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель
Прости мне, Северный Орфей...

Четыре раза переписано начало стиха: «Певец таинственных видений». Наконец, Пушкин в последней редакции оставил в этом обращении только 11 стихов.

IV глава тоже стоила немало труда. С законченной четкостью сразу прозвенела только песня:

Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный...

Но и она сначала начерно отмечена на странице, которая вся исчерчена рисунками, женскими головками, перечеркнутыми стихами, отдельными строфами из первой главы. Между этих беспорядочных записей отмечен, только в обратном порядке, первоначальный ритм «Песни дев»:

Укройся в терем наш отр.
Уж поздно м...
От...
Ложится в...
Сердечно.

Раздался голос, зазвенели слова, запела музыка, и от нее родилась вся глава. Через несколько листов, разрабатывая подробности, Пушкин повторил эти начальные звуки: «От волн поднялся ветер хладный. Укройся в терем наш отрадный...»

Трудно сказать, потому ли эта песня далась ему легче, чем описания, что был он в те годы прежде всего песенником, или потому, что в ней звучало и пело, звало и манило призывное любовное томление. Молодой Пушкин был полон им. И тем удивительнее, что в любовных сценах он обуздал свое воображение, с суровостью художника, ищущего плавности, старался не соскользнуть в соблазнительность эротизма. Сколько раз в пятой главе начаты, перечеркнуты, снова начаты и снова перечеркнуты отрывистые строчки, отдельные слова, концы, начала строф, где описана спящая Людмила, запутавшаяся в сетях Черномора:

И грудь... и плечи
Плечи и ноги обнажены...
И ноги нежные в сетях
Обнажены
    И прелести полунагия
    в ... запутаны сетях.

Варианты этой сцены занимают две страницы. В окончательном тексте чувственное изображение обнаженной княжны, окованной волшебным сном, превратилось в романтическое описание:

Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвет,
Любви, восторга слезы льет,
Зовет ее — но дева дремлет,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ее подъемлет...

Возможно, что советы Карамзина, Жуковского, А. И. Тургенева сдерживали яркость любовных сцен, заставляли считаться с цензором, с читателем, со стыдливостью читательниц. Но так настойчиво заменять волнение крови молодое волнением чувств, чувственность — негой тела и души могло только эстетическое чутье самого Пушкина. Парни, Грегуар и Вольтер, еще недавно владевшие им, могли толкать Пушкина на чувственные картины. Тема дает для этого достаточно поводов. Влюбленный Руслан скачет в Киев, держа в объятиях усыпленную чарами жену-невесту. Пушкин сдержанно говорит: «И в целомудренном мечтанье, смирив нескромное желанье».

В конце четвертой главы было 13 стихов, гривуазный реализм которых действительно напоминал французскую эротику XVIII века. («К ее пленительным устам прильнув увядшими устами...» и т. д.) Пушкин выбросил их из второго издания.

Если вспомнить нравы той поры, то, как щеголяла окружавшая его молодежь кутежами и буйным волокитством и непристойными выражениями и в разговорах и в письмах, и как он сам не скрывал от своих старших целомудренных друзей (Жуковского и А. Тургенева) ненасытной скифской жадности к чувственным наслаждениям, то тем изумительнее в этом бешеном сорванце (слова Вяземского) раннее поэтическое чувство меры. Может быть, и не только поэтическое. Вкрапленные в поэму личные автобиографические отступления отражают не вакхический призыв — Эван, Эвоэ, дайте чаши, несите свежие венцы, — не правдивое признание — «бесстыдство бешеных желаний», а какое-то иное настроение. Пушкин начал «Руслана и Людмилу», когда ему было семнадцать лет, и кончил, когда было двадцать. В эти годы даже более холодные натуры волнуются каждым хорошеньким личиком. А Пушкин был в состоянии постоянной влюбленности, во власти менявшейся, но пленительной женской стихии. Грация princesse Nocturne сменялась купленными прелестями ветреных Лаис. Но мало-помалу сквозь эту первоначальную жадность и неразборчивость начали проступать иные искания и желания. О том, как они проявились в его петербургской жизни, в кого воплотились, у нас нет сведений, но в поэзии они сказались, окутав первую его поэму весенней дымкой влюбленности в вечно женственное. Пушкин в посвящении так и написал:

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних

Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

Поэт точно чуял, что по его стихам русские женщины будут учиться жить и любить.

Серенадой начинается шестая, последняя песня, законченная к осени 1819 года. Сидя у ног своей возлюбленной, поэт поет:

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать...
Меня покинул тайный гений
И вымыслов, и сладких дум,
Любовь и жажда наслаждений
Одни преследуют мой ум.
Но ты велишь, но ты любила
Рассказы прежние мои...

Неоконченный, но близкий к окончательной редакции, черновик этой серенады набросан раньше шестой песни. Он врезается между черновыми отрывками третьей и четвертой песен, и датировать его нелегко. Судя по тому, что в черновике несколько раз написано, перечеркнуто, снова написано: «Поэт опять влюбленный», можно предполагать, что какое-то старое увлечение налетало и уходило. На той же странице отрывок:

Напрасно, милый друг, я мыслил утаить
Тоскующей души холодное волненье,
Ты поняла меня — проходит упоенье,
    Перестаю тебя любить...

Рисунки отразили меняющееся настроение. То это две томные целующиеся головки с пометкой «1818. 15 Дек.». То изображение пьяной женщины, которая пляшет, а маленький скелет в феске играет у ее ног на скрипке. Через страницу идет весь перечеркнутый черновик «Недоконченной картины», этого странного, тревожного, недоговоренного стихотворения:

Чья мысль восторгом угадала,
Постигла тайну красоты?

. . . .
Ты гений!.. Но любви страданья
Его сразили. Взор немой
Вперил он на свое созданье
И гаснет пламенной душой.

Это написано в 1819 году. Для Пушкина это год бурный и предостерегающий. Два раза, в феврале и в июне, он был серьезно болен. В промежутке между болезнями неудержимо повесничал, заслуживая определение «беснующийся Пушкин» *(Тургенев)*. Собирался поступить на военную службу и уехать на Кавказ воевать с горцами, ухаживал за кассиршей в зверинце. И среди всего этого написал политическое стихотворение *(«Деревня»)*, где впервые были высказаны гуманитарные мечты передовой интеллигенции:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?
(1819)

Первая часть «Деревни», как и начало первого послания Жуковскому, чистая лирика, описание душевного состояния. «Приветствую тебя, пустынный уголок. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья. Я здесь, от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить... Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!.. И ваши творческие думы в душевной зреют глубине».

Но жизнь опять мчится. Вернувшись с рукописью своей мудрой «Деревни» в Петербург, он опять среди детей ничтожных мира, опять окунется в рассеянную, бешеную жизнь, которая даже снисходительного Жуковского заставляла думать, что «ум Пушкина созрел гораздо раньше его характера». Между тем в душе поэта звучали важные голоса, происходило то таинственное углубление, изменение мыслей и чувств, которое предшествует внутреннему перелому:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
(1819)

Точно чья-то рука пыталась снять завесу с усталой души. Уж ложился от петербургского кружения на детски доверчивого поэта горький осадок. Позже, оглядываясь на эту полосу своей жизни, Пушкин не раз с обычной своей искренностью подведет итог. В первый раз он сделает это в эпилоге к «Руслану...»:

Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов...

Первые черновые строчки эпилога записаны еще в петербургской тетради, хотя кончен он на Кавказе *(26 июля 1820 г.)*. Черновые варианты, сравнительно многочисленные, откровенные, передают автобиографические оттенки. Настойчиво ищет Пушкин самого верного эпитета, самого верного прилагательного. Вспоминая друзей, спасавших его во время петербургской бури, он пишет: «О дружба тихой (верной) искупитель. О дружба — мирный утешитель волнуемой души моей...» И наконец выбирает: «О дружба, нежный утешитель болезненной души моей!»

Сначала применяет к себе более снисходительный эпитет — волнуемой души. Потом сурово постановляет: болезненной души моей. И то и другое точно, потому что кончал Пушкин поэму среди волнений, под шум «грозы незримой», скопившейся над его головой.

Эпилог попал только в издание 1828 года, так же, как и знаменитый сказочный пролог («У лукоморья дуб зеленый»), который крепче всех остальных частей поэмы вошел в сознание последующих читательских поколений. Пролог вырос из няниной присказки, которая у Пушкина записана так: «У моря, у моря, у лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а на тех цепях ходит кот. Вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».

По-своему перековал Пушкин старинный склад, точно драгоценным поясом сковал легкие, как одежды плясуньи, развевающиеся стихи своей юношеской поэмы. Кончив «Руслана и Людмилу», Пушкин написал Вяземскому: «Поэму свою я кончил. И только последний, то есть окончательный, стих ее принес мне истинное удовольствие... Она так мне надоела, что не могу решиться переписывать ее клочками для тебя» *(март 1820 г.)*.

Современные Пушкину критики, а главное, позднейшие исследователи, потратили много труда, добираясь и разбираясь в источниках, откуда поэт заимствовал сюжет и подробности своей первой поэмы. Отмечали влияние Ариосто, Жуковского, неоконченной баллады Карамзина «Илья Муромец», хотя «История государства Российского» оставила даже на стихах Пушкина гораздо более глубокий след, чем поэзия Карамзина. В руках Пушкина еще до Лицея, в Москве, побывали изданные в конце XVIII века сборники русского народного творчества, песни Кирши Данилова, сказки М. Чулкова, «Богатырские песнотворения и волшеб-

ные повести» Панова Михаила. Сравнивая описание поля битвы у Пушкина и в сборнике Чулкова, можно проследить, как могучее воображение поэта претворяло заимствованные из народного эпоса образцы:

«Сисослав без оруженосца и коня, грустный, бредет куда глаза глядят; странствуя очень долго, нашел он многочисленное порубленное воинство. Обширное и престрашное поле все покрыто было мужскими телами. Такое зрелище смутило его дух и вселило в него любопытство... посередине сего умерщвленного ополчения увидел он голову, подле которой находилось тело, которого платье и вооружение показывало его военачальником... Голова сия открывала и закрывала свои истомленные глаза...» и т. д.

Отчетливая, ничего не забывающая память Пушкина восстановила это описание. Но он все перестроил и, меняя, переставляя, снова возвращаясь к тем же строфам, упорно добиваясь последней художественной законченности, создал знаменитое, нелегко давшееся ему описание поля битвы с монологом Руслана: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями». Для нас не столько интересен список источников, даже не самый процесс впитывания народных преданий, чужих образов, напевов, форм, сколько момент, когда поэт остается сам с собою и внутренним озарением преображает все раньше слышанное или сказанное в еще не бывалое сочетание образов, мыслей, звуков и слов. Читатели, а тем более читательницы, не гнались за исторической подлинностью, за правдивостью старинного быта, за близостью к русскому фольклору. Их волновал самый звук его пения. Появление «Руслана и Людмилы» ошеломило грамотную Россию. В поэме все было ново — быстрая смена картин, яркость красок, прелесть шутки, беспечная дерзость юности, а главное — новая певучесть русской стихотворной речи.

Суховатый Анненков, писавший свою биографию, пользуясь указаниями современников поэта, говорит:

«Тем людям, которые застали Пушкина в полном могуществе его творческой деятельности, трудно и представить себе надежды и степень удовольствия, какие возбуждены были в публике его первыми опытами, но внимательное чтение их и особенно сравнение с тем, что сделалось вокруг, достаточно объясняют причину их успеха. Стих Пушкина, уже подготовленный Жуковским и Батюшковым, был в то время еще очень неправилен, очень небрежен, но лился из-под пера автора, по-видимому, без малейшего труда, хотя, как скоро увидим, отделка пьес стоила ему немалых усилий. Казалось, язык поэзии был его природный язык».

Современник Пушкина Н. А. Полевой писал:

«Стих русский гнулся в руках его, как мягкий воск в руках искусного ваятеля; он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини».

И как от Паганини исходила колдовская заразительность музыкальных переживаний, так из стихов молодого песенника излучалась новая заразительность слова. Точно электрический ток шел из него.

Еще никто, ни он сам, ни его судьи, ни друзья, ни враги не знали, кто он, что он несет России, но все насторожились. Как буйный весенний ветер врывались его напевы в души. Читающая Россия сразу отозвалась. Уже наросла потребность выразить в слове новые чувства, ощущения, вкусы, мысли, желания, накопившиеся в новых, раздвинутых пределах государства.

«Ни с чем нельзя сравнить восторга и негодования, возбужденных первою поэмою Пушкина. Слишком немногим гениальным творениям удавалось производить столько шуму, сколько произвела эта детская и нисколько не гениальная поэма», — писал позже Белинский. Вот как он объяснял ее успех: «Причиною энтузиазма, возбужденного «Русланом и Людмилой», было, конечно, предчувствие нового мира творчества, который открывал Пушкин всеми своими первыми произведениями».

Энтузиазм был, конечно, не всеобщим. Критика, очень многочисленная и многословная, разделилась на два лагеря. Одни возмущенно видели в поэме только грубость, чувственность, недопустимое опрощенье. «Если бы в Московское Благородное Собрание как-нибудь втерся гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться?» *(«Вестник Европы», 1820, № 11).*

Другие писали: «В слоге юного поэта, уже теперь занимающего почетное место между первоклассными отечественными нашими писателями, видна верная рука, водимая вкусом... Стихи, пленяющие легкостью, свежестью, простотой и сладостью, кажется, что они не стоили никакой работы, а сами собой скатывались с лебединого пера нашего поэта» *(«Сын Отечества», 1820, № 36).*

Старшее поколение тоже неодинаково оценило долгожданную поэму. И. И. Дмитриев писал кн. Вяземскому: «Что скажете вы о нашем Руслане, о котором так много кричали? Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери (музы). Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе, но жаль, что часто впадает в

burlesque, и еще больше жаль, что не поставили в эпиграф известный стих с легкой переменой: «La mère en défendra la lecture à sa fille»* *(20 октября 1820 г.)*.

Пушкин, перепечатывая в предисловии ко второму изданию неодобрительные отзывы, перевел это проще: «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть».

Карамзин, у которого к этому времени накипело против Пушкина, сдержанно писал Дмитриеву: «Ты, по моему мнению, не отдаешь справедливости таланту и поэме молодого Пушкина. В ней есть живость, легкость, остроумие, вкус. Только нет искусного расположения частей; все сметано на живую нитку».

Семидесятилетний Нелединский-Мелецкий писал дочери своей кн. Агр. Оболенской: «Спросите в книжных лавках и купите себе поэму «Руслан и Людмила» молодого Пушкина. Ручаюсь, что чтение вас позабавит. Легкость удивительная, мастерская» *(21 сентября 1820 г.)*. И сейчас же перешел к описанию изумительных груздей, которыми он угощался у Архаровых.

Сперанский, который был не литератором, а умным читателем, написал дочери из Тобольска:

«Руслана я знаю по некоторым отрывкам. Он действительно имеет замашку и крылья гениев. Не отчаивайся, вкус придет; он есть дело опыта и упражнения. Самая неправильность полета означает тут силу и предприимчивость. Я, так же, как и ты, заметил сей метеор. Он не без предвещания для нашей словесности» *(16 октября 1820 г.)*.

Младшие писатели просто пришли в восторг, склонились перед Пушкиным, признали его первородство. В ту ночь, когда была кончена поэма, Жуковский поднес автору свой портрет с такой надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, Марта 26, великая пятница».

Отрывок из первой песни поэмы (стихи 240—485) был напечатан в мартовской книжке «Невского Зрителя». Отдельным изданием поэма вышла в середине мая 1820 года, когда Пушкин был уже в полуссылке в Екатеринославе. Читатели, не дожидаясь ничьих суждений и приговоров, приняли поэму с радостным энтузиазмом. Пушкина перестали звать племянником. На некоторое время он стал «певцом Руслана и Людмилы», чтобы вскоре стать просто Пушкиным.

---

* «Мать запретит своей дочери читать ее» *(фр.)*.

Глава XVI

ПЕРВЫЙ ДЕКАБРИСТ

Дряхлели троны, алтари,
Над ними туча подымалась,
Вещали книжники, тревожились Цари,
Толпа пред ними волновалась...

(1824)

Пушкин говорил, что его сношения с двором начались при Павле Петровиче, перед которым он не снял шляпы в Юсуповом саду. Вернее, няня не успела ее снять, так как маленькому Саше не было и двух лет. Крутой Царь разнес няньку, а с мальчика собственноручно снял картузик.

Есть что-то символическое в этом шутливом рассказе. Не только Павел, но и оба его сына, в царствование которых довелось жить Пушкину, каждый по-своему учили его уму-разуму. При Александре Павловиче Пушкин два раза подвергался правительственным карам. При Николае Павловиче он был «прощен и обласкан», но и это было не сладко.

Пушкину ни разу не пришлось лично разговаривать с Александром. Видал он его не раз, и в лицейские годы, и после выпуска, а главное, жил среди людей, которые постоянно встречались с Царем, многое о нем знали, следили за ним с преданностью, а некоторые и с любовью.

Но всенародная влюбленность в Царя, которая розовым светом сияла в первые годы его царствования, уже потухала. Популярность Царя Царей еще росла в Европе, но уже падала среди его подданных. Под влиянием суровых уроков истории настроение Царя, который в течение многих лет был «России божеством», резко разошлось с настроением его подданных. Со второй половины царствования Александра произошло роковое раздвоение между частью русского образованного общества и русскими правительственными течениями, поскольку они воплощались в самодержце и в его политике. Это губительное разногласие началось при Государе, который по личным качествам своим был человек выдающийся, по образованности своей, по разнообразию интересов, по искреннему желанию и умению приобщить народ к просвещению стоял гораздо выше огромного большинства своих подданных.

Многолетняя борьба с Наполеоном не только отвлекла мысли и волю Царя от внутренних преобразований к сложным и трудным задачам дипломатическим и военным. Эта борьба перевернула всю его душу. Неожиданность первых

ударов и ошибок, поражения и унижения, Аустерлиц, Тильзит, зазнавшийся Наполеон и, наконец, Москва. Патриотическая гордость, ответственность за Россию и оскорбленное личное самолюбие. Потом три года побед, военных и дипломатических. Более близкое знакомство со сложностью и хрупкостью иноземной политики, личные встречи со всеми государственными людьми Европы, огромное мировое влияние и гнетущее сознание внутренней слабости. Жизнь развеяла сентиментальный либерализм Царевича, перековала его человеколюбие в тяжкое чувство непосильной ответственности за Богом врученную ему власть над огромной страной. Холодящее дыхание великих военных потрясений и революционных страстей, от которых содрогалась Европа, унесло с юности привитый рационализм, наполнило душу Царя мистицизмом.

Двенадцатый год опалил его огнем, растопил его душу, вдохнул в него веру в Бога. Но потускнела его вера в людей, в самодовлеющий авторитет человеческого разума. Это ему тогда же поставили в вину. Да и до сих пор часто ставят.

Гасли юношеские иллюзии восторженного цесаревича, который писал в 1797 году своему учителю Лагарпу: «Пусть небо поможет нам сделать Россию свободной, оградить ее от всяких поползновений деспотизма и тирании»... Став Императором Всероссийским, он всеми силами старался проводить в жизнь свои юношеские идеалы. В первый же год царствования (1801) Александр образовал Негласный Комитет, где обсуждался «проект всемилостивейшей грамоты, русскому народу жалуемой». Предполагалось даровать народу «свободу веры, мысли, слова, письма и деяния». Проект так определял сущность власти: «Не народы для государей, а сами государи Промыслом Божиим установлены для пользы и благополучия народов, под державою их живущих».

Либерализм Царя разделялся молодыми, просвещенными сановниками, которые были для Александра не слугами, а друзьями. Их общие идеи и настроения выразились в дружеской работе над государственным строительством и создали «дней Александровых прекрасное начало», от которого отблески упали и на юность Пушкина.

Но помчались по Европе кони Апокалипсиса. Доскакали до Москвы. Задрожала земля. Заколебалась и жизнь государства и жизнь отдельных людей. Революционные страсти и военное честолюбие сплелись в один клубок.

Мой друг, я видел море зла
И неба гибельные кары...

Не только в душе Царя, но во многих думающих чутких людях либеральный энтузиазм сменился мистическим страхом перед силой Зла. Вера в декларацию прав человека и гражданина сменилась смиренной верой в заповеди Христа. На них жаждал победитель Наполеона, Император Всероссийский, построить свою власть, опираясь на эти заповедные мечты, перестроить не только свою огромную Державу, но и всю Европу.

В рождественском манифесте на 1815 год, вывешенном по всей России в церквах, Царь давал торжественное обещание «Принять единственным ведущим к благоденствию народов средством правило, почерпнутое из словес и учения Спасителя нашего Иисуса Христа, благовествующего людям жить, аки и братьям, не во вражде и злобе, но в мире и любви».

Это было не мертвое официальное красноречие, это была действенная идеология, владевшая Александром, побудившая его создать Священный Союз. Но положить евангельское учение в основу как Российского Государства, так и во взаимоотношения между другими государствами, было задачей, превышающей силы человеческие. Александр был уже надломлен. В нем не было цельности первых лет царствования, когда он провел ряд государственных реформ и начал борьбу с Наполеоном. При этом его собственная, искренняя, мучительно покаянная религиозность в его ближайших сотрудниках и сановниках претворилась в темное, принудительное ханжество, выразившееся в гонениях на печать и на свободу мысли.

Это было особенно опасно, так как эти люди имели большую власть, а Александр вернулся из многолетних своих походов с усталой душой. Годы шли. Длиннее ложились тени жизни, тяжелее давила императорская порфира. На конгрессе в Торнау Александр сказал Меттерниху: «Между 1813 и 1820 годами протекло 7 лет, которые мне кажутся веком». Ему было тогда только 43 года.

Но как раз накануне так называемой эпохи конгрессов, боровшихся против европейского либерализма, Александр еще раз открыто и ответственно провозгласил свою верность вольнолюбивым мечтам своей юности. Весной 1818 года, после многолетнего перерыва, впервые в его царствование, возобновились занятия польского сейма. Император произнес в Варшаве две речи, одну при открытии сейма *(21 марта/2 апреля)*, а вторую в день его закрытия *(15/27 апреля)*.

Речи эти наделали шуму в Европе и в России, где одних не в меру напугали, в других возбудили преувеличенные

политические надежды. Русские образованные люди взволновались не столько той частью царской речи, которая была обращена к полякам и гарантировала им восстановление представительных учреждений, сколько намеком на реформы, предназначенные для России.

«Образование, существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметами моих помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости».

Государь говорил по-французски. Речь его была опубликована по-русски в «Северной Пчеле». Ответственное дело перевода было поручено поэту Вяземскому, служившему в канцелярии наместника. В своих записках он вспоминает, как трудно было переводить: «Многие слова политического значения, выражения чисто конституционные, были нововведениями в русском изложении. Надобно было над некоторыми призадумываться». Государь сам не только редактировал, но и подыскивал, а иногда и сочинял новые слова. Так, для constitutionel он придумал слово — законосвободный.

Еще не было в русском языке слов для выражения западных политических понятий, но в просвещенных русских людях они уже находили горячих сторонников. Варшавские речи Царя пробудили и надежду, и горечь. Никогда еще Цари не обращались к русским с такими значительными речами, какие были сказаны полякам. И в то же время не успела еще дойти до русского общества конституционная речь русского монарха, полная конституционных обещаний полякам и русским, как уже новый министр народного просвещения кн. А. Н. Голицын объявил поход на свободу слова. Он приказал, чтобы вторые издания книг подвергались вторичной цензуре: «Дабы подобные места в книгах сих, содержащие мысли и дух, против религии христианской, обнаруживающие вольнодумство, безбожничество, неверие и неблагочестие или своевольство необузданной революционности, мечтательного философствования или же опорочивания догматов православной нашей церкви и т. под., были немедленно запрещены к печатанию, хотя бы в напечатанных прежде книгах находились» *(4 апреля 1818 г.)*. Было также запрещено печатать что бы то ни было о крепостном праве, ни за, ни против. Это

было совершенно неожиданно, так как Александр считался противником рабства.

Н. И. Тургенев, один из самых неутомимых, последовательных и открытых проповедников освобождения, был за два года перед этим назначен директором департамента гражданских и уголовных дел, где разбирались тяжбы между крепостными и помещиками и рассматривались дела о помещичьих зверствах. Казалось, само его назначение свидетельствует о планах правительства. С горьким разочарованием писал Н. Тургенев Вяземскому:

«Нельзя однако же русскому не пожалеть, что между тем, как поляки посылают представителей, судят и отвергают проекты законов, мы не имеем права говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем показывать всю его мерзость и беззаконие... У нас все кончается или запрещением, или приказанием. Когда-то нам запретят быть хамами и прикажут быть порядочными людьми» *(22 мая 1818 г.)*.

Менее торопливый в политике Вяземский с начала своей сознательной жизни привык смотреть на Александра, как на источник власти благожелательной и просвещенной. Он был под непосредственным личным обаянием Царя. Но и его ответное письмо полно недоумения и раздражения:

«Правительство и должно идти всегда навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног. Впрочем, речь государя, у нас читанная, кажется, должна быть закускою перед приготовляемым пиром. Я стоял в двух шагах от него, когда он произносил ее, и слезы были у меня на глазах от радости и от досады: зачем говорить полякам о русских надеждах! Дети ли мы, с которыми о деле говорить нельзя? Тогда нечего и думать о нас. Боится ли он слишком рано проговориться? Но разве слова его не дошли до России? Тем хуже, что Россия не слыхала их, а только подслушала... Подслушанная речь принимает тотчас вид важности, вид тайны; а тут и разродятся сплетни, толки кривые и криводушные. Но как бы то ни было, Государь был велик в эту минуту, душою или умом, но велик» *(3 июня 1818 г.)*.

При всей своей влюбленной преданности Александру Карамзин критиковал его варшавские выступления. Но это уже была критика справа. Он писал И. И. Дмитриеву: «Варшавские новости сильно действуют на умы. Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят конституцию. Судят, рядят, начинают и писать. Иное уже вышло, иное готовится. И смешно и жалко. Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся» *(29 апреля 1818 г.)*.

Так как письма читал тогда не только адресат, но и весь круг его друзей и знакомых, то возможно, что письмо Карамзина было косвенным ответом на слова Вяземского: «Воля Николая Михайловича, а нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улице был праздник. Что за дело, что и теперь мало еще людей, что сначала будут врать. Люди родятся и выучатся говорить... Общее мнение не может долго остаться криво» *(3 апреля 1818 г. Тургеневу).*

Карамзина не могли переубедить ни вольнолюбивое кипение арзамасцев, ни влюбленная преданность Царю. В письме к Вяземскому он определенно высказывается против конституции: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу великую, удивительную и скорее может упасть, нежели еще более возвыситься. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правительство было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе... Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу Национального Собрания, или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру» *(12 августа 1818 г.).*

Несколько дней спустя, в письме к И. И. Дмитриеву, по поводу своих чувств к Царю повторяет он ту же мысль: «Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституции, ни Представителей, но по чувствам останусь республиканцем и при том верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое» *(11 сентября 1818 г.).*

Александр тоже до конца жизни, даже тогда, когда за него правил Россией «проклятый змей Аракчеев», считал себя республиканцем.

Помещичьи круги, из которых, главным образом, состояли не только правящие, но вообще грамотные слои, тоже взволновались царскими речами, но иначе. С дарованием конституции Польше они не спорили. Нетрудно было бы им понять и принять мысль о распространении народного, вернее шляхетского представительства и на Россию. Но большинство из них боялось всякого намека на эмансипацию. Они считали это нарушением своих прав, колебанием государственных основ.

«Вам, без сомнения, известны все припадки страха и уныния, коими поражены умы московских жителей варшавской речью, — писал из Пензы М. М. Сперанский Столыпину. — Припадки сии, увеличенные расстоянием, проникли и сюда. И хоть теперь все еще здесь спокойно, но за спокойствие сие долго ручаться невозможно. Если помещики, класс

людей, без сомнения, просвещеннейший, ничего более в сей речи не видят, как свободу крестьян, то как можно требовать, чтобы народ простой мог что-либо другое тут видеть»... *(2 мая 1817 г.).*

Варшавские речи всех, кто способен был волноваться политикой, по-разному взволновали. Но никого не удовлетворили и усилили растущую непопулярность Александра. Новый христианский дух, на котором стремился он построить власть, привел не к просвещению, а гонению на свободную мысль. Вместо того, чтобы снять с России язву и грех рабства, правительство тешилось военными поселениями. Аракчеев заслонял Царя от народа. Росло непонимание между властью и просвещенными людьми. Сам Александр с угрюмым неодобрением прислушивался к молодой русской интеллигенции. Как легко понял бы он их и они его в начале царствования, когда молодой Император тщетно искал общественного мнения и нигде его не находил. Теперь хор звучал все громче, а солист уже не хотел песен гражданственности, искал священных песнопений, хотя бы даже в мрачном исполнении мрачного Фотия.

Эти перемены и противоречия, за которыми даже историки до сих пор не разобрали, где же лицо Александра, окончательно сбивали с толку его современников. Им было трудно угадать, продолжает ли он разделять конституционные и освободительные мечты передовой России, или совсем от них отказался.

Сохранилось два анекдота, указывающие на то, как крепко сидела в царственном друге Аракчеева либеральная идеология его молодости. Рассказывали, что, прочтя «Деревню» Пушкина, которая не была напечатана, но ходила по рукам, Александр сказал генералу кн. Васильчикову: «Поблагодарите Пушкина за прекрасные чувства, порождаемые его стихами». Сердце воспитанника Лагарпа откликнулось на пожелание поэта:

Увижу ль я народ освобожденный
И рабство, падшее по манию царя.

Два года спустя *(1821)* тот же кн. Васильчиков доложил Царю о существовании тайного общества конституционалистов. Император выслушал внимательно, но преследовать их не пожелал: «Я разделял и поощрял эти иллюзии. Не мне подвергать их гонениям», — сказал он. В этих горьких словах Царя есть признание не только своей ответственности за растущий либерализм, но и своего духовного родства с членами «Союза Благоденствия». Задолго до образования тайно-

го общества Александр уже был «декабристом». А к тому времени, как союз образовался, перестал им быть.

Иллюзии декабристов возникли у него на глазах. Исторические события усиливали брожение умов. Французская революция не только выдвинула новые идеи, но она создала новую психологию, новые человеческие типы. Когда, по окончании Наполеоновских войн, началась эпоха конгрессов, короли и государственные люди, ими руководившие, не могли этого не чувствовать. Не о внешних войнах, а о внутреннем недовольстве, о том, как укрепить и удержать власть над подданными, пришлось им совещаться и сговариваться. Революционные движения вскипали в Неаполе, в Пьемонте, в Испании. Политические страсти и противоречия находили исход, с одной стороны, в политических убийствах, с другой, в подавлении свобод, в борьбе с идеями народоправства, которые были еще новинкой для всей Европы, кроме Англии.

Этими конституционными идеями зажглось русское офицерство, после того как во главе с Александром оно прошло походом по всей Европе, чтобы наконец в Париже низложить Наполеона. Н. И. Тургенев («La Russie et les Russes») оставил очень яркое описание этих переживаний, наложивших печать на всю позднейшую русскую историю.

По его словам, в Париже русское офицерство, забыв Наполеона, увлеклось Бенжаменом Констаном и его либеральными идеями. В настроении русской молодежи произошел резкий перелом. «Она точно возродилась для новой жизни, вдохновляясь благороднейшими политическими и моральными идеями. Гвардейские офицеры обращали на себя внимание свободой и свежестью мысли. Никто не боялся шпионов, да их почти и не было. Правительство не только не боролось с этим направлением общественного мнения, напротив, разделяло симпатии этой разумной и просвещенной части общества».

Это были те политические идеи, которыми в той или иной степени жили все вокруг Пушкина. О вольности златой толковали не только у братьев Тургеневых, но под Зеленой Лампой и у Никиты Всеволожского, где пламень жженки смешивался с пламенем свободолюбия.

Еще от лицейских профессоров, главным образом от Куницына, наслушался Пушкин рассуждений о правах человека и гражданина.

Теми же мыслями волновалась, горячо их обсуждала блестящая военная молодежь, с которой поэт встречался в Царском Селе и окончательно сблизился в Петербурге.

Один из них, П. Я. Чаадаев (1796—1856), оставил явственный след на умственном развитии Пушкина и, может быть, еще больший на развитии его характера.

Чаадаев, как и большинство его образованных современников, учился не столько в профессорских аудиториях, сколько от жизни и из книг. Пробыв недолго в Московском университете, он поступил в Семеновский полк, и в день Бородина стоял около полкового знамени. Дрался под Кульмом и Лейпцигом. Был в почетном карауле при Александре, когда русские войска входили в Париж. Вернулся вместе с гвардией, поступил в лейб-гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Потом был назначен адъютантом к командующему войсками петербургского округа кн. Иллариону Васильевичу Васильчикову.

Красивый, энглизированный, сдержанный, с отличными манерами, всегда безукоризненно одетый, Чаадаев считал, что заботы о своей внешности есть необходимая часть самовоспитания и самоуважения. Пушкину это нравилось. После неряшливой семьи ему было чему научиться от Чаадаева. Для только что сбросившего с себя лицейскую курточку и не привыкшего к штатскому платью поэта этот изящный, умный щеголь был своего рода arbiter elegantiarum*.

Около этого времени в Париже произошла революция в мужских модах. Раньше носили узкие в обтяжку штаны с ботфортами, или штаны до колен с чулками и башмаками. Это был пережиток костюма XVIII века, с той разницей, что после французской революции мужчины, сохранив общий покрой одежды, отказались от лент и кружев, стали одеваться в более темные цвета, носить сукно вместо шелка. После 1818 года появился тот тип мужской одежды, темной, одноцветной, простой, который держится и до сих пор. Стали носить широкие брюки навыпуск и сюртуки. Старикам, привыкшим к фракам, это казалось безобразным и дерзким новшеством. Пушкин, вообще любивший хорошо одеваться, быстро усвоил новые моды и этим лишний раз обращал на себя внимание староверов.

П. Бартенев рассказывает, что после первой своей болезни *(1818)* Пушкин еще долго ходил обритый и в ермолке. — «Видевшие его в то время помнят, что он носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами à l'americaine** (сюр-

---

* Третейский судья — воплощенная элегантность *(лат.)*.

** По-американски *(фр.)*.

тук) и шляпу с широким полями à la Bolivar, о которой после упомянул, описывая наряд Онегина. Тогда же начал он носить длинные ногти, привычка, которой он не изменил до конца, любя щеголять своими изящными пальцами».

Но, конечно, не на уроках франтовства окрепла близость Чаадаева с Пушкиным, который быстро угадал характер своего нового приятеля. Еще в Лицее сочинил он надпись к портрету Чаадаева:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской,
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.
(1817)

Кроме этого, Пушкин посвятил Чаадаеву три стихотворения *(1818, 1820, 1821)*, из которых два очень значительные.

Образованный, с умом ясным и скептическим, с очень определенными политическими взглядами, Чаадаев умел раскрывать свое мировоззрение и заражать своими идеалами. Позднейшая трагедия жизни Чаадаева в том и состояла, что в России не было применения еще для таланта общественности. Но в то время, когда они с Пушкиным встретились, эта роковая безысходность еще не проявилась. Русские образованные люди еще не противополагали себя правительству. В их разговорах о политике, в мечтах о переустройстве России звучала бодрость.

В первом стихотворении, посвященном Чаадаеву, Пушкин писал:

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
(1818)

Изысканность Чаадаева, законченное изящество его мыслей, сдержанная сила воли, которую Пушкин сначала принял за гордость, весь его облик, красивый и своеобразный, действовал на поэта сильнее аргументов и рассуждений. Пушкин, всегда искавший людей, которые могли бы обогатить его умственную или духовную жизнь, часто видался с Чаадаевым.

«С шумных пиров, с блестящих балов, с театральных репетиций поэт нередко убегал в кабинет друга своего в Демутовом трактире, чтобы освежить ум и сердце искреннею и дельною беседою» *(Бартенев)*.

Скучая на юге без своих петербургских друзей, Пушкин так описал эти встречи:

Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Посмотрим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я...

(1821)

Среди петербургских знакомых и приятелей Пушкина все толковали о политике, все жаждали конституции, все мечтали об освобождении крестьян, о вольности святой. Но никому из них не посвятил Пушкин таких насыщенных политическою страстностью стихов, как Чаадаеву. Это не только единомыслие, это общность устремления, общность внутреннего духовного ритма, отразившегося и в стихах. Не к Николаю Тургеневу, не к Пущину, а именно к Чаадаеву обращается поэт со словами:

Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

(1818)

Чаадаев имел влияние не только на ум, на взгляды поэта, но, что несравненно важнее, на развитие и оздоровление его характера, который нелегко было ввести в русло. Пушкин сам рассказал об этом в Кишиневском послании к Чаадаеву. Перебирая в памяти заблуждения и бури, волнения страсти и горечь своей петербургской жизни, он полон благодарности к далекому другу, но не за уроки политической мудрости благодарит он его:

Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства — может быть, спасенные тобою!

Не раз с более или менее сдержанной усмешкой, с растущим сознанием своей независимости отметал Пушкин наставления и поучения самых различных людей — Батюшкова, Кошанского, А. И. Тургенева, Пущина, даже Карамзина. Но с поразительной для молодой знаменитости благодарной скромностью вспоминает поэт об уроках самовоспитания, которые давал ему Чаадаев:

Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.

(1821)

Чаадаев всю жизнь гордился своей дружбой с поэтом и незадолго до смерти, в письме к Шевыреву, даже напомнил о своем на него влиянии: «Неужели встреча Пушкина в то время, когда его могучие силы только что стали развиваться, с человеком, которого он называл своим лучшим другом, не имела никакого влияния на это развитие?»

Глава XVII

ВОЛЬНОСТЬ

«Мечта прекрасная свободы» волновала не только Пушкина и Чаадаева, но и большую часть образованного общества. В гостиных и в канцеляриях, в литературных кружках и в полковых артелях, в тиши кабинетов и среди шумных кутежей всюду шли толки и споры о законосвободных учреждениях и об уничтожении рабства. Доходили они и до дворца. Несколько знатных бар, среди которых был не только либерал Вяземский, но и приспособлявшийся служака гр. М. С. Воронцов, подавали Царю записку о крестьянах. Это было как раз в год выхода Пушкина из Лицея. В том же 1817 году было образовано тайное общество «Союз Спасения», ставившее себе задачей реформы и улучшения в русском государственном строе. В 1818 году оно было преобразовано в «Союз Благоденствия», оказавший такое огромное влияние на русскую политическую жизнь. Принято отрицать формальную связь Пушкина с тайными обществами. Возможно, что он не был принят в члены, не был посвящен в тайны организации. Но политические их взгляды не были ни для кого тайной. Тем более что в них был синтез широко распространенных чаяний.

Пушкин и в Петербурге, и позже на юге, жил в самой гуще заговорщиков. При его способности на лету схватывать мысли это постоянное дружеское общение с первыми русскими конституционалистами, с верными рыцарями свободы не могло пройти бесследно ни для него, ни для них.

Политические стихи писал, конечно, не один Пушкин.

Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал...

Так писал Вяземский. Хотя позже это не мешало ему утверждать, что «возмутительных стихотворений у меня нет», что его политические стихи есть только отражение общей эпохи борьбы и перелома. Как раз в 1818 году он написал «Негодование», где воспевал свободу, кумир сильных душ, обличал вельмож, попирающих закон:

Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы...
Свобода! о младая дева!
Посланница благих богов!
Ты победишь упорство гнева
Твоих неистовых врагов!..
Невинность примиришь с законом,
С любовью подданного власть,
Ты снимешь роковую клятву
С чела поникшего к земле
И пахарю осветишь жатву,
Темнеющую в рабской мгле...

Как и Пушкин, Вяземский не был членом тайного общества и даже, пока был в Варшаве *(1817—1822)*, был вне личного общения с теми петербургскими и московскими кругами, откуда вышли декабристы. Но в «Негодовании», как и в посланиях, эпиграммах, частных письмах, высказывал он политические мысли, настроения, чаяния, родственные «Союзу Благоденствия», сходные с тем, о чем пел и Пушкин. Только стихи Пушкина сильнее волновали, порождали более страстные гражданские чувства.

Веселый повеса, неугомонный «полуночный будочник» сумел в немногих стихах придать такую выразительность политическим идеалам своего поколения, что стихи его были убедительнее рассуждений. Письмо к одному из своих собутыльников, к ламписту В. В. Энгельгарду, которого Пушкин зовет «счастливый беззаконник» и «наслаждений властелин», заканчивается надеждой потолковать.

На счет глупца, вельможи злого,
На счет холопа записного,
На счет Небесного Царя,
А иногда на счет земного.
(Июнь 1819 г.)

В посланиях к Чаадаеву, в «Вольности», в «Деревне», в эпиграммах он высказал политическую идеологию передовой

интеллигенции. Не успевали сбежать иногда даже не с пера Пушкина, а с его губ, ритмические выражения гражданских чувств, как уже вся молодая Россия твердила вслед за своим поэтом:

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

(1818)

Целую гамму новых для россиян политических чувств и страстей вложил девятнадцатилетний Пушкин в 20 строк. Как за год раньше в оду «Вольность» вложил он трактат о правах народа и государя, а год спустя в «Деревне» обличал крепостное право.

В записках болтливого, но не всегда достоверного мемуариста Вигеля есть рассказ о том, как была написана «Вольность»:

«Из людей, которые были его старее, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых: они жили на Фонтанке, против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой всегда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от Арапа, генерала Ганнибала и гибкостью членов, быстротою телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать».

Точность этого рассказа проверить почти невозможно, но вполне вероятно, что ода связана с разговорами у Тургеневых. Самое изображение дворца, отдельные сцены, наконец, картина убийства, которая проходит перед глазами поэта с остротой виденья, все подтверждает, что стихи вызваны непосредственным зрительным впечатлением.

Пушкин, конечно, не печатал «Вольность». Трудно было установить, в каком году она написана. Комментаторы долго спорили и рылись в архивах, относя ее то к 1819 году, то к 1820 году. Только в 1905 году, почти сто лет спустя после того, как Пушкин написал эту оду, был найден автограф, на котором рукой поэта помечен год — 1817-й. То, что его отыскали в тургеневском архиве, косвенно подтверждает рассказ Вигеля.

Находка эта важна не только для хронологии творчества Пушкина, но и для летописи его отношений с правительством. Пушкин поднес свою оду кн. А. И. Голицыной, сопроводив ее легким мадригалом («Простой воспитанник природы...» и т. д.). Из ее салона, где собирались литераторы, артисты, сановники и просто светские болтуны, стихи неизбежно должны были разноситься по всему Петербургу.

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок...
. . . .
Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Как медный звон набата гудели пламенные строфы:

Лишь там над Царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью Святой
Законов мощных сочетанье,
. . . .
И днесь учитеся, Цари!
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари,
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
(1817)

Несмотря на грозную наставительность, эта часть страстного гимна свободе могла понравиться Александру. Еще никогда его собственные мечты о правах человека и гражданина не были высказаны по-русски с такой гармонической ясностью, с такой заразительной красотой, как это сделал юный, только что сорвавшийся с лицейской скамьи Пушкин. Но какое чувство подымалось в сыне убитого Императора Павла I, когда он читал такое простое, такое страшное описание цареубийства: «Он видит — в лентах и звездах, вином

и злобой упоенны, идут убийцы потаенны, на лицах дерзость, в сердце страх. Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный. Врата отверсты в тьме ночной рукой, предательства наемной... О стыд! О ужас наших дней! Как звери вторглись янычары!.. Падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей».

Александр Благословенный был этим неверным часовым. Он знал о перевороте и знал, что царедворцы-заговорщики не остановятся на полпути. Память об этой ночи не угасла, а с каждым годом язвительнее жгла совесть, наполняла душу Царя ужасом. А тут мальчишка, буйный повеса в точных, незабываемых стихах дал беспощадную характеристику тем, с кем Царь связал себя неразрывными цепями кровавого греха: «На лицах дерзость, в сердце страх...»

Летом 1819 года в Михайловском Пушкин написал второе политическое стихотворение «Деревня», все построенное на контрасте. С одной стороны деревенская идиллия, лазурь озер, тихая прелесть темного сада, дубрав, полей, все, что освобождает душу от суетных оков. «Оракулы веков, здесь вопрошаю вас. В уединеньи величавом слышнее ваш отрадный глас, он гонит лени сон угрюмый... К трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине». Недолго длится радость созерцанья.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам.
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца...

Император причислял себя к друзьям человечества. Великолепные заключительные строки, в которых просвещенная Россия в течение десятилетий черпала силу и вдохновение для борьбы за освобождение крестьян, должны были найти отголосок и в сердце Царя:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?
(1819)

Страстная яркость пушкинского стиха даже такому убежденному противнику рабства, как А. Тургенев, показалась опасной: «Прислал ли я тебе «Деревню» Пушкина? — спрашивал он Вяземского. — Есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения на счет псковского хамства... Что из этой головы лезет. Жаль, если он ее не сносит».

Быстро росла слава Пушкина, и так же быстро росло раздражение против него, против его стихов, в особенности против его эпиграмм. Не в меру усердные защитники старины сердились даже на самые безобидные произведения. В апрельской книге «Невского Зрителя» *(1820)* было напечатано, писанное еще в Лицее перед выпуском невинное стихотворение Кюхельбекеру «Разлука». Н. М. Карамзин остался очень недоволен одной строчкой: «Святому братству верен я», и писал министру внутренних дел, Кочубею: «Безумная молодежь хочет блеснуть своим неуважением к правительству. Нравственность этого святого братства и союза вы изволите видеть из других номеров».

Был у братьев Тургеневых, в доме которых Пушкин проходил курс либерализма, приятель, флигель-адъютант Александра I, военный историк А. И. Михайловский-Данилевский. В одном письме, писанном уже после восшествия на престол Николая I, Михайловский-Данилевский называет Пушкина «корифеем мятежников», очень неодобрительно отзывается о Лицее: «Из Царско-Сельского Лицея вышел Кюхельбекер, участвовавший в бунте, а кто еще хуже — Пушкин, мерзкими, развратительными, но вместе щегольскими стихами осмеивающий императора Александра, правительство и основания, на которых опочиет величество России. Стихи эти в устах, а следовательно, и в сердцах мальчиков, находящихся в различных учебных заведениях. Меня уверяли, что воспитанники Лицея кн. Безбородко, кот. в Нежине, будучи нынешним летом у своих родителей, привезли из Нежина целые тетради ругательных стихов Пушкина, ими наизусть выученных».

Все современники, как друзья, так и враги, подтверждают стремительный рост популярности политических стихов Пушкина. «Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет...» и другие мелочи, в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов», — говорит Пущин.

Под «другими мелочами» надо, очевидно, понимать эпиграммы. Петербургский период ими особенно богат, так как политическое острословие было необходимой приправой всякой беседы, трезвой и пьяной, светской или кутежной. Все

писали эпиграммы, но так как печатать их было невозможно, то в этой карманной литературе не всегда можно установить авторство.

В воображаемом разговоре с Александром Пушкин жаловался ему: «Всякое слово вольное, всякое сочинение возмутительное приписывается мне». Позже он писал Вяземскому: «Из всего, что должно было предать забвению, более всего жалею о своих эпиграммах. Их всех около 50 и все оригинальные» *(апрель 1825 г.)*.

В академическом издании за 1817—1820 годы приведено только семь политических эпиграмм. Кроме того, в примечаниях приведены эпиграммы на Фотия, подлинность которых не вполне установлена.

Ходившие тайно по рукам, часто апокрифические, «возмутительные» стихи увеличивали славу сочинителя среди читателей, но усиливали недоброжелательность к нему правительства. Принято считать, хотя и не доказано, что последним поводом для высылки Пушкина на юг явились две эпиграммы на всесильного Аракчеева и несколько сатирических строк в его послании к Горчакову:

Не вижу я украшенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистика придворного кривлянья...

Все знали, что он говорит про Фотия, Аракчеева и Голицына. Эпиграммы Пушкина не щадили царских любимцев, омрачивших мракобесием, тупостью и даже свирепостью закатные годы царствования Александра. В эпиграммах на Аракчеева досталось не только «проклятому змею» «всей России притеснителю, губернаторов мучителю», но и самому Царю.

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу.
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу...

Стихи Пушкина восторженно заучивались и повторялись молодыми либералами. Встревоженные резким поворотом в мыслях и в политике Царя, они искали выхода в организации тайных политических обществ. Общеевропейское брожение заражало их, усиливало кипение мыслей, обостренных политическими убийствами в Европе.

В марте 1819 года студент Занд убил в Мангейме известного драматурга и политического писателя Коцебу, которого немецкие либералы обвиняли главным образом в том, что он поддерживал реакционную деятельность Священного Союза

и был на службе русского правительства. «Коцебу зарезан за его не модный образ мыслей», — с горечью писал Карамзин Дмитриеву.

Вяземский тоже резко осудил это убийство. Он писал Тургеневу: «Что скажешь ты о трагической кончине Коцебу? Эти головорезы окровавят дело свободности, как французские тигры окровавили дело свободы... Смерть Коцебу — нелепое злодейство. Что он за держава такая, которой вражда могла опасна быть германской свободе, да и к тому же где эта свобода печатания, первое орудие свободы, законной, если всякий не имеет права говорить за и против, как хочет? Это напоминает законы равенства французской революции — будь мне брат, или я тебя зарежу» *(24 марта 1819 г.)*.

Пушкин открыто восхищался Зандом. Год спустя он открыто восхвалял французского террориста — Пьера Лувеля, который в феврале 1820 года убил герцога Шарля Беррийского. Молодежь одобряла это убийство, хотя выбор жертвы поражает своей нелепостью. Молодой герцог был далеким претендентом на престол. Лувель на допросе объяснил, что намерен был «истребить Бурбонов, ибо они вредят счастью Франции, и начал с того, который мог размножить род их».

В сочувствии русской интеллигенции этим двум террористам было косвенное осуждение международной политики Александра. За Священный Союз, как и за реставрацию Бурбонов, он нес ответственность.

Портрет Лувеля ходил по Петербургу и был даже напечатан в «Вестнике Европы» с подписью: «Черты злодея Лувеля». Рассказывали, что Пушкин, сидя в театре в креслах, показывал соседям этот портрет, на котором надписал: «Урок царям».

Осторожный, довольно точный в своих воспоминаниях Пущин рассказывал и о более рискованных выходках поэта. В Царском Селе сорвался с цепи медвежонок. «Он побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз в темной аллее с Императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае сказал: «Нашелся один человек, да и тот медведь». Таким же образом он во всеуслышанье в театре кричал: «Теперь самое безопасное время — по Неве лед идет». В переводе — нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта — вздор, но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие, следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал».

Пущин признавал, что Пушкин «по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, и стихами и прозой». Но с наивным высокомерием заговорщика он считал сознательными либералами только своих товарищей по тайному обществу, хотя будущие декабристы питали свой политический пафос стихами и эпиграммами Пушкина. В то же время они его боялись, не понимали, что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. В противоположность арзамасцам молодые заговорщики боялись смеха и шуток.

Позже Пушкин, характеризуя настроения молодежи в 1818 году, говорил об их «умозрительных и важных рассуждениях», о том, что они «являлись на балы, не снимая шпаг, им было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде».

Хотя строгость их правил все-таки была относительная. Пущин довольно сурово расценивал ветреность своего гениального друга, но рассказал в своих воспоминаниях: «Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать. В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька. На прочее завеса».

Шалили — так снисходительно называет Пущин их посещения притонов — вместе, но все-таки Пущин считал себя добродетельным, а Пушкина нет. Он говорил: «Подвижность, пылкость его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня». Поэт догадывался, что есть какое-то общество, о котором ему не говорят. Пущину было неприятно таиться от друга.

«Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решился броситься к нему и все высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте. «Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?» — «Вы когда его видели?» — «Несколько дней тому назад у Тургенева». Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен. «Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils*. Видно, вы не знаете его последнюю проказу». Тут рассказал он мне что-то, право не помню, что именно, да и припоминать не

---

*Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына *(фр.)*.

хочется. «Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить». Отец пожал мне руку и продолжал свой путь. Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайно, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы... Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не прошла еще пора его кипучей природе угомониться».

Пушкин, даже не принятый в «Союз Благоденствия», по существу, был одним из первых декабристов, стихами своими окрылил их мысли и мечты. И раньше всех, первый пострадал за эти мечты.

Когда Пушкина предостерегали, что собирается гроза, он отвечал шутками, остротами, заливчатым смехом. Александр Благословенный еще никого за мысли, даже либеральные, не карал. Чего ж бояться?

Пушкин был опьянен веселым беснованием петербургской жизни, вином, женщинами, славой, своими стихами, шумом новых дерзких мыслей, так упоительно сливавшихся с дерзостью гениальной молодости. Но уже приближался час горького отрезвления, и, точно предчувствуя его, в душевной глубине раздавались голоса, звавшие к новой сосредоточенности:

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.
(1819)

Глава XVIII

НЕПОГОДА

От суеты столицы праздной,
От хладных прелестей Невы,
От праздной сплетницы молвы
Я еду в даль.
(1819)

«Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих: авось полуденный воздух оживит мою душу, — весной 1820 года писал Пушкин Вяземскому. — Поэму свою я кончил. И

только последний, то есть окончательный, стих ее принес мне истинное удовольствие... Письмо мое скучно, потому что с тех пор, как я сделался историческим лицом для сплетниц С-т Петербурга, я глупею и старею не неделями, а часами».

Не об этом ли письме писал Тургенев Вяземскому: «Пушкин прочитал мне письмо к тебе, и я увидел, что он едва намекнул о беде, в которую попался и из которой спасен моим добрым гением и добрыми приятелями. Но этот предмет не для переписки» *(21 апреля)*.

В эти трудные дни двадцатилетний Пушкин всем своим поведением не рассеивал, а накоплял вокруг себя электричество. Какое-то раздражение, какая-то беспокойная неудовлетворенность, предчувствия, душевная тоска овладели им. В первый же год после выпуска петербургский полицеймейстер Горг подал управляющему Иностранной Коллегией П. Я. Убри жалобу на Пушкина.

«20-го числа сего месяца служащий в Иностранной Коллегии переводчиком Пушкин был в Камерном театре в большом бенуаре, во время антракта пришел из оного в кресла и, проходя между рядов кресел, остановился против сидевшего Кол. Сов. Перевощикова с женою, почему г. Перевощиков просил его проходить далее, но Пушкин, приняв сие за обиду, наделал ему грубости и выбранил его неприличными словами» *(23 декабря 1818 г.)*.

На этом «деле о замечании, сделанном К. С. Ал. Пушкину в неприличном поступке в Камерном театре» Убри карандашом написал: J'ai parlé à Mr. Pushkin et je l'ai pressé de se modérer à l'avenir ce qu'il m'a promis»*.

Конечно, это был не единственный случай полицейского протокола, и вряд ли можно сомневаться, что к концу первого петербургского периода Пушкин подавал для них меньше поводов, чем сразу после выпуска. Он не только не угомонился, но, по-видимому, бравировал своими проказами и дерзкими выходками, которыми тревожил своих друзей.

«У Пушкина всякий день дуэли», — писала Е. А. Карамзина Вяземскому. Причем дуэли вздорные, бретерские. Денег у него не было, приятели были богаче его, и это неравенство должно было тяготить его, тем более что уже с тех пор он пристрастился к картам. Весной проиграл Никите Всеволожскому 1000 рублей. Платить было нечем. Единственное его богатство были стихи. Пушкин отдал, вернее заложил Никите

---

*Я говорил с г-ном Пушкиным, которого убеждал обуздывать себя в будущем, и он мне это обещал *(фр.)*.

Всеволожскому рукопись приготовленных к печати стихотворений. Около сорока подписных билетов на книгу были уже проданы. Позже Пушкин годами будет вести переписку, разыскивая эту тетрадь.

Первая большая поэма, три года занимавшая его ум, была дописана. Следующая еще не начата, хотя в душе поэта уже вставали новые видения, нарастала спасительная тоска по творчеству. Новые, грустные ноты проскальзывают в стихах:

Безумства жар, веселость, острота,
Любовь стихов, любовь моей свободы —
Проходит все, как легкая мечта...

Какой-то перелом происходил в нем. Могучая таинственная душа поэта по-своему пережила переход от бешеной юности к более зрелой молодости, искала новых впечатлений. Жизнь их дала, но в очень грубой, жесткой форме.

Правительство вдруг решило покарать Пушкина, в его лице дать первое предостережение и другим либералистам. К правительственным карам присоединилась светская травля, строгость официальная нашла поддержку и отчасти оправдание в некоторых светских кругах. Даже А. Тургенев не возмущался его высылкой, а напротив, находил, что «с Пушкиным поступлено по-царски». Хотя наказание было довольно жестокое, так как отрывало молодого, начинающего поэта от того умственного общения, которое ему было так же необходимо, как хлеб. При этом сразу началось кругом шипение, травля, сплетни, злорадство, все, чем потешается толпа. Необычность Пушкина уже бесила ничтожных людишек. Они рады были, что могут бросать грязью в юношу, которого начинали называть гением. В этом первом столкновении поэта со злостной сплетницей — молвой уже было предвкушение позднейшей светской травли, за которую он расплатился жизнью.

«Еще задолго до призыва поэта к генерал-губернатору распространился в городе слух и упорно держался затем некоторое время, — писал, вероятно со слов современников, Анненков. — На основании его, во всех углах говорилось, что Пушкин будто бы был подвергнут телесному наказанию при тайной полиции за вольнодумство. Когда слух дошел до Пушкина, он обезумел от гнева и чуть не наделал весьма серьезных бед, чему легко поверить, зная его представление о чести и о личном человеческом достоинстве. Через пять лет он еще дрожал от негодования, вспоминая о тогдашней позорной молве, распущенной на его счет...»

В бумагах Пушкина сохранился черновой набросок французского письма к Александру, писанного им в 1825 году в

Михайловском и никогда не отправленного. В нем Пушкин, с обычной своей правдивостью и точностью, рассказывает о своем первом столкновении с правительством:

«Необдуманные речи, сатирические стихотворения привлекли ко мне внимание. Распространился слух, что меня вызвали в тайную полицию и там высекли. Я последним узнал об этом слухе, который уже все повторяли. Я считал себя опозоренным, я пришел в отчаяние. Я дрался. Ведь мне было 20 лет. Я взвешивал, что лучше, убить себя или убить Vot. (Это значит, вероятно, Votre Majesté*? — *Авт.*) В первом случае я только подтвердил бы позорную сплетню. Во втором это не было бы даже местью, так как никто не нанес мне оскорбления. Я только совершил бы преступление, принес бы в жертву общественному мнению человека, от которого все зависело и который возбуждал во мне невольное восхищение. Я поделился своими размышлениями с другом, который вполне разделял мои взгляды. Он советовал мне сделать попытку оправдаться перед правительством. Я понял, что это бесполезно. Я решился вложить в свои разговоры, в свои сочинения столько негодования и вызова — (jactance), что правительство было бы вынуждено обращаться со мной как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости для восстановления своей чести».

В одном из писем Пушкина есть довольно прямое указание на то, что гнусную сплетню о розгах нашел нужным ему рассказать П. А. Катенин (1792—1853). «Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием об них», — писал Пушкин Катенину из Кишинева *(19 июля 1822 г.)*, когда тот обиделся на стих в «Послании к Чаадаеву» — «И сплетней разбирать игривую затею».

Катенин был преображенский офицер, театрал, стихотворец, человек образованный и на виду, но маленький, изъеденный самолюбием и завистью. Он был приятелем Саши Пушкина, как в некоторых письмах называл он поэта. Катенин на много лет пережил поэта и сумел уверить Анненкова, что ему даже удалось иметь влияние на Пушкина. Хотя есть письма поэта, показывающие, как рано раскусил он своего «преображенского приятеля». Это как раз то письмо к Вяземскому, где Пушкин жалуется на петербургских сплетниц. Вяземский не любил Катенина и написал на него эпиграмму. Пушкин нашел, что Катенин стоит «чего-нибудь получше и позлее. Он

---

* Ваше Величество *(фр.)*.

опоздал родиться — и своим характером и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии». Так думал Пушкин о том, кто с недоброй торопливостью прибежал к нему, чтобы передать гнусные россказни, которые приводили Пушкина в такое бешенство.

Что дало последний толчок, шалости ли Пушкина, или его стихи, осталось не совсем ясным. Возможно, что эпиграммы на Аракчеева. Рассказывали, что Аракчеев жаловался Царю. Мог и сам Александр обидеться за своего «без лести преданного друга». Стали следить за Пушкиным. Сделали смешную попытку собрать улики, то есть стихи, которые и без того повторял весь Петербург. В квартиру Пушкина пришел неизвестный и предложил старику лакею пятьдесят рублей, если тот ему покажет, что барин сочиняет. Пушкин в тот же вечер сжег все, что считал опасным, а на утро получил приказ явиться к генералу-губернатору графу Милорадовичу. Его адъютантом был поэт Ф. Н. Глинка, приятель и восторженный поклонник Пушкина, автор «Воспоминания о поэтической жизни Пушкина», где каждая строфа кончается словами «а рок его подстерегал»... Стихи плохи, но в них, как и в виршах Я. Толстого, сохранился отблеск живого Пушкина.

Еще мне памятны те Лета,
Та радость Русския Земли,
Когда к нам юношу поэта
Камены за руку вели...
Молву и гром рукоплесканий,
Следя свой дальний идеал,
Поэт летучий обгонял...
    А рок его подстерегал.
Как часто роскошью пирушки
И лучшим гостем пировым
Бывал кудрявый, смуглый Пушкин...
Поэт умом сверкал в речах
Скропленных солью и отвагой,
Когда ж вскипал огнем страстей,
Он пылок был...

Получив приказ, Пушкин встретил на улице Федора Глинку и рассказал ему и про посетителя и про вызов к генерал-губернатору. Глинка посоветовал: «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках много романтизма и поэзии: его не понимают!» Пушкин так и сделал.

Часа через три Глинка пришел к своему начальнику.

«Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу: «Знаешь, душа моя, у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все бумаги; но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! Все мои стихи сожжены! — у меня ничего не найдется на квартире, но если угодно, все найдется здесь (он указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного), с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал целую тетрадь. Вот она, полюбуйся! Завтра я отвезу ее Государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».

На следующий день Глинка узнал от Милорадовича о разговоре с Царем: «Я вошел к Государю со своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, Государь, лучше этого не читать». Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и наконец спросил: «А что ж ты сделал с автором?» — Я? Я объявил ему от имени Вашего Императорского Величества прощение! Тут мне показалось, что Государь слегка нахмурился. Помолчав немного, Государь с живостью сказал: «Не рано ли?» Потом, еще подумав, прибавил: «Ну уж коли так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг».

Неизвестно, какие стихи Пушкин записал на этом своеобразном допросе. Военный сановник, либерал, Милорадович незадолго перед этим подал Государю составленный Н. И. Тургеневым проект ограничения крепостного права и устроил с автором «Оды на свободу» своего рода состязание на благородство. На воображение Александра, который до конца жизни оставался романтиком, поступок Пушкина, конечно, должен быть произвести впечатление. Тем более что поэт не вписал в эту тетрадь эпиграммы на Аракчеева, «которая ему никогда бы не простилась» *(Анненков)*.

Но не один Милорадович старался смягчить удар. Литераторы, да и читатели, узнав, что Пушкину грозят не то Соловки, не то Сибирь, бросились ему на помощь. Чаадаев первый узнал, что против Пушкина возбуждается какое-то дело, и поднял всех на ноги:

В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня не дремлющей рукой.
(1821)

Он хлопотал за него у генерал-адъютанта Васильчикова, поехал к Н. М. Карамзину, ворвался к нему в запретные рабочие часы, когда никого не допускали, кроме жены и детей, и заставил себя выслушать.

«Чаадаев хотел меня видеть непременно и просил отца прислать меня к нему как можно скорее. По счастию — тут и все. Дело шло о новых слухах, которые нужно предупредить. Благодарю за участие и беспокойство. Пушкин».

Эту записку оставил Пушкин у Н. И. Гнедича, вероятно, в последних числах апреля. Верно, Чаадаев и Н. И. Гнедича встревожил, а тот, в свою очередь, поднял на ноги президента академии, Оленина. Заволновались все верхи петербургской интеллигенции. Даже директор Лицея, Энгельгард, вступился за своего воспитанника. Государь встретил его в Царскосельском парке. «Энгельгард, — сказал ему государь, — Пушкина надо сослать в Сибирь, он наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный поступок его с Милорадовичем. Но это не исправляет дело». Директор ответил: «Воля Вашего Величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника. В нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, Государь, лучше вразумит его» *(Пущин)*.

Жуковский тоже пустил в ход свое влияние и связи. К нему относятся слова в эпилоге Руслана:

О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей,
Ты умолила непогоду...
(1820)

В эти трудные дни Карамзин отнесся к молодому поэту сухо и сурово, хотя и сделал все, что мог, чтобы облегчить его судьбу.

Он давно признал исключительность дарования Пушкина, но не любил его. Точно не доверял его моральной подлинности, досадовал на его повесничество и зубоскальство. Политическое вольнодумство раздражало и тревожило Карамзина. Он писал Дмитриеву по поводу политических

убийств и общего революционного брожения в Европе: «Хотят уронить троны, чтобы на их места навалить журналов, думая, что журналисты могут править светом» *(21 апреля 1819 г.).* В этой иронии звучала горькая мудрость историка, которому довелось быть свидетелем революционного буйства парижской черни. С недоверием и опасением должен был Карамзин прислушиваться к растущему хору молодых либералистов, восторженно повторявших вслед за Пушкиным: «Хочу воспеть я вольность миру, на троне поразить порок... Мы ждем с томленьем упованья минуты вольности святой... И на обломках самовластья напишут наши имена...»

Карамзин был уверен, что «самовластье», Самодержавие — фундамент, на котором стоит Государство Российское. Но, несмотря на расхождение во взглядах и, что еще важнее, на внутреннее отталкивание от Пушкина, Карамзин хлопотал за него и старался его образумить. Он вызвал его к себе. Но не как друзья, не как равные встретились они в этот трудный для поэта час.

Карамзин в письме к Дмитриеву писал:

«Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то, по крайней мере, облако, и громоносное. Служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. и проч. Это узнала полиция. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все средства образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому, иначе я мог бы похвастаться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие» *(19 апреля 1820 г.).*

Месяц спустя, когда Пушкин уже уехал на юг, Карамзин писал Вяземскому: «Пушкин был несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно уехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием Государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад» *(17 мая 1820 г.).*

С осуждением, с жесткой брезгливостью, точно о бесчестном человеке, пишет старший литератор о молодом поэте. Ни тени осуждения гонителям. Как будто дело шло не о свободе слова, а о нарушении уголовного кодекса. Чуткий Пушкин, в

котором было острое чувство чести, не мог не ощутить недружелюбного морального осуждения. Физически он был храбр до дерзости. Но, опутанный мерзкими сплетнями, клеветническим шипом, сбитый с толку приятельскими застращиваниями и городскими легендами о крепости, о Сибири, о Соловках — он растерялся. Быть может, даже смалодушничал. Бросился к Карамзину не только за помощью, но и за нравственной поддержкою. И встретил презрительную суровость.

Долго не заживала эта рана. Когда, шесть лет спустя, умер Карамзин, Пушкин написал Вяземскому: «Что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? Довольно и одной, написанной мною в такое время, когда К. меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены. Ужели ты мне их приписываешь» *(10 июля 1826 г.)*.

Горечь обиды не затемнила в нем уважения, даже преклонения перед характером «твердого» Карамзина, перед трудами его как историка. Рыцарское чувство справедливости всегда было у Пушкина выше личных счетов.

Для разнообразия в настроении правящих кругов очень показательно, что на выручку поэту пришел, отчасти по просьбе Карамзина, граф И. А. Каподистрия, министр иностранных дел, друг и советчик Александра, который ему писал: «Государь, современные монархи могут царствовать, только опираясь на либеральные идеи, к несчастью, Государь, эту великую истину признали только вы» *(1818)*.

Министр лично ходатайствовал перед Государем за своего подчиненного. Возможно, что правительство отвергло бы просьбы всех заступников, если бы Пушкин сам своей смелой прямотой не вызвал к себе сочувствия. Во всяком случае, ни в крепость его не посадили, ни в Соловки не сослали, а просто перевели на службу в Екатеринослав, в канцелярию главного попечителя колонистов южного края, генерала Инзова.

Высылая опального поэта на далекую южную окраину, министр иностранных дел в письме к генералу Инзову дал ссыльному своему чиновнику оценку, несомненно отражавшую мнение карамзинского кружка, где граф Каподистрия был завсегдатаем.

«Исполненный горестей в продолжении всего своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом, не испытывая сожаления. Его сердце, лишенное всякой сыновней привязанности, могло чувствовать одно лишь страстное

стремление к независимости. Этот ученик уже в раннем возрасте проявил гениальность необыкновенную. Успехи его в Лицее были быстры, его ум возбуждал удивление, но его характер, по-видимому, ускользнул от внимания наставников. Он вступил в свет сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою принципов до тех пор, пока опыт не даст нам истинного воспитания. Нет той крайности, в какую бы не впадал этот несчастный молодой человек, как нет и такого совершенства, которого он не мог бы достигнуть превосходством своих дарований... Несколько стихотворений, а в особенности ода на свободу, обратили на г. Пушкина внимание правительства. Наряду с величайшими красотами замысла и исполнения это последнее стихотворение обнаруживает опасные начала, почерпнутые в той анархической системе, которую люди неблагонамеренные называют системою прав человека, свободы и независимости народов. Тем не менее гг. Карамзин и Жуковский, узнав об опасности, угрожающей молодому поэту, поспешили преподать ему свои советы, побудили его сознаться в своих заблуждениях и взяли с него торжественное обещание навсегда от них отказаться. Его покровители полагают, что его раскаяние искренне... и что можно сделать из него прекрасного слугу государства или по крайней мере писателя первостепенного... Поэтому Государь, удовлетворяя желаниям его покровителей, откомандировал молодого Пушкина на юг». Письмо кончалось такими указаниями: «Благоволите просветить неопытного юношу, внушая ему, что достоинства ума без достоинства сердца являются почти всегда гибельным преимуществом, и что весьма многие примеры показывают, что люди, одаренные прекрасным гением, но не искавшие в религии и нравственности охраны против опасных уклонений, были причиной несчастий, как для самих себя, так и для своих сограждан».

Эта своеобразная педагогическая подорожная, полная искренней гуманности и желания сохранить для России первостепенного писателя, была скреплена Высочайшей надписью: «Быть по сему». Она помечена 4 мая 1820 года. На следующий день Пушкин уже выехал из Петербурга.

ГАДАЛКА

В этот первый петербургский период случилось с Пушкиным происшествие, которое незабываемым предостережением запало в его волнуемую душу.

«Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление, — рассказывает в короткой своей памятке его брат Лев Сергеевич. — В это время находилась в Петербурге старая немка, по имени Кирхгоф. В число различных ее занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с несколькими товарищами. Г-жа Кирхгоф обратилась прямо к нему, говоря, что он — человек замечательный; рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. Она сказала ему, между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе Пушкин никогда не говорил и не думал; письмо с деньгами ему получить было неоткуда; деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их, конечно, без письма. Пушкин не обратил большого внимания на предсказания гадальщицы. Вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, он встретился с генералом Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты. Возвратясь домой, он нашел у себя письмо с деньгами: оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу; он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то карточный долг еще школьной их шалости. Г-жа Кирхгоф предсказала Пушкину его изгнание на юг и на север, рассказала разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и, наконец, преждевременную смерть, предупредивши, что должен ожидать ее от высокого, белокурого человека. Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постепенным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал».

Ту же историю записал псковский сосед и приятель Пушкина А. Н. Вульф. Слышала ее от поэта в 1833 году А. А. Фукс, жена казанского профессора. Проездом в Оренбург Пушкин бывал у нее в доме в Казани. Восторженная почитательница его, тогда уже всеми признанного, таланта, А. А. Фукс после его смерти подробно описала свои разговоры с поэтом и повторила то, что позже опубликовал его брат.

Пушкин проводил вечер у Фукс и после ужина разговорился о магнетизме. Хозяева были недовольны этим разговором. «Карл Федорович (Фукс) не верит, потому что он очень учен, а я не верю, потому что ничего тут не понимаю». Но Пушкин завел разговор «еще менее интересный — о посещении духов, о предсказаниях и о многом, касающемся суеве-

рия... Вам, может, покажется удивительным, что я верю многому невероятному и непостижимому, но быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. В. (Всеволожским) ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, сказала она мне, на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью»... Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве, при В. К. Константине Павловиче и перешел служить в Петербург; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что Цесаревич этого желает. Вот первый раз после гаданья, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи со знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами, и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я обыграл: он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен».

Приводя эту выписку в своей статье «Таинственные приметы в жизни Пушкина», его близкий друг, С. А. Соболевский, прибавляет: «Этот рассказ, в верности передачи которого ручается благоговенное уважение г-жи Фукс к памяти Пушкина, далеко не полон. Из достоверных показаний друзей поэта оказывается, что старая немка, по имени Кирхгоф, к числу разных промыслов которой принадлежали ворожба и гадание, сказала Пушкину: «Ты будешь два раза жить в изгнании; ты будешь кумиром своего народа; может быть, ты проживешь долго; но на 37-м году жизни берегись белого человека, белой лошади или белой головы».

Поэт твердо верил предвещанию во всех его подробностях, хотя иногда и шутил, вспоминая о нем. Так, говоря о предсказанной ему народной славе, он, смеясь, прибавлял, разумеется, в тесном приятельском кружке: «А ведь предсказание сбывается, что ни говорят журналисты».

И дальше Соболевский говорит:

«В многолетнюю мою приязнь с Пушкиным я часто слышал от него самого об этом происшествии; он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что ему будет сделано неожиданно предложение, в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека, которых он должен опасаться».

Об этой же гадалке слышал от современников поэта неутомимый собиратель биографических данных о Пушкине Бартенев. У каждого из них есть какие-нибудь отдельные черточки, дополняющие подробности этого странного разговора. Но сущность предсказания не меняется.

Бартенев говорит: «Едва ли найдется кто-либо не только из друзей Пушкина, но даже из людей часто бывавших с ним вместе, кто бы не слыхал от него более или менее подробного рассказа об этом случае, который потому и принадлежит к весьма немногому числу загадочных, но в то же время достоверных сверхъестественных происшествий. Во всякой искренней беседе Пушкин вспоминал о нем, особенно когда заходил разговор о наклонности его к суеверию и о приметах».

Об этих предсказаниях знали все его знакомые и часто шутили над ним.

Кто-то спросил раз Хомякова: «По городу ходит злая эпиграмма. Не вызвать ли мне Пушкина?» Хомяков шутя сказал: «Что за охота? Мало того, что убьешь Пушкина, да еще он, умирая, скажет, что погибает от белой головы и от белой лошади».

И Погодин рассказывал, что, когда он напечатал в «Московском Вестнике» «Лук звенит» *(1827)*, Пушкин сказал: «Как бы нам не поплатиться за эту эпиграмму». — «Почему?» — «У меня есть предсказание, что я должен умереть от белого человека или белой лошади. N. N. не только белый человек, но и лошадь».

Пушкин сам нередко повторял слова гадалки. Перед пред-

полагавшейся его дуэлью с Толстым-американцем он говорил: «Этот меня не убьет, а убьет белокурый».

Передавая эти рассказы, Бартенев писал:

«Оттого ли, что жизнь людей необыкновенных подлежит более всестороннему рассмотрению и забываемое у других обсуждается и оценивается в жизни великого поэта; или действительно в людях высшего разряда явственнее обнаруживаются неисследимые таинственные силы человеческого бытия; только верно, что жизнь таких людей, как Пушкин, как Екатерина II, запечатлена чем-то чудесным, да и сами они в общем ходе истории — какое-то чудо».

Часть четвертая

НОВЫЕ КРАЯ, НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

МАЙ 1820 — ИЮНЬ 1823

Где старый наш Орел Двуглавый
Еще шумит минувшей славой...



Глава XIX

КАВКАЗ

Пушкин выехал из Петербурга на юг 6 мая 1820 года. Это был день Вознесения, которому он придавал особое значение, как придавал и другим приметам. До Царского Села его проводили два лицейских товарища, Дельвиг и Яковлев. Ни один из минутных друзей минутной его младости не пришел проводить опального поэта.

В широкополой поярковой шляпе, в плаще, накинутом поверх красной русской рубашки, перехваченной узкой перепояской, Пушкин в сопровождении крепостного лакея Никиты, которого приставил к сыну С. Л. Пушкин, поскакал по Белорусскому тракту, через Могилев и Киев, прямо к месту новой своей службы — в Екатеринослав. В те времена это была не шутка — проехать всю Россию с севера на юг. Не об этой ли первой своей дальней дороге вспомнил он, когда десять лет спустя писал: «В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей» *(«Станционный смотритель»)*.

В двадцатых годах прошлого века Екатеринослав был скорее большой станцией, чем городом. Посредине на несколько верст тянулась широкая, немощеная, главная улица. Среди низких мазанок возвышались полуразвалившийся Потемкинский дворец и Екатерининский собор, наскоро построенные во время поездки императрицы Екатерины по югу. Пестрое, разноязычное, первобытное население ютилось как

придется и жило тусклой жизнью. Пушкин недолго оставался в этой глуши. «Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью. Генерал Раевской, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его (ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные), сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам; лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить, Инзов благословил меня на счастливый путь — я лег в коляску больной; через неделю вылечился» *(24 сентября 1820 г.)*.

Так рассказал об этом Пушкин в письме к брату.

А вот рассказ лекаря, доктора Рудаковского:

«Оставив Киев 19 мая 1820 года, я, в качестве доктора, отправился с генералом Р<аевским> на Кавказ... Едва я, по приезде в Екатеринослав, расположился после дурной дороги на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала: «Доктор, я нашел здесь моего друга, — он болен, ему нужна скорая помощь, — поспешите со мною».

Нечего делать, пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на досчатом диване, спит молодой человек — небритый, бледный и худой.

— Вы нездоровы? — спросил я незнакомца.

— Да, доктор, немного пошалил, купался. Кажется, простудился. — Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага.

— Чем вы тут занимаетесь?

— Пишу стихи.

Нашел, думал я, и время и место. Посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня. Мы остановились в доме губернатора К. Поутру гляжу — больной уже у нас, говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Р. по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт.

— Доктор, дайте что-нибудь получше. Дряни в рот не возьму.

На рецепте надо написать кому. Спрашиваю — Пушкин. Фамилия незнакомая, по крайней мере, мне. Лечу как самого простого смертного, и на другой день закатил ему хины. Пушкин поморщился. Мы поехали далее. На Дону обедали у атамана Денисова. Пушкин меня не послушался: покушал бланманже и снова заболел.

— Доктор, помогите.

— Пушкин, слушайтесь.
— Буду, буду.
Опять микстура, опять пароксизм и гримасы.
— Не ходите, не ездите без шинели.
— Жарко, мочи нет.
— Лучше жарко, чем лихорадка.
— Нет, лучше уж лихорадка.
Опять сильные пароксизмы.
— Доктор, я болен.
— Потому что упрямы. Слушайтесь.
— Буду, буду.
И Пушкин выздоровел. В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы».

Пушкин, выздоровев, сразу начал свои обычные проказы. Генерал Раевский поручил ему записать в книгу, куда вписывались все посетители вод, свою семью и свиту. Пушкин, заливаясь звонким хохотом, записал себя в недоросли, а Рудаковского в лейб-медики, чем очень его напугал.

Кавказские ключи освежили и тело, и душу поэта, исцелили его не только от случайно схваченной лихорадки, но и от неприятных воспоминаний о неоднократных петербургских болезнях. После четырехлетнего пребывания на юге Пушкин ни разу не был серьезно болен.

Вокруг Минеральных Вод еще кипела война. Черкесы пользовались каждой оплошностью казаков, чтобы напасть на русских. Источники были еще совершенно не устроенные, но больные, наслушавшись о чудесном действии вод, съезжались издалека, особенно в Горячеводск, как назывался тогда Пятигорск.

«...Ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию, в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки... Признаюсь, Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды...»

Так, девять лет спустя, снова проезжая через Минеральные Воды, романтически пожалел Пушкин о первобытной дикости Горячеводска.

Для поэта, рожденного на севере, это была совершенно новая жизнь, полулагерная, полукурортная, свободная, красочная, насыщенная теми экзотическими впечатлениями, за

которыми Байрону приходилось ездить то в Испанию, то в далекую Албанию. Пушкину пришлось наблюдать обычаи и нравы Востока во всей его красочной и многоязычной пестроте, не выезжая из пределов своей родины.

В первый свой приезд на юг он не добрался до настоящих Кавказских гор, остался на северных предгорьях.

«С вершин заоблачных бесснежного Бешту видел я только в отдаленьи ледяные главы Казбека и Эльбруса. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущелиях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца, где возвышаются в дальном расстоянии друг от друга 4 горы, отрасль последняя Кавказа» *(24 марта 1821 г.)*, — писал несколько месяцев спустя Пушкин по поводу «Кавказского пленника».

Но по сравнению с тем северорусским пейзажем, среди которого прожил он первые 20 лет своей жизни, лиловевшие перед ним волны предгорий, как и сама жизнь кругом, были полны разнообразия в линиях и красках. В том же письме к брату, где он рассказал о купании в Днепре, он писал: «2 месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальном расстояньи друг от друга, в последних отраслях кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы — любовался нашими казаками. Вечно верьхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем... Ты понимаешь, как эта тень

опасности нравится мечтательному воображению» *(24 сентября 1820 г.)*.

Ермолов приставил конвой к генералу Раевскому, «дабы защитить его от аркана какого-нибудь чеченца». Весь юг России, от Каспия до Прута, был новой областью, еще не переработанной в могучем общегосударственном процессе обрусения. Новороссия еще только начинала заселяться. Крым, присоединенный Екатериной, хранил отпечаток многовековой и крепкой мусульманской культуры. Хотя в Бессарабии большинство населения было христианское, но и в ней длительное турецкое владычество оставило след. Только за 8 лет до приезда Пушкина была отвоевана Бессарабия от Оттоманской империи, близость которой так непосредственно будет ощущать он в Кишиневе. Минеральные Воды находились на пределе, на грани империи. Кавказ кипел войной. Граница между русскими владениями и незамиренными горными племенами шла на запад вдоль Кубани, на восток приблизительно по Тереку. Но вылазки и набеги постоянно нарушали эти границы. Как раз в начале 1820 года черкесы воспользовались тем, что исключительные морозы сковали Кубань льдом, и устроили по льду несколько дерзких набегов на казачьи станицы. Любимой добычей горцев были пленницы. Их продавали на Черноморском берегу, который еще весь, за исключением Тамани, принадлежал Турции. На месте Новороссийска была турецкая крепость Куджук Калэ. Анапа славилась по всему востоку как богатый невольничий рынок, где покупали черкесских и грузинских красавиц. Не постеснялись бы продать и дочерей Раевского, если бы их захватили. На Кавказе Пушкин впервые непосредственно соприкоснулся с военной борьбой за бытие России. Живя в сердце страны, в Москве, в Петербурге, он не так ясно ощущал ее место среди восточных народов. Так отдельный человек, соприкасаясь с другими людьми, яснее ощущает линии и пределы, отделяющие его личность от них. Судьба бросила Пушкина на южно-русскую окраину, когда все в этом новом крае было еще в движении. Не по книгам — их еще почти не было, — а по собственным наблюдениям изучал он юг, где ощутил гораздо острее, чем в Петербурге, связь своего образования и склада мыслей с Западом, а не с Востоком. «Европейца все вниманье народ сей чудный привлекал...» Его стихи ввели в сознание русского общества и Кавказ, и Крым, и Бессарабию как часть России. Точно для того, чтобы дать возможность гениальному русскому поэту воспринять разнообразие и огромность России, судьба погнала его через всю империю, от старых русских земель к новому нарастанию окраин, и там свела его с одним из созидателей империи, с одним из тех русских людей,

которые отдавали свой ум, энергию, таланты, доблесть на неустанное служение Державе Российской.

Первый год жизни Пушкина на юге сплетается с жизнью Раевских. Он сам не раз говорил, что встреча с Раевскими, их дружественное отношение к нему были одним из счастливейших эпизодов в его жизни.

Семья генерал-аншефа Н. Н. Раевского (1771—1829) состояла из его жены, двух сыновей и четырех дочерей. Все дети, кроме младшей дочери Софьи, так или иначе прошли через жизнь Пушкина и оставили след если не на его характере, то в его стихах. Каждый и каждая по-своему.

С ранних лет Пушкин был впечатлителен к красоте телесной и душевной. Семья Раевских была крепкая, дружная, красивая по внешности и по своеобразному сочетанию просвещения и традиций, утонченности и сурового сознания долга, гордого чувства собственного достоинства, чести и беззаветной преданности престолу и Отечеству. Жена Раевского, рожденная Константинова, внучка Ломоносова, оставалась в тени. Влияние и власть исходили от отца. Он был по матери родной племянник графа Самойлова, важного и богатого екатерининского вельможи. Службу свою он начал адъютантом при Потемкине, с которым тоже был в родстве и пользовался его расположением.

Как и многие офицеры, проводившие всю жизнь в беспрестанных походах, Раевский возил за собой жену и детей. Его старший сын Александр родился на Северном Кавказе, когда отец был командиром Нижегородского полка и вместе с графом Валерианом Зубовым шел воевать с Персией. Два года спустя «под стенами Дербента» родилась дочь Екатерина, та самая, которую Пушкин прозвал Марфой Посадницей.

Раевский побывал на всех рубежах русской земли, повоевал со всеми соседями. При Екатерине дрался на Волыни и Украине с поляками. При Павле был в отставке. При Александре отвоевывал Финляндию от Швеции, а два года спустя уже был в Яссах и под началом фельдмаршала графа М. Ф. Каменского воевал с турками. В Отечественную войну, под Салтыковкой, оба его сына шли с ним вместе в бой. Старшему было 15 лет, младшему, Николаю, было 11. Жуковский посвятил им строфу в «Певце во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

Докладывая в рапорте Багратиону, как он вместе со штаб- и обер-офицерами вел колонну в бой, Раевский о

сыновьях не упомянул. Но уцелело его французское письмо к свояченице, писанное под непосредственным впечатлением этого дела. Это письмо подтверждает легенду: «Мой сын, Александр, проявил геройство. Николай, даже под самым сильным огнем, только шутил. Ему пулей пробило штаны».

В 1813 году, под Лейпцигом, Н. Н. Раевский был ранен в грудь. Он не позволял вынести себя из рядов, так как бой еще не кончился и он не хотел оставлять своих гренадер. Доктор и адъютант, поэт К. Батюшков, волновались. Раевский, улыбаясь, продекламировал:

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie.
Ce sang l'est épuisé, versé pour la patrie*.

Когда кончились войны с Наполеоном, Александр предлагал Раевскому графский титул. Раевский ответил словами Рогана:

Roy ne puis, Duc ne daigne, Rohan suis**.

Строгий к себе, он и к взрослым детям был строг. Он старался внушить им свою независимость, свои твердые правила. Повторял в письмах: «Будьте тверды, терпеливы, нетороплива; а уж обдумав, исполняйте решительно». «Я век мой жил и служил без интриг, без милостивцев, ни к каким партиям не приставал и не отстал ни от кого из своих товарищей». «Не будь ленив, ни физически, ни морально... Служи не как слепая машина, старайся узнавать и обстоятельства, что для чего делается».

В одном из писем к сыну Николаю он осуждает его шутки, его манеру разваливаться на диване в присутствии старших, его неряшество и небрежность в одежде: «Мне это больно... уважайте мать и сестер, не будьте грубы, не оскорбляйте никого, даже дураков. Вы не без ума, а ведь пока вы сделали не больше, чем любой дурак; а что вы сделаете, еще неизвестно» *(1824)*.

Умный, насмешливый, порой, по словам Пушкина, желчный, генерал-аншеф далеко не был ригористом, понимал прелесть человеческих слабостей. Во время войны с Турцией 1810 года он состоял в Яссах и оттуда писал графу Самойлову, приглашая его к себе в гости: «Вы найдете здесь все удоволь-

---

*У меня нет больше крови, даровавшей мне жизнь. Эта кровь изошла, пролитая за отечество *(фр.)*.

**Не могут ни король, ни герцог меня Роганом назначать *(фр.)*.

ствия, уважение и любовь, потом общество прекрасных женщин... (он привел их имена). Стол и вина хорошие, фрукты вам известны, и со мной во дворце три большие особые, великолепные комнаты. Сверх того говорят, что и второго разбора женщины имеют свои приятности».

Мудрено ли, что Пушкин и его друзья так легко и беззаботно увлекались Лаисами, если даже Раевский так убедительно рассказывал о их приятностях.

И частные письма, и служебные реляции Раевского отлично написаны. В них точность, которая у даровитых военных превращается в художественность. Докладывая о бое под Салтыковкой, Раевский писал, что многие, перевязав раны, «снова возвращались в сражение, как на пир». Возможно, что употребил он то же выражение, рассказывая в присутствии Пушкина, и это выражение вспомнилось поэту, когда он писал в «Египетских ночах»: «Он принял вызов наслажденья, как принимал во дни войны он вызов ярого сраженья». Раевский был очень обаятельный и интересный собеседник.

«По отношению к Пушкину генерал Раевский важен еще для нас как человек с разнообразными и славными преданиями, которыми он охотно делился в разговоре, — писал о нем П. И. Бартенев. — Недавно прошедшая история России прошла в глазах у него. Вблизи Гурзуфа находится Артек, опустевшая и некогда великолепная дача Потемкина, и уже одно это должно было часто наводить разговоры на Потемкина и его время... От Раевского он наслушался рассказов про Екатерину, про XVIII век».

Приветливость и гостеприимную поддержку, которую генерал-аншеф Н. Н. Раевский оказал молодому Пушкину, нельзя объяснять интересом к поэтическому дару опального чиновника. Кто тогда не писал стихов. Подлинные ценители и знатоки литературы не сразу разгадали гениальность Пушкина. В частых письмах своих с Кавказа к дочери генерал Раевский даже не упомянул о Пушкине. Он просто приютил молодого человека из хорошей семьи, попавшего в трудное положение и при этом дружившего с его сыном.

Поэт познакомился с Николаем Раевским-младшим (1801—1843) в Царском Селе, когда он был еще лицеистом, а Раевский лейб-гусаром. Встречались они и у Чаадаева, у Карамзиных.

Раевский, молоденец прежний,
А там уже отважный сын,
И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц Богинь,
К тебе, Жуковский, заезжали...

Эту шуточную записку Пушкин оставил у Жуковского 10 июля 1819 года, так как уже тогда он дружил с Раевским. У них были общие светские связи, общие умственные интересы, литературные и политические. Н. Н. Раевский оказал Пушкину в Петербурге какую-то услугу. Поэт упомянул об этом не только в письме к брату, но и в посвящении к «Кавказскому пленнику»:

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил.
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили...
(1821)

В первом наброске было иначе: «Ты сердце знал мое — друг друга мы любили». Так вылился этот стих под горячим впечатлением медового месяца их дружбы. Потом Пушкин, математически точный в лирике, переменил первоначальное — «ты сердце знал мое» на более сдержанное «я сердцем отдыхал».

Но они действительно были друзьями. Раевский кое-что читал, знал английский язык, помогал Пушкину читать Байрона в подлиннике. Судя по тому, как сдержанно Раевский поддавался обаянию пушкинских стихов, как высокомерно считал «Кавказского пленника» плохим произведением, у него не было ни энтузиазма, ни чутья к поэзии. Тем легче было ему давать Пушкину литературные советы, которые добродушный поэт очень кротко выслушивал. Н. Н. Раевский, не обладая оригинальным умом, умел щегольнуть поэтической цитатой, а главное, это был красивый, добродушный весельчак.

Совсем другого склада был старший Раевский — Александр Николаевич (1795—1868). Он учился в Московском университетском пансионе, где считался блестящим, подающим надежды воспитанником, и ему не было одиннадцати лет, когда он прочел на публичном акте свои стихи и речь. Европейские войны оторвали его, как и многих его сверстников, от школы. Не развернулись его литературные задатки. Осталось только тяжелое, несытое самолюбие и язвительная требовательность к чужому таланту. Обманула и военная карьера Александра Раевского, началась блестяще, кончилась ничем. Он участвовал в войнах против Наполеона, был в 1815 году в Париже. В 22 года был полковником. Но на этом все и кончилось. В 1819 году он был прикомандирован к

Ермолову, который был в свойстве с Раевскими. Ермолов насмешливо писал: «Александр Раевский, сопутствующий мне из любопытства, — видеть здешний край, или, лучше сказать, бежавший от лекаря, истреблявшего горькие плоды сладострастнейших воспоминаний...»

От Ермолова А. Раевский перешел на службу в Одессу к другому родственнику, графу М. С. Воронцову, к которому позже попал и Пушкин.

Со свойственной ему страстной потребностью в дружбе бросился Пушкин навстречу обоим братьям Раевским. Проезжая снова через Кавказ несколько лет спустя, Пушкин писал: «Я... отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною Александр Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бештау чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...»

Александр сразу произвел на поэта сильное впечатление. Он увидел в нем будущего трибуна, одного из тех, чье имя потомки напишут «на обломках самовластья», и писал брату, что Александр Раевский «будет более нежели известен».

Пушкин был очень молод и мучительно переживал серьезное разочарование в жизни и в людях, вызванное петербургской историей. А. Раевский тоже был полон горечи и скептицизма. Это роднило их. Смолоду так легко принять резкость за меткость, дух отрицания и сомнения за подлинный ум. «Демонизм» Александра Раевского вносил своеобразную пряность в кавказскую идиллию, хотя на самом деле это был просто «лишний человек», полный бессильной раздражительности. Его личность дошла до нас претворенная в гениальной душе поэта. Никто не вспомнил бы этого самолюбивого неудачника, если бы Пушкин в «Демоне» не оставил нам его стилизованного портрета, написанного в темных рембрандтовских тонах:

Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал...
(1823)

Это писано позже в Одессе. Но уже в «Кавказском пленнике» есть черты, подмеченные в характере Александра Раевского. Генерал Раевский, который хорошо понимал Александра, писал о нем своей старшей дочери: «Я ищу в нем проявлений любви, чувствительности, и не нахожу их. Он не

рассуждает, а спорит, и чем более он не прав, тем тон его становится неприятнее, даже до грубости... Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывал и не старается внушить... Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него... У него ум наизнанку: он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется». Это писано как раз в 1820 году. Но вряд ли в первые месяцы знакомства Пушкин подписался бы под такой суровой оценкой. В письме генерала Раевского звучит голос старшего. Люди одного поколения проходят через сходные переживания, смотрят на взаимные свойства и ошибки под другим углом, чем смотрят друг на друга отцы и дети. Но все-таки у Пушкина в «Кавказском пленнике» есть отблеск, есть глухое сходство с этой характеристикой.

На Кавказе Пушкин не написал ничего, кроме запоздалого эпилога к «Руслану». Но

...Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне...

Этот венок, проще говоря — поэма «Кавказский пленник», была кончена к зиме. «Руслана и Людмилу» Пушкин писал три года. На вторую поэму он потратил меньше полугода. И начал ее писать сразу, под непосредственным впечатлением Кавказа, в который он был «влюблен безумно». Поэма начата в середине августа, в Юрзуфе*. Три месяца спустя Пушкин писал Гнедичу:

«У меня еще поэма готова, или почти готова» *(4 декабря 1820 г.)*. Еще два месяца потратил он на окончательную отделку. Под заключительными стихами, четкими, точно ровный марш по горной дороге:

И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки... —

подписано: «20 февраля 1821 г. Каменка».

---

*Так назывался во времена Пушкина Гурзуф.

Не случайно поэма начата и кончена в доме Раевских и посвящена одному из них, младшему брату Николаю. Она обвеяна их общим увлечением красотой Кавказа. Она отражает дух военной государственности, которым жил генерал Раевский, а отчасти и его дети. Вяземский возмущался, что «Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, уничтожал племена... От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если бы мы просвещали племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны... но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина...» *(27 сентября 1822 г. Тургеневу).*

Вяземский был бы еще крепче раздосадован, если бы знал, что сначала эти строчки были частью застольной беседы черкесов, которые

Клянут ужасный час,
Когда с победою кровавой
На негодующий Кавказ
Орел поднялся двуеглавый.

Все это Пушкин позже перенес в «Эпилог», писанный в мае того же года в Одессе.

Это усилило значение стихов, придало самой мысли более личный характер. Не ропот побежденного в них звучит, а голос победителя, уверенность русского певца, который радуется силе русского оружия.

Вяземский правильно уловил в поэме хвалебный гимн героям войны. Он смотрел на Россию как раз с противоположного, западного, гражданского конца. А в Пушкине, хотя он также был либерал, всегда бродила беспокойная тяга к бранному делу. Его всю жизнь манил роковой огонь сражений, тревоги стана, звук мечей.

На Кавказе он впервые увидел лагерную жизнь, где уже пахнет порохом, куда иногда долетает гул орудий, визг случайной пули, и где всегда надо быть настороже. Увидел войну.

Для него завоевание Кавказа, борьба с горцами была одним из проявлений государственности, творческой силы народа, расправляющего свое могучее тело.

В «Эпилоге» Пушкин даже обещал когда-нибудь воспеть тот славный час,

Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш Орел Двуглавый;

Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов...
Тебя я воспою, герой,
О, Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.

Точно предупреждая упрек Вяземского, конец «Эпилога» звучит пророческой умиротворенностью, уверенностью, что Кавказ, «забудет алчной брани глас», и что

К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни...

Эта мысль еще яснее высказана в другом варианте. Пушкин работал над «Кавказским пленником» недолго, но много. Сохранилось четыре черновика поэмы. В одном из них (принадлежавшем кн. Чегодаеву) «Эпилог» кончался так:

Смирились вы — умолкли брани.
И там, где прежде только лани
За вами пробегать могли —
Торжественно при кликах громкой славы,
Князья заоблачной державы,
  Мы наше знамя провели.

Шелест державных знамен не раз слышится в южных стихах Пушкина. Он писал из Бессарабии Баратынскому:

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
(1822)

Через всю его поэзию, могучую и здоровую, проходит ощущение неразрывной, органической связи с могучей и еще здоровой Державой Российской. Оттого он и Петром увлекался до конца своей жизни. Но ясный, трезвый ум Пушкина всегда удерживал его от мелочности заносчивого патриотизма.

От этого удерживал его и самый размах, разнообразие русской жизни. Только два месяца пробыл Пушкин у пределов Азии, только с края заглянул в своеобразную, никем не изученную, нигде не описанную жизнь горцев. И все-таки описания в «Кавказском пленнике» не только красивы, но и

точны, как путевой журнал. Это одно из основных различий между русским поэтом и Байроном, подражателем которого и тогда, и позднее считали Пушкина. Байрон стремился высказать себя и не гнался ни за этнографической, ни за пейзажной точностью. Меткий, жадный глаз Пушкина замечал все внешние подробности, по ним угадывал внутреннюю сущность и потом усердно, упорно искал правильного слова для передачи своих точных наблюдений.

Поэма была задумана не ради экзотики, а как поэтическое лекарство против еще не изжитых обид и потрясений. В ней слышатся отголоски петербургской горечи.

Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
. . . .
Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

Когда приятели стали критиковать «Кавказского пленника», Пушкин, добродушно оправдываясь, говорил: «В нем есть стихи моего сердца». Он откровенно указал на свое родство с героем: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века... Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести; но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d'œuvre» *(В. П. Горчакову, октябрь—ноябрь 1822 г.).*

В «Кавказском пленнике» Пушкин сделал первую в русской литературе попытку нарисовать романтический тип. Он ввел в него личный опыт, отголоски Байрона и байронизма, черты характера Раевского. Сам Пушкин писал: «Кавказский пленник» — первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил». Но это также первая попытка претворить раны сердца в художественный образ. Вот как он описывает своего героя: «пламенную младость он гордо начал без забот... бурной жизнью погубил надежду, радость и желанье... В сердцах друзей нашед измену, в мечтах любви безумный сон, наскуча жертвой быть привычной давно презренной суеты, и неприязни двуязычной, и простодушной клеветы...»

В «Посвящении» почти в таких же выражениях Пушкин говорил о самом себе:

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили...

Обычное для художников лекарство — преображать свои страдания, печали, волнения, страсти в создании искусства — и на этот раз помогло поэту. Посвящение и первая глава поэмы еще полны лирической печали. В «Эпилоге», писанном три месяца спустя после окончания поэмы, уже нет речи о гонении, о разочаровании, об обидах и терзаниях. В нем размах, широта. Все личное, преходящее, менее значительное отодвинулось, ушло за просторы морей и степей, заслонилось лиловой красотой Кавказских гор, над которыми реял наш орел двуглавый.

О роли Кавказа в жизни Пушкина Гоголь, лично знавший и нежно любивший Пушкина, писал: «Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью; где гладкая неизмеримость России прерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях» *(1832)*.

Белинский восторгался поэмой, ее великолепными картинами природы, ее двойным пафосом: «...поэт был явно увлечен двумя предметами — поэтическою жизнию диких и вольных горцев и потом — элегическим идеалом души, разочарованной жизнию. Изображение того и другого слилось у него в одну роскошно-поэтическую картину. Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями в первый раз был воспроизведен русскою поэзиею... Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровию сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина, — сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова...» *(1844)*.

Белинский сказал это четверть века спустя после того, как поэма была написана. Молодой Пушкин гораздо строже отнесся к ней. Больше года продержал он у себя уже готовую рукопись. Кончил поэму в феврале 1821 года, а только в апреле следующего года отправил ее в Петербург Гнедичу, да еще с оговоркой: «Недостатки этой повести, поэмы, или чего Вам угодно, так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать». Он готовил длинное письмо Гнедичу, где подробно перечислял все недостатки «Кавказского пленника»:

«Простота плана близко подходит к бедности изображения; описание нравов черкесских не связано ни с каким происшествием и не что иное, как географическая статья или отчет путешественника... Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца, в каких несчастиях неизвестных читателю... Местные краски верны, но понравятся ли читателям, избалованным поэтическими панорамами Байр. и Вал. Ск... Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет К. П., но признаюсь, люблю его сам не зная за что, в нем есть стихи моего сердца. Черкешенка моя мне мила, любовь ее трогает душу...»

Откровенное признание — «в нем есть стихи моего сердца» — так и осталось в черновике. Гнедичу Пушкин послал вместе с рукописью только короткую сопроводительную записочку.

Глава XX

РОБКИЙ ПУШКИН

И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной...

5 августа генерал Раевский с семьей выехал из Горячеводска в Крым. С ним был и Пушкин. Больше недели ехали они, под казачьим конвоем, через предгорья и степи Северного Кавказа, «в виду неприязненных полей свободных горских народов». Добрались до Тамани и оттуда «из Азии переехали в Европу на корабле».

За несколько дней до отъезда с Кавказа Пушкин жаловался, что его душа «полна томительною думой, но огнь поэзии погас... И скрылась от меня навек богиня тихих песнопений...» Это было то обманчивое ощущение пустоты, которое иногда предшествует у художника набегающему прибою творчества.

В Крыму Пушкин снова начал «думать стихами». «Из Туманя приехал я в Керчь на корабле и тотчас отправился на так называемую *Митридатову гробницу*. Воображение мое спало; хоть бы одно чувство, нет, там я сорвал цветок для памяти и на другой день потерял его без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи подействовали на мое воображение еще того менее. — Следы улиц, полузаросший ров, да старые кирпичи. Из Феодосии до самого Юрзуфа плыл я морем... ночь не спал — луны не было, чистые звезды... Передо мною в темноте чернели полуденные горы. «Вот Четырдаг», сказал

мне капитан. Но я не различил его, да и не любопытствовал, перед светом я заснул. — Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Я проснулся, увидел картину пленительную — разноцветные горы сияли утренним солнцем — плоские кровли татарских хижин издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи стройные, как зеленые колонны, возвышались между их рядами — справа огромный Аю-Даг разметался в море, это синее, чистое небо и блеск и воздух полуденный...» *(декабрь 1824 г. Дельвигу).*

Так четыре года спустя, сидя в засыпанном снегом Михайловском, вспомнил Пушкин свое первое впечатление от блеска, и света, и яркости Крыма. Отделывая это письмо для печати — оно предназначалось для альманаха «Северные цветы», — Пушкин выбросил слова: «воображение мое спало, хоть бы одно чувство». Скрыл свои личные переживания, бурное пробуждение души, внутренний толчок, огненное ощущение прелести Крыма.

Эта ночь на корабле легла гранью между двумя полосами жизни, и время не стерло воспоминания о ней. В путешествии Онегина, писанном много позже, Пушкин почти в тех же словах рисует это первое сияющее впечатление южного берега:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
(«Путешествие Онегина». 1830)

Этот волшебный жар, это пробуждение души излилось сразу в элегию, которую Пушкин написал на корабле, между Феодосией и Гурзуфом:

И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает...
(1820)

Это первые, после отъезда из Петербурга, стихи. В них еще нет той радости жизни, о которой он пишет брату, в них суровый суд над собой, над потерянной молодостью, над

минутными ее друзьями. Но стихи помогают оторваться от тягостных воспоминаний.

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
. . . .
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой...

Под новый для него ритм морской волны, плещущей о борт корабля, проносятся воспоминания, с обычной сменой горечи и сладкой грусти. Еще вернется к ним Пушкин, претворяя суровые уроки жизни, раны сердца, уколы неприязни двуязычной и простодушной клеветы в хрустальные звонкие стихи. Муза опять с ним: «Мечта знакомая вокруг меня летает...» Сквозь дымку предутреннего тумана крадется волшебная творческая тоска, предчувствие новых сладостных волнений, нового счастья и новой печали.

Все это Пушкин нашел в Юрзуфе.

Южный берег Крыма еще не был тогда русской Ривьерой. Это была далекая, мало известная, мало устроенная окраина. Среди татарских саклей русские только начинали строить дачи. Юрзуф принадлежал герцогу де Ришелье. Недалеко от Аю-Дага, на самом берегу моря, он построил двухэтажный деревянный дом, где и принимал знатных гостей. В 1811 году там гостила М. А. Нарышкина, известная фаворитка Императора. В 1816 году останавливался великий князь Николай Павлович. Этот же дом, в августе 1820 года, Ришелье предоставил в распоряжение генерал-аншефа Н. Н. Раевского. Собралась почти вся семья, кроме старшего сына Александра, который остался на Кавказе. Для Пушкина, пожалуй, это было лучше. По крайней мере, ничьи язвительные речи не мешали ему со всей непосредственностью гениальной молодости досыта насладиться морем, солнцем, романтической влюбленностью, молодой, цельной радостью жизни, которая хлынула в его смятенную душу.

Три недели прожил Пушкин в Юрзуфе, но это были «счастливейшие минуты моей жизни», и отголоски этих ярких дней много лет будут звучать в его поэзии. В письме к Дельвигу (из него уже приведены выдержки) он писал: «В Юрзуфе жил я *сиднем*, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского

lazzaroni*. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти» *(декабрь 1824 г.)*.

Последняя фраза своего рода дымовая завеса, чтобы сбить со следа не в меру любопытных друзей и недругов, с их бесцеремонными догадками о сердечных делах поэта. Иначе писал он брату, сразу, сгоряча, еще насыщенный трепетом крымских переживаний.

«Там (в Юрзуфе. — *А. Т.-В.)* прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем Героя, славу Русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасною душою; снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение; — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» *(24 сентября 1820 г.)*.

В позднейшем письме к Дельвигу Пушкин покривил душой, когда уверял, что равнодушно наслаждался полуденной природой. Его стихи — свидетели живые, что он был «влюблен безумно» и в красоту Кавказа, и в женственную прелесть Крыма. Сдержанные в прозе слова: «я любил слушать шум моря» — иначе звучат в стихах:

Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.
(«Евгений Онегин», VIII глава. 1829—1830)

Она — это Муза. Но не только образ Музы, а еще другой, таинственный женский образ связан с Тавридой:

---

*Лодырь, бездельник *(итал.)*.

Какие б чувства ни таились,
Тогда во мне — теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
(«Путешествие Онегина»)

Преданье говорит, что «гордая дева», принесшая поэту «безыменные страданья», была одна из сестер Раевских, что в их семье Пушкин пережил светлую печаль молодой любви, затаенной и неразделенной. Но в которую из четырех сестер был он влюблен? Об этом долго, многоречиво спорили биографы, изыскатели, толкователи. Подбирали намеки в письмах, в воспоминаниях друзей и современников, главное, в стихах Пушкина, в зачеркнутых им строчках. Сам он сделал все, чтобы скрыть ее имя «от взоров черни лицемерной». Но скрыть самую любовь, глубокую и сильную, не мог. Слишком явственные знаки выжгла она на его поэзии. Эта огненная печать важнее имени «любовницы младой».

Раевские были настоящими представителями дворянской культуры. В них было крепкое чувство чести и служебного долга, искренняя, бытовая религиозность, без ханжества. Неизбалованный семейным уютом и теплом Пушкин в их семье нашел простоту и благовоспитанность, просвещенность и героическое начало.

Пушкин знал сестер Раевских еще в Петербурге, но это были встречи в гостиных, где молодых девушек держали под бдительным оком старших. Надзор продолжался и в Крыму. Когда один из биографов написал, что старшая Раевская, Екатерина Николаевна, давала Пушкину в Юрзуфе уроки английского языка, она заявила, что этого не было, что по тогдашнему понятию о приличии было бы недопустимо для двадцатитрехлетней девушки заниматься с посторонним молодым человеком. Но деревенская жизнь смягчает этикет, раздвигает перегородки, сгущает ту атмосферу всеобщей влюбленности, которую описал Толстой в доме Ростовых. Поэт был опьянен вкрадчивым очарованием девичьей стихии, влюбился в возможность настоящей любви, увлекался всеми сестрами по очереди. Их было четыре. Две младшие, Мария

(1805—1863) и Софья (1806—1881), вместе с отцом ездили из Киева в Минеральные Воды и вместе с ним приехали в Юрзуф, где их ждала мать с двумя старшими сестрами, Екатериной (1797—1885) и Еленой (1804—1852). Судьба, а главное, личные свойства и дарования, выдвинули из толпы только Екатерину и Марию. Но все четыре сестры были хорошенькие девушки, неглупые, образованные, носившие в себе задатки особого типа русской женщины, которая была одним из украшений русской жизни XIX века.

П. И. Бартенев, лично знавший сестер Раевских, так описал их жизнь в Юрзуфе: «Большая часть времени проходила в прогулках, в морских купаниях, поездках в горы, в веселых оживленных беседах, которые постоянно велись на французском языке. Пушкин часто разговаривал и спорил со старшей Раевской о литературе. Стыдливая, серьезная и скромная Елена Николаевна, хорошо зная английский язык, переводила Байрона и Вальтера Скотта на французский, но втихомолку уничтожала свои переводы. Брат сказал о том Пушкину, который стал подбирать клочки изорванных бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверяя, что они чрезвычайно верны».

Елене Раевской было тогда 17 лет. Высокая, грациозная, с прекрасными голубыми глазами, она считалась хрупкой и болезненной, что не помешало ей пережить поэта. Возможно, что ей посвятил он написанное в Юрзуфе стихотворение:

Увы! зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой...
(1820)

Но не Елена зажгла в поэте таинственную и нежную любовь. Слишком незаметной тенью прошла через жизнь Алена, как называл ее отец. Но и ее милое лицо, ее тихая ясная душа внесли свою прелесть в густо насыщенные красотой крымские дни.

Старшая Раевская, Екатерина, заняла в воображении, отчасти и в жизни Пушкина гораздо более значительное место. Не случайно ее одну охарактеризовал он, описывая свою жизнь в Юрзуфе: «Старшая — женщина необыкновенная». Умом, независимостью характера, силой воли, уменьем подчинять себе людей Екатерина Раевская больше всех детей походила на отца. Друзья прозвали ее Марфой Посадницей. Пушкин думал о ней, создавая Марину Мнишек. Северные приятели поэта смутно знали, что он влюблен в какую-то из

Раевских. Когда Екатерина Николаевна была просватана за генерала М. Ф. Орлова, А. Тургенев писал Вяземскому: «Михайло Орлов женится на дочери ген. Раевского, по которой вздыхал поэт Пушкин» *(23 февраля 1821 г.)*.

Но не она, а Мария Раевская была первой южной любовью Пушкина. Много лет спустя в своих воспоминаниях она писала: «Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек». Сама того не подозревая, кн. М. Н. Волконская-Раевская этим подкрепляет слова самого Пушкина: «Plus ou moins j'ai été amoureux de toutes les jolies femmes que j'ai connues»*.

Но при всей сдержанности в ее записках звучит уверенность, что в то лето Пушкин увлекался именно ею: «Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету». Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже в поэме «Бахчисарайский фонтан» он сказал:

...ее очи
Яснее дня, темнее ночи...

Точно спохватившись, что слишком много сказала, Мария Раевская-Волконская прибавила мудрые слова: «В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел».

Не нужно особенно напрягать воображение, чтобы опоэтизировать Марию Раевскую. В ней была своеобразная прелесть, хотя она не была красавицей. Поэт Туманский писал: «Мария, идеал пушкинской черкешенки, дурна собою, но очень привлекательна остротою разговора и нежностью обращения» *(1832)*. Влюбленный в нее граф Олизар расска-

* «Я был влюблен в большей или меньшей степени во всех хорошеньких женщин, которых знал» *(фр.)*.

зывает в своих воспоминаниях, как Мария Николаевна сначала представлялась ему «мало интересным смуглым подростком, но затем на его глазах превратилась в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдания в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня, очах». Друзья называли ее «La fille du Gangue*» за цвет волос, за яркость глаз, за плавную и гордую походку. «Твои грациозные движения как будто сливаются в мелодию, подобную той, которой, по вероваьям древних, звучали звезды на своде небесном», — писала ей родственница ее мужа, даровитая, блестящая кн. Зинаида Волконская.

Скупо помянула в своих воспоминаниях кн. Мария Волконская о встречах с Пушкиным. Время многое стерло. Погасла непосредственность живого ощущения чужой влюбленности, хотя бы и неразделенной, которая дает женщине сознание своей силы. Писем не сохранилось, а в записках о юности вспоминает уже усталая от подвигов жизни жена декабриста. Правда, в сдержанном рассказе пожилой женщины мелькает отблеск лукавой девичьей улыбки, сознание, что были дни, когда гениальное сердце поэта было полно ею. Но о себе, о своем к нему отношении — она не говорит ни слова. Не говорит о том, имел ли мужество влюбленный поэт признаться ей в любви, просить ее руки. Как не говорит и о том, что ей в нем нравилось, что не нравилось, о чем они говорили, как он держал себя во время их частых встреч за эти два года.

Точно суровые события позднейшей жизни стерли из памяти, обесцветили беспечные дни молодости, проведенные в богатой родительской семье, среди красоты и простора Украины, Кавказа и Крыма. Пушкин не расставался с Раевскими с конца мая и до сентября 1820 года. Самый бдительный надзор англичанки и родителей не мог помешать ему изо дня в день любоваться черноглазой девочкой, которая на его глазах превращалась в прелестную, обаятельную девушку.

Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав,
Она цвела передо мною,
Ее чудесной красоты
Уже отгадывал мечтою
Еще неясные черты...

Это набросок к рассказу Ленского о его любви к Ольге. А ведь в Ленского Пушкин вложил и собственные черты.

Пока Мария Раевская-Волконская вела обычную жизнь благовоспитанной девушки в просвещенной, но строгой бар-

---

* «Дочь Ганга» *(фр.)*.

ской семье, ей не было повода проявить ту духовную силу, ту волю к подвигу, которая позже сказалась в жене декабриста. Но уже тогда она чем-то привлекала к себе, умела внушить привязанности длительные, глубокие. Есть женщины, даже красивые, которые проходят сквозь жизнь, никого не радуя, не обжигая, не согревая. Есть другие, в которых, помимо внешней привлекательности, иногда даже без нее, таится своеобразный дар нравиться, таинственное обаяние любви.

Светская беспечная девичья жизнь Марии Волконской рано оборвалась. С ее именем не связан длинный ряд побед, которыми так любят гордиться девушки. Но кто раз ощутил на себе ее романтическое очарование, тот хранил о ней светлое и длительное воспоминание. Такую сильную, исключительную любовь она внушила своему мужу, кн. Сергею Волконскому. Ей было 19 лет, когда отец выдал ее замуж за блестящего богатого генерала. Мария Николаевна не любила Волконского и в Сибирь за ним поехала не столько по влечению сердца, сколько из гордого чувства долга, под влиянием героической жалости к каторжнику. До его ареста она признавалась сестрам, что «муж бывает ей несносен».

Волконский этого как будто не замечал. Для него она была «обожаемой женой». Так называл он ее в письмах из крепости, и такой осталась она для него до конца дней. В этом умении дать счастье нелюбимому мужу, сохранить его чувство, которое она не разделяла, но которое ему было опорой в сибирском изгнании, сказалась сила характера, сила женского обаяния.

Такую же глубокую любовь внушила она графу Густаву Олизару (1798—1865). Богатый поляк, киевский предводитель дворянства, он часто бывал у Раевских, которые жили открыто и много принимали. Граф Олизар сделал предложение Марии Раевской, когда ей было 17 лет. Ему отказали. Он был так огорчен, что бросил Киев с его привольной веселой жизнью и заперся в своем крымском поместье, которое назвал Кардиатрикой — что значит «лекарство сердца». В уединении он изливал в стихах печаль отверженной любви. Гостивший у него Адам Мицкевич воспел сердечные волнения своего друга в сонете «Аюдаг». В писанных под конец жизни воспоминаниях граф Олизар с нежным благоговением говорит о своей любви: «Если родилось в душе моей что-нибудь благородное и возвышенное, поэтическое, этим я обязан той любви, которую внушила мне Мария Раевская, княгиня Волконская, теперь Нерчинская изгнанница, разделяющая горький жребий мужа, та Беатриче, которой было посвящено дантовское чувство, до какого мог возвыситься мой поэтический дух. Благодаря ей, вернее, благодаря любви к ней, я

приобрел сочувствие первого русского поэта и дружбу нашего лауреата Адама».

Пушкин встречался с графом Олизаром у Раевских и у Орловых. Их сближала общность политических либеральных воззрений. Граф Олизар был польский патриот. Он принадлежал к тайному польскому обществу, дружил с южными членами «Союза Благоденствия» и был живой связью между русскими и польскими заговорщиками. Политика, особенно отношения между Польшей и Россией, занимала много места в их беседах. Когда Раевские отказали Олизару, Пушкин постарался стихами смягчить горечь этого отказа, приписывая его национальным разногласиям.

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен,
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен...
И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Не примет гордою душой
Любовь народного врага...

Послание, написанное в 1823—1824 годах, сохранилось только в недоделанном, перечеркнутом черновике.

В нем есть такие строчки:

Певец, издревле меж собою
Враждуют наши племена.
То наша станет под грозою,
То ваша гибнет сторона.

Позже Пушкин повторит это в стихотворении «Клеветникам России».

Но, живя на юге, где польское и русское общество было очень смешано, Пушкин еще верил в сближение двух славянских народов, верил, что поэзия смягчит разногласия. Олизар тоже писал стихи. Пушкин напоминает ему о небесной дружбе поэтов, о том, что «огнь поэзии чудесной сердца враждебные мирит»...

Этот набросок, при всей его небрежности и черновой непосредственности, ни единым намеком, ни единым словом не выдает чувств Пушкина к той, чьей руки тщетно добивался «гордый поляк». Любовь Пушкина к Марии Раевской самое красочное доказательство ее дара приковывать сердца. Он встретил ее, когда уже прошел сквозь ранний, но бурный любовный опыт, уже был умудрен в науке страсти нежной, в умении не только читать в женских сердцах, но играть ими.

...иногда
Мои коварные напевы
Смиряли в мыслях юной девы
Волненье страха и стыда...

Но перед этой смуглой девочкой с черными локонами, с глазами ясными и темными, с душой горячей и гордой, он растерялся. Влюбился в нее без памяти, надолго и глупо, мучительно и робко. Даже не имел мужества признаться в любви.

Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи: из их рядов
Уныл и сир он удалился.
(«Полтава». 1828)

«Полтава» писана много лет спустя. Много событий, перемен, много новых увлечений легло между Пушкиным и его романтической южной любовью. И все же ревниво вычеркнул он из рукописи «Полтавы» несколько строк, еще ярче, еще откровеннее передающих чувство неразделенной любви:

Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот, и мечтанья
Души кипящей и больной.
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел...

Этих строк Пушкин не отдал в печать, как никогда не печатал он некоторых лирических набросков, писанных на юге, похожих на рисунок, сделанный сразу, под живым впечатлением:

За нею, по наклону гор,
Я шел дорогой неизвестной,
И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной —
Зачем не мог ее следов
Коснуться жаркими устами...
Нет, никогда средь бурных дней
Мятежной юности моей
Я не желал с таким волненьем
Лобзать уста младых Цирцей
И перси, полные томленьем...

Пушкин пометил этот черновик: *«16 августа 1822 г.»*. Но его даты не всегда показывают время написания стихов. Иногда эти пометки ставились, чтобы умышленно сбить с

толку любопытных. Только что приведенный набросок по настроению напоминает XXXIII строфу из первой главы «Онегина», которую приводит кн. М. Н. Волконская в своих записках. Эта глава писалась в Одессе, три года спустя после Юрзуфа.

Так, Пушкин часто возвращался, спустя несколько лет, к отдельному стиху, к рифме, к созвучиям слов, к мелькнувшей перед ним картине, которые по тем или иным соображениям он сразу не внес в произведение, которым был занят, а позже вставлял его в следующую вещь. Особенно часто он делал это с лирическими стихами, где были отголоски личных любовных переживаний, которые в его стихах звучат заразительной страстностью, поражают сочетанием духовного и телесного влечения. «Онегин» был начат в мае 1823 года, но еще за год до этого Пушкин дважды наметил рисунок и движенье XXXIII строфы: сначала что-то вроде плана: «Ты помнишь море под грозой. У моря... Могу ли вспомнить равнодушный... А ты, кого назвать не смею». Второй раз идет текст, близкий к «Онегину»:

Как я завидовал волнам
Бурными рядами... чередою
Бегущими издали послушно
С любовью пасть к твоим ногам.
О ты, кого назвать не смею...

Он никогда и нигде так и не назовет ее, даже не повторит, не произнесет вслух сорвавшегося признания, что «есть предмет любви отверженной и вечной», которой назвать он не смеет.

По-видимому, любовь вспыхнула в Крыму. В письмах, в стихах, отражающих гул Таврической волны, есть также отражение внутреннего толчка, какого-то события, откровения, очистительного огня, опалившего душу. Сила жизни не измеряется календарным счетом дней, месяцев, даже лет. В Юрзуфе прожил Пушкин только три недели, но этого было довольно, чтобы в могучей душе «атлета молодого» снова разгорелся огонь творчества. Как воды Пятигорска и Кисловодска исцелили его тело, так в Крыму омылась, проснулась, в лучах солнца очистилась его душа. Опять закружились рифмы, опять начал он думать стихами. Это его собственные слова, одно из его многих точных определений внутреннего процесса стихосложения.

В первом своем, очень значительном, письме к брату, писанном из Кишинева сразу после разлуки с Раевским, Пушкин, с редким для него однообразием эпитета, повторяет слово «счастье»: «счастливейшие минуты моей жизни... суди,

был ли я счастлив...» Даже к небу применяет он этот восторженный эпитет: «счастливое полуденное небо». Еще весь кипит он первой радостной полнотой новой любви, но скоро она омрачается тревожной тоской, неутоленностью неразделенного чувства.

«Любви безумную тревогу я безотрадно испытал... Мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань... Мучительный предмет любви отверженной и вечной...» Его любовь осталась без ответа. Мария Раевская не выделила его из толпы поклонников, прошла мимо поэта с девичьей, беспечной гордостью. Поэт не сумел заразить ее своей влюбленностью, подчинить ее той таинственной власти, которая не раз покоряла ему женщин самого разного склада. Может быть, потому, что она была еще полуребенком, и страсти спали в ней. Или потому, что Пушкин был «влюблен без памяти», переживая второе отрочество, немея и глупея от любви. Он писал брату: «Чем меньше мы любим женщину, тем больше можем рассчитывать обладать ею». Позже в «Онегине» он повторил эту мысль почти в тех же словах. Не только ее равнодушие, но и общественные перегородки разделяли их. Мария Раевская была девица на выданье, а Пушкин для дочери генерал-аншефа был незавидным женихом, и это он понимал.

Когда наехали толпою
К ней женихи: из их рядов
Уныл и сир он удалился.

Раевские были люди просвещенные, но в то же время знатные, важные люди: так же, как все их богатые титулованные родственники кругом, — гр. Браницкие, гр. Самойловы, Давыдовы, гр. Воронцовы, — жили они привольно и беспечно. Иногда нуждались в деньгах, но не в рублях, а в десятках тысяч рублей. Пушкин был ссыльный чиновник, получавший 700 рублей в год, к тому же сын промотавшегося отца, не получавший никакой поддержки из дому. Время больших гонораров еще не пришло для него. В Кишиневе, в разгар увлечения Марией Раевской, он сидел без гроша. «Пушкин пропадает от тоски, скуки и нищеты», — писал Вяземский 30 мая 1822 года. «Je crevais de misère»*, — писал Пушкин в декабре 1823 года генералу Инзову, возвращая ему старый долг.

Раевские выдали старшую дочь за генерала и богача М. Ф. Орлова. Для любимицы своей Марии генерал-аншеф искал еще более блестящей партии. Гениальность Пушкина, к тому же еще далеко не признанная, не могла заставить

---

*«Я подыхал от нищеты» *(фр.)*.

семью Раевских признать его хорошим женихом. Если бы вместо рифм, острот и поэм у него были деревеньки с крепостными душами, тогда дело другое, тогда и на его поэтические чудачества и безумства можно было бы смотреть сквозь пальцы.

Пушкин чувствовал эту грань между ним и кругом Раевских. Бедность язвила его самолюбие, обостряла растущее чувство чести.

«Если твое состояние или иные условия не дают тебе возможности блистать, не старайся прикрыть свои лишения, скорее впадай в другую крайность: цинизм своей резкостью производит известное впечатление на людей поверхностных, тогда как маленькие уловки тщеславия сделают тебя смешным и жалким. Никогда не бери денег в долг, лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как ее себе воображают, а главное, не так ужасна, как мысль, что можно стать бесчестным или что тебя сочтут таковым». Так писал по-французски Пушкин брату из Кишинева осенью 1822 года.

Горечь бедности усиливала горечь любви, мучительной и робкой. Письма из Кишинева полны раздражения и тоски.

Но ни в письмах, ни в стихах, даже в черновых, писанных для себя, ни разу не упоминает ее имени Пушкин. Нет у него ни одного произведения, открыто посвященного Марии Раевской или княгине Волконской. Только путем многолетних, сложных изысканий, сопоставлений, догадок пришли исследователи к уверенности, что именно Мария Раевская была «утаенной любовью Пушкина». Это определение П. Е. Щеголева; он распутал эту загадку, когда разобрал в рукописи посвящения к «Полтаве» зачеркнутую Пушкиным строчку: «Сибири хладная пустыня».

Первые три года жизни Пушкина на юге, до его переезда из Кишинева в Одессу, он встречался с Раевскими в Каменке, бывал у них в Киеве. Они приезжали в Кишинев, гостили у Орловых, где Пушкин был своим человеком. Но в душе его и в его поэзии еще долго будет жить освежительное благоухание этого неразделенного, невысказанного чувства.

Нельзя выделить в отдельный цикл произведения, непосредственно связанные с его любовью к Марии Раевской, как нельзя точно определить начало и конец, рождение и угасание этой нежной, романтической, робкой страсти.

По-видимому, с любовью к Марии Раевской связаны: «О дева роза, я в оковах...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Бахчисарайский фонтан», отдельные строфы в «Евгении Онегине», ряд неизданных, частью не отделанных черновиков и «Полтава».

«Кавказский пленник» писался, когда поэтом уже владело новое чувство молчаливой и целомудренной любви, но задуман он раньше, еще под свежим впечатлением петербургских обид. Надо было их изжить, надо было выдернуть занозу из сердца, излить в стихах презренье к неверным друзьям, к двуязычным врагам, к изменницам младым. Освободив воображение, Пушкин принялся за «Бахчисарайский фонтан», связанный с пленительным образом элегической красавицы, которую он не смел назвать. «Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины», — писал Пушкин А. А. Бестужеву в феврале 1824 года.

Он называл свою лиру нескромной и болтливой, а на самом деле она крепко хранила его сердечные тайны, и только гневом своим выдал себя поэт.

Любовная лирика Пушкина полна непосредственности и предметности, в ней подлинное присутствие тех, кто зажигал душу певца. Пушкин не мог не петь любовь. Но имя возлюбленных таил он с ревнивым лукавством нежного любовника, с горделивой сдержанностью рыцаря. Если стихи могли дать повод к нескромным догадкам, он неохотно и не скоро печатал их, стараясь вычеркнуть из них всякое неосторожное слово.

В конце 1820 года Пушкин написал элегию «Редеет облаков летучая гряда», которую сначала назвал: «Таврическая звезда». В ней было сказано: «сладостно шумят таврические волны». Три года не издавал Пушкин этого стихотворения, а когда наконец собрался послать его в альманах, то вычеркнул упоминание о Тавриде и в тексте «таврические волны» переделал в «полуденные волны». Словесная связь с Юрзуфом была таким образом уничтожена.

Посылая элегию целиком, без пропусков, А. А. Бестужеву для «Полярной Звезды», Пушкин просил его не печатать последние три строчки:

Когда на хижины сходила ночи тень
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла...

А. А. Бестужев не исполнил просьбы поэта и напечатал весь текст: «Конечно, я на тебя сердит, — писал ему Пушкин, — и готов, с твоего позволения, браниться хоть до завтра. Ты напечатал именно те стихи, об которых именно я просил тебя: ты не знаешь, до какой степени это мне досадно. Ты пишешь, что без трех последних стихов элегия не имела бы смысла. Велика важность! А какой же смысл имеет:

«Как ясной влагою полубогиня грудь
. . . . вздымала».
(12 января 1824 г. Одесса)

В тетрадях Пушкина сохранился черновик этого письма, где яснее указана причина этого недовольства:

«Ты не знаешь, до какой степени мне досадно... Я желал не выдавать в публику... Они относятся к женщине, которая их читала...»

Но привычка, потребность обмениваться мыслями с другими сочинителями была велика, и через несколько дней Пушкин опять, добродушно и неосторожно, писал Бестужеву по поводу только что напечатанного «Бахчисарайского фонтана»:

«Радуюсь, что мой Фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал (в черновике сказано «с суеверной точностью») в стихи рассказ молодой женщины.

Aux douces loix des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve*.

Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю, потому что деньги были нужны» *(8 февраля 1824 г.)*.

В те времена письма были общим достоянием. Письмо Пушкина пошло по рукам. Попало оно и к Ф. Булгарину, который напечатал в «Литературных листках» именно эту его часть, где говорилось о вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана». Пушкин рассердился уже не на шутку и писал брату из Одессы: «Как можно печатать партикулярные письма — мало ли что мне приходит на ум в дружеской переписке, а им бы все и печатать. Это разбой; решено: прерываю со всеми переписку — не хочу с ними иметь ничего общего» *(1 апреля 1824 г. Одесса)*.

Он пенял на эту бесцеремонность и в позднейшем письме к Бестужеву: «Мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии... Но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! Но ты острамил меня в нынешней Звезде, — напечатав 3 последние стиха моей элегии; чорт дернул меня написать еще кстати о Бахч. Фонт. какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. — Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой

---

*Нежным законам стиха я подчинил звучание ее милой и бесхитростной речи *(фр.)*.

охотою беседую об ней *с одним из ПБ моих приятелей...* Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным, что проклятая элегия доставлена тебе чорт знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась» *(29 июня 1824 г. Одесса).*

В его укорах, в его беспокойной досаде сказалась не только щепетильность к репутации «элегической красавицы», но и цельность, живучесть любовного чувства, неожиданная в стремительном и страстном художнике. Ведь все это писалось четыре года спустя после юрзуфских и бахчисарайских переживаний.

Еще за год до переписки с Бестужевым, в письмах к брату из Одессы, Пушкин старался рассеять толки о романтической южной любви, которые разными путями доходили до его северных приятелей, дразнили их любопытство. Сам большой мастер зубоскалить, он совсем не хотел служить мишенью для чужих шуток и насмешливых догадок.

«Здесь Туманский, — писал Пушкин брату из Одессы. — Он добрый малый, да иногда врет — напр., он пишет в ПБ письмо, где говорит между прочим обо мне: Пуш<кин> открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille*, любовь и пр... фраза достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского Фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне непонутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы — помогите!» *(25 августа 1823 г.).*

Почему роль Петрарки? Или не только граф Олизар, но и другие называли Марию Раевскую Беатриче?

Два месяца спустя после этого письма к брату Пушкин, заканчивая первую главу «Онегина», шутливо отвечает на надоевшие ему вопросы:

«...Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей-Богу!

Он признается, что был влюблен, но что его любовь осталась без награды. И опять мелькает имя Петрарки.

---

* Папка с рукописями *(фр.).*

Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует
Близ неоконченных стихов
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу, но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.
(1823)

Это прощальные аккорды, завершающие грустную симфонию его первой подлинной любви, мечтательной, почти бесплотной, похожей на «Лунную сонату». В течение нескольких лет держала его Мария Раевская в своей девичьей власти. Давно ли он хвалился:

Потомок негров безобразных,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдством бешеных желаний.

Но пахнуло на него свежестью целомудренной любви, очарованием гордой женственности, и перед нами уже не бесшабашный повеса, рисующийся циником, а застенчивый, молчаливый влюбленный мальчик.

И примечал мой робкий взор
Следы ноги ее прелестной.

Много лет спустя, в разгаре славы, в сознании зрелости своего могучего гения, среди светских забав и успехов, Пушкин снова помянет свою таинственную южную любовь. В октябре 1828 года он написал «Полтаву». Кончил ее в три недели, сразу, точно поэма вдруг вся целиком запела у него в мозгу. В Марии Кочубей есть сходство с Марией Раевской:

Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья...
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза...

Это напоминает описание кн. М. Волконской, сделанное кн. Зинаидой Волконской. И душевное сходство можно найти. Но яснее всего сказалась память о ней в посвящении. Оно полно чарующей нежности, трогательного, благоговейного воспоминания о любимой когда-то женщине:

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Нигде, ни в письмах Пушкина, ни в письмах его современников, не указано, что поэма посвящена Марии Раевской. К этому времени она уже была княгиней Волконской и жила в Сибири, разделяя судьбу мужа-декабриста. Слова «твоя печальная пустыня» давно заставляли предполагать, что «Полтава» посвящена ей. Эти догадки превратились в уверенность после того, как П. Е. Щеголев нашел в черновой рукописи зачеркнутый Пушкиным вариант: «Сибири хладная пустыня...»

Точных сведений, когда начат и когда кончен «Бахчисарайский фонтан», нет. Еще в 1820 году в Крыму, побывав с Раевскими в Бахчисарае, Пушкин написал как бы введение к поэме:

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы*.

Под немолчное журчание фонтана сливается в мечтах поэта явное и мнимое:

Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал

* Эти стихи написаны позже, осенью 1824 года в Михайловском.

Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

В черновике было гораздо выразительнее: «Любви безумной (напрасной) идеал». Пушкин не взял ни одного из этих эпитетов, заменил их безличным определением «неясный», спрятался.

Первые наброски поэмы и связанные с нею пометки есть в черновиках рядом с окончанием «Кавказского пленника», который был дописан в марте 1821 года. Пушкин, охотно читавший свои произведения не только другим сочинителям, но и просто людям, с которыми был в приятельских отношениях, «Бахчисарайского фонтана» в Кишиневе никому не читал и не показывал. Даже в письмах к друзьям молчал о поэме. Действительно, «писал единственно для себя». Два года молчал. Потом победила потребность высказаться, привычка читать стихи поэтам. Летом 1823 года встретил Пушкин в Одессе молодого чиновника и поэта Туманского, ему прочел свою поэму, по-видимому, в более полном виде, чем она была напечатана, с теми лирическими строфами, которые он позже выпустил, как «любовный бред»; но сам не рад был, что прочел.

Туманский, польщенный доверием уже знаменитого поэта, разболтался в письме к кузине не только о поэме, но и об ее героине. Дошли слухи до Пушкина. Он рассердился, но в письме к брату постарался обратить все в шутку: хотя в конце письма прорвались досада и тоска: «Прощай, душа моя — у меня хандра, и это письмо не развеселило меня» *(25 августа 1823 г.)*. Потом приписал, точно обдумав, как оградить от нескромных приятелей таинственную вдохновительницу «Бахчисарайского фонтана»: «Так и быть, я Вяземскому пришлю *Фонтан* — выпустив любовный бред, а жаль!»

Прошло еще три месяца, пока он наконец решился послать урезанную рукопись Вяземскому: «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай...» *(14 ноября 1823 г.)*. То же определение повторил через два дня в письме к Дельвигу: «Это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь и все-таки похвалишь» *(16 ноября)*.

Черновики «Бахчисарайского фонтана» дошли до нас в перечеркнутых отрывках среди других записей, стихотворных и прозаических. Нелегко угадать, где тот «любовный бред», который Пушкин выбросил. В одной из черновых тетрадей есть три страницы, исписанные набросками. Настойчивые, отрывистые, но связанные одним основным чувством, поют

еще не слившиеся рифмы. Это как первоначальный рисунок. Позже Пушкин наложит на него краски, найдет остальные слова; но в отрывке уже есть главное, что владело, что волновало, как видение. Неотвязно кружится воспоминание о любви слепой, любви безумной...

Безнадежные страданья...
    мечтанья, желанья
любви унылой
    души остылой
    безумной след
Слепой любви несчастной
любви отверженной и вечной
Постыдных слез немых желаний...

«Опомнись, долго ль в упоеньи тебе неволи цепь лобзать, и лирою послушной свое безумство разглашать...» Эти отрывки замыкаются укором самому себе:

Ты возмужал средь испытаний,
Загладь поступки ранних лет,
Забудь мучительный предмет
Постыдных слез, немых желаний
И безотрадных ожиданий.

Некоторые эпитеты и целые строчки из этих черновых набросков вошли в ту заключительную строфу поэмы, которую Пушкин не отдавал в печать. Эти затаенные строчки, разысканные в бумагах поэта, и опубликовал в своем издании П. В. Анненков.

В конце «Бахчисарайского фонтана» есть чудесное описание ханского дворца. Пушкин сам остался им доволен и писал Вяземскому: «В моем эпилоге описание дворца в нынешнем его положении подробно и верно, и Зонтаг более моего не заметит» *(20 декабря 1823 г.)*. От этого точного описания поэт сразу переходит к лирике:

...Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец...
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах...

                    ...но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..
. . . .

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
(1823)

Поэма заканчивается вспышкой страстной любовной тоски. И уже нет сомнения, что вся поэма, природа, в ней описанная, настроение, которым она проникнута, чувства, волнующие героев, — все связано с мыслью об «элегической красавице», чей нежный, неотразимый образ владел поэтом, когда он писал:

Я помню столь же милый взгляд
И красоту, еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно! перестань,
Не растравляй тоски напрасной
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань. —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Последние десять строк Пушкин упорно исключал из всех изданий, но тайну свою не от всех скрыл. Граф Олизар в своих воспоминаниях прямо говорит:

«Пушкин написал свою прелестную поэму для Марии Раевской».

Первые две южные поэмы очень показательны для могучей силы претворения в художественные образы наблюдений, чувств, волнений и страстей. В них личное и вымышленное сплелись неразделимо. «Пленник» посвящен Кавказу. «Фонтан» посвящен Крыму. Это два отдельных мира. Люди и цвет гор, запах воздуха и предания старины, шум морских волн и грохот горного обвала, рисунок рассказа, очертания лиц, ритм стиха, благоухание цветов, все тут иное.

Пушкин вложил в описание Кавказа суровую фиолетовую красоту горных вершин, с их лиловой мглой, от которой позже Врубель будет с ума сходить. Вот его описание Кавказа:

Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов...
. . . .
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
. . . .

Один, за тучей громовою,
Возврата солнечного ждал,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

Иным воздухом веет над Бахчисараем. Иной мелодией насыщены стихи:

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит...
Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!

Еще яснее это различие выражено в песнях, которые введены в обе поэмы.

Черкесы собрались в набег,

И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по брегам Кубани
Сбирать насильственные дани.

В затихшем ауле остались только старики, дети и женщины. Мысленно следя за ускакавшими наездниками, они слушают, как молодые черкешенки поют:

В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное;
Казак усталый задремал,
Склонясь на копие стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.

В «Бахчисарайском фонтане» нет таких воинственных песен. Там нежные любовные напевы, напоминающие лирику арабских поэтов; там своеобразная прелесть уже изнеженного Востока. Не среди суровых гор, не под топот коней, всегда готовых для набегов, а среди иной, более богатой и мирной жизни, в тени садов, в сладострастной тиши гарема льется песня татарок:

Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный,
И песнью звонкой и приятной
Вдруг огласили весь гарем.

В обеих песнях сказывается уже способность Пушкина проникать в душу чужого народа, которая придает его экзотическим поэмам художественную правдивость, отсутствующую в поэмах Байрона:

«Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.
. . . .
Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя».

В эти две южные поэмы Пушкин вложил два несходных момента своей сердечной душевной жизни. Как все художники, он освобождался, преображая свои внутренние переживания в художественные образы. В «Кавказском пленнике» Пушкин хотел и мог изобразить психологию своего поколения: «Отступник света, друг природы... Невольник чести беспощадной... Свобода, он одной тебя еще искал в подлунном мире...»

Непосредственную цельность и силу чувства дикой черкешенки он противопоставил мрачной разочарованности и пресыщенности героя.

В «Бахчисарайском фонтане» действие перенесено в другую эпоху, люди принадлежат к другой культуре. Только чувства, их волнующие, — пугливое целомудрие Марии, страстная ревность Заремы, рыцарская любовь Гирея к своей беззащитной польской красавице, — все это вечные чувства, из века в век владеющие людьми. Тайну очарования «Руслана и Людмилы» составляет сладострастная, отроческая влюбленность в женственное начало. «Бахчисарайский фонтан» начат через два года после окончания первой поэмы. Более мужественная страсть трепещет в каждом стихе. Пушкин предполагал назвать эту поэму любви «Харем». Белинский считал «Бахчисарайский фонтан» «роскошной поэтической мечтой юноши... Музыкальность стихов, сладострастие созвучий нежат и лелеют очарованное ухо читателя... При этой роскоши и невыразимой сладости поэзии, которыми так полон «Бахчисарайский фонтан», в нем пленяет эта легкая светлая грусть, эта поэтическая задумчивость...».

Тщательно скрывал поэт даже от близких свою любовь к Марии Раевской. Зашифровав свою любовь в непрони-

цаемую оболочку экзотической восточной поэмы, боялся ее показать, два года не печатал. Даже стихи «Фонтан любви, фонтан живой!..» напечатал только шесть лет спустя. От нескромных догадок, от навязчивых наблюдений Пушкин, несмотря на всю молодую страстную бурность своего характера, сумел скрыть свою любовь. Но когда он оставался один на один со своей Музой, любовь владела рифмами. Стихи предательски раскрывают перед нами его тайну.

Когда Пушкин был уже в ссылке в Псковской губернии, Мария Раевская вышла замуж за князя Сергея Волконского. Жених нашел нужным написать поэту о своем удачном сватовстве. Письмо заканчивалось обещанием, что он, князь, среди новых своих родственников будет о нем «часто говорить, и общие воспоминания о вас будут в вашу пользу» *(18 октября 1824 г.).* Ответ Пушкина неизвестен. Да и что мог он ответить?

Глава XXI

КАМЕНКА

Никто не записал хронологии жизни Пушкина на юге. Никому не приходило в голову, что трудолюбивые книгочеи испишут груды бумаг, разбираясь в его маршрутах, докапываясь — побывал ли по дороге из Крыма в Бессарабию Пушкин в Каменке, сколько дней и когда провел в Киеве, когда первый раз был в Одессе и т. д. Пушкин несколько раз принимался за дневник, но после декабрьских событий уничтожил его. Только несколько отрывков уцелело. Внешние рамки его жизни на юге приходится устанавливать по пометкам под стихами, хотя их датировка полна случайностей. Иногда Пушкин отмечал, когда стихи написаны. Иногда день позднейших поправок. Иногда память о чем-то, что было связано для него с данным стихотворением.

В начале сентября, четвертого или пятого, Пушкин вместе с Раевскими выехал из Юрзуфа. Из Кикенеиза перевалили они через горы, осмотрели Георгиевский монастырь. В Кишинев он приехал 21 или 22 сентября, пробыл там до середины ноября и опять на три с лишним месяца уехал в Каменку, знаменитое имение матери генерала Н. Н. Раевского, Е. Н. Давыдовой. Из Каменки, вместе с Раевскими, он ездил 3 января в Киев и опять вернулся в Каменку. Только в марте поселился наконец Пушкин в Кишиневе. В мае побывал в Одессе. Возможно, что 15 мая 1821 года был в Киеве,

на свадьбе Екатерины Раевской и ген. Орлова. К лету окончательно осел в Кишиневе, где и прожил до переезда в Одессу в июле 1823 года. Это показывает, что причисленный к Коллегии иностранных дел коллежский советник, высланный за вольнодумство на юг, попал к начальнику снисходительному. Кавказ, Крым и Каменка были поэтической прелюдией к прозаическому Кишиневу. Каменка занимает особое место в жизни поэта. Там дописал он «Кавказского пленника», написал «Редеет облаков летучая гряда», «Нереиду», «Я пережил свои желанья». Там жил среди тех, кого позже окрестил «обществом умных». Там разгоралась, а может быть, и догорала его любовь к Марии Раевской. Каменка была для него культурным оазисом, продолжением петербургских отношений, нравов, мыслей. Живописная, просторная усадьба, раскинувшаяся над речкой, барский дом, флигели с беседками, огромный сад — все дышало изобилием, красотой, которой умели окружать себя просвещенные дворянские семьи. Старуха — хозяйка Каменки, Е. Н. Давыдова, урожденная гр. Самойлова, была сановитой, гостеприимной барыней, вокруг которой весело и привольно собиралась большая семья, огромная родня, многочисленные друзья, знакомые, гости. Историк Юго-Западного края Сулима, описывая эту эпоху, говорит: «То было веселое и славное время русского представительства в древнейшей столице русской и во всей Киевщине... Пышно жили Раевские и их богатые родственники: графиня Браницкая в Белой Церкви, ее брат Энгельгардт, граф Николай Самойлов в Смеле, Давыдовы, Бородины, Поджио, Орлов и другие. Могуч был тогда не только в Киеве, но и во всей Украине блестящий русский элемент».

Пушкин быстро обжился в Каменке. В те времена не только богатые и знатные, но даже средние семьи легко и охотно включали в свой круг чужих людей, которые становились почти членами семьи. Провинциальная жизнь упрощала отношения, усиливала приветливость и гостеприимство. Обитатели Каменки были достаточно образованны, чтобы ощутить необычность Пушкина. Его тянуло в Каменку. Ему отводили комнату во флигеле, где стоял бильярд. Лежа на этом бильярде, Пушкин дописывал «Кавказского пленника» и, дописав, поставил под поэмой: *«Каменка, 20 февраля 1821»*. Когда Пушкин начинал думать стихами, он писал иногда без перерыва все утро, не успевая даже одеться к обеду, который подавали в два часа. Верный Никита докладывал, что кушать подано. Поэт, не отрываясь от листков, приказывал: «Подай рубашку». Лакей с рубашкой в руках стоял, ждал. Пушкин продолжал писать, лежа, разбрасывая вокруг себя

исписанные стихами клочки бумаги. Хозяевам случалось, чтобы спасти драгоценные листки, запирать его комнату на ключ.

В Каменке жили два сына Е. Н. Давыдовой от ее второго брака — Александр Львович и Василий Львович Давыдовы. Старший славился добродушием, гастрономическими вкусами и хорошенькой француженкой-женой. Аглая Давыдова, урожденная графиня де Грамон, была «весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как истая француженка, и искала в шуме развлечений средств не умереть от скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекающим к себе всех железных деятелей Александровского времени. От главнокомандующего до корнетов все жило и ликовало в селе Каменке, но главное умирало у ног прелестной Аглаи. Д. В. Давыдов воспел ее в стихах».

Пушкин тоже за ней волочился, но умирать у ее ног совсем не собирался. В карманной книжке, которой он пользовался в 1820—1821 годах, есть стихи «Кокетке». Насмешливо и зло рассказывает он в них свой роман с Аглаей:

И вы поверить мне могли,
Как семилетняя Агнесса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Помилуйте, вам 30 лет,
Да, тридцать лет — не многим боле —
Мне за двадцать, я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны;
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Давно мужчины надоели...
Я вами точно был пленен
К тому же скука, муж ревнивый...
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы,
Мы сблизились, потом — увы —
Потом забыли клятву нашу...

До этих пор «все хорошо, благопристойно, могли б мы жить без диких ссор...».

Но нет, в трагическом жару
Вы мне сегодня поутру
Седую воскресили древность:
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар, и грусть, и ревность,
Помилуйте, нет, право нет,
Я не дитя, хотя поэт...

(1821)

В черновиках есть варианты. Пушкин поработал над стихами, и при его страсти дразнить и зубоскалить нельзя поручиться, что он не показал их приятелям или даже самой Аглае. Вряд ли ей нравилось выслушивать от юного волокиты такие наставления:

Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату:
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшому брату.

В конце 1822 года Пушкин послал Вяземскому эпиграмму:

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги — понимаю...
и т. д.

Поэт просил никому ее не показывать, но на скромность его друзей трудно было полагаться. Аглая Давыдова всегда с раздражением вспоминала своего изменчивого поклонника. Может быть, избалованная успехом, привыкшая, несмотря на свою доступность, возбуждать сильные чувства, она была оскорблена, ревниво почуяла, что рядом с ней поэт думал о другой, что сквозь ее кокетливую улыбку «другой мне виделись знакомые черты... Неотразимую я видел красоту...».

Не случайно помянул Пушкин в своих стихах об ее дочери... Осенью того же года побывал в Каменке И. Д. Якушкин. Он рассказывает, что Пушкин своим шуточным ухаживанием доводил до слез пятнадцатилетнюю дочь Аглаи Давыдовой — Адель. Это вполне вероятно, так как в те времена барышни в 14 лет уже выезжали, в 15 выходили замуж. Но не Аглая и Адель привлекали Пушкина в Каменку, где тон задавал В. Л. Давыдов (1792—1853) и отчасти его сводные племянники, братья Раевские.

В. Л. Давыдов принадлежал к родовитой военной интеллигенции, которая в начале XIX века занесла из Европы в Россию конституционные и революционные идеи. Участник Наполеоновских войн, он в 1820 году вышел в отставку и поселился в Каменке. В этом либеральном гусаре было стремление опроститься. Он «щеголял каким-то особым приемом простолюдина». В послании к В. Л. Давыдову Пушкин среди политических намеков с добродушной усмешкой отметил и это противоречие между опрощением и роскошью: «и ты, и милый брат, перед камином надевая демократический халат, спасенья чашу наполняли беспенной, мерзлою струей и за здоровье *тех* и *той* до дна, до капли выпивали!..»

«Те» — это как будто карбонарии; *«та»* — это конституция.

Вот как Пушкин описал Гнедичу свое житье в Каменке:

«Вот уже восемь месяцев, как я веду странническую жизнь... Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. — Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов» *(4 декабря 1820 г., Каменка).*

Это письмо читалось в Петербурге.

Там считали, что он их забыл. Оно напомнило им, петербургским приятелям, о ссыльном поэте. Пушкин жаловался, что от друзей ни слуху ни духу. А. И. Тургенев ворчливо писал Вяземскому: «Пушкин писал наконец сюда из какой-то киевской деревни Давыдовых и en passant* сказал, что у него готова и вторая поэма; между тем он еще и издания первой не видел. Он пишет к Гнедичу, кланяется Кюхельбекеру, а нас забыл. Perdu pour ses amis il vit pour l'univers, nous pleurons son absence en admirant ses vers»** *(1 февраля 1821 г.).*

Один из этих «умов оригинальных», член тайного общества Иван Дмитриевич Якушкин, в своих воспоминаниях рассказал о жизни в Каменке.

Гвардейский офицер И. Д. Якушкин был одним из главных деятелей тайного общества. Судя по его очень интересным запискам, его задачей было вербовать новых членов, держать между ними связь. В нем было искреннее желание отдать свои силы на исцеление «главных язв нашего Отечества», прежде всего на борьбу с крепостничеством. Ради этого он был готов на самые решительные поступки, даже на цареубийство. Но своих крепостных Якушкин, как и другие декабристы, не отпустил на волю и ими не занимался. Случайно заехал он в свое смоленское имение Жуково. Живя там, Якушкин предложил крестьянам волю, но без земли. Крестьяне отказались: «Мы ваши, но земля наша». На этом дело у них и кончилось. Тогда Якушкин вернулся в Петербург и погрузился в дела «Союза Благоденствия». Осенью 1820 года ему поручили отправиться на юг, пригласить тамошних членов тайного общества на съезд, который предполагалось устроить в Москве в январе 1821 года. Якушкин приехал в

---

* Мимоходом *(фр.).*

** Потерянный для друзей, он живет для вселенной; мы оплакиваем его отсутствие, восхищаясь его стихами *(фр.).*

Тульчин, небольшое местечко в Подольской губернии, где среди блестящей молодежи, служившей в штабе второй армии под командой графа Витгенштейна, было целое гнездо заговорщиков. Тут был Юшневский, Бурцев, Басаргин, кн. Трубецкой, Фонвизин, наконец, Пестель. По словам Якушкина, члены тайного общества не опасались над собой никакого особенного надзора. За столом у начальника штаба, генерала Киселева, они вели вольные политические разговоры: «Киселев, как умный человек, умеющий ценить людей, не мог не уважать эту молодежь, а многих и любил».

В Тульчине Якушкин застал Пестеля за составлением «Русской Правды», отрывки которой он читал не только своим единомышленникам, но и начальникам.

Пестель отказался ехать на съезд в Москву. Тогда Якушкин проехал в Кишинев звать М. Ф. Орлова. Тот тоже отказался, но посоветовал Якушкину проехать в Каменку на более невинный семейный съезд. Дело было в ноябре. В Екатеринин день хозяйка Каменки, Е. Н. Давыдова, всегда пышно справляла свои именины. Якушкин «избегал гостиных всю жизнь», но поехал, так как ему сказали, что на Орлова имеет влияние В. Л. Давыдов.

«Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в мою последнюю поездку в Петербург у Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. В. Л. Давыдов, ревностный член тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому как давнишнего, короткого своего приятеля. С генералом был его сын полковник А. Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников и я — мы пробыли у Давыдовых целую неделю. Мы всякий день обедали у старухи матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем угодно беседовать».

Это и были те «аристократические обеды», о которых говорит Пушкин. Обедали, по тогдашнему обычаю, днем, а к вечеру начинались «демагогические споры». О них Якушкин пишет довольно подробно, к сожалению, не по записи, а только по памяти.

«Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича. И вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к тайному обществу, но подозревая о его существовании, смотрел на все происходящее с напряженным любопытством. Он не верил,

чтобы я случайно заехал в Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытия».

Заговорщики решили сбить с толку этого скептического наблюдателя. Они устроили под его председательством заседание для обсуждения вопроса, полезно ли в России учредить тайное общество?

Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников высказывали доводы за и против: «Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество России». Сам Якушкин говорил против, А. Раевский за. Желая поймать его на слове, Якушкин спросил: «Если бы такое общество существовало, вы наверное не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился», — ответил он. «В таком случае, дайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: разумеется, все это одна шутка. Другие тоже смеялись, кроме А. Л., рогоносца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован. Он перед этим уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом, но когда увидел, что из этого вышла одна шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезами в глазах: я никогда не был так несчастлив, как теперь, я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка. В эту минуту он был точно прекрасен».

От мемуаров, писанных сорок лет спустя после этой беседы, трудно было ждать полной точности. Пушкин выходил в этом описании не в меру простодушным. Была в нем детская доверчивость. Недаром мудрый Дельвиг говорит: «Великий Пушкин — маленькое дитя». Доверчивость сочеталась в нем с ясностью живого критического ума. С юности окруженный заразительной атмосферой освободительных порывов и патриотических конспираций, Пушкин сумел сохранить независимость мысли. Но правильность его суждений, как и красоту его характера, далеко не все понимали. На людей он часто производил двойственное впечатление.

Другой декабрист, Н. В. Басаргин, который приблизительно в то же время встречал Пушкина в Тульчине у Киселевых, мельком отметил свое впечатление: «Как человек, он мне не понравился. Какое-то бретерство, suffisance* и желание ослеплять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поединков».

Характеристика Якушкина шире, благожелательнее: «В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при

---

* Самодовольство *(фр.)*.

своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей в Царском Селе, при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-либо дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с каким-то особенным достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел находить красоты, каких другие не замечали. Я ему прочел его Noël: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения, «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к П. Чаадаеву» и много других, были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголоском своего поколения со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему, он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России». Письма и воспоминания того времени подтверждают растущий успех Пушкина, восхищение его поэзией и видимой легкостью его стиха. Но именно эта легкость, эта воздушность его песенного дара, не меньше чем его веселое повесничество и ветреность, заставляли людей недаровитых считать его несерьезным, сбивали с толку. Семнадцатилетний Пушкин дал точное объяснение своего характера: «ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом...» Но среди его и северных, и южных приятелей мало кто понимал правдивую простоту этого признания.

К счастью для Пушкина и для России, среди этих немногих был его ближайший начальник, попечитель колонистов Новороссийского края и Бессарабии, генерал-лейтенант И. Н. Инзов (1768—1845), в распоряжение которого Пушкин был командирован Коллегией иностранных дел. Инзов еще летом перенес управление из Екатеринослава в Кишинев.

Глава XXII

АЗИАТСКОЕ ЗАТОЧЕНЬЕ

Кишинев был азиатский город. Узкие, кривые, немощеные, неосвещенные улицы весной и осенью тонули в грязи. Более благоустроенна была верхняя новая часть, где генерал

Инзов снимал у богатого молдаванского боярина двухэтажный, поместительный дом, окруженный садами и виноградниками. В этом доме прожил почти все время своего пребывания в Кишиневе Пушкин.

Между опальным молодым поэтом и пожилым начальником края установились своеобразные отношения. Не столько Пушкин приспосабливался к требованиям хозяина, сколько Инзов считался с фантазиями своего гостя и подчиненного.

Генерал И. Н. Инзов был типичным русским гуманистом XVIII века. Незаконный сын, не знавший своих родителей, он был воспитан в доме мартиниста князя Ю. Н. Трубецкого и с ранней юности впитал в себя пуританские взгляды на обязанности человека и христианина. Добрый и снисходительный к другим, к себе он был строг и требователен. Благочестивый, религиозный, целомудренный, он не только терпел вольные шутки и шалости Пушкина, о которых говорил весь Кишинев, но и приютил поэта у себя в доме. Его участливое отношение к Пушкину началось еще с Екатеринослава, когда Инзов отпустил больного Пушкина с Раевскими в своеобразный бессрочный отпуск. Болезнь Пушкина, а главное, высокое положение генерала Н. Н. Раевского, как бы оправдывали эту снисходительность. Но все-таки Пушкин был в ссылке, и в Петербурге могли рассердиться на слишком мягкого начальника. Инзов это понимал и писал болтливому, имеющему связи почт-директору К. Я. Булгакову: «Расстроенное его здоровье в столь молодые лета и неприятное положение, в котором он по молодости находится, требовали с одной стороны помощи, а с другой — безвредной рассеянности, а потому я и отпустил его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собой. При оказии прошу сказать об оном графу И. А. Каподистрия. Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством: он малый, право, добрый, жаль только, что наскоро кончил курс наук, одна ученая скорлупа останется навсегда скорлупой» *(июнь 1820 г.)*.

Инзову не раз приходилось отвечать на секретные запросы, что делает, о чем думает поэт? Весной 1821 года начались волнения на Балканах. Граф Каподистрия, тогда еще министр иностранных дел*, запрашивал, как отразились греческие события на русских умах вообще и на Пушкине в частности. Инзов отвечал: «Коллежский секретарь Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих

*Граф Каподистрия был в ту пору статс-секретарем по иностранным делам. Министром был Нессельроде.

смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов и тем, равно и другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мной обнаруживает иногда политические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в том случае и опытом заставят признать неосновательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия» *(28 апреля 1821 г.)*.

Из Петербурга снова настойчиво напоминали снисходительному начальнику, что он должен иметь за поведением Пушкина «строжайшее наблюдение». Начальник главного штаба, князь П. М. Волконский, запрашивая о деятельности масонских лож, предписывал Инзову, «касательно деятельности г-на Пушкина донести Его Императорскому Величеству, в чем состояли и состоят его занятия со времени определения его к вам, как он вел себя, и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ложам? Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор» *(19 ноября 1821 г.)*.

На это Инзов ответил: «Г. Пушкин, состоящий при мне, ведет себя изрядно. Я занимаю его письменной корреспонденцией на французском языке и переводами с русского на французский, ибо по малой опытности его в делах не могу доверить ему иных бумаг, относительно же занятия его по масонской ложе, то по неоткрытию таковой не может быть оным, хотя бы и желание его к тому было» *(1 декабря 1821 г.)*.

На самом деле в Кишиневе была ложа «Овидий», которая открылась в 1821 году. Это был год, когда по всей России открылись новые ложи с пышными названиями. Так, например, в глухом Симбирске сразу было открыто три ложи: «Ключ к добродетелям», «Астрея» и ложа «Трех светил великого провинциального союза».

Кишиневские масоны действовали довольно открыто. Посвящая в братья болгарского архимандрита Ефрема, его с завязанными глазами повели через двор в подвал. Ложа «Овидий» помещалась в доме Кацака, на главной площади, всегда полной народом. Болгаре увидели, что их архимандрита, связанного, куда-то ведут, и бросились спасать его от «судилища дьявольского». Едва удалось их успокоить. При такой откровенности вряд ли можно было в небольшом Кишиневе скрыть масонскую ложу «Овидий» от внимания властей. Инзов, как большинство мартинистов, вероятно, и

сам был масоном и, может быть, просто не хотел выдавать своих «братьев каменщиков». Его положение среди либеральной военной молодежи было нелегкое. Он не мог не сочувствовать им. В их идеях и исканиях была прямая связь с идеями новиковского кружка. Но, как высший представитель государственной власти, Инзов был обязан зорко следить за тем, чтобы либерализм патриотов не переходил границу, за которой начинается противоправительственное движение. Задача была нелегкая. Особенно нелегко было иметь дело с Пушкиным.

Пушкин тоже был масон. В его дневнике *(1821)* записано: *«4 мая* был я принят в *масоны»*. Но масонство было только маленькой подробностью в его жизни. Если бы он придавал ему значение, он не стал бы подшучивать над старыми каменщиками, как подшучивает в послании к П. С. Пущину. 9 декабря ложа «Овидий» прекратила свое существование. Это, конечно, не значит, что Пушкин перестал быть масоном. Много лет спустя он сделал масонский знак художнику Тропинину*.

Анненков, который еще писал со слов людей, знавших поэта, дает такую характеристику отношения Инзова к Пушкину: «Инзов исповедовал — как и вся его партия (мартинистов. — *А. Т.-В.*) — известное учение о благодати, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была бы окончательно развращена. Вот почему в распущенном, подчас даже безумном Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Н. С. Алексеева (кишиневского приятеля Пушкина. — *А. Т.-В.*), он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту».

Сам Пушкин в своем воображаемом разговоре с Александром говорит: «Генерал Инзов добрый и почтенный старик, он Русский в душе... Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной

---

*Здесь автор, очевидно, ошибочно воспроизводит по памяти свидетельство князя М. А. Оболенского: «Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин; по этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал покойному князю М. А. Оболенскому, у которого этот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на руке Пушкина ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем» *(Пыляев М. И. Старая Москва. М., 1990, с. 78).*

колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит *вражеским пасквилям*». Это писано после того, как Пушкин в Одессе проделал горький опыт службы под графом Воронцовым, который не видел никакого основания выделять поэта из толпы остальных чиновников. Только тогда оценил по-настоящему Пушкин мягкую заботливость Инзова, благодаря которому он в течение двух с лишним лет был огражден от начальнических окриков и капризов, был почти свободен от каких бы то ни было обязательств. Инзов сквозь пальцы смотрел на его проказы, прикрывал и выручал его. А главное, Инзов просто любил Пушкина. «Инзов меня очень любил, — писал Пушкин, — за всякую ссору с молдаванами объявлял мне комнатный арест и присылал мне, скуки ради, французские журналы».

Для Пушкина с его быстрой, разнообразной наблюдательностью было полезно жить у Инзова. Это был один из тех провинциальных центров, где шла созидательная имперская работа. Отсюда исходили мероприятия, которые должны были преобразовать край, за восемь лет перед тем отвоеванный у турок. Оттоманская империя, владевшая многими народами, оставляла им известную долю самоуправления, но обессиливала их бесконтрольной, деспотической властью пашей. Новая русская государственная власть, привыкшая к большой централизации, стала вводить другие порядки, но со старыми обычаями считалась. В Кишиневе заседал Верховный совет из молдавских бояр. Была выборная администрация. В канцеляриях и школах употреблялся румынский язык, хотя население было разноязычное. Кого только не было в Бессарабии: французы, немцы, итальянцы, румыны, молдаване, турки, греки, евреи, цыгане, болгары, русские. И все это сохраняло яркость национальных особенностей, языка, нравов и нарядов. Граница была под боком, русскому правительству приходилось следить за движениями соседей, направляя жизнь военной рукой. Весной 1821 года, через несколько месяцев после приезда Пушкина в Кишинев, пестрота, теснота и беспорядок усилились благодаря наплыву так называемых «бужинар», то есть беженцев из придунайских княжеств и фанариотов из Константинополя. Но и помимо этих случайных жителей, коренное население, во главе с греко-румынской аристократией, которая составляла в Бессарабии государствующий помещичий класс, жило по-азиатски. Вернее, по-своему. При дочерях держали французских гувернанток, сыновей отправляли в иностранные университеты, но весь уклад жизни был свой, молдавский. Многочисленная дворня, грязная, полуголодная, состояла из крепост-

ных, главным образом из цыган. Можно себе представить, в каком виде цыгане содержали дома своих повелителей. «Страсть к наружному великолепию и вместе с тем отвратительную неопрятность de la maison culinaire*, невозможно достаточно сблизить в воображении. Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов, перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей, пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод, перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную. Тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке, фермеле, без рукавов, шитой золотом, или хозяина. Вас сажают на диван, арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра, позолоченной брани, в тальме из богатой турецкой шали, перепоясанной также турецкой шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, — подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане» *(А. Ф. Вельтман)*.

Пушкин, как и все русские офицеры и чиновники, постоянно бывал у кишиневских бояр. По положению своему он имел доступ во все гостиные. Да и был он отличный танцор, опытный волокита, страстный игрок в карты, когда бывал в духе, веселый очаровательный собеседник.

Вот как описал свое впечатление от встречи с поэтом гвардеец В. П. Горчаков, переведенный из Петербурга в Кишинев вскоре после приезда Пушкина, осенью 1820 года. Он встретил Пушкина на представлении, которое давала заезжая немецкая труппа. Зрелище было убогое, актеры жалкие. Но в городе не было театра, не было развлечений. От нечего делать весь кишиневский beau mond** пришел взглянуть на немцев.

«Особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того увлекатель-

* Здесь: обслуги *(фр.)*.

** Светское общество *(фр.)*.

но, что невольно хотелось бы спросить: что с тобой? какая грусть мрачит твою душу? Одежду незнакомца составляли черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары. Кто бы это? — подумал я и тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы». Их представили. Они стали вспоминать игру петербургских артисток. Пушкин задумался. «В этом расположении духа он отошел от нас и, пробираясь между стульев со всей ловкостью и изысканною вежливостью светского человека остановился перед какой-то дамой. Мрачность его исчезла. Ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывной речью. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся, прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала».

Но среди местного общества он часто распускался, вел себя бесцеремонно, дерзко. Писал на кукон и кукониц — как по-молдавски звали бояр и боярынь — не всегда пристойные эпиграммы, стихи. Его куплеты, написанные в темпе джока, молдавской плясовой песни, распевались местными повесами:

Раззевавшись от обедни
К Катакази еду в дом,
Что за греческие бредни,
Что за греческий содом.
Подогнув под ... ноги
За вареньем, средь прохлад,
Как египетские боги
Дамы преют и молчат.
(1821)

Пушкин принимал участие в туземной жизни, играл на бильярде с молодежью, волочился за барышнями, часто и за дамами, играл в карты у Крупянских, танцевал по понедельникам у богатого откупщика Варфоломея, который давал пышные балы и как паша встречал гостей, сидя на диване, поджав под себя ноги. У Варфоломея была хорошенькая дочка, добродушная, глупенькая Пульхерица. Молодежь волочилась за ней. Не отставал и Пушкин. На все комплименты круглолицая, пухленькая молдаванская красавица неизменно отвечала на французско-молдаванском наречии: «Ah, quel vous êtes, qu'est ce que vous badinez»*. Такой ответ не раз получал и Пушкин. Липранди рассказывает, как в конце 1821 года они вместе поехали в Аккерман и там пошли к старику французу Киорто, у которого Пушкин учился фехтованию. «Пушкин то любезничал с пятью здоровенными и не первой уже молодости дочерьми хозяина, которых он увидал в пер-

* «Ах, какой вы, что у вас за шутки» *(фр.)*.

вый раз, то подходил к столикам, на которых играли в вист, и как охотник держал пари, то брал свободную колоду и, стоя у стола, предлагал кому-нибудь срезать в штосс. Звонкий его смех слышен был во всех углах». Это та поездка, во время которой Пушкин дописал оду «К Овидию».

В Кишиневе он волочился по очереди за всеми местными красавицами. «Пушкин любил всех хорошеньких, — рассказывает Липранди, — всех свободных болтуний... Но... ни одна из всех бывших тогда в Кишиневе не могла порождать в Пушкине ничего, кроме временного каприза».

Это подтверждают самые памятливые свидетели увлечений и волнений поэта — его стихи. За два с лишним года жизни в Кишиневе он часто писал о печалях и радостях любовных. Но местные красавицы вызывали его только на шуточные стихи.

В то время дурачества были в моде среди молодежи, даже в столицах, где сдерживающего начала было больше, чем в глухом молдаванском городе, с его пестрым полудиким обществом. Пушкин повесничал в Кишиневе, пожалуй, не больше, чем в Петербурге, но был больше на виду. «Пугая сонных молдаван», он доставлял немало хлопот «смиренному Иоанну», как называл он Инзова. О его проказах в Кишиневе сохранились рассказы. То стащит у молдаванской куконицы туфли, пока она, разувшись при гостях, сидит на диване, поджав под себя ноги. То покажется на гулянии, наряженный сербом, молдаванином, евреем. Или, к ужасу чистой публики, пустится плясать на площади джок под кобзу. Раз выскочил на улицу без шляпы, что казалось верхом неприличия. Но шляпу пришлось оставить в трактире, в залог за выпитое вино, за которое нечем было заплатить, так как деньги все он проиграл в карты. Другой раз днем Пушкин увидал в окно хорошенькую женскую головку и, недолго думая, въехал верхом в чужой дом. Был у Инзова попугай. Пушкин научил его браниться по-румынски. К генералу с пасхальным визитом приехал архиерей. Попугай осыпал его румынской бранью*. «Инзов... с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим сказал Пушкину: «Какой ты шалун! Преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось» *(Липранди)*.

Шалости, подчас переходящие в настоящее озорство, в Кишиневе сходили Пушкину с рук. Выручали приятели. Прикрывал Инзов. И судьба еще берегла. Даже бесчисленные кишиневские дуэли неизменно кончались благополучно.

---

* По воспоминаниям Липранди, Пушкин научил попугая одному бранному слову по-молдавски.

Пушкин был человек очень храбрый. В его горячем теле, стремительном, гибком и сильном, жила потребность риска и борьбы, влечение к военному делу, восхищение подвигом. Мечты о воинских подвигах постоянно врывались в его штатскую жизнь. Еще лицеистом он задавал дядюшке Василию Львовичу вопрос:

Неужто верных муз любовник
Не может нежный быть певец
И вместе гвардии полковник?
(1817)

Скупость отца заставила его выйти из Лицея не в полк, а в канцелярию. Два года спустя он опять пытался перейти из Коллегии иностранных дел в полк, говорил об этом с генералом А. Ф. Орловым. Посвятил ему воинственное послание:

...Когда ж восстанет
С одра покоя Бог мечей
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенной Беллоны
У трона верный гражданин!..
В шатрах, средь сечи, средь пожаров,
С мечом и с лирой боевой,
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.
(1819)

На юге это стремление к военным подвигам подогревалось всей обстановкой. Психология боевой жизни была там ближе, понятнее. Штатский Пушкин жил среди военных, слушал их рассказы о походах; и на Кавказе, и в Бессарабии наблюдал их то боевую, то полупоходную жизнь. А тут еще вспыхнуло восстание в соседних Румелийских землях, появились на улицах раненые четники, город наполнился греческими повстанцами и беженцами. Молодежь волновалась. Ждали, что Александр вступится за греков, что будет война с Турцией. Пушкину так хотелось принять в ней участие, что он даже готов был не проситься больше на север: «Если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии» *(21 августа 1821 г.)*.

Надежды и мечты военных либералов, что Царь поведет их с мечом в руке освобождать балканских христиан, Пушкин поэтически и патетически изложил в стихотворении, которое так и назвал — «Мечта воина»*.

---

* Позднейшее название «Война».

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести,
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений!..
(Ноябрь 1821 г.)

Но Александр обманул их ожидания и бранных знамен не поднял. Война не была объявлена. Свирепый жар «героев» и «смерти грозной ожиданье» Пушкину суждено было познать не в опьяняющей обстановке боя, а в самолюбивой приподнятости задорных поединков.

«Пушкин никому не уступал в готовности на все опасности. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало радость узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным...» *(Липранди).*

Штатский Пушкин всецело разделял уверенность своих военных приятелей, что честь надо защищать с оружием в руках. То были времена, когда чувство собственного достоинства требовало умения драться, когда дуэль была пробным камнем для гордости, для чести человека, для его пригодности к порядочному обществу. Кроме того, Пушкина влекло к поединкам тайное любопытство: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Он шел на поединок спокойно, с улыбкой, иногда и с шуткой. Липранди, который много видал дуэлей, «таких натур, как Пушкин, мало видал... Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед... К сему должно присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным для его рассудка».

Трудно сосчитать, сколько раз затевались у Пушкина в Кишиневе дуэли. Вероятно, раз десять, если не больше. Не

он один готов был любое столкновение, ссору, даже простое недоразумение разрешать пистолетным выстрелом. У офицеров было облюбовано для дуэлей постоянное место. «Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной — только не от русского слова малина, — рассказывает А. Ф. Вельтман, кишиневский знакомец Пушкина, — здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля» и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время, как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах».

Пушкин еще в Лицее считался недурным стрелком и получал отличные отметки за фехтование. Он упражнялся в стрельбе в Кишиневе, всаживая в стену своей комнаты пулю на пулю. Он любил повторять наставление, которое во дни молодости генерал Н. Н. Раевский получил от Потемкина: «Старайся испытать, не трус ли ты. Если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».

В Кишиневе неприятеля не было, поэтому Пушкин ввязывался в ссоры, в которых часто был сам виноват. Сразу после приезда, в октябре 1820 года, поссорился он с безногим полковником Ф. Ф. Орловым, братом генерала М. Ф. Орлова. Алексеев и Орлов играли в бильярд. Пили жженку, а ее, по словам Липранди, надо пить умеючи. Вино бросилось Пушкину в голову. Он стал мешать игре. Орлов и Алексеев обозвали его школьником и обещали проучить. Пушкин вскипел и вызвал обоих на дуэль. Липранди стоило большого труда уладить эту глупую историю. Пушкин признавался, что поступил скверно и гадко, но боялся, что несостоявшаяся дуэль оставит пятно на его чести.

Полгода спустя, в июне, Пушкин поссорился с каким-то французом Дегильи. Уцелел отрывок его записки к этому Дегильи, где Пушкин грубо обвиняет его в трусости. «Накануне дуэли на саблях, от которых улепетывают, не пишут на

глазах своей жены плаксивых жалоб и завещания...» В кишиневской черновой тетради есть и рисунок: мужчина в одной рубашке, без штанов, растерянно стоит среди комнаты. Подпись по-французски: «Моя жена! мои штаны! и моя дуэль! Пусть, распутывается как хочет...»

На оборотной стороне той же страницы набросаны стихи: «В твою светлицу, друг мой нежный, я прихожу в последний раз...»

Летом 1821 года была у Пушкина и настоящая дуэль. Он играл в карты с офицером генерального штаба Зубовым, который передергивал, Пушкин это заметил и сказал, что, когда партнер играет наверняка, платить не надо. Зубов вызвал Пушкина на дуэль. Они сошлись в Малине. Пушкин принес с собой целую фуражку черешен и, пока противник целился, не торопясь их ел, спокойно выплевывая косточки. Первый стрелял Зубов и промахнулся. Пушкин спросил: «Вы удовлетворены?»

Зубов бросился к нему с распростертыми объятиями.

— Это лишнее, — холодно ответил Пушкин и не стреляя ушел с поля.

Много лет позже, в повести «Выстрел», он описал этот поединок.

Следующая по времени дуэль могла плохо кончиться для поэта. Его противник был отличный стрелок, командир егерского полка, полковник С. Н. Старов. Столкновение произошло на балу в казино, где собиралось довольно пестрое местное общество. Дамы были в модных, выписанных из Вены нарядах, а часть мужчин в чалмах или в огромных молдаванских шапках. Это была та среда, где Пушкину легко было расшалиться. «Он взял даму на вальс и, захлопав, закричал музыкантам: «Вальс, вальс!» Один из молодых егерей сказал ему, что будут танцевать не вальс, а мазурку. Пушкин отвечал: «Ну, я вальс, а вы мазурку». И так и сделал *(В. И. Даль)*.

Полковник Старов нашел поведение Пушкина обидным для своего офицера, который, по молодости и застенчивости, не решался вызвать Пушкина.

— Ну, так я за вас с ним поговорю, — сказал Старов.

Его разговор с Пушкиным кончился вызовом. Они встретились на следующее утро за городом. Секундантом Пушкина был Н. С. Алексеев. Липранди поехал с ними. Секунданты отсчитали расстояние и поставили противников по местам. В это время поднялась метель. Дуэлянты два раза стреляли и каждый раз давали промах. Решили отложить дуэль до более ясной погоды. На другой день Липранди подметил «какое-то

тайное сожаление Пушкина, что ему не удалось подраться с полковником, известным своею храбростью».

До второго поединка их не допустили и свели бывших противников в ресторации Николетти. «Я всегда уважал вас, полковник, и потому принял ваш вызов», — сказал Пушкин. «И хорошо сделали, Александр Сергеевич, я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стоите под пулями, как пишете стихи».

Пушкин был польщен этой похвалой. Но кишиневские болтуны и болтуньи сплетничали. Раз Пушкину пришлось в трактире оборвать молодых молдаван, обвинявших в трусости Старова. Другой раз самого Пушкина укорила этой дуэлью хорошенькая румынка Мариула Балш, за которой он то волочился, то, забавляясь ее ревностью, дразнил ее своим равнодушием. Собрались у Балш гости. Был и Пушкин, который вдруг заявил: «Экая тоска. Хоть бы кто нанял подраться за себя», — намекая на молдаванский обычай посылать к противнику наемных драчунов с палками. Хозяйка вспыхнула и ответила:

— Вы лучше за себя деритесь.

— Да с кем?

— Ну, хоть со Старовым, вы с ним, кажется, не очень хорошо кончили.

Пушкин взбесился. Муж хорошенькой Мариулы играл в другой комнате в карты. Пушкин пошел к нему и стал требовать от него удовлетворения за обиду. Теодор Балш был почтенный старик, член Верховного совета Бессарабии, что давало ему право носить длинную бороду. Можно себе представить, какими глазами посмотрел он на задорного молодого чиновника, наскочившего на него в его собственном доме неизвестно из-за чего. Балш пошел к жене узнать в чем дело, вернулся в карточную комнату и сказал Пушкину:

— Вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену.

Пушкин взбесился, схватил тяжелый медный шандал, обычное оружие карточных игроков, и чуть не запустил им в несчастного хозяина дома. Подоспевшие друзья вовремя схватили Пушкина за руки. Поднялась суматоха, начались переговоры, объяснения, попытки примирить. Крупянский и П. С. Пущин убедили Балша извиниться перед Пушкиным. Старик надел длиннополый парадный молдаванский кафтан, приехал к Крупянскому и начал так: «Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам нужно?»

Пушкин опять рассердился, дал боярину пощечину и

выхватил из кармана пистолет. Дуэль не состоялась, но под домашний арест Пушкин попал.

Таких историй, по-видимому, было несколько. «Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда — но зато добрый мистик приходил меня навещать и беседовать со мною об Гишпанской революции», — писал Пушкин А. И. Тургеневу *(14 июля 1824 г.)*.

В одной из черновых тетрадей сохранился отрывок шуточной записки в стихах, адресованной, вероятно, Н. С. Алексееву. Пушкин жалуется, что «Спаситель молдаван, законов провозвестник, смиренный Иоанн», посадил его под арест, «забыв мой светлый сан, что я Вольтера крестник».

За то, что ясской пан,
Известный нам болван,
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою,
И трус, и грубиян,
Побит немножко мною
И что бояр пугнул
Я новою тревогой,
К моей канурке строгой
Приставил караул...

Эта шуточная записочка, вся перечеркнутая, находится в черновой тетради между «Песнью о Вещем Олеге», историческим конспектом из времен Древней Руси и планом повести из жизни Великого Новгорода. Так у Пушкина сплетались баловство и вдумчивость, суетность света и творчество, и в этих переплетах терялись, да и сейчас теряются, исследователи. Слухи о ссорах и дуэлях дошли до северных приятелей поэта. Тургенев из Москвы писал Вяземскому: «Кишиневский Пушкин ударил в рожу одного боярина и дрался на пистолетах с одним полковником, но без кровопролития. В последнем случае вел он себя, сказывают, хорошо. Написал кучу прелестей: денег у него ни гроша. Кто в Петербурге заботился о печатаньи его Людмилы? Вся ли она распродана и нельзя ли подумать о втором издании? Он, сказывают, пропадает от тоски, скуки и нищеты» *(30 мая 1822 г.)*.

Вяземский, сам беспокойный человек и талантливый писатель, понимал, что в дерзких выходках и в озорстве Пушкина сказывались хандра, томительное раздражение против «азиатского заточенья». Но непосредственные свидетели, а тем более жертвы этих непрерывных вспышек, шуток, ссор недоумевали, пугались, сердились. Чего только не выкидывал

Пушкин в Кишиневе. За картами пустил сапогом в лицо неприятному банкомету. За обедом у Инзова поссорился со стариком И. Н. Лановым, бывшим адъютантом Потемкина. Оба выпили лишнее. Шутки Пушкина рассердили старика. Тот назвал поэта молокососом, на что в ответ получил: «А вы виносос». Престарелый адъютант Потемкина вызвал ссыльного коллежского секретаря на дуэль, и только увещания «смиренного Иоанна» успокоили распетушившихся собутыльников. Другой раз, среди спокойного разговора о книгах, какой-то грек укорил Пушкина: «Как, вы поэт, и не знаете об этой книге?» Этого было довольно, чтобы Пушкин вызвал грека на дуэль, и приятели с трудом их примирили*.

Несмотря на постоянное волокитство и успехи Пушкина среди молдаванских дам, эти ссоры и дуэли происходили не из-за женщин. Только раз Пушкин был вызван на дуэль ревнивым мужем. Бессарабский помещик Инглези застал свою жену на свидании с Пушкиным в загородной роще и хотел драться. Опять вмешался Инзов. Пушкина посадил под арест, а ревнивому мужу посоветовал уехать за границу. Людмила Инглези была единственным увлечением Пушкина в Кишиневе, и она страстно любила поэта. Муж увез ее. Рассказывают, что она зачахла от тоски и умерла, повторяя слова Земфиры:

Ненавижу тебя,
Презираю тебя,
Я другого люблю,
Умираю, любя!

Характеризуя Пушкина в этот мятежный период жизни, Анненков писал: «Дуэли его в Кишиневе приобрели всеобщую известность и удостоились чести быть перечисленными в нашей печати, но сколько еще ссор, грубых расправ, рискованных предприятий, оставшихся без последствий и не сохраненных воспоминаниями современников. Пушкин в это время беспрестанно ставил на карту не только жизнь, но и гражданское свое положение: по счастию, карты — до поры, до времени — падали на его сторону, но всегда ли будут они так удачно падать для него, составляло еще вопрос. Сам Пушкин дивился подчас этому упорному благорасположению судьбы и давал зарок друзьям обходиться с нею осторожнее

---

* По свидетельству Липранди, Пушкин хотел было вызвать его на дуэль, но в конце концов его уговорили, и решено было так: «Когда книга была ему доставлена, то он, при записке, возвратил оную, сказав: эту он знает».

и не посылать ей беспрестанные вызовы, но это уже было вне его власти. Ко всем другим побуждениям нарушать обет присоединилась у него еще одна нравственная особенность. Он не мог удержаться от соблазна идти навстречу опасности... Ему нужно было дать исход природной удали и отваге. Он даже не мог слушать рассказа о каком-либо подвиге мужества без того, чтобы не разгорелись его глаза и не выступила краска на лице, а перед всяким делом, где нужен был риск, он становился тотчас же спокоен, весел, прост».

Глава XXIII

ОВИДИЙ

О первом годе жизни Пушкина на юге можно было бы написать целую книгу. Блеск, красота, прелесть «природы, удовлетворяющей воображение». Разнообразие внешних рамок, отчасти и людей, а главное, внутренние переходы, нарастание мыслей и настроений, исканий и достижений, наполняют этот год движением. Пушкин пропадал от тоски и скуки и в то же время учился удерживать внимание долгих дум. На людях повесничал, бесился, наедине познал и тихий труд, и жажду размышленья, и жарких дум уединенное волненье... Впадал в отчаяние от нищеты, а для России накопил несметные богатства, подлинная опись которых все еще не составлена. Рвался к людям, не мог без них жить, искал дружбы, которая была для него такой же потребностью, как любовь, а находил только попутчиков, из которых даже наиболее образованные с недоумением следили за ним. Не было среди них Дельвига с его любящей проникновенностью: «Великий Пушкин — маленькое дитя». Только с теми поэт мог до конца быть самим собой, кто, хотя бы смутно, чувствовал законность и красоту сочетания детской доверчивости, порывистости, простоты, потребности в ласке, с правами царственного ума и гения.

Таких людей в Кишиневе не было. Кроме, может быть, генерала Инзова, но Пушкин только позже это понял. Среди его кишиневских приятелей, главным образом офицеров, было много просвещенных людей. В. П. Горчаков, В. Ф. Раевский, Н. С. Алексеев, И. П. Липранди, А. Ф. Вельтман — все они много читали, увлекались Плутархом, Титом Ливием, Тацитом, Цицероном, изучали мало исследованный край. Пушкин, с его жадностью к знанию, многому от них научился. В нем смолоду было неутомимое внимание ко всякой серьезной работе ума или духа, хотя нередко он подходил к

ней точно шутя. Шутками вызывал он собеседников на споры, иногда очень горячие, и таким образом заставлял их высказываться. Не обижался, когда его самого уличали в незнании. Кишиневские приятели, по-видимому, не прочь были щегольнуть своей книжной ученостью перед молодым, но уже прославленным поэтом, хотя в нем самом редко проявлялось заносчивое сознание своего превосходства. У либерального В. Ф. Раевского (однофамильца, но не родственника Раевских), устроителя солдатских школ, зашел разговор о географии. Пушкин неправильно показал на карте какой-то городок в Европе. Раевский позвал денщика, и тот сразу нашел городок. Пушкин добродушно расхохотался.

Один из его тогдашних приятелей, образованный пехотный офицер И. П. Липранди, усердный читатель и собиратель книг, автор исторической работы о Бессарабии, оставил сухие, но любопытные воспоминания о Пушкине: «Сколько я понимал Пушкина, — то я думал видеть в нем всегда готового покутить за стаканами, точно так же, как принимать участие и в карточной игре, не будучи особенно пристрастным ни к тому, ни к другому. Одинаково и во всех других общественных случаях, во всем он увлекался своею пылкостью: там, где танцевали, он от всей души предавался пляске; где был легкий разговор, он был неистощим в остротах; с жаром вступал в разговор, особенно где дело шло о поэзии, а там, где речь шла об истории и географии, в жарких спорах его проглядывал скорее вызов для приобретения сведений, в необходимости которых он более и более убеждался. Самолюбие его было без пределов; он ни в чем не хотел отставать от других... Где была речь о поэзии, он входил в жаркий спор, не отступая от своего мнения... В других же случаях он смирялся и хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны противника, занятый только мыслью обогатить себя сведениями...»

В кишиневской пустыне не было недостатка во временных образованных попутчиках. Но при всей горделивой своей скромности Пушкин не мог не ощущать своего превосходства над ними. Даже члены «общества умных», заговорщики, которых он встречал в Каменке, в Кишиневе, в Тульчине, могли вызвать в нем ощущение значительности, не потому, что они сами были люди крупные, но потому, что план у них был размашистый. Оригинальностью своего ума произвел впечатление на Пушкина Пестель. Но их не потянуло друг к другу. Хотя нет сомнения, что как Пушкин оценил сразу ум Пестеля, так Пестель не мог не ценить его поэтического дара,

уже признанного всеми образованными людьми. Радостно ощущали необычность его поэтического гения те из кишиневских его знакомых, кто, как Вельтман или Тепляков, сами писали стихи. Вельтман боялся заговорить с Пушкиным, робел перед ним. «Для других в обществе он казался ровен, но для меня он казался недоступен».

Но и в Кишиневе, среди людей, очень смутно сознававших значительность Пушкина, некоторые его стихотворения имели непонятный, молниеносный успех. Так, например, «Черную шаль» сразу подхватила вся Россия.

Осенью 1820 года Пушкин часто заходил в «Зеленый трактир» и слушал, как молоденькая горничная Марионила или Мариула пела молдаванские песни. Одну из них Пушкин переложил в «Черную шаль». Песня сразу разлетелась по Кишиневу, а очень быстро и по всей России. Старый кишиневский чиновник, армянин, вообразил себя героем романса и намекал на то, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Поэта это очень забавляло: «Как только увидит Х-ва, что случалось очень часто, начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно заканчивались смехом и примирением, которые завершались тем, что Пушкин бросал Х-ва на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми другими), приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» *(Липранди)*.

Про «Черную шаль» упоминается и в воспоминаниях В. П. Горчакова. У безногого генерала Ф. Ф. Орлова были гости. Зашел разговор о «Черной шали». В. П. Горчаков попросил Пушкина прочесть ее, так как недавно приехал из Петербурга и еще не знал этой песни. Пушкин прочел несколько строк, потом схватил рапиру, начал фехтовать, задирать рапирой гостей, дурачиться. «Наконец он бросил рапиру и начал читать с большим воодушевлением: каждая строфа занимала его, он вполне был доволен своим новорожденным творением... «Как же, — заметил я, — вы говорите: *в глазах потемнело, я весь изнемог,* и потом — *вхожу в отдаленный покой»*. — «Так что же? — прервал Пушкин с быстротой молнии, вспыхнув сам, как зарница. — Это не значит, что я ослеп». Сознание мое, что это замечание придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки».

Пушкин имел право рассердиться, так как у него сказано не «в глазах потемнело», а «глаза потемнели». Это изумительная точность наблюдения, так как у человека под влиянием эмоций меняется цвет глаз.

По всем окрестным военным стоянкам молодежь распевала «Черную шаль». Бартенев рассказывает, что в начале ноября генерал М. Ф. Орлов вернулся с объезда пограничной линии. Пушкин пришел к нему. Орлов обнял его и стал декламировать:

Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил...

«Пушкин, смеясь и краснея, спросил:

— Как, вы уже знаете?

— Как видишь, — ответил Орлов.

— То есть, как слышишь, — поправил его Пушкин.

Генерал на это замечание приветливо улыбнулся.

— Шутки в сторону, — продолжал он, — а твоя баллада превосходна, в каждых двух стихах полнота неподражаемая, — заключил он, и при этих словах выражение его лица приняло глубокомысленность знатока-мецената».

Если такой генеральски-снисходительный разговор действительно между ними происходил, то Пушкин мог после него написать Чаадаеву про Орлова: il est heureux à force de sa vanité*.

У Пушкина «Черная шаль» помечена 14 ноября. Она была напечатана в «Сыне Отечества» в апреле 1821 года.

«Черная шаль» тебе нравится, — писал он брату, — ты прав, но ее чорт знает как напечатали. Кто ее так напечатал? Пахнет Глинкой» *(27 июля 1821 г.)*.

Самый вопрос показывает, как бесцеремонно обращались приятели с его стихами.

Романс переложил на музыку Верстовский, и под названием кантаты он исполнялся на сцене Московского театра. «Занавес поднимается, представляется комната, убранная по-молдавански. Булахов, одетый по-молдавански, сидит на диване и смотрит на лежащую пред ним черную шаль; ритурнель играют печальную; он поет. Публика в восторге» *(«Русский Архив», 1901, № 5)*.

Это была первая вещь Пушкина, попавшая на сцену. Но сам он был лишен возможности послушать свой романс в столице.

Круто оторвали его от Петербурга, где с безрассчетной доверчивостью юности заводил он друзей, с которыми привык делиться делом и бездельем, писать для них стихи, от которых хорошела вся жизнь кругом. Оглядываясь с далекого, чужого юга на свое северное беснованье, иногда с горечью вспоминал он минутных друзей минутной своей молодости.

---

* Он счастлив в силу своего тщеславия *(фр.)*.

Но ему скучно без них, ему не хватает рыцарей лихих, «Зеленой Лампы», умного Чаадаева, мудрого Карамзина, душевного Жуковского. А главное, не хватает талантливых людей. Их не было среди его кишиневских знакомцев. А от таланта к таланту бежит искра. В Царском Селе и в Петербурге Пушкин жил среди постоянного обмена мнений, в увлекательной игре перекрестного творчества. Непоседливый, смешливый, вспыльчивый, нетерпеливый, он умел быть отличным слушателем, с юности искал людей, которых стоит слушать. Вбирать и отдавать мысли и впечатления было для него необходимой потребностью. Живые встречи давали исход избытку внутренних сил, духовных и душевных, которые били в нем ключом, которых даже его стихи не могли до конца исчерпать. Он родился с душой общительной, с потребностью равенства в общении. Жуковский, Чаадаев, Карамзины, Дельвиг, Тургеневы, арзамасцы, лампйсты, все, каждый по-своему и в своей мере, удовлетворяли этой потребности. На юге раздвинулись внешние рамки, шире развернулась Россия во всем своем разнообразии, но сузились рамки личной жизни, человеческих отношений.

Если можно применить к Пушкину сравнение XX века, то его следует сравнить с гигантской станцией беспроволочного телеграфа. Своего рода башня Эйфеля, откуда разливаются волны человеческой мысли, проникая в миллионы самых различных человеческих душ. И туда же бежит обратная волна, передает чуть слышный крик о помощи с тонущего корабля, и нежную мелодию женского голоса в концерте, властный призыв политика, предостерегающее слово ученого или проповедника, таинственный гул Космоса. Как и всякий художник, Пушкин был и отправителем, и приемником мировых волн. Был счастлив, когда эти две волны текли гармонично, но не всегда это случалось в его стремительной и яркой жизни.

В Кишиневе это равновесие было нарушено. Даже растущая сила творчества не освобождала его от тяжелого ощущения одиночества, отрыва от петербургских друзей, связей, переживаний. Радовал и ободрял всякий знак внимания и дружеской памятливости, доходивший с севера. Дружба была для Пушкина такой же потребностью, как и любовь. Ему хотелось верить, что друзья сумеют сократить срок его опалы, вызволят его из азиатского заточения. Через год после отъезда из Петербурга он писал А. И. Тургеневу: «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас, да еще без некоторых избранных соскучишься и не в Кишиневе, а вдали камина кн. Голицыной замерзнешь и под небом

Италии. В руце твои предаюся, Отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли Вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Патмоса?» В приписке еще нетерпеливее: «Если получу я позволение возвратиться, то не говорите ничего никому; и я упаду как снег на голову» *(7 мая 1821 г.)*. Но «житель Каменного острова», то есть Царь, не торопился сменить гнев на милость.

Тяжело дались Пушкину годы изгнания. Тяготило сознание своей подневольности, связанности. Он называл себя ссыльным невольником и все чаще в письмах к друзьям и в стихах сравнивает себя с другим поэтом-изгнанником, с Овидием. Бессарабские приятели, подсмеиваясь, прозвали его «Овидиев племянник». Сравнение казалось им самохвальством. Они не понимали, что на их глазах крепнет русский поэт, несравненно более глубокий и мудрый, чем изысканный поэт римского декаданса.

Оторванный от привычного живого общения с друзьями-поэтами, Пушкин находил романтическое утешение, переговариваясь через века с тенью римского поэта, сделал из него невидимого своего спутника. Первое письмо из Кишинева Гнедичу начинается с Овидия:

В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный,
Овидий мрачны дни влачил,
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил...
(24 марта 1821 г.)

Несколько дней спустя опять с Овидия начинается великолепное письмо к Чаадаеву:

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев — пустынный мой сосед...

Такая далекая и такая сходная реет около него тень изгнанного римлянина. В ней отблеск преемственности, в ней общность судьбы и песен, связывающая поэтов через века, через различие расы и языка.

В моих руках Овидиева лира,
Счастливая певица красоты,
Певица нег, изгнанья и разлуки,
Найдет ли вновь свои живые звуки?..
(«Желание». 1821)

Еще явственнее говорит он о своем призрачном спутнике в письме к Баратынскому:

Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев Муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...
(1822)

Все эти разрозненные сопоставления, сближения Пушкин собрал, законченно выявил в отдельной оде, посвященной Овидию. В ней столько же личного, автобиографического, как и в послании к Чаадаеву. Только к римскому поэту Пушкин обращается иной стороной своего «я». Письмо к Чаадаеву говорит о преодолении и собственных слабостей, и внешних ударов. В оде «К Овидию» вылились горькие чувства изгнанника:

Овидий, я живу близ тихих берегов...
Твой безотрадный плач места сии прославил...
Как часто, увлечен унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!

В черновиках сопоставление, перекрещивание, сближение их судьбы выступает еще выпуклее:

Еще тобою полн угрюмый сей предел.
Здесь любит находить мое воображенье
Уединенного поэта заточенье...

Точно сквозь столетия Овидий видится ему, как смутный двойник:

И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил...
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе...

Все теснее сплетается в воображении поэта печаль римского изгнанника с собственным одиночеством. Местами не разберешь, о ком Пушкин говорит: о себе? об Овидии?

Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть:
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут...

Первые две строчки Пушкин мог целиком отнести к самому себе.

В отчизне варваров безвестен и один,
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь;

Ты в тяжкой горести далекой дружбе пишешь:
«...О, други, Августу мольбы мои несите!..»

Эту строчку год спустя Пушкин применил к себе: «О други, Августу мольбы мои несите! но Август смотрит сентябрем... Кстати, получено ли мое послание к Овидию? будет ли напечатано?» *(октябрь 1822 г.)*.

Овидий действительно засыпал Августа мольбами. Тут неприступная грань между русским и римским поэтами. Овидий был лишен всякого чувства собственного достоинства, был готов льстить Августу, чтобы добиться возвращения в Рим. Пушкин мягко, точно боясь независимостью своей оскорбить дружественную тень, оговаривается, что только «грубая гордость» может оставаться бесчувственной к жалобным и унылым прощальным элегиям Овидия, но черту между ним и собой проводит. Как часто бывало у Пушкина, первый набросок полнее выявляет личные чувства, из которых родились стихи:

Я грубый Славянин — я слез не проливал,
Но знал несчастие. Изгнанник самовольный,
Забытый дружеством, собою недовольный,
Страстьми растерзанный, задумчив я бродил
В стране, где грустный век ты некогда влачил.

Это черновик. Для печати Пушкин так переделал эти строчки:

Суровый Славянин — я слез не проливал,
Но понимаю их. Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.

В этой редакции выброшен упрек и друзьям, и судьбе, но в заключительных строчках срывается у Пушкина горький и гордый укор:

И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.
(1821)

Эти две строчки Пушкину пришлось из-за цензуры переделать:

Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И Музы мирные мне были благосклонны.

Пушкин привез «Овидия» из своей поездки в Аккерман. Он ездил туда с Липранди и вместе с ним вернулся в

Кишинев 23 декабря 1821 года. Дорогой остановились они в Татар-Бунаре.

«Пока нам варили курицу, я ходил к фонтану, а Пушкин что-то писал, по обычаю, на маленьких лоскутках бумаги и, как ни попало, складывал их по карманам, вынимал опять, просматривал и т. д. Я его не спрашивал, что он записывал, он, зная, что я не знаток стихов, ничего не говорил. Помню очень хорошо, что он жалел, что не захватил с собой какого-то тома Овидия...»

Липранди был книгочей и книголюб, считался приятелем Пушкина и все-таки так мало интересовался листками, исписанными рукой поэта, и вдохновением, им владевшим. Мудрено ли, что Пушкин сравнивал свое одиночество с одиночеством римского поэта среди готов и сарматов. Еще до поездки в Аккерман он записывал отдельные строчки «К Овидию» в трех кишиневских своих черновых тетрадях. Эти записи показывают, что ода сложилась не сразу. Как облако, клубилось, сгущалось в душе Пушкина элегическое изображение душевного состояния поэта, гонимого властью, сгущалось в отдельные строфы и, наконец, так цельно, с такой гордой сдержанностью вылилось в плавный ритм величавой оды.

Наиболее законченный черновик помечен 26 декабря 1821 года. Но еще до лета продержал у себя Пушкин «Овидия». А. А. Бестужев вместе с Рылеевым собирал стихи для альманаха «Полярная Звезда». Пушкин послал «Овидия».

«Посылаю вам мои бессарабские бредни и желаю, чтобы они Вам пригодились. Кланяйтесь от меня Цензуре, старинной моей приятельнице; кажется, голубушка еще поумнела... Предвижу препятствия в напечатаньи стихов к Овидию — но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа...» *(21 июня 1822 г.).*

Чтобы лучше обмануть старушку, Пушкин снял свою подпись. Под «Овидием» стояли две звездочки. Ссылка отрезала Пушкина и от издателей, и от читателей. До азиатского заточения не скоро доходили голоса из литературных и журнальных центров. Только в январе 1823 года получил Пушкин «Полярную Звезду». Шутливо, но нетерпеливо спрашивает он брата: «Каковы стихи к Овидию? душа моя, и Руслан, и Пленник, и Noël, и всё, дрянь в сравнении с ними. Ради Бога, люби две звездочки, они обещают достойного соперника знаменитому Панаеву, знаменитому Рылееву и прочим знаменитым нашим поэтам» *(30 января 1823 г.).*

Тень Назона была ближе бессарабскому пустыннику, чем те живые куконы и куконицы, чиновники и офицеры, с

которыми Пушкин ел и пил, танцевал, дрался, дурачился и спорил. Среди них он «пропадал от тоски, скуки и нищеты», становился резким, дерзким, несносным, наживал себе врагов, раздражал даже приятелей. Но стоило ему сквозь шум жизни услышать голос другого «питомца Муз и Аполлона», ощутить около себя дыхание созвучного поэтического гения, и какая-то величавая плавность наполняла, расширяла его сердце. Смягчалась горечь, светлела печаль, отлетало гнетущее ощущение одинокости и ненужности, рождались рифмы, наполняя душу святым очарованием.

В мысленной близости Пушкина с Овидием есть смутное сходство с тем, что пережил он в мистическом общении двух вдохновений, которое навсегда связало его с Жуковским. «И молненной струей душа к возвышенной душе твоей летела». Овидия Пушкин до конца жизни поминал с тем своеобразным оттенком благодарной нежности, которым отмечены все его подлинные дружеские связи.

За год до своей смерти Пушкин писал: «Книга Tristium не заслужила такого строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидия (кроме Превращений). Героиды, элегии любовные и самая поэма Ars amandi, мнимая причина его изгнания, уступают элегиям Понтийским. В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли, сколько живости в подробностях, и какая грусть о Риме, какие трогательные жалобы».

Пушкин в Бессарабии своими дуэлями и дурачествами оправдывал каламбур Вяземского — Бес-Арабский. Но он всегда был неуловимым Протеем, и самый меткий остряк не мог бы определить его одним словом. При всей внешней беспечности жизнь Пушкина на юге была полна творчеством и трудом. За первые три года (август 1820-го — июль 1823 года) он написал около сотни стихотворений, четыре поэмы, начал самое крупное свое произведение, «Евгения Онегина». Первые месяцы он ничего не писал, кроме эпилога к «Руслану и Людмиле». В Крыму он начал снова думать стихами и там же начал «Кавказского пленника», которого кончил в феврале. Кроме поэмы, за эти полгода написал он еще ряд стихотворений, но главная сосредоточенность отдавалась «Пленнику».

Когда художник кончает крупное произведение, вобравшее в себя немало творческого напряжения, он часто испы-

тывает пустоту. Но в голове Пушкина уже теснились следующие образы, и «Бахчисарайский фонтан», этот литературный близнец «Кавказского пленника», и Онегин вставали в его воображении:

И даль просторную романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал...

«Кавказский пленник» не утомил, не истощил, а точно разбудил его вдохновение, поднял целую бурю слов, образов, рифм. Кончив поэму, Пушкин написал Дельвигу: «Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу — я перевариваю воспоминания; и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости как не воспоминаниями?» *(23 марта 1821 г.).*

Как это, так и письмо к Гнедичу, писанное на следующий день, наполовину в стихах. В них сходный быстрый и своеобразный ритм мысли. Шесть месяцев работы над «Пленником» пустили в ход машину творчества. Все скорее, все чаще Пушкин «думает стихами», все больше тянет его поговорить с поэтами, с «парнасскими братьями», с Дельвигом, Гнедичем. Послание поэту Ф. Глинке «Когда средь оргий жизни шумной меня постигнул остракизм» обыкновенно относят к 1822 году, хотя возможно, что оно писано раньше, в ответ на стихи самого Ф. Н. Глинки, напечатанные в «Сыне Отечества» в 1820 году, вскоре после высылки поэта, когда он особенно ценил всякое проявление участия:

О, Пушкин, Пушкин, кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец;
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений.

Не похоже на Пушкина, чтобы он два года обдумывал ответ на это нескладное, но очень сердечное приветствие. Да и в его послании к Глинке отголоски настроений 1820—1821 годов. «Без слез оставил я с досадой венки пиров и блеск Афин... Пускай мне дружба изменила, как изменяла мне любовь». Это очень похоже на «Измены ветреной Дориды» и на «Я вас бежал, изменницы младые...».

Черновик послания к Ф. Глинке вписан в тетрадь раньше послания к Дельвигу. Это еще ничего не доказывает.

Черновики Пушкина — хронологические иероглифы. Стихи, рифмы, звукосочетания врывались со всех сторон, озаряя, раскрывая окружающую жизнь и сложную, многообразную, вечно подвижную душу поэта. Он писал поэму или крупное стихотворение, работал, отделывал, ежедневно возвращался к нему и тут же, иногда на полях, иногда среди текста, записывал варианты, начала, концы совершенно не связанных с главной темой строф, которые уже бегут, торопятся, звучат. Точно боясь, что они уплывут, как облака, растают, оборвутся, Пушкин начерно заносил их. Иногда сразу отделывал, иногда возвращался позже, даже несколько лет спустя. Расточительный повеса в жизни, в поэзии домовитый хозяин, у которого никакой запас не пропадает. Одна такая запись есть на полях «Кавказского пленника». Пушкин в «Пленнике» «хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века» *(В. П. Горчакову. 1821—1822 гг.)*.

Душевная старость была чужда Пушкину. Но бывали у него полосы подавленности и горечи, когда ему было легче понять и передать модную разочарованность, так соблазнительно, так ярко описанную Байроном.

В «Кавказском пленнике» быстро крепнущая рука поэта искусно переплела собственные переживания с чувствами и мыслями молодого поколения, тронутого романтизмом и разочарованностью.

Это настроение еще не раз прозвучит в его южной поэзии, но именно в первой поэме, писанной после ссылки, Пушкин с особенной полнотой выразил горечь личного опыта. В «Цыганах», как и в «Евгении Онегине», поэт выходит на простор, захватывает типичные черты своего поколения. В «Пленнике» он преодолевает горечь собственного разочарования тем, что находит для нее словесное выражение. В этом стремлении найти математически точную и математически краткую формулу для своего душевного состояния Пушкин не довольствуется монологами Пленника во второй части и, не останавливая работы над самой поэмой, не прерывая творческого процесса, набрасывает лирическую элегию, где кристаллизовано то же настроение. След этого своеобразного почкования стиха от стиха сохранился на полях тетради № 2365. Рядом с исповедью разочарованной души: «Без упоений, без желаний, Я вяну жертвою страстей...», Пушкин торопливым, мелким почерком записал:

Я пережил мои жел
Я раз
Остались мне одни страд
Плоды душ
Безмолв ж
Вл
Живу
И жду

Это начало строчек, отрывистые перепевы той элегии, которая потом приобрела такую широкую известность: «Я пережил свои желанья...»

Несколько месяцев спустя, кончая поэму, он переправил, отточил эти обрывки, претворил их в «Элегию». В черновой тетради она называется «Элегия, из поэмы *Кавказ*» и помечена *«22 февраля 1821 года Каменка»*. Пушкин напечатал ее только два года спустя, в 1823 году. Для издания 1826 года вторую строфу, которая начиналась словами: «Безмолвно, жребию послушный, влачу страдальческий венец», он переделал: «Под бурями судьбы жестокой увял цветущий мой венец». Так нередко в позднейшей переработке он смягчал, затенял первую, более личную, редакцию.

Подобные изменения тоже затрудняют исследование хронологии его творчества. Она не установлена, да вряд ли и будет установлена для пушкинского текста. Пометки Пушкина часто не облегчают, а затрудняют работу исследователей. Например, весной 1821 года он написал «Музу» («В младенчестве моем она меня любила») и напечатал ее в том же году в «Сыне Отечества» с пометкой: «Кишинев, Апреля 5, 1821». Но у Анненкова в руках был автограф, помеченный 14 февраля 1821 года.

Весна 1821 года занимает особенное место в истории его творчества. Для биографа было бы очень важно знать, где коснулось опять поэта «божественное дыхание» — в гостеприимной Каменке, где он был в феврале, или в «проклятом городе» Кишиневе? А Пушкин поставил две разных даты.

Затрудняет хронологию и многократная обработка почти всех стихов. Несмотря на то, что рифмы запросто с ним жили, несмотря на то, что были целые полосы в жизни Пушкина (Лицей, первые годы на юге, осень в Болдине), когда он чуть не сплошь думал стихами, несмотря на прирожденную, воздушную легкость песенного ритма, Пушкин с ранней молодости и до конца жизни был тружеником, упорным и усидчивым.

От «Кавказского пленника», которого он писал полгода, есть четыре автографа. В записной книжке, которая хранится

в Петербурге в Публичной библиотеке, есть черновая, которая в академических комментариях так описана: «Можно думать, что это есть не только первоначальная редакция, но и первый очерк поэмы. Правда, в начале имеется заглавие на отдельном листе, эпиграфы, затем первая страница написана почти без помарок, сначала цифрами обозначены отделы поэмы, но очень скоро рукопись приобретает вид, характер первоначальной черновой, с нередкими повторениями одних и тех же мест, с недоконченными стихами, с недописанными словами, с бесчисленными поправками. Надо прибавить, что сама поэма идет в тетради не подряд, прерывается другими произведениями».

Потом, уже в исправленном виде, Пушкин переписал «Пленника» в две другие тетради — в так называсмую Чегодаевскую тетрадь, и в тетрадь, которая хранится под № 2365 в Румянцевском музее. Во всех автографах много поправок. Сохранился и четвертый автограф. Это набело переписанный в отдельную тетрадь текст, посланный Гнедичу для печати. Он хранится в Петербурге, тоже в Публичной библиотеке.

С терпеливым упорством мастера подбирал, рассыпал, развязывал и снова связывал молодой Пушкин собранные его Музой «Кавказа дикие цветы». Дошедшие до нас тетради сохранили только часть этой работы. «И тайные стихи обдумывать люблю» — так определял Пушкин зарождение еще неясного ритма, который «сердце наполнял святым очарованьем». Весной 1821 года написал он «К моей чернильнице», слабое, старомодное стихотворение. Если бы не стояло под ним: «11 Апреля 1821 г.», его легче было бы отнести к подражательным лицейским посланиям, но в стихотворении есть любопытное указание, что, когда Пушкин садился писать, он не всегда знал, что напишет. Перо в чернильнице находит

Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье...
То странность рифмы новой...
(1821)

Выражение «садился писать» не совсем применимо к Пушкину. В первоначальной стадии он точно писал под диктовку Музы, так настойчиво, так стремительно звучали кругом него стихи — он записывал их утром в постели, или на прогулке, или верхом, вообще на лету. За стол он садился, только когда с памяти или с листков вносил стихи

в одну из тетрадей. Те, кто видел Пушкина за работой, рассказывают об отдельных листках, разбросанных вокруг него. Утренние часы были для Пушкина любимым рабочим временем. Часто он не вставал с постели, пока не кончал работы.

В Кишиневе Пушкин еще щедро раздавал свои автографы приятелям, а иногда людям почти чужим. По делам службы приезжал иногда в Кишинев из Екатеринослава чиновник А. М. Фадеев. Он останавливался у Инзова и ночевал в одной комнате с Пушкиным, чем был не очень доволен, так как поэт «целые ночи не спал, писал, возился, декламировал. Летом раздевался и производил все свои ночные эволюции во всей наготе своего натурального образа». Фадеев рассказывает, что Пушкин подарил ему рукопись «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника». (Если это правда, то это уже пятый список поэмы.) Он отвез их жене, большой поклоннице поэта. А. М. Фадеев не говорит, куда девались эти автографы. Возможно, что Пушкин отдал ему часть разрозненных листков.

В Кишиневе служил и часто встречался с Пушкиным А. Ф. Вельтман. Романист, археолог, отчасти поэт, он был человек не глупый, наблюдательный, даровитый и оставил любопытную запись о поэте. По словам Вельтмана, русских Пушкин пленял своей поэзией, а молдавское общество покорил «живым нравом и остротой ума».

«Происходя из арапской фамилии, в нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение: в нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах — воинственность, бесстрашие, в отношениях — справедливость, в чувствах — страсть благоразумная, без восторгов и чувства мести всему, что отступало от природы и справедливости. Эпиграмма была его кинжалом. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и всегда готов был отвечать за удары свои... Кажется, в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе, и стены дома треснули, раздались в нескольких местах, генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист весь был исписан стихами, но

из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах «Кавказский пленник», «Разбойники» начало «Онегина» и мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные. Во время этих-то прогулок он писал «К Овидию».

Другое, тоже любопытное, описание Пушкина среди его поэтического хозяйства оставил поэт В. Г. Тепляков. 1 апреля 1821 года он записал в дневник: «Вчера был у Александра Сергеевича. Он сидел на полу и разбирал в огромном чемодане какие-то бумаги. «Здравствуй, Мельмот, — сказал он, дружески пожимая мне руку. — Помоги, дружище, разобрать мой старый хлам, да чур — не воровать». Тут были старые перемаранные лицейские записки Пушкина, разные неконченые прозаические статейки, стихи и письма Дельвига, Баратынского, Языкова и других. Более часа разбирали мы все эти бумаги, но разбору конца не предвиделось. Пушкин утомился; вскочил на ноги и схватил все разобранные и неразобранные нами бумаги в кучу, сказал: «Ну их к чорту!» — скомкал их кое-как и втискал в чемодан».

Тепляков попросил у него на память стихи «Старица-пророчица» и небольшую заметку о Байроне. Пушкин эту просьбу исполнил, но прибавил: «Пожалуй, возьми их, да чур не печатать, рассержусь, прокляну навек».

Возможно, что это та заметка, которую он напечатал позже в «Литературной Газете» под заглавием «Анекдот о Байроне»: «Горестно видеть, что некоторые критики вмешивают в мелочные выходки и придирки своего недоброжелательства или зависти к какому-либо известному писателю намеки и указания на личные его свойства, поступки, образ мысли и верования. Душа человека есть недоступное хранилище его помыслов. Если сам он хранит их, то ни коварный глаз неприязни, ни предупредительный взор дружбы не могут проникнуть в сие хранилище. И как судить о свойствах и образе мысли человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности, как и добродетели. Часто по какому-нибудь своенравному убеждению ума своего он может выставлять на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия, часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями» (*«Литературная Газета», 1830*).

Эти слова Пушкина о Байроне можно применить к нему самому. Было бы неосторожно смотреть на его стихи, как на подлинный дневник, или даже как на приукрашенную автобиографию. Художник, он пропускал сквозь призму творчес-

кого преображения и свою, и чужую душу, что не мешало ему неоднократно, в стихах и прозе, просить не смешивать ни его самого, ни его знакомых и друзей с его героями.

Среди многочисленных контрастов его жизни и характера есть одна особенность, сбивавшая с толку и современников, и биографов. Пушкин был исключительно правдив и в жизни, и в творчестве. С друзьями, даже с простыми знакомыми случалось ему быть откровенным. Их воспоминания, письма, рассказы, дневники дают указания, иногда очень ценные. Но душа поэта — «недоступное хранилище его помыслов». Только его стихи, его рукописи, его письма приближают нас к пониманию развития его ума и характера.

Глава XXIV

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Страстная неделя в 1821 году пришлась между 5—11 апреля. Как раз в эти дни на Пушкина налетел буйный вихрь стихотворчества, в котором переплелись самые противоречивые настроения. О том, как близко они соприкасались, сплетались в его взволнованной душе, можно судить отчасти по немногим датам, отчасти по черновикам. Он заносил тогда стихи то в записную книжку, то в две тетрадки. Это самые простые тетрадки в четверку синей бумаги, в картонных переплетах. Но, читая их, разбирая стихи в той последовательности, как их заносила быстрая, даже в небрежности бережливая, рука поэта, видно, как мчался, клубился беспокойный творческий дух, отражая и преображая самые разнообразные мысли и чувства.

Почуяв рифмы (его собственное выражение), Пушкин прежде всего написал стихотворение, посвященное Музе. Возможно, что даже не одно, а два. Сквозь все его писания с детских лет идет повесть о его таинственной спутнице. Уверенно и нежно говорит он о ней, точно о любимой женщине. Никто из мировых поэтов не описал в таких телесных очертаниях рождение стиха. И Муза Пушкина не отвлеченный символ, это живое существо.

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,

В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных Муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала,
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

(1821?)

Этот отрывок сохранился только в автографе без даты. Строгий к себе, Пушкин его в печать не отдавал. Но биографы сближают его с другим стихотворением, где поэт не так запросто обращается со своей Музой, видит в ней не прелестницу, а ласковую наставницу:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой; и слегка
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера, в немой тени дубов,
Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем...

(«Муза», 1821)

В одном из вариантов еще выразительнее:

И дивно оживлен божественным дыханьем,
Он волновал меня святым очарованьем.

Это стихотворение, полное важного сознания своей силы, своего соприкосновения с таинственным дыханием божества, полное, пусть языческой, пусть пантеистической, но светлой радости, Пушкин пометил: *«Кишинев, Апреля 5, 1821»*. 5-е было как раз Вербное воскресенье. То же, полное плавной,

чистой красоты настроение, выразилось в стихотворении «Дева», написанном в черновой тетради сейчас же после «Музы»:

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой.
. . . .
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастия, наперсники судьбы,
Смиренно ей несут влюбленные мольбы,
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит...
(1821)

Тут та же «слышимая видимость», которая пленила Белинского в «Музе».

И вдруг на той же странице непристойная, грубая эпиграмма («Оставя честь на произвол судьбы»), одна из тех «пакостей», которыми, следуя французской традиции, поэты того времени любили угощать друг друга.

Это четвертая страница тетради, которая хранится в Румянцевском музее под № 2367. Пушкин писал в ней в течение всей Страстной недели. На пятой странице грациозное послание Катенину: «Кто мне пришлет ее портрет, черты волшебницы прекрасной...» Послание помечено тем же днем, что и «Муза» — 5 апреля.

Дальше знаменитое послание «К Чаадаеву». Это весь переправленный и перечеркнутый черновик, занимающий пять страниц. Пушкин его дописал, закрутил подпись любимым завитком и поставил пометку: *«6 апреля 1821. Кишинев»*. Потом прибавил выноску:

Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетаньи дам, зоилов и глупцов,
И сплетен разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею.

На обратной стороне этой же страницы опять непристойное, да еще и кощунственное, стихотворение: «Христос Воскрес, моя Ревекка». Оно помечено 12 апреля.

Так одновременно воспел Пушкин мудрого северного друга и гулящую Ревекку, содержательницу постоялого двора. Это не случайное соседство. В другой тетради (№ 2365) эти два послания опять стоят рядом. Только там между Ревеккой и Чаадаевым Пушкин вписал еще «Желание», где воспоминания о безмятежной красоте таврической природы сливаются с жаждой покоя, тишины, творчества.

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга...

Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?..
. . . .
Все мило там красою безмятежной,
Все путника пленяет и манит.
. . . .
Приду ли вновь, поклонник Муз и мира,
Забыв Молву и света суеты,
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты?
. . . .
И там, где мирт шумит над тихой урной,
Увижу ль вновь, сквозь темные леса,
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?
Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?

Пушкин не напечатал «Желания». Даже друзьям не послал. Бесстыдную «Ревекку» и еще более бесстыдную «Гавриилиаду» послал, а чистые свои мечты затаил. Точно стыдился показать, как в пряной духоте молдаванских притонов томилась и тосковала душа, точно в доступных объятиях Ревекки огнем прошло в крови воспоминание о другой, подлинной красоте. Любовное раздвоение было знакомо Пушкину. Он писал в «Дориде»:

Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.
(1820)

Очистив душу светлыми воспоминаниями о берегах Тавриды, Пушкин принялся за «Послание к Чаадаеву». Это исповедь, гордая и искренняя, мудрая и глубокая, неожиданная в смешливом, дерзком «Бесе-Арабском».

С первых строк мысли и звуки плывут медленно, важно, напоминая послание к Жуковскому:

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев — пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой...

Опять вспоминаются недавние обиды и незаслуженные унижения, толки шалунов, лепетанья дам, зоилов и глупцов, затейливые сплетни, торжественный суд холопа знатного, невежды при звезде — уколы и удары, на которые не скупились явные враги и коварные друзья. Но с изумительным искусством художественного построения и перспективы поэт

отодвигает все эти гонения на второй план картины. Силу своей изобразительности и внимание читателя стягивает он не к обличенью своих врагов, а к себе, к внутренней своей работе, к преодолению своих слабостей, точно отряхивается от наносного сора, который вихри жизни намели на его душу. Как все люди сильные и гордые, Пушкин придавал больше всего значения не тому, что другие могут сделать для него или против него, а собственному усилию, собственному достижению. Он не мог, да и не хотел без конца укорять и проклинать виновников своей ссылки или тех, кто усилил горечь ее недоброжелательством, злорадством, клеветой. В Пушкине была гибкость и сила стали. Согнется под влиянием внешнего удара или собственных «мятежных заблуждений». И опять стряхнет с себя груз. Изольется в стихах и выпрямится.

Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И в просвещении стать с веком наравне.

Так просто, так ясно описал он ступени самовоспитания, которые, среди сумрачной бесшабашности кишиневской жизни, он для себя нащупывал, выбирал, закреплял. Рядом с гениальным эстетическим чутьем вскрывается чутье, влечение к основным, необходимым нравственным устоям человеческого бытия.

В этой его внутренней работе, как и в творчестве поэтическом, сказалось своеобразное сочетание легкости и усилия, того, что дано, с настойчивым достижением. Пушкин не скрывал своих слабостей. Благородно, без мелкого самолюбия, вспомнил он, что сделал для него Чаадаев, целитель его душевных сил. Умение быть искренне благодарным тоже признак большой внутренней силы и свободы. Особенно, когда благодарить приходится за такую щекотливую услугу, как борьба с собственными недостатками.

Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом, иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь...

Характерный эпитет. Раньше Пушкин писал: «Сердце укрепив надеждой и терпеньем». Потом понял, что терпение требует смелости. Он не скрывал, что еще кипит в нем раздражение, злоба, даже ненависть к гонителям и обидчикам. Но все глуше звучат эти голоса, уступая место иным чувствам, иным думам, долгим и важным.

Так мужественно боролся Пушкин с внешними искушеньями, с соблазнами собственного малодушия. Свой идеал душевной силы и стойкости он перековывал в стихи. Они текли, струились, излучали новую красоту, создавали новую стройность словесного и душевного ритма, заражали новыми духовными переживаниями. Один из первых исследователей Пушкина, мудрый Я. К. Грот, который еще в Лицее воспринял Пушкинские традиции и с трогательным благоговением описал свои две встречи с поэтом, писал: «Мы знаем, как высоко в минуты особенных возбуждений было душевное настроение Пушкина, знаем, как неутомимо он работал над самим собой, как сам себя перевоспитал размышлением и чтением. Конечно, он представляет из себя один из самых поразительных примеров самообразования в России. Нет спора, что Пушкин в молодости нередко для красного словца, для острой эпиграммы, забывал лучшие правила и чувства. Но именно в таких случаях он казался хуже, чем был на самом деле (в чем, впрочем, сознаются и строгие судьи его), самим же собой он являлся только тогда, когда выходил из-под влияния внешних соблазнов».

Это было нелегко. Иногда соблазны так же тесно обступали поэта, как рифмы. «Непостижимое волненье меня к лукавому влекло...»

Если бы в ту плодотворную весну поэтическое творчество Пушкина было занято только такими произведениями, как «Муза», «Желание», «Послание к Чаадаеву», «К Овидию», — как плавно, как красиво, как достойно текла бы его внутренняя жизнь, как ясно синело бы над ним небо Олимпа.

Но циничные стихи к Ревекке не остались одиноки. В той же тетради, вслед за черновиком письма к Чаадаеву, идет черновик другого письма, писанного в ином ритме («Меж тем как ген. Орлов...»). По всем вероятиям, это черновик письма к В. Л. Давыдову. В нем столько кощунства, что когда 30 лет спустя тетрадь попала к П. В. Анненкову, он замазал в ней чернилами целые строки. Но и того, что уцелело, достаточно, чтобы показать, как вдумчивое, сосредоточенное творчество перебивалось бесшабашными песнями.

Между тем настроение, вылившееся в «Послании к Чаадаеву», не случайное, не мимолетное. Работа Пушкина над

собой, над книгами, над своими рукописеями — все это наглядные доказательства того, что он знал цену душевному здоровью.

«Познал и тихий труд и жажду размышлений. Владею днем моим; с порядком дружен ум; учусь удерживать вниманье долгих дум...» Это не литературные обороты, это итог длительного самовоспитания, внутреннего устремления. Не случайное, а уже отстоявшееся настроение вложил он в этот своеобразный отчет далекому другу. Тем неожиданнее, если вообще такое слово стоит применять к Пушкину, резкость перехода, противоречие поэтических тем, которыми занят был его ум в эту жуткую, тревожную неделю.

Кроме письма к В. Л. Давыдову и «Ревекки», Пушкин тогда же набросал программу кощунственной поэмы, полной чувственности и бесстыдства, сладострастия и богохульства. Поэма эта известна под названием «Гаврилиады», так как героем в ней является архангел Гавриил. Сам Пушкин в письме к А. Бестужеву назвал ее «Благовещеньем».

План поэмы ворвался в середину письма к Чаадаеву. Он записан на средней из пяти страниц, занятых этим черновиком. Это 28-я страница тетради № 2365. На ней много рисунков и почти нет текста. Только несколько перечеркнутых строк:

Но дружбы нет со мной — напрасно вижу я
Лазурь чужих небес... веселые поля...
И море... Суровое... напрасно... уединение...

Писание не клеилось. Никак не найти было в чернильнице «концы моих стихов и верность выраженья»... Или другие мысли, другие образы обступили, заслонив далекого друга? Всю страницу зарисовал Пушкин лицами и фигурами. Посредине крупный, грузный профиль старика, похожего на Гёте. На его плече фигура женщины. Внизу хорошенькие женские головки. Все это теснится, заполняет страницу. А наверху, сбоку, вплотную к лицу старика, тем же почерком, теми же чернилами, которыми изливал далекому другу свои высокие чувства, Пушкин записал набросок роковой программы:

«Святой дух призывает Гавриила, открывает ему свою любовь и производит в сводники: Гавриил влюблен (это вычеркнуто. — *А. Т.-В.*). Сатана и Мария».

Под этими строчками характерный Пушкинский росчерк, тот самый, которым он кончил послание к Чаадаеву, который закрутил еще в Царском Селе в первой лицейской тетради, написав на заглавном ее листе — Александр Пушкин. Эти строчки, этот росчерк, решают все споры — был ли Пушкин

автором «Гавриилиады» или нет. Эта программа составляет содержание «Гавриилиады». «Гавриилиаду» написал Пушкин. В этом не может быть сомнений.

В памяти одной кишиневской старожилки, племянницы епископа Иринея (П. В. Дыдыцкой), сохранился сбивчивый, путаный, но правдоподобный рассказ о том, как генерал Инзов (смиренный Иоанн), огорченный безбожием поэта, послал к нему для увещевания епископа Иринея, который был тогда ректором семинарии. Тот навестил Пушкина в Страстную пятницу. «Пушкин читал Евангелие и сказал что-то вроде: «Читаю историю одной особы, или одной статуи». Не случилось ли это все в ту же Страстную неделю 1821 года, когда Пушкин был одержим кощунственными стихами?

В Страстной четверг Пушкин записал в свой дневник: *«9 апреля.* Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Mon cœur est matérialiste, — говорил он, — mais ma raison s'y refuse»*. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и пр. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»

За четыре года перед этим лицеист Пушкин, готовя к выпускному экзамену стихотворение «Безверие», писал: «Ум ищет Божества, а сердце не находит...»

Через несколько страниц после программы «Гавриилиады» в той же тетради вписан черновик «Послания к В. Л. Давыдову»:

Я стал умен, [я] лицемерю:
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что Бог простит мои грехи,
Как Государь мои стихи.
Говеет Инзов, и намедни
Я променял парнасски бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни
Да на сушеные грибы...

Охваченный припадком озорного зубоскальства, за которое не раз приходилось ему расплачиваться дорогой ценой, Пушкин издевался над всем, даже над причастием.

Еще когда бы Кровь Христова
Была хоть, на пример, лафит,
Иль кло-д-вужо, тогда б ни слова,
А то — подумай, так смешно —
С водой молдавское вино.
. . . .

---

*Сердцем я материалист, но мой разум этому противится *(фр.)*.

Но я молюсь и воздыхаю,
Крещусь, не внемлю Сатане,
А все невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоем вине...
Вот Эвхаристия другая...

Эти мечты сплетены с мечтами о революции:

...мы счастьем насладимся.
Кровавой чашей причастимся,
И я скажу: Христос Воскрес.

Пушкин, как и все чиновники, был обязан по праздникам ходить в церковь, в Великом посту говеть. Возможно, что этот последний возглас, где нетерпеливое ожидание кровавой революции смешано с издевкой над православным пасхальным приветствием, сорвалось с пера Пушкина в тот день, когда он подходил к святому причастию. Точно не в себе был он в эту первую Пасху, проведенную на юге. «Непостижимое волненье меня к лукавому влекло...» Закружили бесы, закрутили поэта в эту роковую Страстную неделю. Светлая «Муза», мудрая беседа с Чаадаевым, и вдруг, перебивая «гимны важные, внушенные богами», заглушая «к высокому любовь», врываются в его пение иные, хихикающие голоса, мелькают вокруг него бесстыдные мелкие бесы. Нашептывают ему то программу «Гаврилиады», то циничес-кие стихи: «Христос Воскрес, моя Ревекка...» Написанная в Светлое Христово Воскресение, эта непристойная шутка чем-то тешила Пушкина. Он вписал ее в обе кишиневские тетради. А через полтора года послал Вяземскому в числе других «пакостей».

«Ревекка», «Послание к Давыдову», «Гаврилиада» не сходны ни по форме, ни по совершенству стиха, но они связаны общностью буйного богохульства, которым был одержим в ту весну Пушкин. Нельзя твердо установить, что «Гаврилиада» написана тогда же. Но несомненно, что в его воображении фабула поэмы родилась именно в то время, когда он писал Чаадаеву. В поэме 500 строк, часть ее тщательно отделана. Значит, не сразу, не с маху написано, хотя ни один автограф, ни один черновик до нас не дошел. Пушкин сам потом их уничтожил. В письме к А. Тургеневу, писанном месяц спустя после набросанной программы, есть намек на то, что к этому времени поэма была уже готова. Да и стиль письма напоминает стиль поэмы: «В руце твои предаюся, Отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли Вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу Вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу Вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада; но сперва дайте знать минут-

ным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут *искателя новых впечатлений»* *(7 мая 1821 г.)*.

В кишиневской тетради, через десять страниц после программы «Благовещенья» — «Гавриилиады» есть оставшийся неотделанным набросок посвящения поэмы:

Прими в залог воспоминанья
Мои заветные стихи...
. . . .
Вот Муза, резвая болтунья,
Которую ты столь любил,
Раскаялась моя шалунья,
Придворный тон ее пленил.
Ее Всевышний осенил
Своей небесной благодатью...
Не удивляйся, милый мой,
Ее Израильскому платью...
Прости ей прежние грехи
И под заветною печатью
Прими опасные стихи...

Судя по некоторым отметкам в тетради, это писано между серединой апреля и началом июня 1821 года.

«Гавриилиада» в представлении Пушкина была связана с мыслями о дворе. Его нередко и в прозе, и в стихах долго преследовали определенные навязчивые эпитеты, которые он повторял, возвращался к ним, отмечая ими связь и событий, и своих настроений или замыслов. Полтора года спустя, посылая поэму Вяземскому, Пушкин опять упоминает о дворе: «Посылаю тебе поэму в мистическом роде — я стал придворным» *(1 сентября 1822 г.)*.

Это намек на царившее тогда при дворе благочестие, на то, как набожность Царя порождала своеобразное ханжество и чиновничий мистицизм. Даже спокойный, преданный престолу Карамзин сердито писал: «Я не мистик и не адепт».

Вяземский, который негодовал на Пушкина за несколько воинственных патриотических строчек в «Кавказском пленнике», обрадовался «Гавриилиаде» и весело писал: «Пушкин прислал мне одну свою прекрасную шалость» *(22 декабря 1822 г.)*.

И не он один, но многие восторженные русские читатели плоской, непристойной вольтеровской «Девственницы» и «Les galanteries de la Bible»* и «La guerre des dieux»** Парни приняли и одобрили «Гавриилиаду» как забавную шутку. Они не стерпели бы шуток над либеральными идеями. Но над Божьей Матерью потешаться разрешалось.

---

* «Любовные приключения в Библии» *(фр.)*.

** «Война богов» *(фр.)*.

Это общее настроение умов отчасти оправдывает Пушкина. В «Гаврилиаде» в последний раз сказались пережитки первоначальных французских литературных влияний, легкомысленного безбожия, среди которого прошла книжная юность Пушкина. Но для нас, знающих, какая смерть ждала Пушкина, последние строчки этой поэмы, страшной по слепоте и одержимости, по сочетанию внешней красоты с внутренней мерзостью, звучат как жуткое пророчество. Точно демоны, кривляясь и смеясь, в магическом зеркале, смутно очертили перед поэтом его собственное будущее. А он смеялся вместе с ними, опьяненный дурманом собственных богохульственных шуток, не зная, что смеется над собой:

Но дни текут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит;
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колено преклоня,
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю, тогда благослови меня,
Даруй ты мне блаженное терпенье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь,
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь.

Глава XXV

РАЗОБЛАЧЕНИЕ КУМИРОВ

Насмешливое, легкое отношение к религии было в моде среди молодых либералов. Позже некоторые из них через страданье и униженье пришли к христианству. До декабрьской трагедии они шутя бежали мимо таинственной глубины христианства, да и вообще религии. От энциклопедистов восприняли они поверхностный рационализм, от Вольтера — зубоскальство над обрядами, над библейскими преданиями, над мистикой и чудесами Нового Завета. Эта психологическая подготовка была введением к позднейшему философскому, уже систематическому материализму и атеизму XIX века. Но не логика пошатнула религиозное сознание. Шутка, непристойная песня, цинический каламбур — вот что отравляло. Это был настоящий поток богохульственной пошлости. Эту заразу с детства прививали Пушкину. Но, помимо этого, он пережил в Кишиневе своего рода Sturm und Drang*, прошел

*Штурм и натиск *(нем.)*.

через темные ущелья, где недобрые силы кружились, нападали, одолевали. Не вполне, ненадолго, не без борьбы, но все-таки одолевали. Великий художник, он не мог впасть в узкий скептицизм, но что-то томило, застилало прирожденную ясную силу его духа. В стихах сквозят мучительное искание, тоска, недовольство, недоверие к жизни. Тяготило «азиатское заточенье», надоедало быть «молдавским пустынником». Утомляло безденежье, да еще среди богатых приятелей. Робкая, невысказанная любовь омрачала бурную, заложенную в крови радость жизни. Все еще не были изжиты обиды и удары первого грубого столкновения с жизнью. «Неверные друзья... изменницы младые... Ужель мне младость изменила, как изменяла мне любовь...»

Пушкин читает, учится думать, работает. «И сладостно мне было жарких дум уединснное волненье». Умственный рост не останавливается. Но какая-то тоска подступает, «душа час от часу немеет». Сомненье, страх, тревога одолевают его скептически воспитанный разум. Сердце и гений не мирятся с безбожием, бунтуют. Уже начинается, уже прорывается тяготение к религии, которое с годами будет расти. Но как раз эта главнейшая часть его душевного воспитания осталась незаконченной и недосказанной. Свои религиозные томленья и исканья таил он так же ревниво, как и свои любовные увлечения, переживал и преодолевал их с еще более гордой, целомудренной замкнутостью. Надо искать, угадывать их по отдельным намекам, по словесным совпадениям. Объясняя настроение Байрона, Пушкин как будто приоткрывает завесу... «Вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказанный им местами в стихотворениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной». Это как раз та заметка, где Пушкин говорит, что «душа человека есть недоступное хранилище его помыслов». В ответ на ходячие упреки, что Байрон был развратник, эгоист и безбожник, Пушкин рассказывает, как Байрон украдкой возил с собою распятие, подаренное ему францисканским монахом. Распятие это после смерти Байрона нашли в портфеле, лежавшем подле его смертного одра.

Пушкинское разочарование не было взято напрокат от Байрона. Это был собственный «мрачный опыт», очень мучительный для доверчивой, привязчивой, открытой, ясной души Пушкина. У Байрона была прирожденная высокомерно-презрительная усмешка. Он любил черный цвет. Для русского поэта все это, по существу, было чуждо. Подлинная Пушкинская печаль, грусть, даже отчаяние никогда не были

насыщены черными тенями, которые можно видеть на испанских портретах. У Пушкина всегда отблеск светлых русских просторов. Он не носится, не позирует своим скептицизмом и разочарованностью, он борется с ними упорно и одиноко. В Кишиневе и не было людей, близких ему по тонкости, разнообразию, по напряженности духовной жизни. Но при его богатырской силе, может быть, даже выгоднее было, что он один на один отбивался от злобного гения, кружившего над ним.

Далеко не все его стихи того времени посвящены тайнам вечности и гроба. Да и в мозгу Пушкина не было прирожденного метафизического беспокойства, потребности философского осознания жизни. Иными путями шла его пытливость, развивалось его творчество. Но в Кишиневе он тягостно и затаенно пережил период жутких сомнений, через которые проходят почти все думающие люди. Иногда это были приступы бурного отчаянья, страстного отрицания. Но пытливый, беспокойный мозг Пушкина не мог удовлетвориться ни циничными шутками над верой, ни резкими разоблачениями кумиров. Разнообразны и волнообразны были его поэтические замыслы.

В его тетрадях есть два психологических конспекта, из которых каждый отражает гребень противоположной волны. Конечно, нельзя всякое его произведение считать только отражением его личных переживаний и настроений. Но есть ряд лирических стихотворений, часто недоконченных, неотделанных, на которых лежит печать личного. Они разбросаны по трем тетрадям, которыми он пользуется на юге. Эти отрывки еще не удалось распределить не только по месяцам, но даже и по годам. Одно несомненно, что оба конспекта писаны в Кишиневе, так же как и отрывки, характерные для интимных его мыслей, — «Красы Лаис, заветные пиры...», «Ты прав, мой друг», «Люблю ваш сумрак неизвестный», отчасти и «Недвижный страж дремал...».

В этих стихах, местами с законченной художественной выразительностью, местами отрывисто и резко, раскрывается то же душевное состояние, которое отмечено в конспекте: «Ко всему была охота, ко всему охладел; ветреный я стал бес чувств... теперь кого упрекну... и это смешно. Хочу возобновить дружбу — как мертвец не в силах... любовь, труды — не могу».

Это записано в тетради № 2365 на полях, около занимающего несколько страниц, неотделанного стихотворения. Оно писано в форме самооправдания, в ответ на чьи-то дружеские укоры:

Ты прав, мой друг, напрасно я презрел
Дары природы благосклонной.

Поэт «знал досуг, беспечных Муз удел... Я дружбу знал...».

Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд, и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье...

Черновик сильно перечеркнут. Пушкин ни этого стихотворения, ни сходного по настроению «Красы Лаис, заветные пиры» не печатал. Оно попало в посмертные издания. Но даже в академическом издании не соблюдена последовательность Пушкинского черновика. У него после вышеприведенных строк был переход от прежней полноты жизни к новому душевному состоянию:

Свою печать утратил резвый нрав.
Душа час от часу немеет.
В ней чувства нет уже. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

Вышеприведенный конспект набросан рядом с этим, на полях. На следующей странице идет развитие той же темы.

И свет, и дружбу, и любовь
В их наготе отныне вижу,
Но все прошло! остыла в сердце кровь;
Ужасный опыт ненавижу.

По каким-то соображениям редакторы академического издания изменили порядок Пушкинского черновика и поставили эти четыре строки как строфу четвертую, а то, что у Пушкина написано раньше, превратили в строфу пятую. Это один из многих примеров того, насколько неудовлетворительно издан Пушкинский текст, даже Академией. Между тем его черновики откровеннее отделанных стихотворений. В данном случае, как раз после слов:

«Ужасный (вариант — и мрачный) опыт ненавижу» идет очень выразительная строчка:

Разоблачив пленительный кумир,
Я вижу...

Эта строчка точно кружится над Пушкиным. За двадцать страниц перед этим в той же тетради написал он:

Разоблачив пленительный кумир,
Я вижу призрак безобразный,

На что ж теперь тревожить хладный мир
Души бесчувственной и праздной?
(«Красы Лаис»)

В обоих черновиках, над которыми Пушкин немало поработал, есть прекрасные строчки. Не из художественной строгости, а из целомудренного нежелания распахивать двери в «недоступное хранилище своих помыслов», поэт не отдал в печать поэтическую свою повесть о том, каким холодом отозвалось в его душе разоблачение кумиров.

Но самый мотив повторяется, возвращается, врывается в другие формулы, затемняет свет.

Есть еще одна кишиневская тетрадь (в Румянцевском музее она хранится под № 2366). На первой ее странице выписан хвалебный отзыв о «Руслане и Людмиле» с пометкой: *«Revue encyclop. 1821. Petersbourg»**. Это нельзя считать датой, так как неизвестно, когда журнал доехал до Кишинева. В тетради есть черновая «Вещего Олега», несколько прозаических программ на темы из русской истории, черновая стихов, прозаические заметки о литературе, блещущие ясностью и силой критического, зрелого ума. Страница двенадцатая занята рассуждениями о слоге и кончается словами: «Точность, опрятность, вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат; стихи дело другое, впрочем, и в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо более позначительнее; с воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко не продвинется».

На тринадцатой странице крупными буквами написано:

ТАВРИДА.
1822.

Gieb meine Jugend mir zurück**.

Возможно, что это приступ к «Бахчисарайскому фонтану». На следующей странице опять психологический конспект, но отражающий настроение, противоположное первому конспекту: «Страсти мои утихают, тишина цар. в душе моей, ненависть, раскаяние, все исчезает — любовь, одушевл.».

---

* «Энциклопедич. обозрение». 1821. Петербург *(фр.)*.

** Возврати мне мою юность *(нем.)*. Эпиграф взят А. С. Пушкиным из театрального вступления к драме Гёте «Фауст».

Программа эта позже претворяется в стихи, оставшиеся неотделанными.

Покойны чувства, ясен ум,
Пью с воздухом любви томленье.
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье...
Какой-то негой неизвестной,
Какой-то грустью полон я...

Первая, математически точная, строчка три раза возвращается в черновике, дает ключ к нему. Видно, даже магическое слово «Таврида» не сразу вернуло сердцу покой. Промежуточные страницы между конспектами и этим нащупыванием стихотворного выражения для душевной ясности заняты строчками, полными тоски и смятения. Несколько лет спустя Пушкин вырезал из этого стихотворения середину и этот отрывок напечатал без заглавия («Люблю ваш сумрак неизвестный»). Но самые острые, самые жгучие строчки не показал. Между тем самая их недосказанность, то, как отрывисто брошены они на бумагу, полны искренности.

Ты сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество! Пустой призрак (печальный мрак),
Не алчу твоего покрова.
Веселье жизни разлюбя,
Щастливых дней не знав от века,
Душой не верую в тебя
Ты чуждо мыслям человека...
Тебя страшится гордый ум...
(Ты ужасаешь дерзкий ум...).

Так словами ограждается он от страха небытия, ничтожества, смерти. Он отгоняет от себя непонятный мрак, хочет донести земные воспоминания до берегов печальной Леты.

Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?

Первая строчка — «конечно, дух бессмертен мой» — зачеркнута. Тщательно вычеркнуто из всего стихотворения самое слово «бессмертие»: «Бессмертной мысли... Щастье бессмертно... Бессмертие вкушая. Бессмертны, как душа моя...» Этот эпитет нигде не сохранен, хотя все стихотворенье полно борьбы с непонятным мраком, во имя бессмер-

тия души, во имя непрерывности чувств. И там, где «вечный свет», где все «пленяет нетленной славой и красой», душа сохранит воспоминания о прежних земных привязанностях.

Ужели с ризой гробовой
Все чувства сброшу я земные
И чужд мне будет мир земной?
Ужели прежних впечатлений
Не сохранит душа моя...
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...

Для печати Пушкин выбросил всю эту часть, только выбрал из черновика слова «Златую нежность мечты, мечты поэзии прелестной», которые, так же как и золотая нежность любви, не покинут его и за могилой.

Стихотворение занимает почти четыре страницы. Слова не слушались. Пушкин исправлял, вставлял, писал отрывочно, снова вычеркивал. Потом, в более законченном виде, переписал в другую, позднейшую тетрадь (№ 2369). На первой ее странице помечено его рукой: *«27 мая 1822. Кишинев»*. Это дает возможность оба автографа отнести к 1821—1822 годам, когда Пушкина преследовали, устрашали мысли о замогильном ничтожестве, о непонятном мраке. В печать эти строки он отдал только в 1826 году, да и то не полностью, в новой обработке, более затаенной.

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени, легкою толпой,
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было все милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Оне, бессмертие вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...
Но, может быть, мечты пустые,
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,

Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...
(1822)

В той же тетради, среди черновиков (второй главы) «Евгения Онегина», писанных в Одессе в 1823 году, есть два наброска, где Пушкин опять возвращается к мыслям о вечности и ничтожестве, о смерти и бессмертии, ищет, как примирить земную привязанность с «туманом вечной ночи». По влюбчивой, горючей своей крови, он ярко воспринимал жизнь через любовь, и его мучило это противоречие силы чувства и ожидающего нас небытия. Наброски остались совсем не отделанными, отрывистыми, перечеркнутыми, но тем непосредственнее проступают в них тревога, сомнения, искания, еще не преображенные творчеством.

Ужель, мой друг...
Придет ужасный час — Твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи;
Молчанье вечное твои сомкнет уста...
Но я, до толе твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя печальный и живой (немой)...
Ни чувства на лице, напрасно жадный...
Коснусь я хладных ног — себе их на колена
Сложу и буду ждать... печально, но чего
Чтоб силою мечтанья моего
У милых ног твоих...

На этом обрывается первое стихотворенье. Сейчас вслед за ним идет другое, где любовная тоска отступает перед таинственной, вечной загадкой жизни и смерти, над которой тысячелетиями мучается человек. И бьется мысль поэта между надеждой и отчаяньем:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
Земное пережив, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны.
Клянусь! давно бы я покинул мертвый мир,
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободных наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна горит в небесной чистоте,
Но тщетно предаюсь пленительной мечте!
Мой ум упорствует, не верит, негодует...
Ничтожество зовет — невольником мечты.
Ничтожество за гробом ожидает...
Меня ничтожеством могила ужасает.
Как! Ничего — ни мысль, ни новая любовь...

Мне страшно... И на жизнь гляжу печально вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милой
Таился и пылал в душе моей унылой...

В этом отрывке повторяется прежний образ: «И сам разбил бы жизнь — уродливый кумир». Это предвкушение разоблачения кумиров, которыми весь XIX век будут заняты беспокойные мыслители. Намеки на миры иные, где все «пленяет нетленной славой, красотой», разбросанные в черновиках стихотворения «Люблю ваш сумрак неизвестный» связывают все эти отрывки общностью сходных тревог, терзаний. Пушкин переживал их на юге, главным образом в Кишиневе, среди внешней мелкой провинциальной суеты, среди попоек, задорных ссор, развязного волокитства, взбалмошных поединков.

Эти отрывки, эти психологические эскизы, емкая художественная память Пушкина — «ни одна встреча, ни один разговор не пропали для него даром» — перенесла после в роман. Поэт сгустил, закристаллизировал разбросанные по отдельным стихотворным эскизам мысли и чувства. Бок о бок с «Ужель, мой друг», на том же листе тетрадки, есть черновик «Онегина», описание его разговоров с Ленским:

В прогулке их уединенной
О чем не заводили спор!
Судьба души, судьба вселенной,
На что не обращали взор!
И предрассудки вековые,
И тайны гроба роковые,
Судьба и жизнь — в свою чреду
Все подвергалось их суду.
(XIV строфа II главы)

Глава XXVI

ВСТРЕВОЖЕННЫЕ УМЫ

Правительство выслало Пушкина на глухую южную окраину, за тысячи верст от петербургских политических разговоров, увлечений, беспокойных исканий, с такой опасной, заразительной яркостью отразившихся в его стихах. А политика гналась за поэтом по пятам. Его бессарабская пустыня оказалась полна либералами и заговорщиками.

Самый отрыв от столичной жизни раздвинул перед Пушкиным горизонт, расширил круг наблюдений.

Основной государственный костяк, на котором держится жизнь народа, отчетливее проступил перед ним. Пушкин увидал Российскую Империю, которую в Москве, в Царском,

даже в Петербурге трудно было охватить воображением. Безбрежность степей, просторы рек, снежные горы, волшебный край Тавриды, Черное море, старый Киев, Малороссия, Новороссия, полуотуреченная Бессарабия, пестрота племен, наречий, одежд, обычаев — и все это Россия, могучая, огромная, быстро растущая Россия. В то же время связь с Европой, близость ее ощущалась яснее.

И тут же рядом, по ту сторону границы, вспыхнуло восстание против турок, во имя национальной независимости. Попытка греческих патриотов освободиться от турецкого ига волновала Пушкина сменными чувствами симпатии и разочарования.

Он в первый раз увидал подлинных борцов за свободу.

Брожение на Балканском полуострове началось еще раньше. Коренное христианское население, сербы, болгары, черногорцы, молдаване стремились сбросить с себя тяжесть турецкого, мусульманского владычества. Лучше всех были организованы греки. В 1814 году они образовали в Афинах просветительское общество «Филомуза», целью которого было возрождение греческой литературы. Вся русская знать, Государыня Елизавета Алексеевна, великие княгини, наконец, сам Государь, сочувствовали этому делу и жертвовали на него деньги. Афинская «Филомуза» была только отделением тайного общества «Дружественной Гетерии», которое было учреждено с разрешения русского правительства на русской территории. Целью «Гетерии» было военное объединение всех христиан Турецкой Империи для «торжества креста над полумесяцем». Греческие патриоты называли себя то гетеристами, то фанариотами, от греческого квартала Фанар в Константинополе, резиденции греческого патриарха. Александр открыто сочувствовал им, считал защиту христиан миссией Русского Царя. Когда в 1806 году князь Константин Ипсиланти, Господарь Молдавии и Валахии, поссорившись с султаном, бежал в Россию, Александр оказал ему поддержку и гостеприимство, а трех его сыновей, Александра, Георгия и Николая, определил в Кавалергардский полк. Александр Ипсиланти был сделан флигель-адъютантом. В то же время Государыня Елизавета Алексеевна взяла к себе фрейлиной гречанку Роксану Стурдза (1786—1844), которая позже вышла замуж за немецкого графа Эдлинга и оставила очень интересные воспоминания о жизни своей при русском дворе. Хотя Александр любил красивых женщин, а Роксана Стурдза красотой не блистала, но эта горячая патриотка, умная, образованная, сумела подружиться с Императором и приблизила к нему двух людей, оставивших след в его жизни, — насыщен-

ную мистицизмом баронессу Крюденер и насыщенного либерализмом графа Каподистрия. Греческий патриот и деятельный гетерист, он пользовался доверием Царя, который поручил ему управлять иностранными делами Российской Империи. Казалось, гетеристам обеспечена поддержка могучего Царя Царей. Но, когда пришел срок от слов перейти к действиям, Александр потерял веру в слова и не хотел действий.

Первое вооруженное столкновение гетеристов с турками произошло под началом флигель-адъютанта Русского Царя, князя Александра Ипсиланти, который 22 февраля 1821 года перешел с двумя братьями и двумя сотнями всадников из Бессарабии по льду через Прут и нагрянул в Яссы, тогдашнюю столицу Молдавии. Из Ясс он послал в Лайбах письмо Царю, вполне уверенный в его сочувствии. Нс дожидаясь ответа, Ипсиланти неосторожно высказал эту уверенность в страстной прокламации к угнетенным народам.

Содержание этой прокламации Пушкин изложил в частном письме, от которого сохранился только очень перечеркнутый черновик. Это попытка рассказать неизвестному адресату «о происшествиях нашего края. Они, которые будут иметь последствия важные не только для нашего края, но и для всей Европы — особенно для России». Пушкин сообщает, что Ипсиланти в своей прокламации сказал: «Феникс Греции воспрянет из своего пепла, что час гибели для Турции настал и проч.; и что Великая Держава одобряет великодушный (что Российская) (Восторг) (Три Знамя). Греки стали стекаться толпами под его трое знамен, из которых одно трехцветное, на другом развевается крест, обвитый лаврами с текстом сим знаменем победишь; на третьем изображен возрождающийся Феникс. — Я видел письмо одного инсургента — с жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти — восторг Духовенства и Народа — и прекрасные минуты Надежды и Свободы...» *(май 1821 г.)*.

С волнением узнало русское общество о внезапном выступлении греческих патриотов. «В Москве и здесь читают прокламацию Ипсиланти, которая, вероятно, уже у тебя есть, — писал из Петербурга А. И. Тургенев Вяземскому в Варшаву, — какое прекрасное бессмертие, если оно ему достанется... Отечество, вера, чистое побуждение — все тут, или быть может! За начинающего Бог, да и Бог православный!» *(23 марта 1821 г.)*.

Даже сановник Тургенев, постоянно бывавший при дворе, который всех и все знал, был уверен, что Бог православный, в лице православного Царя, встанет за греков. Но до Вязем-

ского в Варшаву вести из императорской квартиры доходили скорее. Царь был в это время в Лайбахе на конгрессе.

В Петербурге Тургенев восторгался блистательным подвигом Ипсиланти и верил, что русское правительство его поддержит, а Вяземский в Варшаве уже прочел в австрийской газете «Beobachter» официозное сообщение, где Александр заявлял, что «предприятие кн. Ипсиланти следует рассматривать только как проявление беспокойного духа современности и неопытности и легкомыслия этих молодых людей». Там же сообщалось, что Александр Ипсиланти исключен из русской службы, и что Государь совершенно не одобряет его предприятия и никакой помощи оказывать ему не намерен. Повстанцы были скоро разбиты. Александр Ипсиланти был взят в плен. Его посадили в тюрьму в Венгрии, в Мукаче, где он и просидел до 1827 года.

Оттоманская Империя была еще сильна, а инсургенты совершенно не подготовлены к продолжительной борьбе. Для греческих повстанцев в Молдавии и Валахии не хватило национальной почвы. Еще до появления Ипсиланти в Яссах валахский солдат Владимиреско собрал отряд в несколько тысяч арнаутов, но это были не политические инсургенты, а скорее разгулявшаяся буйная шайка. Ипсиланти звал их к себе, но получил характерный ответ: «Ваша цель совершенно противоположна моей. Вы подняли оружие на освобождение Греции, а я на избавление своих соотечественников от греческих князей. Ваше поле не здесь, а за Дунаем» *(Вельтман)*.

Турки быстро восстановили свою власть в Бухаресте и в Яссах. По всей Турции пошла жестокая расправа с христианами. В Светлое Христово Воскресение турки повесили в Стамбуле 70-летнего патриарха Григория и трех митрополитов. Великий Визирь, присутствуя при казни, спокойно курил трубку. Граф Каподистрия умолял Александра объявить войну Турции. Царь сказал: «Если мы ответим туркам войной, ни одно правительство не устоит на ногах». Это была перефраза мнения Меттерниха, который писал Царю: «Война с Турцией была бы ужасной брешью, через которую бегом ворвется революция».

Не только гетерист Каподистрия, но и русский националист Карамзин опасались, что греки будут отданы «в жертву Австрийскому Наблюдателю и паше Египетскому». Можно себе представить, как кипели молодые либералисты, друзья Пушкина. Их негодование против греческой политики Царя усилило оппозиционное брожение русской интеллигенции.

Пушкин успел только мельком познакомиться в Кишиневе с братьями Ипсиланти. Он в Каменке дописывал «Кавказского пленника», когда инсургенты во главе с кавалергардским офицером выступили из Кишинева. Когда поэт вернулся, уже поблекли их победные венки. Противоположность интересов молдаванских и греческих, благодаря которой Ипсиланти не мог сговориться с валахскими повстанцами, чувствовалась и в Кишиневе. А. Ф. Вельтман рассказывает в своих воспоминаниях: «На каждом шагу загорался разговор о делах греческих: участие было необыкновенное. Новости разносились как электрическая искра по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочуны бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, все служило пищей для толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться надвое: одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фанариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих». Далеко не все греки сочувствовали повстанцам. Пушкин записал в дневник: «*2 апреля (1821 г. — А. Т.-В.)* вечер провел у H. G. — прелестная Гречанка. Говорили об А. Ипсиланти; между пятью Греками я один говорил как Грек; все отчаивались в успехе предприятия *Этерии.* Я твердо уверен, что Греция восторжествует, а 25 000 000 турков оставят цветущую страну Еллады законным наследникам Гомера и Фемистокла».

Водворившись к весне 1821 года в Кишиневе, Пушкин стал свидетелем самой непривлекательной части греческого восстания — беженцев. Кишинев наводнился «буженарами», как их называли, то есть боярами из придунайских княжеств и фанариотами из Константинополя. «Кишинев представил редкое зрелище, — рассказывает П. В. Анненков. — Он получил свою долю инсургентов, разбежавшихся в разные стороны, кто куда мог. Кроме немногих образованных греческих фамилий, искавших в нем приюта от внезапной политической бури, их застигшей, Кишинев увидал в стенах своих еще толпы фанариотов, молдаван и бродяг, которые принесли с собой вместе с навыком к интригам, коварному раболепству и лицемерию еще свежие предания своих полуразбойничьих лагерей. Тогда-то Пушкин впервые познакомился с недавними бойцами румынского восстания, людьми, которые почти и не сознавали разницы между борьбой за дело освобождения родины и подлым грабежом, насилием и убийством...

Наглость в обращении была уже почти тут необходима, просто для того, чтобы — держать всю эту негодную эмиграцию перед собой в должных границах. К сожалению, навык к презрительному своеволию обращения, полученный Пушкиным прежде и усиленный этой толпой, укоренился в нем на довольно долгое время».

Гетерия с ее героями, волнениями, успехами, неуспехами была для Пушкина первым предметным уроком живой политики. Но все-таки это были чужие дела, которые не могли так глубоко задевать чувства, так упорно заставлять работать мысли, как брожение русских умов, среди которого он жил. Как чиновник, прикомандированный к генералу Инзову, ссыльный поэт составлял часть господствующего класса. В этих кругах, главным образом среди военных, на обязанности которых было подвести край под крылья Русского Орла, нарастало острое противодействие целям и приемам русского правительства. Уже были основаны тайные общества. Если даже Пушкин не был посвящен во все их дела, то идейная их жизнь протекала на его глазах, при его участии. Программы вырабатывались не без борьбы. Идейные и личные разногласия вынудили заговорщиков за восемь лет четыре раза перестроить свою организацию. В 1817 году был основан «Союз Спасения». В 1818 году его переделали в «Союз Благоденствия», который в 1821 году распался на Южное и Северное общества, просуществовавшие до 14 декабря 1825 года.

На устав и распорядок первых русских тайных политических организаций отчасти оказали влияние масонские ложи, а главное, многочисленные европейские тайные общества. Многое было заимствовано от немецкого патриотического конспиративного союза Tugenbund (1808). Наполеон, заживо погребенный на острове Святой Елены, уже угасал. Кончились поднятые им войны. Но какие-то иные огни перебегали от народа к народу. Как вулканическая пыль после извержения, реяли над Европой идеи, выброшенные французской революцией на поверхность человеческого сознания. В Испании, в Неаполе, в Пьемонте — всюду шли революционные волнения, и значительная часть русского образованного общества была на стороне революционеров, которых тогда еще называли патриотами.

Патриотами были и русские либералы. На смену придворному фаворитизму XVIII века шла новая, менее эгоистичная потребность работать на пользу Отечества и человечества. Сам Царь подавал пример. Казалось, он разделяет стремление либералов разрешить две главнейшие задачи — раскрепостить крестьян и дать России народное представительство. Первые

тайные общества создавались не для борьбы с Царем, а скорее ему на помощь. Но позднейшая внутренняя и внешняя политика Александра изменила настроение вольнолюбивой интеллигенции.

Давно назревали в Александре новые взгляды, а главное, новые страхи. Поворотным пунктом принято считать конгресс, который начался в Торнау 8 октября 1820 года и закончился в Лайбахе к весне 1821 года. На этом конгрессе Австрия, Пруссия и Россия образовали Священный Союз и как первое проявление его деятельности помогли неаполитанскому королю сломить карбонариев. Австрийские войска заняли Неаполь. Пьемонт заволновался, желая поддержать неаполитанцев. Александр приказал Ермолову идти на Пьемонт со ста тысячами русских солдат. Приказ не пришлось приводить в исполнение. Восстание было подавлено местными средствами.

Князь Вяземский одним из первых почуял опасность и резко писал Тургеневу, что это «конгресс владык самовластных, кузнецов народных оков, которые собрались с тем, чтобы закинуть эти цепи и на те народы, которые мужественно вырвались из-под желез самовластия... Этот конгресс не что иное, как заговор самодержавия против представительного правительства...». Участников конгресса Вяземский называл «политическими лунатиками» и боялся, что «они сговорятся каким-нибудь общим языком» и пустят в ход меры «свободо-народо-убийственные» *(23 октября 1820 г.)*.

Император Александр, на которого Вяземский и его друзья до тех пор смотрели не только как на Царя, но и как на «корифея европейских либералов», в тот же самый день писал приятельнице своей, княжне С. С. Мещерской, о задачах конгресса:

«Мы заняты здесь выполнением крайне важной, но крайне трудной задачи. Дело идет о том, чтобы найти средства против царства зла, которое растет стремительно и всеми тайными путями, доступными духу сатанинскому, его направляющими. Увы, это средство, которое мы ищем, превыше наших слабых человеческих сил. Только Спаситель властью Божественного Глагола может дать исцеление» *(23 октября 1820 г.)*.

Те же мысли через несколько дней Император повторил в письме к генерал-адьютанту Васильчикову: «Мы собрались, дабы принять серьезные и действительные меры против пожара, охватившего весь юг Европы и от которого огонь уже разброcан в разных землях». Александру чудилось, что искры уже летят на вверенную ему Провидением Российскую Империю.

В промежутке между этими двумя письмами прискакали в Лайбах сначала фельдъегерь, потом Чаадаев с известием о

бунте в Семеновском полку. Царь был очень расстроен. Взволнованное мистическими страхами воображение приняло солдатский бунт за политическое движение. Несчастные семеновцы, искавшие защиты от свирепого немца-командира, мучившего их, оказались невольными пособниками Меттерниха, помогли хитрому австрийскому дипломату толкнуть колеблющегося Александра на опасный путь реакции, отказа от задуманных реформ. Либеральный Каподистрия попал в немилость. С его уходом исчезла надежда получить поддержку Русского Царя в борьбе греков против турок.

Всю зиму 1820 года Александр провел за границей, в заседаниях, в явных и тайных обсуждениях европейской политики. В те времена нигде, кроме Англии, не было сильных политических партий, печать еще только нарождалась, общественное мнение, даже в передовых странах, имело более совещательное, чем решающее значение. Опираясь на силу своих армий, немногочисленная группа венценосцев и сопровождавших их государственных деятелей, самостоятельно решала судьбы народов, своих и чужих. С тревогой следили русские люди за роковым переломом в политическом миросозерцании Царя. Вяземский со свойственной ему политической страстностью писал: «Чудны дела Твои, Господи, но чуднее еще дела Твоих господ! В заточении вологодском, плен и пожар Москвы не так часто обхватывал мой ум, как этот Лайбах. Все прочее безделица в сравнении с этим явлением. Все надежды, вся доверенность, все терпение рушатся, если только на миг приостановить мысль на нем» *(14 января 1821 г.)*.

Зорко и неодобрительно наблюдали за настроением Царя и его ближайших сотрудников члены «Союза Благоденствия», который состоял в значительной степени из аристократов, находившихся в тесном соприкосновении с правительственными кругами. Один из учредителей «Союза», князь Илья Долгоруков, у которого часто собирались заговорщики, даже состоял при Аракчееве. Чем реакционнее становилось правительство, тем больше обострялись взгляды и боевая психология заговорщиков.

Вначале они были больше патриотами, чем заговорщиками, мечтали представить устав «Союза Благоденствия» на утверждение Царя, дали обществу не боевое, а мягкое, гуманитарное название. Устав его был проникнут юношеской верой в человечество, в готовность людей работать для общего блага. Человеколюбие, просвещение, праведные суды, разумное устройство хозяйственной жизни — вот к чему они стремятся.

«Союз Благоденствия» в святую себе вменяет обязанность распространением между соотечественниками истинных пра-

вил нравственности и просвещения, споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим Творцом предназначена...» Они ставят себе целью благо Отечества, но сдержанно постановляют «отнюдь не обнаруживать тех ран, к исцелению коих немедленно приступить нельзя...». «Союз» надеется на «доброжелательство правительства».

Устав составлялся в семье Муравьевых, при большом участии Александра Михайловича Бакунина, отца знаменитого анархиста Михаила Бакунина. Он был дипломат, служил в Неаполе, когда там произошла революция. А. М. Бакунин опасался для России таких насильственных переворотов, осуждал либеральные увлечения молодежи и самого Императора, доказывал, что настоящие патриоты обязаны внедрять в народ любовь к труду и правила нравственности, заботиться об его образовании. Эти мысли отразились в уставе «Союза Благоденствия», вписанном в «Зеленую Книгу». Составители его ошибались, думая, что правительство продолжает разделять их стремления. В правительственных кругах «Зеленую Книгу» считали чем-то вроде Каббалы. В воображении полиции она как-то связывалась с «Зеленой Лампой».

Устав «Союза Благоденствия» не всех заговорщиков удовлетворял. Среди его членов были люди разнообразных взглядов — от умеренных конституционалистов до республиканцев-федералистов. Социалистов еще в те времена не водилось, и социальные вопросы не вызывали резких противоречий. Все сходились на том, что надо освободить крестьян, но подробности раскрепощения, наделение землей, выкуп и т. д. не были разработаны. В этой неопределенности отражались колебания еще не сложившихся мнений, устремлений и характеров. Не личное или сословное неудовольствие руководило заговорщиками. В подавляющем числе это были баловни судьбы, блестящие барчата, которых жизнь осыпала своими благами. Но в одних загорелась потребность работать для общего блага, в других — политическое честолюбие.

По-видимому, таким честолюбцем был гусарский офицер П. И. Пестель (1793—1826). Он был идеолог, отчасти вождь более крайнего течения. Республиканец, он готов был на крайние меры, вплоть до цареубийства. Один из главных учредителей «Союза Благоденствия», М. Н. Муравьев (впоследствии видный сановник Николаевского царствования, возведенный в графы), язвительно говорил, что «Русская Правда» составлена для разбойников муромских лесов.

Противники обвиняли Пестеля в отвлеченности, в незнании России, в нежелании считаться с ее особенностями, с

ходом ее истории. Обвиняли его в диктаторских замашках, говорили, что, составляя для Южного общества в противовес уставу «Союза Благоденствия» свою «Русскую Правду», Пестель с личными целями ввел в проект будущей конституции должность Верховного Правителя. «Пестель садился в директорию», — говорили декабристы. Эти подозрения ускорили расслоение «Союза» на более умеренное Северное общество и общество Южное, где царили ум и воля Пестеля. Северяне считали его «хитрым властолюбцем, не Вашингтоном, а Бонапартом». В начале 1821 года Пестель был переведен из Петербурга в Бессарабию. Правительство поручило ему составить доклад о причинах и ходе греческого восстания. Декабрист Лорер рассказывает, что доклад был составлен «так умно и так красно», что граф Нессельроде, министр иностранных дел, спросил Государя, кто из дипломатов его писал? «Будто бы Государь, улыбнувшись, сказал: «Ни более, ни менее, как армейский полковник. Вот какие у меня служат в армии полковники!»

Пушкин познакомился с Пестелем в Кишиневе, куда Пестель иногда наезжал из Тульчина. Пестель произвел на поэта впечатление своим оригинальным умом, но близости между этими двумя выдающимися людьми не было. И. П. Липранди, который не любил Пестеля, писал, что Пушкин, «несмотря на его (Пестеля) ум, который он искал высказывать философскими сентенциями, никогда бы с ним не мог сблизиться», и что Пушкин находил, что властность Пестеля переходила в жестокость. «Однажды, за столом у М. Ф. Орлова, Пушкин, как бы не зная, что этот Пестель сын Иркутского губернатора, прославившегося свирепостью, спросил: «Не родня ли он Сибирскому злодею?» Орлов, улыбнувшись, погрозил ему пальцем».

Но ни в письмах, ни в стихах поэта нет никаких признаков, чтобы он подпал под обаяние властного заговорщика. Через двенадцать лет после того как он записал в дневнике о своем разговоре с Пестелем, 24 ноября 1833 года опять стоит в дневнике имя Пестеля. На рауте у австрийского посла Пушкин встретил своего знакомца по Кишиневу, князя Михаила Суццо, бывшего Молдавского Господаря. «Он напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его и предал Этерию — представя ее Императору Александру отраслию карбонаризма. Суццо не мог скрыть ни своего удивления, ни досады. Тонкость фанариота была побеждена хитростию русского офицера!»

Историки декабрьского движения считают это обвинение

совершенно несправедливым. В своем донесении о движении гетеристов Пестель никого не стремился обманывать, тем более что он сочувствовал инсургентам. Характерно, что Пушкин, никогда не скрывавший своего уважения и сочувствия к декабристам, говорит таким тоном о казненном Пестеле. Значит, осталось какое-то враждебное чувство.

Из заговорщиков на юге у Пушкина установились приятельские отношения с генералом М. Ф. Орловым, с В. Ф. Раевским и с В. Л. Давыдовым. Друзей за годы южной ссылки он не завел, кроме братьев Раевских. Да и то Александр обманул его доверие. Но Раевские, по-видимому, не были членами тайного общества, а если и были, то недолго, так же как генерал М. Ф. Орлов; настоящими заговорщиками были их однофамилец, В. Ф. Раевский, и В. Л. Давыдов.

В Кишиневе самым приятным для Пушкина домом был дом Орловых. Через эту семью поддерживалась связь поэта с Раевскими, с Давыдовым, вообще с передовой военной молодежью, служившей в Бессарабии.

М. Ф. Орлов был просвещенный и либеральный генерал. В 1817 году он собирал подписи под петицией об уничтожении крепостного права, подписанной Васильчиковым, Воронцовым, Блудовым, Вяземским и другими знатными барами. Эту петицию Орлов лично подал Царю, чем сразу же омрачил свою блестящую служебную и придворную карьеру. Это не помешало ему год спустя собирать подписи под другой петицией — против выделения Польши и Литвы в независимое княжество. После речей Царя в Сейме ходили слухи, что у правительства есть такое намерение. Петиция о Польше навлекла на Орлова уже настоящую опалу. Его отправили на юг, подальше от царских глаз.

Живя в Петербурге, Орлов старался влиять не только на правительство, но и на общество. Как член «Арзамаса», — по прозвищу Рейн, — он корил Арзамасцев за недостаток гражданских чувств и произнес на эту тему речь, которая почти расколола «Арзамас». Его понятия о гражданских обязанностях были иные, чем у Пестеля, несравненно более умеренные. Орлов не был революционером, а только реформатором. Еще до учреждения «Союза Благоденствия» он хотел создать «Общество Русских Рыцарей», составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России» *(из его показаний 1826 г.)*.

Приняв в Кишиневе под свое командование 16-ю дивизию, Орлов отменил в ней телесные наказания, улучшил быт солдат, обучал их грамоте, главное, боролся с жестокостью,

которую так легко смешивали с дисциплиной. Липранди, вместе с Пушкиным часто бывавший у Орловых, противопоставляет его либеральные, но умеренные взгляды крайним воззрениям, царившим в Тульчине, «где у генерал-интенданта Юшневского писались конституции, где питали молодежь заразительными утопиями, увлекавшими их на поприще совершенно иное, чем то, которое указывалось в многообразных беседах у Мих. Фед., где никогда не было речи, могущей заронить малейшую искру негодования на существующий порядок. Думаю, что Пушкин с живым умом и не только, что иногда, но очень часто, невоздержным языком своим мог бы навлечь на себя гибельные последствия, которые он избежал в этом обществе».

Эта заметка в общем правильно отмечает различие мнений в среде либералов. Но писана она много лет спустя, когда сам Липранди отошел от левых кругов. Ее надо сопоставить с несколькими словами в письме Пушкина к Вяземскому, писанном из Кишинева, да еще из квартиры Орловых: «...Липранди берется доставить тебе мою прозу... Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его...» *(2 января 1822 г.)*. В военной среде Орлова совсем не считали таким умеренным. Поэт-партизан Денис Давыдов, который был в Кременчуге начальником штаба, писал начальнику штаба при Витгенштейне, П. Д. Киселеву, будущему графу: «Мне жалок Орлов с его заблуждениями, вредными ему и бесполезными обществу; я ему говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды в службе своей, которою он мог бы быть истинно полезен Отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России» *(1819)*.

П. Д. Киселев тоже не разделял взглядов Орлова, хотя и был с ним дружен. Он писал Орлову: «Все твои суждения, в теории прекраснейшие, на практике неисполнимы. Многие говорили и говорят в твоем смысле, но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри закончились тиранством Наполеона. Везде идеологи — вводители нового, в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств...» Он советовал Орлову оставить «шайку крикунов» — «преобразователем всего не каждому быть можно», но каждый может частно «увеличить блаженство общества». Это был запоздалый урок, так как Орлов и без этих советов занимался просветительской работой. Письма и Д. Давыдова и П. Д. Киселева писаны еще до того, как около автора «Русской Правды» собрался в Тульчине кружок революционеров, из которого выросло позднейшее русское осво-

бодительное движение. Монархический патриотизм, так ярко вспыхнувший в год Отечественной войны, еще не был изжит даже будущими заговорщиками. Сам Орлов всю жизнь оставался патриотом и даже монархистом. Может быть, тут и влияние жены сказалось. Во всяком случае, когда Пушкин бывал у него в Кишиневе, Орлов уже отошел от заговорщиков. Обвенчавшись в мае 1821 года с Екатериной Николаевной Раевской, он привез молодую жену в Кишинев, где они зажили на широкую ногу. Орловы держали, как тогда говорили, открытый стол, то есть целый ряд лиц, главным образом офицерство, были раз навсегда приглашены к их обеду. Среди них едва ли не единственным штатским был Пушкин. Случалось, что слуги, не испытывая никакого уважения к его фраку, обносили его за обедом. Поэт обижался, как дитя.

Орлов понимал значительность Пушкина. «Этот молодой человек сделает много чести русской словесности», — писал он Вяземскому *(9 ноября 1822 г.)*. Несмотря на разницу лет и положения, Пушкина тянуло в его дом.

Среди пестрого провинциального экзотического чужого Кишинева Пушкин чувствовал себя у Орловых в своей среде. Это была та привольная, широкая жизнь русского просвещенного барства, которую он с детства знал. По словам Бартенева, который знал Е. Н. Орлову, Пушкин «целые дни проводил в умном и любезном обществе, собиравшемся у М. Ф. Орлова. Свобода обращения, смелость, а иногда и резкость ответов, небрежный наряд Пушкина, столь противоположный военной форме, которая так строго соблюдалась и соблюдается в полках, все это не раз смущало некоторых посетителей Орлова. Однажды кто-то заметил генералу, как он может терпеть, что у него на диване валяется мальчишка в шароварах. Орлов только улыбался на такие речи».

Составляя короткий конспект кишиневской жизни, Пушкин не забыл Орлова: «Кишинев — приезд мой из Кавказа и Крыму (!) — Орлов — Ипсиланти, — Каменка — Фонт., Греческая революция. — Липранди — 12 год — mort de sa femme*, — le rénégat** — Паша Арзрумский».

Привлекала в дом Орловых и его молодая умная жена. Пушкин считал Екатерину Николаевну «женщиной необыкновенной», называл ее Марфой Посадницей, вложил в свою Марину Мнишек черты героические, подмеченные в Орловой. Та общая любовная приязнь, которую испытывал Пушкин ко всей семье Раевских, распространялась и на Е. Н. Орлову. В

---

* Смерть его жены *(фр.)*.

** Отступник *(фр.)*.

свою очередь, и она относилась к поэту с дружеским вниманием и, вероятно, принимала участие в тех бесконечных разговорах, о которых она писала брату Александру: «У нас беспрестанно идут шумные споры философские, политические, литературные и др.; мне слышно из дальней комнаты. Они заняли бы тебя, п. ч. у нас не мало оригиналов» *(конец 1821 г.)*.

Из Петербурга пристально и недоброжелательно следили за югом. Чувствовали что-то неладное. Но, как это часто бывает, первый удар скользнул мимо людей действительно опасных и обрушился на того, кто, сознавая свою умеренность, меньше всего ожидал удара. В 16-й дивизии у Орлова палки были отменены, а в соседней, 17-й дивизии, все госпитали были полны избитыми до полусмерти солдатами. Палочники говорили, что Орлов распустил дивизию. Всякое ничтожное столкновение солдат с офицерами толковали как бунт. Орлов увлекался ланкастерскими школами взаимного обучения. Получив дивизию, он поручил молодому офицеру В. Ф. Раевскому (1795—1872), только что переведенному из Петербурга, ввести в ней ланкастерское обучение. Раевский выписал на свой счет книги и пособия и принялся учить солдат грамоте, выполняя этим одну из основных задач «Союза Благоденствия», членом которого состоял. Он был человек горячий и резкий, взглядов своих не скрывал и один из первых за них поплатился. Первого января 1822 года Орлов устроил в манеже праздник, где было угощение не только для офицеров, но и для солдат. В крепостные времена резкая черта отделяла бар от простонародья. То, что солдаты ели в присутствии начальства, показалось дерзким нарушением дисциплины и чинопочитания. Этот праздник возмутил староверов. Месяц спустя, 6 февраля 1822 года, В. Ф. Раевский был арестован по подозрению в участии в тайном обществе. Его отвезли в Тирасполь, посадили в крепость, где продержали до января 1826 года, потом перевезли в Петропавловскую крепость, чтобы выяснить связь его с декабристами. Найденные при аресте бумаги смутно подтвердили, что В. Ф. Раевский действительно был член какого-то общества. Ничего серьезного не нашли, может быть, потому, что Пушкин предупредил его об аресте. Они были приятели, обменивались книгами, шутками, стихами. Пушкин прозвал сурового к себе и другим Раевского Спартанцем. Раевский считал, что Пушкин зазнается, сравнивая себя с Овидием, и называл его «Овидиев племянник». Раевский принадлежал к числу тех кишиневских приятелей, с которыми Пушкин обменивался знаниями и мыслями. Вот как Раевский рассказывает об услуге, оказанной ему поэтом:

«1822 года, 5-го февраля, в 1 ч. пополудни кто-то постучал у моих дверей. Арнаут, который стоял в безмолвии предо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! — сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток С. (Это относится к следствию, которое производил генерал Сабанеев над нижними чинами одной роты в 17-й дивизии.) Но что такое?

— Вот что, — продолжал Пушкин. — С. сейчас уехал от генерала, дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил — приложил ухо. С. утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушка — ты знаешь, как он тебя любит — отстаивал тебя горячо... Но из последних слов С. ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я этого почти ожидал; но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкой расправой; впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди, — только ни слова о моем деле».

Так, почти полвека спустя, изложил этот разговор В. Ф. Раевский. Возможно, что он запамятовал, что Инзов мог рассказать Пушкину о беде, надвигавшейся на Раевского. Поэт мог вспомнить собственные горькие дни в Петербурге, когда Федор Глинка оказал ему такую же услугу. Раевский прислал Пушкину из Тираспольской крепости свои стихи «Певец в темнице», где больше гражданских чувств, чем поэзии:

Как истукан немой, народ
Под игом дремлет в тайном страхе.
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.

После ареста В. Ф. Раевского началось дело против Орлова. Оно тянулось почти год. В апреле 1823 года его лишили дивизии. Карьера его была кончена. Ни прежняя личная близость с Царем, ни откровенная умеренность его либерализма не спасли Орлова. А Пестель продолжал служить, продолжал подбирать вокруг себя пылкие умы и подчинять их своей революционной воле. Плохо разбирались агенты правительства в людях той военной среды, где в Александров-

скую эпоху создавались тайные политические организации. По-видимому, Пушкин не был принят в члены тайного общества, но он знал об его существовании. Месяц спустя после декабрьского восстания он писал Жуковскому: «Но кто же, кроме правительства и полиции, не знал о нем. О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности» *(январь 1826 г.)*.

На севере и на юге кипучая работа оппозиционной мысли шла при нем, при его участии. Пушкин не скрывал своего вольнодумства, и даже снисходительный Инзов считал его «зараженным либеральной чумой». Со школьной скамьи жил Пушкин в круговороте идей, среди того, что сто лет спустя полубезумный немецкий поэт-философ назвал переоценкой ценностей. Сначала кипела литературная борьба. Шишковисты дрались с Арзамасцами, классики с романтиками. В этой области Пушкин был как у себя дома, все двери были перед ним открыты. Но когда вихрь захватил следующие пласты мысли, от поэзии и прозы перебросился он на политику. Пушкин остался на краю, хотя был лично знаком с самыми видными заговорщиками, знал их мысли, перековал их идеи в стихи, за которые раньше всех пострадал.

Юг был куда горячее, чем север, и годы, прожитые на юге, полны движения и разнообразия. Его душа была всегда в движении. Застоя он не знал. На юге все кругом него двигалось, складывались яркие новые характеры, по-новому отражались европейские и русские события в сознании думающих людей, ставя перед ними новые требования, пробуждая новые страсти, цели.

Пушкин был прежде всего и больше всего поэтом, и все разнообразные ритмы жизни, ее громкие и тихие голоса находили в нем отзвук. Великий художник, он воспринимал новые чувства и идеи, не отделяя их от людей, которые их высказывали, отстаивали, осуществляли. Ощущение и понимание человеческой личности шло в нем наряду с пониманием мыслей. Трудно сказать, что он скорее схватывал и глубже видел — сущность новой мысли или слабость и силу ее носителей? Дела и безделье своих современников, их страсти, заботы, пороки, искания — он все это наблюдал, всему придала его поэзия смысл, блеск, выразительность. Красотой художественного преображения озарил он вскипавшие вокруг него насыщенные романтизмом политические волнения, честолюбия и мечтания. Заразность его стихов напугала правительство, и без того с огромным недоверием прислушивавшееся и присматривавшееся к нарождению общественного мнения.



А. С. Пушкин. *Ж. Вивьен. 1827.*

Екатерина Семеновна Семенова. *Портрет В. А. Тропинина по гравюре Н. И. Уткина с оригинала О. А. Кипренского. 1815.*



Петербург. *М.-Ф. Дамам-Демартре. 1813.*



Евдокия Ильинична Истомина.
А. Винтергальдер. 1816—1820.



Евгения Ивановна Колосова.
Неизвестный художник. 1809.

Петербург. Большой театр. *Неизвестный художник.*
1-я четв. XVIII в.



Николай Николаевич Раевский-старший.
Портрет Н. А. Бестужева по оригиналу П. Ф. Соколова. Оригинал 1825 г.

Софья Алексеевна Раевская.
В. Л. Боровиковский. 1813.





Александр Николаевич Раевский. *Неизвестный художник. 1821.*



Николай Николаевич Раевский-младший.

Крым. Гурзуф. *К. И. Рабус. 1827.*



Елена Николаевна Раевская. *Неизвестный художник. 1820-е гг.*



Екатерина Николаевна Орлова, урожд. Раевская. *Неизвестный художник. 1820-е гг.*

Крымский пейзаж. *Н. Г. Чернецов. 1834.*



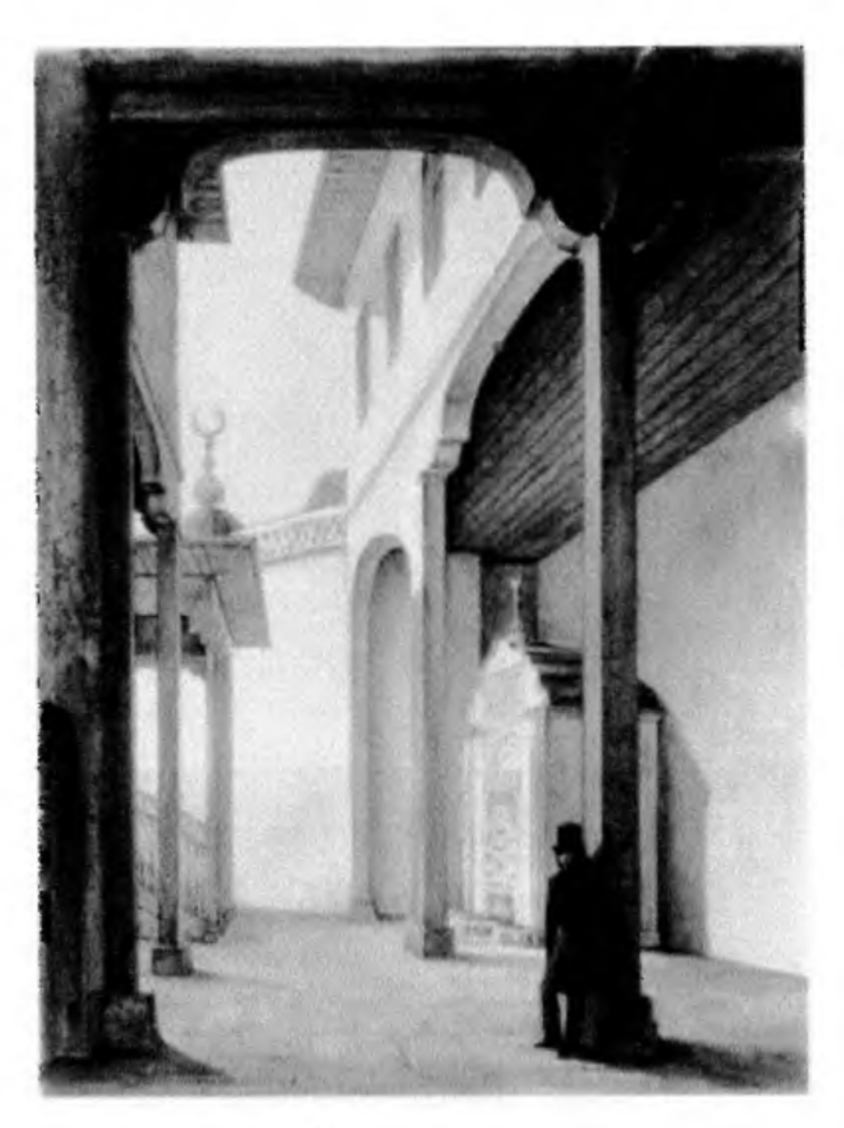
Мария Николаевна Раевская. *Неизвестный художник. 1821 (?).*



Иван Никитич Инзов. *Литография с рис. М.Клюквина по портрету Доу.*

Дом Инзова в Кишиневе.





Пушкин в Бахчисарайском дворце. *Г. Г. и Н. Г. Чернецовы. 1837.*



Василий Львович Давыдов.
Неизвестный художник.



Екатерина Николаевна Давыдова, по первому браку Раевская. *В. Л. Боровиковский. Конец XVIII — начало XIX в.*

Пушкинский грот в Каменке.



Павел Иванович Пестель.
Неизвестный художник.



Михаил Федорович Орлов.
Г. Ризенер. 1814.

Одесса. *Литография. Около 1823.*





Михаил Семенович Воронцов. *К. К. Гампельн. 1820-е гг.*

Одесса 30—40-х гг. XIX в. Дворец Воронцовых.



Елизавета Ксаверьевна Воронцова.
Гравюра с портрета Доу.



Отпечаток камня-перстня, талисмана Пушкина.



Дом в Одессе, где жил Пушкин.

Театр в Одессе. *И. Мейер с оригинала К. Бассоли. 1830-е гг.*



Вера Федоровна Вяземская. *К.-Х.-Ф. Рейхель. 1817.*

Путешественник на почтовой станции.

Почтовый тракт. *Неизвестный художник. (Воробьев М. Н.?) Нач. XIX в.*

В XVIII веке были фавориты, фрондеры, были просто слуги царевы. При Александре появились общественные деятели. Правительство сразу насторожилось.

Ссылка Пушкина была одним из первых проявлений этого нового настроения правящих кругов. Александр не освободил крестьян и не дал России «законносвободных учреждений». А когда стихи юного Пушкина выявили стремления нарождающейся интеллигенции дать народу вольность и покой, Царь разгневался и чуть не загнал поэта в Соловки. Потом смягчился, отправил его на юг, три года спустя опять разгневался и погнал поэта с юга на север, в глушь Псковской губернии. Гоненья увеличивали популярность Пушкина, но не могли изменить его взгляды. Но сама жизнь многое в них меняла, многое по-своему переработала его подвижная, острая мысль. Под влиянием все ширившегося круга наблюдений над людьми и событиями складывался собственный умственный опыт. Никогда не оставляло его с юности усвоенное сознание, что образованный человек обязан вдуматься в государственное и гражданское устройство общества и по мере сил способствовать его улучшению. А ведь это и есть политика.

Вечно работающий мозг Пушкина раньше многих понял ошибочность крайних программ, а может быть, и революционных методов. Тяжкая кара, обрушившаяся на заговорщиков, отчасти связывала его. Кому охота бить лежачего. Но сильна потребность художника претворять пережитое и передуманное. Пушкин посвятил декабристам X главу «Евгения Онегина», которая так и не была напечатана. Она писана гораздо позже начала романа (в 1830 г.) и сохранилась только в зашифрованном отрывке. В нем есть несколько строк и о южных делах:

Так было над Невою льдистой.
А там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Ту(льчина),
Где Вит(генштейновы) дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли —
Дела иные уж пошли...
Там П(естель)   для тиранов
И рать набирал
Холоднокровный Генерал

Но это писано, когда уже события научили многому.

Уезжая на юг, Пушкин обещал своему суровому заступнику, Карамзину, два года ничего не писать против

правительства. Но не мог он спрятаться от событий, не мог запретить себе думать. Мысли о государстве, о правах государей и народов, о толпе и ее вождях были не просто заимствованными с Запада отвлеченностями. Быстрый, могучий рост России, накопление новых, неиспользованных народных сил, развитие политического сознания в образованном классе, — все это требовало новых форм для общественной и государственной жизни, новых мыслей и новых слов.

Художественная чуткость Пушкина все это воспринимала. Его ясный, сильный ум по-своему осмысливал бегущие мимо события. Подробная история его мышления, конечно, невосстановима. Даже друзья не могли, да и не стремились проследить этот таинственный процесс. Никто из них не потрудился сохранить для потомства летопись хотя бы одной эпохи его творчества. В Кишиневе около него немало было приятелей. Много знакомцев, среди которых Пушкин жил, как Гулливер среди лилипутов. Эта вершинная одинокость не останавливала, скорее углубляла его растущее умение удерживать внимание долгих дум и наслаждаться уединенным волнением жарких дум... Перечеркнутые черновики часто вскрывают упорное, порой тревожное искание не только «остроконечнейшего, горельефнейшего способа выразить свою мысль» (слова Вяземского), но и самой мысли, самого суждения. На его внутренний мир, на непрестанное нащупывание, выработку миросозерцания влияли и книги, и люди, и события. Но тут, как и во всем, Пушкин шел своими путями. В самые буйные периоды его юности трезвость и меткость его суждения поражала выдающихся его современников. Его ясный, прозрачный ум не любил ни логики, ни философии, хотя из разговоров с геттингенскими друзьями он на лету схватывал их отвлеченные идеи. Он любил не схемы жизни, а саму жизнь. И в политике, около которой кружились чаяния и мечты его современников, в которую вкладывали они столько пафоса, сохранил Пушкин своеобразие мыслей, часто горьких. Это не была горечь личных обид. То, что Пушкин сумел вынести из этих толчков и испытаний умственный и писательский опыт, свободный от личной боли, является одним из доказательств редкой гармоничности его душевного роста. Упругие удары могучих крыльев поднимали его над суетой, губительной для слабых душ. Пушкина считали даровитым, но ветреным мальчишкой, а он первый попал под тяжкий молот реакции. Ни правительство, ни общество не пощадили его. Уже избалованный успехом, он был ошеломлен мелкими сплетнями, злорадным хихиканьем, гнусной выдумкой о том, как его

секли в полиции. При одном упоминании об этих слухах и шепотах его обжигало бешеное негодование.

На юге, до переезда в Одессу, его ближайший начальник, который в то же время был и первым лицом в области, не только ничем не задевал его самолюбия, но старался смягчить тягость ссылки, которой не видно было конца.

Но с севера приходили невеселые вести, вокруг Царя все плотнее смыкался круг. Независимым людям все труднее было оставаться на службе, «чтобы не торговаться с совестью и не обманывать себя и других». Вяземский вышел в отставку и в середине 1821 года поселился у себя в Остафьеве. Год спустя талантливый математик, член Академии наук, Лабзин подвергся тяжкой ссылке за то, что осмелился высказаться против кандидатуры в члены Академии царских любимцев, ничего общего с наукой не имеющих. Лабзин сказал в заседании:

«Вы говорите, что Кочубея и Аракчеева надо выбрать в члены Академии за их близость к Царю? Тогда выберите лучше царского кучера Илью. Уж чего ближе...»

Этого было довольно, чтобы великий ученый в двадцать четыре часа был выслан из Петербурга. Цензура становилась все бессмысленнее и назойливее, и Пушкин издали сердился на нее. Возможно, что он во всеуслышание высказал свою досаду. Агенты тайной полиции доносили из Кишинева в Петербург, что Пушкин «ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство». Вероятно, что это так и было. До вступления Николая I на престол все, кому было не лень, открыто, без стеснения, критиковали и бранили правительство. Судя по постоянным запросам генералу Инзову, власти были уверены в бунтарском настроении поэта. На самом деле, несмотря на то, что Пушкин был окружен на юге либералами и заговорщиками, несмотря на то, что он вел с Пестелем, умевшим подчинять других своей волевой революционной мысли, «разговоры метафизические, политические и нравственные», за годы изгнания, его вольнолюбивые мечты скорее остыли. Он родился независимым человеком. Свобода была для него необходимым условием достойного существования. «Свобода, кипящей младости кумир...» — писал он в «Руслане». Через несколько лет повторил в «Кавказском пленнике»: «Свобода, он одной тебя еще искал в подлунном мире». Незадолго перед смертью с горечью опыта, измеряемого не длительностью, а насыщенностью жизни, Пушкин писал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...»

Но изменялось его понятие о свободе, и личной и общественной. Пушкину было суждено родиться в эпоху европейских потрясений, которые ускорили рост России и русского народного творчества. На глазах Пушкина ширилась Держава, крепла и ее мощь. Его сослали не в мертвую сибирскую пустыню, а в быстро крепнущую южную окраину.

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу Русский указал,
Где старый наш Орел Двуглавый
Еще шумит минувшей славой...

Перед пристальными, все замечающими глазами поэта сама история ставила проблемы власти, государственного строительства. Как их решать? Кто осуществит решения? — герой? толпа? народы? властители? Чем определить пределы свободы? Людскими желаниями? Волей Провидения? Мудрецы XVIII века объявили законы Божеские предрассудками, пообещали построить новое царство, опирающееся на силу человеческого Разума...

Дряхлели троны, алтари,
Над ними туча подымалась;
Вещали книжники, смирялися Цари...
Толпа пред ними волновалась.
Разоблаченные пустели алтари...
(1824)

Восемнадцатилетний Пушкин, наслушавшись среди петербургских либералов конституционных речей, давал царям неюношески мудрые советы:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
(«Вольность», 1817)

Пять лет спустя, в «Послании к цензору» так же сдержанно напомнил он «угрюмому стражу Муз» о необходимости уважать закон и истину:

Он (цензор. — *А. Т.-В.)* сердцем почитать привык алтарь и трон;
Но мнений не теснит и разум терпит он.
Блюститель тишины, приличия и нравов
Не преступает сам начертанных уставов,
Закону преданный, Отечество любя,

Принять ответственность умеет на себя;
Полезной истине пути не заграждает,
Живой поэзии резвиться не мешает...

(1822)

Умеренность этих требований тем показательнее, что Пушкин не предназначал послания для печати и никогда его не печатал, что не мешало посланию, как и многим другим стихам Пушкина, ходить по рукам. В «Послании к цензору» он с усмешкой говорит: «И Пушкина стихи в печати не бывали...» Есть в послании еще строчка: — «Что нужно Лондону, то рано для Москвы», — которую вряд ли одобряли в «обществе умных», как прозвал Пушкин будущих декабристов.

Стихи Пушкина полны волнообразных отражений, то его собственной встревоженной пытливости, то настроений окружающих. В материалах той эпохи есть много доказательств его умственной близости, его психологического проникновения в замыслы и характеры декабристов. Конец его письма к В. Л. Давыдову — «мы щастьем насладимся, кровавой чаши причастимся...» — показывает, что Пушкину были известны их мысли о перевороте и цареубийстве. Эти мысли вообще носились в воздухе.

В кишиневской черновой тетради Пушкина (№ 2365), среди стихов, заметок о смерти Наполеона, на той же странице, где записана первоначальная программа «Братьев-Разбойников», он нарисовал две головы — одна в ночной повязке с узелками. Под ней подпись — Marat. Другая — голова юноши с длинными кудрями. Под ней подпись — Sand. Это относится к весне или к началу лета 1821 года. В то время он встречался с главным кинжальщиком — так называли тогда террористов, — с Пестелем. Может быть, разговор с ним, «метафизический, политический и нравственный», навеял гимн террору, который называется «Кинжал». Воинственная звучность этих стихов еще не превзойдена во всей русской революционной поэзии. С первых строк слышится глухой раскат надвигающейся грозы:

Лемносской бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия Позора и Обиды.
Где Зевсов гром молчит, где дремлет меч Закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд...

(1821)

Пушкин утверждал, что «Кинжал» не противу правительства писан». При всей его правдивости случалось и ему кривить душой.

В той же записной книжкс (1820—1821), где Пушкин нс побоялся сохранить черновик «Кинжала», через две страницы после этого грозного революционного гимна, набросан другой черновик, где поэт указывает на задачи своей поэзии:

Не тем горжусь я, мой певец...
. . . .
Не тем, что на столбе сатиры
Разврат и злобу я казнил
И что грозящий голос лиры
Тирана в ужас приводил...
Не тем, что пылким дерзновеньем
Мятежной юности моей
И страстью правды и гоненьем
Я стал известен меж людей...
(1821)

Отрывок не кончен. Какое утверждение заключалось в нем? Чем Пушкин считал себя вправе гордиться?

Глава XXVII

ИЗБРАННИКИ СУДЬБЫ

Добро и зло — все стало тенью...

Навязчивая строчка — «разоблачив пленительный кумир» — возвращается настойчиво в кишиневских черновиках. Она осталась недосказанной, и можно по-разному читать ее. Ничтожество жизни, любовь, измена, обман мечты, тайны вечности и гроба, добро и зло.

Пушкин увез с собой из Петербурга расплывчатые, но кипучие либеральные мечты, в которых ясно выступали только две задачи — конституция и раскрепощение крестьян. С годами эти основные, необходимые, настоятельные требования русской действительности отчетливо встали перед ним во всей своей простой и ясной очевидности. Но туман сентиментального политического романтизма рассеивался, спадали покровы с пленительных кумиров, вожди и толпа рисовались реальнее и непригляднее. Прирожденная независимость художественного ума разрушала иллюзии, не позволяла плыть по течению. В набросках «Вадима», неконченой драмы из жизни древнего Новгорода, сстъ строчки, которые лучшс передают настроения декабристов, чем настроения новгородцев IX века:

Вражду к правительству я зрел на каждой встрече.
Уныние везде: торговли (шум) утих,
Умы встревожены, — таится пламя в них.
Младые граждане кипят и негодуют...

(1822)

Младые граждане кипели и негодовали не только в России, но и по всей Европе. В одной из тетрадок Пушкин записал: «О. (вероятно, М. Ф. Орлов. — *А. Т.-В.*) говорил в 1820 году: революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там. Господа Государи, глупо поступили вы, лишив Наполеона престола».

Критическое отношение к слепому увлечению революционными и освободительными идеями увеличивалось от непосредственных наблюдений над греческими повстанцами. В бумагах Пушкина сохранились черновики двух писем, писанных на юге, между 1821—1823 годами. В одном из них, писанном по-французски, Пушкин так характеризует греков:

«Нищие... маклеры... евреи... карманные воришки... трусы, воры и бродяги, которые никогда не могли устоять против первых же выстрелов плохих турецких мушкетов... вот, что такое эти гер... (написано her., вероятно, герои. — *А. Т.-В.*). В армии Витгенштейна они представляли бы странный отряд... Офицеры еще хуже солдат... Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева. Многих мы лично знаем и удостоверяем их ничтожество... Никакого понятия о военном искусстве, никакой чести, никакого энтузиазма. Они умудрились быть несносными даже тогда, когда беседа с ними должна была интересовать каждого европейца... здешние офицеры, французы и русские, выказывают им презрение, которое они совершенно заслужили, они все выносят, даже палочные удары, с хладнокровием, достойным Фемистокла. Я — не Варвар и проповедник Алкорана, дела Греции живо меня интересуют, оттого я негодую, что на этих жалких людей выпала священная обязанность защитников свободы...»

Это письмо, или другие резкие отзывы поэта о греках, дошли до его приятелей. Как либералы, они сочувствовали грекам и обиделись за них на поэта.

Во втором, русском отрывке, тоже недатированном, Пушкин уже защищается:

«С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня (варваром), врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно, слова мои были тебе странно перетолкованы. Но ч. б. тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало

благородным усилиям возрождающегося народа. Жалею, что принужден оправдываться перед тобой, повторяю то, что случилось мне говорить касательно Греков... Люди по большей части самолюбивы (ограниченны), беспамятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все-таки не худо повторить...»

Наблюдая греческих борцов за освобождение, вглядываясь в русских карбонариев, Пушкин видел, как трудно подымать толпу на высоту политических идеалов. Перед ним вставала сложная проблема об отношениях между толпой и вождями, проблема власти, на которой построена политика. Глубокий и ранний знаток человеческой души, он сознавал значение сильной личности. Сам непохожий на других, Пушкин среди всех демократических утопий ясно видел грань между толпой и, как он говорил, избранниками судьбы. Он с детства жил среди событий, порожденных беспокойной волей одного из таких таинственных избранников судьбы — Наполеона, который возбуждал восторг даже врагов. В своих талантливых «Записках партизана» Денис Давыдов, вояка, рубака, страстный русский патриот, отлично передает суеверное впечатление, которое производил не только Бонапарт в Тильзите, в расцвете славы, но и Наполеон, бегущий из Москвы, разбитый, погубивший свою армию, окруженный горстью гвардейцев. Пушкин жил среди людей, которые все это видели. Когда Наполеон умер (23 апреля 1821 г.) и весть о его смерти дошла до Пушкина, он записал в дневнике по-французски: «18 juillet 1821, nouvelle de la mort de Napoleon»*. Вероятно, тогда же начал он оду на смерть Наполеона, черновики которой разбросаны в тетрадях. Только к осени он ее дописал и отделал. Е. Н. Орлова писала брату Александру: «Пушкин больше не корчит из себя жестокого. Он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждать, или болтать очень приятно. Он только что кончил свою оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, — сколько я могу судить, слышав ее частью один раз» *(12 ноября 1821 г.)*.

Через несколько дней она опять упомянула о Пушкине: «Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия» *(23 ноября)*.

---

*«18 июля 1821, известие о смерти Наполеона» *(фр.)*.

Ода была кончена, но мысли поэта клубились около войны и мира. И он сам, и отцы и деды росли среди непрерывных и победоносных войн. Для образованного господствующего класса — а тогда эти понятия еще совпадали — военное ремесло было так же обязательно, как позже воинская повинность стала обязательной для всего мужского населения. С той только разницей, что для дворянства XVIII и начала XIX века военная служба была не внешней повинностью, а делом совести и чести. Вспыхивающее временами в Пушкине желание стать военным было пережитком сословного чувства долга перед Отечеством, а также и проявлением страстной натуры, ищущей риска, подвига. «Скучен мир однообразный сердцам, рожденным для войны...» Этого и пацифизм аббата Сен-Пьера не мог сломить. 23 ноября у Е. Н. Орловой Пушкин увлекался всеобщим миром, а 29 ноября писал:

Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести...
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей...
(29 ноября 1821 г.)

Легендарный образ грозного «нарушителя общественного спокойствия» Наполеона волновал его воображение:

В кабинете Онегина стоял:

Столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Не сразу преодолел поэт сложность этого характера. В первых черновиках он еще повторяет шаблонные определения, оставшиеся от лицейских годов, когда мимо Царского Села, на борьбу с непобедимым Наполеоном, «текла за ратью рать». «Злодей, губитель, преступник, страшилище вселенной...» Но в процессе творчества проясняется мысль, крепнет уважение к угасшему повелителю народов. «Велик и падший великан». Сознание Пушкина так рано проснулось, что он мог чувствовать, как окружающие переживают обиду Аустерлица, унижение Тильзита, и сам переживал суровый героизм Москвы, опьянение парижским триумфом. Но, всматриваясь в горящий след, оставленный в мире Наполеоном, он говорит о нем без злобы, без высокомерной похвальбы победителя, с великодушием патриота, знающего силу своего народа, своего государства.

В короткой программе, набросанной рядом с одним из черновиков, записано: «Угас тот, который то и то... — и Россию... Но, да не упрекнет его Русский... Россия спасена — бедная Франция в унижении...» Этой мыслью, как торжественным заключительным аккордом реквиема, замыкается последняя строфа оды:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Пушкин не спешил сообщать «Наполеона» своим друзьям, но эту строфу, а также четвертую, пятую и шестую, которые он считал «самыми сносными», послал А. И. Тургеневу. Когда, пять лет спустя, ода была напечатана в «Собрании Стихотворений» (1826), пришлось, из-за цензуры, выбросить из нее как раз эти строфы, в которые двадцатидвухлетний Пушкин сумел вложить такую мудрую точность эпитетов.

В свое погибельное щастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой...

В трех строфах, которые самому Пушкину понравились, всего 24 строчки. Но эта исчерпывающая краткость стоила ему большого труда. Это целая картина, со строгой исторической перспективой, с нарастанием и переходами событий, с предчувствием неизбежной катастрофы.

Для тех, кто пережил в России февральскую и октябрьскую революции 1917 года, особенно близки, по реализму революционной психологии, эти строки:

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил,
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил...

Пушкин писал А. И. Тургеневу: «Эта строфа (последняя. — *А. Т.-В.*) ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года — впрочем это мой последний либеральный бред, я

закаялся и написал на днях подражание басне умеренного Демократа I. X. (Инсуса Христа. — *А. Т.-В.*) (изыде сеятель сеяти семена своя).

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благия мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич».
(1 дек. 1823. Одесса)

Это не случайное соседство. «Наполеон» и «Сеятель» связаны общностью настроения и мыслей. Может быть, даже больше общностью мыслей, чем настроения. Они настойчиво возвращались, подготовлялись, нарастали первые годы его жизни на юге, оборвались в Одессе благодаря одному из тех взрывов, которые с раннего детства потрясали его жизнь, перебивали его художественное устремление к гармоническому жизненному ритму. Взрывы эти вызывались главным образом резкой противоположностью между страстностью его внутренней жизни и средой.

Вчитываясь в кишиневские стихи, особенно в черновики, можно проследить, как основной мотив — «Разоблачив пленительный кумир, я вижу призрак безобразный...» «И свет, и жизнь, и дружбу и любовь в их наготе я ныне вижу...» — постепенно развивается, переходит в анализ общества и отношений между народом и вождями. Все настойчивее преследует поэта мысль, что толпа совсем не гонится за свободой. Еще раньше «Сеятеля» мысль, что «стадам» свобода не нужна, не раз встречается в черновиках.

Весной 1821 года, под свежим впечатлением «аристократических обедов и демагогических споров», в Каменке Пушкин писал В. Л. Давыдову: «Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет». Это не только шутка. Пошатнулась уверенность в сущности того либерализма, за который он был сослан в Кишинев. Трудно проследить хронологическое развитие этой мысли сквозь лабиринт недатированных стихов и черновиков. В них особенно определенно сказалось разоблачение кумиров, которое после Ницше стали называть переоценкой ценностей. Окончательно отделывая свои стихи или приготовляя их для печати, Пушкин оставлял в них суждения

и чувства более кристаллизованные. Отражения настроений переходных, ищущих, смятенных, туманных оставались в черновиках. Но и для этих смутных переживаний иногда он находил высокохудожественные выражения. Среди записей 1821—1822 годов, вслед за стихотворением: «Ты прав, мой друг! напрасно я презрел дары природы благосклонной...», где есть эти чудесные строчки: «и сладостно мне было жарких дум уединенное волненье», идет черновик, полный горьких мыслей. Начинается он все с той же строки, которая не раз возвращалась:

Разоблачив пленительный кумир...

Дальше слова брошены отрывисто, но внутренняя связь есть: «Кого возвышенной душой боготворить не постыдился... Я говорил пред хладною толпой языком пламенной свободы... Но для души ничтожной и глухой смешон язык души высокой...»

Не только толпа, но и ее вожди вызывают в нем презрение:

Встречались мне наперсники Молвы,
Но что в избранных я увидел —
Ничтожный блеск... обман...
Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный...
Иль предрассудков раб послушный...

Так воспроизведен этот отрывок в академическом издании. В другой, кишиневской, тетради есть наброски более сходные с «Сеятелем». Тут и презрение к людям, и раздражение против себя за доверчивость и простодушие. Около черновика приписанные на полях отрывистые строчки, совпадающие с автографом «Сеятеля», посланным А. И. Тургеневу 1 декабря 1823 года. Ясно, что перед нами несколько редакций того же стихотворения. В окончательной редакции поэт из всех этих набросков оставил только двенадцать строк. Он выбросил молодого мечтателя, который толпу «боготворить не устыдился». Выбросил все резкие эпитеты, характеризующие ничтожество толпы: жестокой, ветреной, холодной, подкупленной, глухой. Поступил, как советовал брату в письме: «...Сначала думай о людях все дурное, меньше придется скидывать... Презирай их как можно вежливее» *(1822)*. Но тем беспощаднее сгущено презрение в пяти заключительных строках, тем презрительнее звучат слова: «Паситесь, мирные народы...»

И пастухи немногим лучше пасомых: «Бывало в сладком ослепленьи, я верил избранным душам...» Эту наивную веру в избранников судьбы, вместе с некоторыми другими пережитками собственного романтизма, Пушкин вложил в Ленского:

Он верил избранным судьбами
Мужам, которых тайный дар,
И сердца неподдельный жар
И гений власти над умами
Добру людей посвящены
И славе доблестью равны.

Ленский считал:

Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит...

Кружась над загадкой власти одного над многими, мысли Пушкина настойчиво возвращались к вихрям и бурям, поднятым французской революцией. Опять вставал Наполеон, колдун, смиривший разбушевавшуюся стихию. Осенью 1823 года Пушкин великолепными коваными стихами написал, и хотя не кончил, но переписал набело, а в печать не отдал, загадочный отрывок «Недвижный страж дремал...». Поэт привел призрак Наполеона в палаты Русского Царя. Встретились два могучих соперника за власть над народами. Напряженно вглядывается Пушкин в Наполеона, старается разгадать тайну его неотразимого, неуловимого взора, понять, какие противоречивые силы направляли его судьбу?

То был сей чудный муж, посланник Провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной вольницы наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца...

(1823)

Неотступно вставал вопрос, зачем кто-то — судьба? история? Провидение? Бог? — посылает на землю таких мучительных героев, таких «нарушителей общественного спокойствия». Среди записей 1824 года, может быть, сделанных уже в Михайловском, есть перечеркнутый отрывок, где Пушкин опять ищет смысла революции, хочет понять историческую роль ее «наследника и убийцы» — Наполеона. Отрывок остался неотделанным, но в нем есть поразительные строчки, дающие ключ к уединенным думам. Понять черновик можно, только восстановив зачеркнутые слова:

Зачем ты послан был, и кто тебя послал?
Чего — добра иль зла ты верный был свершитель...
. . . .
Дряхлели троны, алтари,
Над ними туча подымалась,
Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
Свободы буря подымалась
И вдруг нагрянула...
Разбились ветхия скрижали.
Явился муж меча, рабы затихли вновь...
. . . .
Цари сказали — нет свободы,
И поклонились им народы,
. . . .
Добро и зло — все стало тенью...

Тем, кто пережил мировую войну и революцию, эти строчки много говорят. В них отразилось знакомое ощущение хрупкости, зыбкости жизни не отдельного только человека, а всего человечества, тоска перед «сердцу непонятным мраком». Многие — в особенности многие русские — могли повторить в 20-х годах XX века горькие слова Пушкина, сказанные в 20-х годах XIX века:

Добро и зло — все стало тенью...

Глава XXVIII

КОНЕЦ АЗИАТСКОГО ЗАТОЧЕНИЯ

Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить язык устанет.
(Ноябрь 1823 г.)

Мелькали дни, месяцы, годы, а ссылке Пушкина не видно было конца. Он с первого же года надеялся и ждал: «Бог простит мои грехи, как Государь мои стихи». Но прощение не приходило, а кишиневская жизнь тяготила все больше. Внешне она шла на людях. Гуляния, встречи, трактирные пирушки под пение цыганок, танцы, дуэли, несложное волокитство, однообразная пестрота и веселье провинции, да еще полурусской. А внутри беспокойство, обида на забывчивых друзей, одиночество, тоска по милому северу.

Пушкин сразу стал тяготиться Кишиневом. И в стихах, и в письмах прорвалось нетерпеливое раздражение, едва прикрытое шуткой. Пушкин в письмах корил друзей за забывчи-

вость, жаловался на скуку и одиночество. В марте 1821 года, едва осев в Кишиневе, он писал: «Недавно приехал в Кишинев и скоро оставлю благословенную Бессарабию». Несколько месяцев спустя просил А. И. Тургенева походатайствовать за него перед Царем, «вытребовать меня на несколько дней с моего острова Пафмоса...». «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге...» *(7 мая 1821 г.).*

Чаадаеву он писал той же весной: «О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки», мечтал возобновить беседы прежних лет, младые вечера, пророческие споры...

Он писал другому Тургеневу, дипломату, только что выехавшему из Константинополя: «Поздравляю вас, почтенный Сергей Иванович, с благополучным прибытием из Турции чуждой в Турцию родную. С радостию приехал бы я в Одессу побеседовать с Вами и подышать чистым Европейским воздухом, но я сам в карантине, и смотритель Инзов не выпускает меня как зараженного какою-то либеральною чумою...» *(21 августа 1821 г.).*

Раздражение против насильственного одиночества, оторванности, изгнания, вылились в оде «К Овидию», которой закончился первый год в Кишиневе. Но и новый, 1822 год мало принес радости. Письма невеселые. Пушкин писал брату: «Представь себе, что до моей пустыни не доходит ни один дружний голос, что друзья мои как нарочно решились оправдать элегическую мою мизантропию — и это состояние несносно... Спроси у Дельвига, здоров ли он, все ли, слава Богу, пьет и кушает, каково нашел мои стихи к нему и проч.» *(24 января 1822 г.).*

Шестого февраля, через несколько дней после этого письма, был арестован В. Ф. Раевский. Пушкин тревожился не только за приятеля, но и за себя. Копились новые писательские грехи — «Кинжал», а главное, «Гаврилиада». Чувство связанности и одиночества усиливалось: «Пожалейте обо мне: живу меж Гетов и Сарматов; никто не понимает меня. Со мною нет просвещенного Аристарха, пишу как-нибудь, не слыша ни оживительных советов, ни похвал, ни порицаний... Жуковскому я также писал, а он и в ус не дует... Так-то пророчу я не в своей земле, а между тем не предвижу конца нашей разлуки. Здесь у нас *молдованно* и тошно...» *(27 июня 1822 г. Гнедичу).* И Вяземскому опять: «Здесь не слышу живого слова Европейского» *(1 сентября 1822 г.).* Потом ламписту Я. Н. Толстому: «...Мои сердечные благодаренья; ты один изо всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости,

вспомнил обо мне. Кстати или не кстати. Два года и шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова...» *(26 сентября 1822 г.)*.

Я. Н. Толстой порадовал его не только своим письмом, но и предложением библиофила-коллекционера князя А. Я. Лобанова-Ростовского издать стихи Пушкина. Как будто снова устанавливалась связь с Петербургом. Вспыхнули воспоминания о веселых беседах под Зеленой Лампой. Вспыхнули и зазвенели стихами в его мозгу, точно вылились из-под его пера так же легко, как и прозаическое начало письма.

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
. . . .
В изгнаньи скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас:
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных Муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство...

На самом деле в письмо попал уже исправленный, переработанный текст. В черновиках — их два, один в большой тетради (№ 2365), другой в карманной записной книжке, — отчетливее проступает противоречие между былой беспечностью и кишиневскими настроениями.

«И милый звук знакомых струн печаль на сердце мне наводит... Молвой покинутый изгнанник в степях Молдавии забыт. Младых пиров утихли смехи, утих безумства вольный глас... Вы оба, в прежни времена, любимой лестью баловали Певца свободы и вина...»

Это могло быть принято за жалобу или за хвастовство, и Пушкин отбросил эти строчки. У него не было прежней охоты болтать нараспашку, даже с «товарищами младыми». Не свойственное его детски доверчивому сердцу сомнение в людях сказалось в писанном тогда же по-французски письме к брату:

«Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты не знаешь. Начинай всегда с того, чтобы думать о них как можно хуже; вряд ли просчитаешься. Не суди о них по собственному

сердцу, которое, я надеюсь, полно доброты и благородства. А главное, сердце твое еще молодо. Презирай их, как можно вежливее, это способ быть настороже против мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут задевать тебя при твоем появлении в свете... Будь холоден со всеми... Не поддавайся чувству благожелательности, люди его не поймут и охотно примут за низкость, так как они всегда рады судить других по себе... Хотелось бы мне предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает духу ожесточать твое сердце в таком возрасте, когда оно еще полно сладких заблуждений. Все, что я могу сказать тебе о женщинах, не принесет тебе никакой пользы. Скажу только, что чем меньше мы любим женщину, тем легче нам обладать ею. Но только старой обезьяне XVIII века это может доставить наслажденье» *(осень 1822 г.)*.

Эти мизантропические мысли, смягченные прелестью стиха, повторяются почти дословно в «Евгении Онегине»:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
. . . .
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян.
(Глава IV)

Осенью писал Пушкин брату: «Я карабкаюсь и может быть явлюсь к вам, но не прежде будущего года... Жуковскому я писал, он мне не отвечает; министру я писал — он и в ус не дует — о други, Августу мольбы мои несите! но Август смотрит Сентябрем» *(октябрь 1822 г.)*.

Все настойчивее стучится хандра в веселое сердце поэта. Ему душно. Забывчивые друзья молчат. Издатели далеко, а без них как справиться с гнетущим безденежьем, с нищетой. Все круче становится цензура. Бесполезно издалека торговаться с цензором. «За 2000 верст мудрено щелкать его (цензора Бирукова. — *А. Т.-В.*) по носу. Я барахтаюсь в грязи молдавской, чорт знает, когда выкарабкаюсь» *(конец 1822 г. Вяземскому)*.

Все чаще возвращается слово «пустыня». «В пустынях Молдавии... Сия пустынная страна... Бессарабский пустынник... Пустынной лиры пенье...» И пустыня-то не русская. После трех лет жизни в Бессарабии Пушкин кончает письмо Гнедичу стихами: «В чужбине свято сохраняя...» Тягостно было нести одиночество. Отдельные люди отвечали

отдельным его потребностям ума или характера. Но никто не давал той полноты жизни, как «Зеленая Лампа», субботники Жуковского, приемы у Карамзиных, гостиная Голицыной, беседы с Чаадаевым. Даже в «обществе умных» не понимали его. На юге Пушкин никого не «мучил своим талантом как Привидение», никого не изумлял волшебной быстротой своего роста. На юг уехал молодой повеса, беспечный певец Руслана и Людмилы, трубадур «рыцарей лихих». К концу третьего года ссылки Пушкин написал «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», задумал и начал «Евгения Онегина», написал около сотни стихотворений. В некоторых из них уже весь блеск его гения («К Чаадаеву» «К Овидию», «Наполеон», «Демон», «Песнь о Вещем Олеге», «Муза»). Трудности и радости творчества переживал он на юге вне непрестанного соприкосновения с чужим творчеством, с влюбленным одобрением читателей, которое ласкало его в Петербурге, где его резвая Муза «как Вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась». Все острее угнетала подневольность, отсутствие свободы передвижения. В год, когда Раевского посадили в Тираспольскую крепость, Пушкин, может быть, сливая его судьбу с собственным чувством, написал «Узника».

Сижу за решеткой в темнице сырой
. . . .
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляет лишь ветер... да я!..
(1822)

Эта песнь потом распевалась по всей России, особенно в тюрьмах.

Наконец Пушкин потерял надежду на друзей и решил сам обратиться к министру иностранных дел, в ведомстве которого он продолжал числиться. Это было в начале 1823 года. Либеральный граф Каподистрия уже ушел*. На его место поступил граф К. В. Нессельроде, лучше умевший приспособиться к новой политике Императора. Пушкин послал ему прошение по-французски:

«Attaché par l'ordre de Sa Majesté auprès de Monsieur le Général Gouverneur de la Bessarabie, je ne puis sans une permission expresse venir a Pétersbourg, où m'appellent les affaires

* *См. примечание на с. 289.*

d'une famille que je n'ai pas vue depuis trois ans. Je prends la liberté de m'adresser à Votre Exellence pour La supplier de m'accorder un semestre de deux ou trois mois»*.

Эта скромная просьба о трехмесячном отпуске была доложена 21 февраля Государю и отклонена. 27 марта Нессельроде писал Инзову: «Его Величество соизволили приказать мне уведомить Пушкина через посредство Вашего Превосходительства, что он ныне желаемого позволения получить не может».

С этого отказа началась многолетняя, душу выматывающая переписка гениального поэта с важными чиновниками и жандармскими генералами. Для Пушкина этот отказ был тяжким ударом. Он был полон надежд, нетерпеливо напоминал брату, чтобы родные, а главное, друзья, на которых поэт больше полагался, чем на родных, замолвили о нем слово перед Царем. Вероятно, письма не всегда были сдержанные. Даже легкомысленный Левушка, может быть, повторяя опасения друзей, просил брата быть осторожнее. В ответ на это поэт писал: «Ты не приказываешь жаловаться на погоду — в Августе месяце — так и быть, — а ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется» *(30 января 1823 г.)*.

Отказ Государя обострил чувство ссылки. К счастью, непосредственный его начальник, генерал Инзов, относился к поэту с неизменной доброжелательностью. Весной 1823 года, вероятно в мае, он отпустил Пушкина на побывку в Одессу, которая издали по сравнению с Кишиневом казалась поэту Европой. Во время пребывания в Одессе генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии был назначен гр. М. С. Воронцов. Он выбрал Одессу своей резиденцией. Северные друзья постарались перевести поэта в штат гр. М. С. Воронцова. Вяземский из Москвы писал в Петербург А. И. Тургеневу: «Говорили ли вы Воронцову о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похлопочите, добрые люди. Тем более что Пушкин точно хочет остепениться, а скука и досада — плохие советчики» *(31 мая 1823 г.)*.

Это письмо скрестилось с короткой запиской Тургенева. Он писал Вяземскому с Черной речки: «Я говорил с Нессельроде и с графом Воронцовым о Пушкине. Он берет

---

* «Приданный приказом Его Величества в распоряжение г-на Генерал-Губернатора Бессарабии, я не могу без специального разрешения прибыть в Петербург, куда призывают меня дела семейства, которое я не видел в течение трех лет. Осмеливаюсь обратиться к Вашему Сиятельству, чтобы нижайше просить Вас предоставить мне отпуск в 2—3 месяца» *(фр.)*.

его к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиться» *(1 июня 1823 г.)*.

Через несколько дней Тургенев писал подробнее: «О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных мира сего, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или Инзова? Граф Н. утвердил первого, а я присоветывал ему сказать о сем Воронцову. Сказано — сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова — в Италию — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?» *(15 июня 1823 г.)*.

К несчастью, полушутливые опасения Тургенева оправдались. Идиллия на берегу моря не удалась. Меценат не сдержал своего обещания дать таланту Пушкина простор и досуг.

А старик Инзов был огорчен отъездом Пушкина: «Я любил его как сына», — грустно жаловался он.

Часть пятая

ОДЕССА

ИЮНЬ 1823 — 30 ИЮЛЯ 1824

Могучей страстью очарован...



Глава XXIX

ХАНДРА

«Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое».

(Из письма Пушкина к А. И. Тургеневу, 14 июля 1824 г.)

«Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и Италианская опера напомнили мне старину и ей Богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и выехал оттуда навсегда. О Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни; впрочем я нигде не бываю, кроме в театре» *(25 августа 1823 г.).*

Это письмо к брату кончалось словами: «Прощай, душа моя — у меня хандра, и это письмо не развеселило меня».

За неделю перед этим Пушкин почти этими же словами начал коротенькое деловое письмо Вяземскому:

«Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется — да сам не свой» *(19 августа).*

Скука крепко привязалась. Почти два месяца спустя он опять пишет Вяземскому: «У нас скучно и холодно. Я мерзну под небом полуденным» *(14 октября).*

Потом Дельвигу: «Вчера повеяло мне жизнию лицейскою, слава и благодарение за то тебе и моему Пущину! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка?» И опять

повторяет в конце письма: «Скучно, моя радость! вот припев моей жизни» *(16 ноября).*

Александру Тургеневу он писал, как всегда, с усмешкой: «Я обнимаю Вас из прозаической Одессы, не благодаря ни за что, но ценя в полной мере и Ваше воспоминание, и дружеское попечение, которому обязан я переменою своей судьбы. Надобно подобно мне провести 3 года в душном азиатском заточении, чтоб почувствовать цену и не вольного европейского воздуха. Теперь мне было бы совершенно хорошо, если б не отсутствие кой-кого. Когда мы свидимся, Вы не узнаете меня, я стал скучен как Грибко и благоразумен как Чеботарев...» *(1 декабря).*

Что-то раздражало, тяготило Пушкина в новом городе. Он приехал в Одессу весь во власти сложных художественных замыслов. Мечтал о каком-то просторе, «о вольном европейском воздухе», и попал в духоту маленького провинциального двора. Думал писать на свободе и очутился в толпе мелких чиновников, из среды которых меценат гр. Воронцов не видел нужды его выделять. Год, прожитый в Одессе (с июня 1823-го — 30 июля 1824 г.), бурно завершил южную трилогию, — сначала Кавказ и Крым, юношеская влюбленность в красоту гор и моря, отрезвление после петербургского угара, светлая печаль робкой любви к Марии Раевской. Потом вторая часть — Кишинев, гостеприимный, дикий и пустой. Ни одного нового друга — только приятели. Ни одного нового любовного переживания. Только волокитство за пригожими, нетребовательными молдаванками. Жизнь шла и шумная, и вздорная, и задорная. А внутри копятся силы, зреют и ширятся мысли, пробуждается и укореняется интерес к этнографии, к народной песне, к истории. Создаются умственные навыки, привычка к упорному труду, ежедневная повторность писательства, умение управлять воображением, все то, из чего художник строит подножие искусству — ремесло. Поэт расширяет, очищает свою душу, создает то русло, по которому непрерывным, могучим потоком течет творчество. Все и всех, включая самого себя, претворяет он в сложную цепь художественных замыслов.

И, наконец, третья часть — Одесса. В тайниках художественного своего уединения Пушкин в Одессе упился, насладился восторгом творчества и восторгом любви. Но суетность мира была ему враждебна. Точно какие-то силы врывались, стараясь отогнать Музу, растоптать любовь.

Пушкин говорил про грязную, неблагоустроенную Одессу, что это «летом песочница, зимой чернильница». Город был еще небольшой — не более 30 000 жителей. Кругом безводная степь. В самом городе смесь хлебных амбаров и частных домов, иногда даже нарядных. Но в этом еще небла-

гообразном городе кипела своеобразная торговая, курортная, портовая жизнь. Порто-франко привлекало иностранных купцов, их в Одессе называли негоциантами. Они принесли с собой некоторые европейские привычки и потребности, веселье уличной жизни, кофейни, рестораны, итальянскую оперу, а главное, свободную простоту общения, непохожую на чопорность провинциального общества, возглавляемого генерал-губернатором.

Но жизнь в Одессе все-таки была упрощенная, и общий уровень потребностей невысокий. В письмах кн. Веры Вяземской, жены писателя П. А. Вяземского, сохранилось хорошее бытовое описание Одессы. В июне 1824 года княгиня, ради маленького сына и дочери, которых врачи велели везти на морские купания, поднялась из подмосковной в далекий путь. Остальных двух детей она оставила в Остафьеве с мужем, куда часто и подробно писала ему про свое житье на юге. Вяземские были расточительные, нерасчетливые, но очень богатые и по-своему очень избалованные люди. Молодая княгиня — ей было тогда 34 года — везла с собой целую свиту, ехала сама-восемь. Одесса уже считалась курортом, но жизнь была настолько не налажена, что княгиня месяц искала, пока нашла в предместье две комнаты, в которых поселились она, дети, гувернантка и четверо крепостных слуг. Переписывалась княгиня с мужем по-французски и называла свой домик «Houtor», хотя это просто была загородная хибарка над морем. Комнаты были маленькие, кухни не было, надо было тут же и стряпать. От кухонного чада княгиня спасалась на берег моря, обедала у гр. Гурьевой или у других одесских приятельниц, но и возвращаться от них обратно было нелегко. «Чтоб добраться до дому, мне надо последние полверсты идти домой пешком, так как хутор стоит на такой круче, куда никакой экипаж не может подняться, кроме телеги или дрожек. (Дрожки считались мужским экипажем, так как на них ездили, сидя верхом на сиденье. — *А. Т.-В.)* Но для меня единственным подлинным мученьем является кухня, которая отделена от нас только неплотно закрывающейся дверью. Запах скверного масла хватает меня за горло, точно я его ем. Дети не страдают, они весь день на улице, но я и солнца боюсь и порой теряюсь между этими двумя неприятностями, точно несчастная, блуждающая тень. И ничего против этой беды не поделаешь! Лев Нарышкин, тронутый моим положением, распинается, чтобы мне достать палатку, но пока безуспешно».

Княгиня не жалуется, просто рассказывает. Ей нравится жизнь в Одессе. Она убеждает и мужа поселиться на юге года на два. Делает подробный денежный подсчет, доказывает, что

жизнь будет стоить гораздо дешевле, чем на севере, что на 30 000 в год они будут жить припеваючи, хотя будут держать только один экипаж. «Правда, Гурьевы тратят 60, но у них каждый день гости, они держат открытый стол на 10 человек, которые могут придти и незваными. При этом не менее двенадцати блюд, 20 лошадей, словом, только они да Воронцовы живут так широко. Все остальные на негоциантской ноге». Она предупреждает мужа, что хотя есть в Одессе и танцовщицы, за которыми можно ухаживать, и рестораны, где можно кутить, и дома, где можно играть в карты, но что жизнь в общем тихая. «Я тебе не обещаю веселья. Тут мало общества, особенно сейчас, хотя зимой будет больше, нет прогулок, кроме плохого сада, нет леса, кругом противная пустыня, глаз отдыхает только на море, итальянские спектакли только три раза в неделю, да и то плохие... По вечерам делать нечего, так как приемов нет, кроме послеобеденных визитов». Но есть несколько женщин, несколько домов, которые ей нравятся. «Климат прекрасный, соседство моря очень приятно, дом Воронцовых очаровательный, живут на заграничный манер, пользуясь независимостью, которую не знают в других русских городах. Нет претензий, нет сплетен, каждый живет, как хочет и как может, нет надобности разыгрывать большого барина, можно жить совсем по-буржуазному».

Так писала княгиня Вера 8 августа, когда Пушкин, с которым в Одессе она очень подружилась, уже был в Михайловском. Самая его высылка доказала, что не каждый мог жить в Одессе, как хотел.

Лучшее описание города оставил Пушкин в «Странствии Онегина». После двух лирических строф, посвященных волшебной тоске, безымянным страданиям, высокопарным мечтаниям, которые владели поэтом на прекрасных берегах Тавриды, идут реалистические картины Одессы, полные точных подробностей и ярких мелочей. Самый звук стиха меняется, становится четким, отрывистым. Тщательнее любого кропотливого исследователя рисует Пушкин город, жизнь в нем, себя в этой жизни.

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый Славянин,

Француз, Испанец, Армянин,
И Грек, и Молдаван тяжелый,
И сын Египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

В легких, шуткой звенящих стихах, но с добросовестностью составителя справочника описал Пушкин отсутствие садов, деревья, только что посаженные на улицах, — «Кой-где недавный труд заставил младые ветви в знойный день давать насильственную тень», — зимнюю распутицу, когда «Одесса, по воле бурного Зевеса, потоплена, запружена, в густой грязи погружена... Кареты, люди тонут, вязнут, и в дрожках вол, рога склоня, сменяет хилого коня. Но уж дробит каменья молот, и скоро звонкой мостовой покроется спасенный город, как будто кованной броней».

Потом описал торговую Одессу, такую отличную от молдаванского ленивого Кишинева: «Бегут за делом и без дела, однако больше по делам. Дитя расчета и отваги, идет купец взглянуть на флаги, проведать, шлют ли небеса ему знакомы паруса».

Бывало, пушка заревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленной,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.

День, начатый на берегу, заканчивался вечером в театре.

Это писано шесть лет спустя после Одессы, на севере, в ненастную глухую осень. Но какая в описаниях блистательная яркость, какое радостное ощущение синей теплоты южного вечера, очарование горячих звуков Россини: «Они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, как зашипевшего Аи струя и брызги золотые...»

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna, а балет?

Так подробно, так телесно ярко все вспомнил, точно это было вчера. И кончил морем. От моря ему так же трудно было оторваться, как от любимой женщины. Сплетались в воспоминании эти две стихии.

Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит...

Пушкинские описания Одессы являются одним из многих примеров сжатой точности его характеристики людей, быта, местности. Но про свою одесскую жизнь он рассказал только внешнее, только веселую ее оболочку. Ревниво замкнулся, меньше сказал о себе, чем даже в воспоминаниях о таврической затаенной любви. А в Одессе налетела на него настоящая буря, один из тех вихрей, которые временами потрясали все его существо, требовали от поэта величайшей выносливости и величайшей гибкости.

Как позже, на севере, «почуяв рифмы», бросался Пушкин в деревню, так на юге бросился он в Одессу, к морю, полный зрелых художественных замыслов. Прожив в ней год, многое успел осуществить. Написал он «Демона», «Ночь», «Свободы сеятель», «Недвижный страж дремал», «К морю», более половины «Цыган», но самое главное, самое значительное, с чем связана Одесса, это — «Евгений Онегин», — «не роман, а роман в стихах, дьявольская разница». Опять, как в юные лицейские годы, когда «весной, при кликах лебединых являться Муза стала мне», Пушкин был насыщен, наэлектризован творчеством.

Но внутренняя цельность творческого напряжения слишком резко расходилась с жизнью и понятиями окружающих. И прежде всего с понятиями гр. М. С. Воронцова. Столкновение между этим холодным, мелочным честолюбцем и Пушкиным было неизбежно. Это было предвкушение позднейших унизительных приставаний другого холодного чиновника, шефа жандармов, графа Бенкендорфа.

Граф, впоследствии князь, Михаил Семенович Воронцов (1782—1856) рано сделал блестящую военную карьеру, получил чины и ордена за покорение Кавказа, за Отечественную войну, за европейские походы. Он принадлежал к придворной знати и усилил свои связи, женившись в 1819 году на графине Елизавете Ксаверьевне Браницкой, которая принесла ему огромное приданое. Воронцов хорошо знал тонкости придворной политики, умел прокладывать себе дорогу среди переменчивых настроений александровского царствования. Член Библейского общества, он, вместе с Вяземским и другими титулованными либералами, подписал поданную Александру в 1820 году записку «Об изыскании лучших способов

к улучшению состояния крестьян и к постепенному освобождению их от рабства». Это создавало ему репутацию просвещенного, даже либерального вельможи. Он умел, когда хотел, внешней обходительностью обращения прикрывать внутреннюю сухую надменность. Это вводило в заблуждение. Карамзин и А.Тургенев возмущались Пушкиным за то, что он «даже с Воронцовым не сумел ужиться».

Кто ближе знал Воронцова, чьи глаза смотрели зорче, тех его наружность не обманывала. Один из его подчиненных, сенатор К. И. Фишер, который познакомился с графом тогда же, когда и Пушкин, так определяет его в своих воспоминаниях: «Этот вельможа всеми приемами производил очень выгодное впечатление, впоследствии сарказмы Пушкина туманили его репутацию, но я продолжал верить в его аристократическую натуру и не верить Пушкину, тем более что кн. Меншиков отзывался о нравственных качествах Пушкина очень неодобрительно... Но когда Воронцов поехал к Позену (любимцу военного министра. — *А. Т.-В.*) на дачу поздравить его с днем рожденья, я поневоле должен был разделить мнение о Воронцове, господствовавшее в общественной молве. Под конец воронцовские мелкие интриги, нахальное лицеприятие и даже ложь — уронили его совершенно в моем мнении, и я остался при том, что он был дрянной человек».

Генерал А. П. Ермолов в письме к приятелю очень зло отметил эту лицемерную приспособляемость Воронцова: «Что делает брат Михайло? Читаю в газетах, что он член общества Библейского и старается о распространении слова Божия между командуемыми им войсками! Ничего не проронит. Мимо ничто не пройдет, из чего можно извлечь пользу. Если нужно — хоть в стихарь» *(1817)*.

Таков был начальник, к которому судьба и доброжелательные усилия друзей прикомандировали поэта. Хлопотун Александр Тургенев был очень доволен за Пушкина, что Воронцов «берет его к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиться» *(1 июня 1823 г.)*. «Кажется, все пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания...» Воронцов оказался плохим меценатом, да и самое понятие было противно независимому поэту. Много лет спустя он гневно писал: «У нас поэты от своих меценатов (чорт их побери!) требуют одного: чтобы они не входили на них в тайные доносы — и того не могут добиться...» *(«Египетские ночи»)*.

Пушкин не подозревал, на кого он сменяет добродушного Инзова. Он смотрел на свой переезд из «проклятого» Киши-

нева в полу-европейскую Одессу именно как на переезд, а не как на служебный перевод от одного начальника к другому. В Кишиневе, как и в Петербурге, он не служил, а только числился. Бессарабия ему надоела, хотелось новых впечатлений и встреч. Тянуло к морю. Замыслы кипели, скрещивались, теснились в его голове. Еще не был закончен «Бахчисарайский фонтан», а уже строились первые главы «Евгения Онегина», переплетаясь с «Цыганами», со сложными мыслями о народах и властителях, с «Демоном», где личные искания и разочарования поэта перевоплощались, отражая душу современников. Казалось, каждый из этих образов мог целиком захватить поэта. Но он вел их все сразу, как дирижер ведет оркестр. И если от поэмы к поэме, от элегии к роману можно проследить связь, родство, цельность переходов, то повторений искать в них нельзя. У каждого свои грани и свой блеск. Поэт играл этими огнями, как волшебник играет тайными токами, перебегающими в воздухе. Но и они владели им. Едва ли не «Онегин» погнал Пушкина в Одессу. Весной 1823 года он еще мог сказать: «Даль туманную романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал», хотя уже был полон своим романом. Работа кипела и радовала. Успех, слава и даже, к его удивлению, гонорары росли. Мысли ширились. Это уже был не «атлет молодой», это был зрелый художник, умевший работать упорно и одиноко. Его суждения, которые тогда он высказывал, главным образом в письмах, дышат мужественной мыслью. Стих приобретает красоту неслыханную.

А между тем, почти в каждом из 30 сохранившихся одесских писем тот же припев — мне скучно, у меня хандра. Первая песнь «Онегина» так и была озаглавлена — «Хандра».

Пушкин точно не сразу осмыслил давившую его тяжкую двойственность, грозность накапливавшегося противоречия между его собственной насыщенностью, наэлектризованностью творчеством и воронцовской насыщенностью, тоже своего рода наэлектризованностью «упорядочением администрации». Анненков, который еще писал о Пушкине с подцензурной осторожностью, так анализировал это положение:

«По способности возбуждать его (Пушкина. — *А. Т.-В.*) бессильный гнев и составлять безвыходные страдания души первенствующее место принадлежало тому учтивому, хотя и высокомерному презрению к его званию поэта и писателя, которое непременно должно было родиться в деловом мире, выдвинутом на первый план новым устройством власти и управления. Жизнь П. должна была казаться страшным бездельем всему этому миру, а известно, что у людей заведенного

порядка, ясных практических целей и работа мысли есть то же безделье... Ничто так не возбуждает их презрения и тайной ненависти, как горделивая претензия человека найти себе другое занятие, кроме того, которое признано всеми за настоящее и почетное».

Если бы кто-нибудь сказал Воронцову — Россия не покачнулась бы, проживи Новороссия еще несколько лет в беспорядке, а не будь «Евгения Онегина», Россия XIX века не была бы сама собой, — Воронцов счел бы говорившего просто сумасшедшим.

Глава XXX

БЕЗДЕНЕЖЬЕ И ДЕНЬГИ

Пушкин в Одессе был сначала еще беднее, чем в Кишиневе, где он без стеснения пользовался сердечным гостеприимством Инзова. Что с Воронцовым так нельзя, это он сразу и остро почувствовал. Жить пришлось в гостинице, обедать иногда у знакомых, изредка у Воронцова, довольно часто в ресторане услужливого Отона, где «часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет». Денег не было. Жалованье полагалось 700 рублей в год, да и те получались с запозданием. Пушкин переехал в Одессу в июне 1823 года, а первое причитавшееся ему еще за майскую треть жалованье получил только 13 декабря, да и то, по-видимому, сразу отдал в уплату старого долга. В тетрадках, непосредственно после оконченной 8 декабря II главы «Онегина», есть черновик французской записочки: «Посылаю вам, генерал (вероятно, это Инзов. — *А. Т.-В.*) 360 рублей, которые я вам уже давно должен. Примите мою искреннюю благодарность. Извиняться я даже не смею. Я пристыжен и смущен, что до сих пор не мог уплатить вам этот долг. Но это произошло потому, что я пропадал от нищеты. Примите, генерал, уверенье в моем глубоком почтеньи».

Отель, ресторан, театр, карты, — на все нужны были деньги. Разорившийся, легкомысленный Сергей Львович о сыне не заботился. Вскоре после своего переезда в Одессу Пушкин писал брату:

«Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти; хоть я знаю Закон Божий и 4 первые правила, но служу и не по своей воле — и в отставку идти невозможно. Всё и все меня обманывают — на кого же, кажется, надеяться, если не на

ближних и родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно. Крайность может довести до крайности. Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию — хоть письмы его очень любезны» *(25 августа 1823 г.)*.

Сергей Львович не считал себя обязанным поддерживать сына, но был рад подновить свою былую салонную славу, читая в гостиных его ненапечатанные стихи, хотя для поэта это было совсем не выгодно. Оправданием Сергею Львовичу может служить только то, что ему вряд ли приходило в голову, что стихи могут кормить.

А сын его крутился, как умел. Сохранился забавный рассказ старика извозчика по прозвищу Береза:

«Был тут в графской канцелярии Пушкин. Чиновник, что ли. Бывало больно задолжает, да всегда отдает с процентами. Возил я его раз на хутор Рено. Следовало пять рублей; говорит, в другой раз отдам. Прошло с неделю. Выходит: вези на хутор Рено!.. Повез опять. Следовало уже десять рублей, а он и в этот раз не отдал. Возил я его и в третий и опять в долг: нечего было делать; и рад был бы не ехать, да нельзя: свиреп был да и ходил с железной дубинкой. Прошла неделя, другая. Прихожу я к нему на квартиру. Жил он в клубном доме, во втором этаже, вот сверху над магазином Мирабо. Вхожу в комнату. Он брился. Я к нему. Ваше благородие, денег пожалуйте, и начал просить. Как ругнет он меня, да как бросится на меня с бритвой! Я бежать, давай Бог ноги; чуть не зарезал. С той поры я так и бросил. Думаю себе: пропали деньги, и искать нечего, а уже больше не полезу. Только раз утром гляжу, — тут же и наша биржа, — растворил окно, зовет всех, кому должен... Прихожу и я: «на вот тебе по шести рублей за каждый раз, да смотри, вперед не совайся!» — Да зачем же ездил он на хутор Рено? — «А Бог его знает! Посидит, походит по берегу час, полтора, потом назад».

Слухи о безденежье Пушкина доходили и на север. Простодушный А. Тургенев опять забеспокоился: «...Писал я снова гр. Воронцову и просил за Пушкина. Хоть ему и веселье в Одессе, но жить труднее, ибо все дорого, и квартиры и стола нет, как у Инзова. Авось будет. Он написал другую пьесу «Мой демон». Ее хвалят более всех его произведений» *(Вяземскому. 29 ноября 1823 г.)*.

Тургеневу как будто и в голову не приходило, что для поэта, написавшего «Кавказского пленника», «Вольность», «Деревню» и много других созданий, уже тогда вошедших в душу русскую, получить скромное право обедать у Воронцова не есть выход из положения. К счастью, Вяземский иначе понимал Пушкина и сумел его выручить.

К середине зимы денежные дела Пушкина неожиданно для него поправились. Он сделал важное открытие, что и в России можно жить сочинительством. Он уже десять лет печатал свои стихи, которые читались и повторялись по всей России. Слава была налицо, но денег сочинительство не приносило. 1000 рублей, которые Пушкин в Петербурге взял у Н. Всеволожского под свои стихи, были не гонораром, а зачетом карточного проигрыша, который Пушкин покрыл рукописью. За «Руслана и Людмилу» он ничего не получил, кроме права взять в счет несколько книг у книгопродавцев. Немудрено, что Пушкин писал Вяземскому: «Кавказский мой Пленник кончен — хочу напечатать, да лени много, а денег мало и меркантильный успех моей прелестницы Людмилы отбивает у меня охоту к изданиям» *(2 января 1822 г.)*.

За «Кавказского пленника» Гнедич дал ему 500 рублей. Кажется, сам гораздо больше на нем заработал. Для Пушкина этот гонорар был приятным началом урожайного года. Он весело писал тогда брату: «Пишу тебе, окруженный деньгами, афишками, стихами, прозой, журналами, письмами, — и все то благо, все добро...» *(30 января 1823 г.)*.

Возможно, что и афишка относилась к «Кавказскому пленнику». Как только поэма вышла, известный петербургский балетмейстер Дидло состряпал из нее «большой, древний, национально-пантомимический балет «Кавказский пленник, или Тень невесты». Балет был поставлен 15 января с Истоминой в роли черкешенки. Постановка «Кавказского пленника» и «Черной шали» увеличила славу Пушкина, но не приносила ему червонцев. Только после напечатания «Бахчисарайского фонтана» Пушкин стал зарабатывать стихами.

4 ноября 1823 года послал он рукопись Вяземскому. К январю, когда поэма еще не была напечатана, до него дошли слухи, что рукопись ее ходит по рукам. Пушкин, и без того «собой, и жизнию, и светом недовольный», взбесился. С оказией, минуя цензуру, послал он брату сердитое письмо: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича (то есть Царя. — *А. Т.-В.*) о своем отпуске чрез его министров — и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene ibi patria*. А мне bene там, где растет трин-трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то ею в России мудрено

---

*Где хорошо, там и отечество *(лат.)*.

довольствоваться. Русская слава льстить может какому-нибудь В. Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. Mais pourquoi chantais-tu?* На сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма. Плетнев пишет мне, что Бахчисарайский Фонтан у всех в руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей Славе! благодарю в особенности Тургенева, моего благодетеля; благодарю Воейкова, моего высокого покровителя и знаменитого друга! Остается узнать, раскупится ли хоть один экземпляр печатный теми, у которых есть полные рукописи; но это безделица — поэт не должен думать о своем пропитании, а должен, как Корнилович, писать с надеждою сорвать улыбку прекрасного пола. Душа моя, меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть?» *(начало января 1824 г.)*.

Даже Тургеневу попало, хотя он, бедняга, никак сам не мог добраться до «Ключа», как, беся Вяземского, упорно называл он в своих письмах «Бахчисарайский фонтан». Но в сердитой фразе о Тургеневе запоздалый упрек «благодетелю» за то, что сосватал поэта с меценатом. Так накипело, наросло, наболело в душе у Пушкина, что в конце письма прорвалось что-то похожее на обиду против Н. Раевского, которого он очень любил:

«Может быть я пришлю ему (Дельвигу. — *А. Т.-В.*) отрывки из Онегина; это лучшее мое произведение. Не верь Н. Раевскому, который бранит его — он ожидал от меня Романтизма, нашел Сатиру и Цинизм и порядочно не расчухал» *(январь 1824 г.)*.

В этом очень характерном письме вылилось не только растущее раздражение против цензуры, политических условий, не только литераторский гнев. Его рассердило, что в печать попали стихи, которых он не хотел печатать. В этом целомудренном гневе были еще отголоски утаенной крымской любви. Поздней осенью 1823 года, дописывая и выправляя «Бахчисарайский фонтан», Пушкин платил последнюю дань «мятежным снам любви несчастной» и вычеркивал то, что могло показаться нескромностью. А на недоступном ему севере приятели бесцеремонно распоряжались его стихами, рукописями, даже письмами. А. Бестужев поместил в «Полярной Звезде» «Таврическую элегию» целиком, хотя Пушкин просил не печатать три последние строчки. Он считал их слишком личными и даже из издания 1826 года выбросил. «Я

---

* Но почему ж ты пел? *(фр.)*.

давно уже не сержусь за опечатки, — писал Пушкин по этому поводу А. Бестужеву, — но в старину мне случалось забалтываться стихами, и мне грустно видеть, что со мною поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности» *(12 января 1824 г.)*.

Позже, одолев свой гнев, он сдержанно писал А. Бестужеву: «Радуюсь, что мой Фонтан шумит... Я писал его единственно для себя, а печатаю, потому что деньги были нужны» *(8 февраля 1824 г.)*.

Нашумевший «Фонтан» принес наконец Пушкину желанную материальную независимость. Вяземский, не дожидаясь появления книги, прислал ему 3000 рублей. Деньги дошли до Одессы к 8 марта, а книга, печатавшаяся в Москве, до Петербурга доехала только 18 марта. А. И. Тургенев хотел сам поднести экземпляр императрице Елизавете Алексеевне и был очень огорчен, что другой Арзамасец, Уваров, забежал вперед и предупредил его. Через три дня он писал Вяземскому: «Фонтан здесь продается с успехом. В одно время два тома Истории Карамзина, три нового издания Жуковского и «Бахчисарайский фонтан», да еще и духовная книжка Кочетова, то хоть бы и не у нас!» *(21 марта)*.

Пушкин был поражен неслыханным для русского сочинителя гонораром и радостно писал Вяземскому: «От всего сердца благодарю тебя, милый Европеец, за неожиданное послание или посылку. Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше право не хуже другого. Одно меня затрудняет; ты продал все издание за 3000 р., а сколько ж стоило тебе его напечатать? Ты все-таки даришь меня, бессовестный!.. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Благо я принадлежу к нашим писателям 18 века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола» *(8 марта 1824 г.)*.

На самом деле Вяземский совсем «не барничал» и на печатанье книги ничего не истратил. Он получил эти 3000 рублей от книгопродавца А. С. Ширяева. Посредником по этой сделке был Пономарев, который сверх того за комиссию получил от Ширяева 500 рублей, ровно столько, сколько заработал Пушкин на предыдущей своей поэме. Печатание тоже обошлось издателю в 500 рублей, и все-таки дело оказалось прибыльным, так как книга очень быстро разошлась. Помог и Вяземский, написав к «Бахчисарайскому фонтану» блестящее предисловие: «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова».

Денежный успех книги поразил не только Пушкина. «Новости Литературы» поместили «Заметку о «Бахчисарайском фонтане» не в литературном отношении»: «Появление «Бах-

чисарайского фонтана» достойно внимания не одних любителей поэзии, но и наблюдателей успехов наших в умственной промышленности. Рукопись маленькой поэмы Пушкина была заплачена три тысячи рублей; в ней нет шестисот стихов; итак стих (да еще какой же! заметим для биржевых оценщиков — мелкий четырехстопный стих) обошолся в пять рублей с излишком. Стих Байрона, Казимира Лявиня, строчка Вальтер-Скотта приносят процент еще значительнейший, это правда! Но вспомним и то, что иноземные капиталисты взыскивают проценты со всех образованных потребителей на земном шаре, а наши капиталы обращаются в тесном домашнем кругу.

Пример, данный книгопродавцем Пономаревым, купившим манускрипт поэмы, заслуживает, чтобы имя его сделалось известным: он обратил на себя признательное уважение друзей просвещения, оценив труд ума не на меру и не на вес. К удовольствию нашему можем также прибавить, что он не ошибся в расчетах и уже вознагражден прибылью за смелое покушение торговли».

Заметку эту написал Вяземский. Как русский писатель, он был доволен, чувствуя, что наконец литература становится независимой от покровителей. Как посредник между поэтом и издателем, он был рад, что оказал «Бесу-Арабскому» такую важную услугу.

Гонорар, полученный Пушкиным за 600 «мелких стихов», открыл новую эпоху в истории русской литературы. Это был триумф для писателей, для всей нарождавшейся интеллигенции, которой предстояло еще создать то, что Вяземский метко назвал умственной промышленностью. Пушкин и тут проложил новые пути, закладывая основу материальной независимости писателей, без которой слабым людям трудно бывает сохранить независимость духовную. Для него самого это было волшебной переменой. Полоса безденежья, а в особенности денежной запутанности не раз возвращается и в его позднейшей жизни. Но в Одессе он нашел свой промысел, убедился, что можно жить пером, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

Через несколько недель после получения гонорара за «Фонтан» Пушкин весело писал Вяземскому: «Слёнин предлагает мне за Онегина, сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе, а я думал, что это ошибка географов. Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости — мне необходимой» *(апрель 1824 г.)*.

Пушкин был не только поэтом, но и общественным деятелем, его личное поведение, его мысли, чувства и поступки, требования, которые он предъявлял к себе и к обществу,

внесли огромное изменение в положение русских писателей. Он был не один. Одновременно с ним Россия выплеснула из недр народных целую плеяду даровитых, блестящих поэтов и писателей. Пушкин ощущал их талантливость, был искренно счастлив каждым их проявлением. Но впереди шел он. Он наложил на эпоху горящий знак своего гения, своего ума, своих нравственных запросов.

Поплатившись за стихи крутой высылкой на юг, лишенный свободы передвижения «ссылочный невольник» не мог не задуматься над положением писателей. Эти мысли сказались в его стихах, переплелись с родственным обликом Овидия, но главным образом дошли до нас в его письмах с юга. Пушкина, как его литературных собратьев в Москве и Петербурге, бесила цензура. Зимой 1822/23 года Вяземский хотел подать официальное прошение с жалобой на цензора А. И. Красовского, не пропускавшего его статьи. Тургенев старался его отговорить. Вяземский злился, кипел, сыпал остротами: «Как же мне назвать, как не прошением? Je ne puis pas cependant lui envoyer un cartel*... Могу доложить министру, что собственность ума — также собственность, коею пользоваться можно, соглашаясь с существующими постановлениями и узаконениями. Я хлопочу... чтобы показать, что цензура у нас руководствуется нелепыми причудами...» *(июнь 1823 г.)*.

Арзамасец Д. В. Дашков писал поэту-сановнику И. И. Дмитриеву: «Цензоры с бедными авторами суровее нежели когда-нибудь. Одна от них бывает поживка, а именно, — когда Бируков поссорится с товарищем своим Красовским: тогда он пропускает назло между позволенными иногда и сомнительные. Но у Красовского всякая вина виновата: самому Агамемнону в Илиаде запрещается говорить, что Клитемнестра вышла за него замуж девою, и если какой-нибудь рифмач заговорит в восторге о *чуждой* земле и *чуждом* небе, рассудительный цензор тотчас же остановит его, напомнив, что небо одно и земля одна. Таких анекдотов много».

Если так писал благонамеренный Дашков, то как должен был кипеть Пушкин, когда калечили его стихи, выбрасывая то целые строчки и строфы, то отдельные эпитеты. Даже в письмах он с трудом сдерживался, хотя отлично знал, что правительство следило за его перепиской. В июне 1822 года, посылая из Кишинева А. Бестужеву для альманаха «Полярная Звезда» свои «Бессарабские бредни» и между ними оду «К Овидию», Пушкин писал: «Кланяйтесь от меня Цензуре, старинной моей приятельнице; кажется голубушка еще поум-

---

*Ведь я не смогу послать ему вызов *(фр.)*.

нела. Не понимаю, что могло встревожить ее целомудренность в моих элегических отрывках — однако должно нам настоять из одного честолюбия — отдаю их в полное Ваше распоряжение. Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, — но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа — по-видимому ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого Вам угодно (например, услужливого Плетнева или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по *Тавриде*), повторяю вам — она ужасно бестолкова, но впрочем довольно сговорчива. Главное дело в том, чтоб имя мое до нее не дошло — и все будет слажено».

Так и было сделано. «К Овидию» было напечатано в альманахе без двух заключительных строчек:

Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

Вместо подписи стояли две звездочки. Но читателя уже трудно было обмануть. Когда «Полярная Звезда» вышла, Пушкин шутливо писал брату: «Ради Бога, люби две звездочки, они обещают достойного соперника знаменитому Панаеву, знаменитому Рылееву и прочим знаменитым нашим поэтам» *(30 января 1823 г.)*.

Потрепала цензура и «Кавказского пленника». Пушкин сердито писал по этому поводу Н. И. Гнедичу: «Но какова наша цензура? Признаюсь, никак не ожидал от нее таких больших успехов в эстетике — ее критика приносит честь ее вкусу. Принужден с нею согласиться во всем: Небесный пламень слишком обыкновенно; долгий поцелуй поставлено слишком *на выдержку... Его томительную негу вкусила тут она вполне* — дурно, очень дурно... С подобострастием предлагаю эти стихи на рассмотрение цензуры... конечно иные скажут, что эстетика не ее дело...» *(27 июня 1822 г.)*.

И на следующий год уже сердито писал он Вяземскому:

«Зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. Ночей, ночей, — ради Христа, ночей Судьба на долю ей послала. То ли дело ночей, ибо днем она с ним не видалась — смотри поэму. И чем же ночь неблагопристойнее дня? которые из 24 часов именно противны духу нашей цензуры? Бируков добрый малый, уговори его или я слягу» *(14 октября 1823 г.)*. Когда Вяземский пытался тягаться с цензурой, Пушкин из Кишинева с понятным интересом следил за неравной борьбой. «Сделай милость, напиши мне обстоя-

тельнее о тяжбе своей с цензурою. Это касается всей православной кучки. Твое предложение собраться нам всем и жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, таковой поступок приемлется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь на нас ужасные подозрения и причинить большие беспокойства... Соединиться тайно, но явно действовать в одиночку, кажется, вернее. В таком случае должно смотреть на поэзию, с позволения сказать, как на ремесло. Русо не впервой соврал, когда утверждает que c'est le plus vil des métiers. Pas plus vil qu'un autre*. Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне. На конченную свою поэму я смотрю как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом. Цеховой старшина находит мои ботфорты не по форме, обрезывает, портит товар; я в накладе; иду жаловаться частному приставу; все это в порядке вещей. Думаю скоро связаться с Бируковым и стану доезжать его в этом смысле — но за 2000 верст мудрено щелкать его по носу. Я барахтаюсь в грязи молдавской, чорт знает, когда выкарабкаюсь. Ты — барахтайся в грязи отечественной...»

Письмо без даты, но, вероятно, писано зимой 1822/23 года. Судя по более свободному тону и по тому, что Пушкин вложил в него «несколько пакостей», в том числе очень опасное для него стихотворение «Христос Воскрес, моя Ревекка», оно было послано с оказией, минуя почтовую цензуру. Как бы закрепляя связь с «православной кучкой», то есть с писателями-единомышленниками, Пушкин подписал его двумя начальными буквами Арзамасского своего прозвища: Св. — («Сверчок»). Обещая «скоро связаться с Бируковым», он намекает на «Первое послание к Цензору», где так блистательно проявилась могучая способность поэта сотворить прекрасное даже из цензурных гонений. Казалось, сцепление обид, уколов, раздражающих нелепостей, унизительных помех, разрушительных помарок пылью засорит душу сочинителя. Пушкин задумался, взмахнул руками и поплыл на плавных волнах великолепного стиха:

Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой,
Сегодня рассуждать задумал я с тобой...

Это то послание, где есть строчка, в четырех словах характеризующая целую эпоху:

---

*Что это наиболее подлое ремесло. Но не более подлое, чем любое другое *(фр.)*.

Дней Александровых прекрасное начало.

Во «Втором послании к Цензору», писанном уже в Михайловском, Пушкин с усмешкой рассказывает, что заставило его писать первое Послание:

Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзости бранчивую свербежь —
Но извини меня: мне было невтерпеж.
(1824)

При жизни поэта «Послания к Цензору» не были напечатаны. Это из тех его произведений, о которых он сам писал: «И Пушкина стихи в печати не бывали». Но по рукам они ходили, усугубляя его репутацию либералиста и карбонария, усиливая недоброжелательность власти.

Вяземский в статье о «Кавказском пленнике», напечатанной в «Сыне Отечества» *(1822)*, писал: «Кстати о строгих толкователях или перетолкователях, заметим, что, может быть, они поморщатся и от нового произведения поэта пылкого и кипящего жизнью. Пускай их мертвая оледенелость не уживается с горячностью дарования во цвете юности и сил, но мы, со своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии, в полном уверении, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах дозволенного».

Получив эту статью, Пушкин написал Вяземскому: «Благодарю за щелчок цензуре, но она и не этого стоит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом — презрение к Руским писателям нестерпимо; подумай об этом надосуге, да соединимся. Дайте нам цензуру строгую, согласен, но не бессмысленную». И вдруг, точно скучно стало повторять в прозе то, что гораздо лучше вылилось в стихах: «Читал ли ты мое послание Бирукову? Если нет, вытребуй его от брата или от Гнедича...» *(6 февраля 1823 г.)*.

Так уже в Кишиневе, под гостеприимным кровом мудрого сердцем Инзова, негодовал поэт на недостаточное уважение правительства к писателям. В Одессе холодное высокомерие Воронцова воочию показало ему, что значит чиновничье

презрение к русским писателям. В то же время цензура лишала его «собственности ума», он начинал бояться, что при такой цензуре нельзя жить пером.

Денежный успех «Бахчисарайского фонтана» доказал неосновательность этого опасения и в известной степени явился поворотным событием в жизни Пушкина. Для него сочинительство всегда было главным содержанием жизни. Теперь и другие должны были признать, что это не баловство, а промысел. Гордость Пушкина, его прирожденное, с годами все более углублявшееся чувство собственного достоинства, наконец, неизбежное ощущение своей исключительности, своего права на царственную свободу, — все это требовало и внешней независимости. От нее усиливалась внутренняя упругость, с которой Пушкин переносил противоречия и удары судьбы. Писательское сознание, сознание неразрывной связанности с творчеством было неотъемлемым, основным его свойством. Муза всегда была тут, рядом. Денежный успех ничего не менял, но усиливал логическое понимание прав и обязанностей писателя к обществу и общества к писателю.

«Бахчисарайский фонтан» читался и покупался нарасхват. Восторг читателей разделяла и критика. Самую блестящую оценку поэмы дал в своем предисловии Вяземский, где он выступил прежде всего как воинственный сторонник нового тогда романтизма.

Это предисловие усилило шум, поднявшийся вокруг «Фонтана», вовлекло в спор людей, еще недавно чуждых русской поэзии: «Вся Москва исполнена нашей брани. Весь Английский клуб научился читать моей милостью», — с удовольствием писал Вяземский Тургеневу *(12 мая 1824 г.)*.

Вяземский сумел в нескольких словах определить, в чем прелесть поэмы: «Цвет местности сохранен в повествовании со всею возможною свежестью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге... Поэт явил в новом произведении признаки дарования зреющего более и более... Рассказ у Пушкина жив и занимателен. В произведении его движения много. В раму довольно тесную вложил он действие полное, не от множества лиц и сцепления разных приключений, но от искусства, с каким поэт умел оттенить и выставить главные лица своего повествования. Действие зависит, так сказать, от деятельности дарования; слог придает ему крылья или гирями замедляет ход его. В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца...»

Услышать такую оценку от Вяземского, ум и дарования которого он высоко ценил, было, конечно, для Пушкина очень освежительно. Особенно при его ссылочной оторван-

ности от центров умственной жизни, от личного общения с писателями, с которыми он привык проверять свои мысли, а отчасти и цели.

Но и успех, и сознание своей творческой силы, и уже окрепшее, возмужавшее чувство личного достоинства, — все оказалось в полном противоречии с его общественным положением в Одессе, а главным образом, с настроением высшего представителя государственной власти, гр. М. С. Воронцова.

Летом 1824 года, когда между ними произошел уже открытый разрыв, Пушкин в бешенстве писал Тургеневу: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое».

Глава XXXI

РОМАНТИЗМ

«В этот день мне случилось в первый раз обедать с Пушкиным у графа, — рассказывает Липранди. — Он сидел довольно далеко от меня и через стол часто переговаривался с О. С. Нарышкиной, но разговор почему-то вовсе не одушевлялся. Гр. Воронцов и Башмаков иногда вмешивались в разговор, двумя, тремя словами. Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном настроении духа. Вставши из-за стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал, между многими, свою шляпу, и на вопрос мой — куда? — «Отдохнуть», — отвечал он мне, присовокупив: «Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...» не окончил и вышел. В восемь часов вечера возвратился я домой и, проходя мимо номера Пушкина, зашел к нему. Я застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у мавра Али. Этот мавр, родом из Туниса, был капитаном, то есть шкипером коммерческого или своего судна, человек очень веселого характера, лет 35, среднего роста, плотный, с лицом загорелым и несколько рябоватым, но очень приятной физиономии. Али очень полюбил Пушкина, который не иначе называл его, как корсаром. Али говорил несколько по-французски и очень хорошо по-итальянски. Мой приход не переменил их положения. Пушкин мне рекомендовал его, присовокупив, что — «у меня лежит к нему душа: кто знает, может быть мой дед с его предком был близкой родней». И вслед за сим начал его щекотать, чего мавр не выносил, а это забавляло Пушкина. Я пригласил их к себе пить чай... Господствующий разговор был о Кишиневе. Ал. С. находил, что положение его во всех отношениях было гораздо выносимее там, чем в Одессе, и

несколько раз принимался щекотать Али, говоря, что он составляет для него здесь единственное наслаждение».

Этого Мавра Али, или, по французскому произношению, Мор-Али, Пушкин помянул в «Странствиях Онегина»: — «И сын египетской земли Корсар в отставке, Морали». Яркое его описание оставил одесский старожил М. Ф. де Рибас: «Это был человек прекрасно сложенный, высокого роста. Голова была широкая, круглая; глаза большие, черные. Все черты лица были правильные, а цвет кожи красно-бронзовый. Одежда его состояла из красной рубахи, поверх которой набрасывалась красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом. Короткие шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, служившею поясом, из ее многочисленных складок выглядывали пистолеты. Обувь состояла из турецких башмаков и чулок, доходивших до колен. Белая шаль, окутывавшая его голову, прекрасно шла к его оригинальному костюму... Он хорошо говорил по-итальянски и никогда не обижался, когда ему напоминали о прежних корсарских подвигах».

Пирата Али жизнь послала Пушкину как своеобразную поправку к романтическим корсарам Байрона. Пираты английского поэта мрачны и загадочны. Они редко улыбаются, но часто скрежещут зубами. Пушкину судьба послала веселого пирата, картежника и гуляку, такого же жизнерадостного и смешливого, как сам Пушкин. Возможно, что с этим чернокожим капитаном, привыкшим возить контрабанду, Пушкин обдумывал свой план бегства за границу: «Взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь».

Среди иностранцев-шкиперов у Пушкина было немало приятелей. Княгиня Вера Вяземская рассказывала Бартеневу, что, когда поэт узнал, что его высылают из Одессы, «он сделался сам не свой. Пропадал целыми днями. «Что вас не видно? Где вы были?» — «На кораблях. Трое суток сряду пили и кутили».

Пушкин не боялся контрастов. Он дружил с весельчаком Морали, который не опровергал модные романтические повести о мрачных терзаньях разбойничьей души, и дружил в Одессе с Александром Раевским, около которого мог проверять байронический скептицизм, язвительное отрицанье, разочарованье в людях, в жизни — все, чем разъедали себе душу неврастеники того времени.

Между ними сложились отношения путаные и до конца не раскрытые биографами. При первой же встрече на Кавказе Пушкин, со свойственной ему потребностью искать в людях превосходства, увлекся Александром Раевским. Он принял его язвительность за ум, его душевную сухость за твердость

характера, которого у Раевского, как у типичного «лишнего» человека, не было.

В Одессе что-то произошло между ними, Раевский провел по сердцу поэта какую-то царапину, болезненную, долго не заживавшую.

Александр Раевский в своем кругу слыл умницей. Его не столько любили, сколько боялись. Пушкин тушил огонь, чтобы свободнее говорить с ним. Что-то было в этом человеке острое, зловещее. «Высокий, худой, даже костлявый, с небольшой, круглой и коротко остриженной головой, с лицом темно-желтого цвета, с множеством морщин и складок — он всегда, я думаю, даже когда спал, сохранял саркастическое выражение, чему, быть может, немало способствовал его очень широкий с тонкими губами рот. Он по обычаю двадцатых годов всегда был гладко выбрит и хотя носил очки, но они ничего не отнимали у его глаз, которые были очень характеристичны. Маленькие, изжелта-карие, они всегда блестели наблюдательно живым и смелым взглядом с оттенком насмешливости и напоминали глаза Вольтера. Вообще он был скорее безобразен, но это было безобразие типичное, породистое...» *(гр. А. В. Капнист).*

Это была не только внешняя насмешливость. Александр Раевский был бездушный неудачник, с огромным неудовлетворенным самолюбием. Горячее, великодушное сердце Раевского-отца болело, глядя на старшего сына. «Как он холоден!.. Он не верит в любовь... Он не способен любить...»

Пламенный, страстный даже в дружбе Пушкин не сразу разгадал Александра Раевского. Поддался внешнему влиянию острословия, принял недоброжелательность ума за проницательность, готов был даже прислушиваться к его неизменно строгим суждениям о своих стихах, хотя Раевский был строг, потому что никаких стихов не любил. «Поэзия была ему дело вовсе чужое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство» *(Вигель).* Ему не понравился ни «Кавказский пленник», ни «Онегин». Про «Горе от ума» он писал сестре: «Глупая пьеса, отвратительная во всех отношениях... отсутствие плана... жестокость и беспорядочность версификации, достойная Тредиаковского».

Так и характер, и вкусы, и сердечные свойства — все было у Пушкина и Раевского различно. А все-таки поэта тянуло к нему. Под личиной насмешливого друга он не сразу разгадал недоброго противника. Пушкин переехал в Одессу, когда еще не изжил запоздалые юношеские сомнения, метафизические и политические, даже не до конца преодолел он еще горечь личных разочарований, порожденных клеветой, ссылкой,

бедностью, одиночеством. Он стремился обнажить кумиры, разоблачить тайны и вечности, и гроба. Возможно, что Раевский брался «истолковать мне все творенье и разгадать добро и зло». Для сильного жизнью творческого духа Пушкина эта встреча с бездушным, бесплодным отрицанием была одним из психологических опытов, без которых у художника не хватит материала для творчества.

На полях черновой рукописи «Кавказского пленника» два раза (а может быть, и больше) набросал Пушкин мужской профиль с плотно сомкнутыми тонкими надменными губами. Это лицо не похоже на тот портрет Александра Раевского масляными красками, где он изображен красивым, франтоватым офицером. Но ведь и описание А. В. Капниста не похоже на этот красивый портрет. В альбоме Е. Н. Раевской-Орловой есть другой портрет ее брата Александра в профиль. Он очень схож с рисунками Пушкина, который славился умением улавливать сходство. В первый раз этот хмурый профиль набросан на той странице поэмы, где пленник открывает перед черкешенкой свою охлажденную разочарованием душу. Текст начинается словами: «Без упоенья, без желаний, я вяну жертвою страстей». На полях рисунок, а над ним первый набросок стихотворения; точно Пушкин дал сгущенные выжимки этой опустошенной психологии:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Тут, как и в монологе пленника, есть общее с «Демоном», есть родство с Алеко, с самим Евгением Онегиным, для создания которого подготовляли Пушкина и в Петербурге, и на юге все его наблюдения над жизнью и людьми.

В черновых списках «Кавказского пленника» есть строчки не только психологически, но и словесно переплетающиеся с «Демоном»:

В те дни, когда холмы, дубравы,
Глухих морей и ветров шум,
Девичий взор и гимны славы
Еще пленяли жадный ум...

Это черновик «Кавказского пленника». Написанный два или три года позже «Демон» начинается так:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья...

Это один из многочисленных примеров пушкинской бережливости. Народившийся образ, настроение, звукосочетание он хранил в поэтической лаборатории, отделял от других элементов, выявлял, рано или поздно вводил в свои произведения. Он не жалел своих физических сил, мотал их, как мотал деньги, когда они у него заводились. Но внутренние свои богатства стерег зорко и скупо.

Долго крутился над ясной душой поэта лукавый дух отрицанья и сомненья. Его вкрадчивый голос звучит сквозь вихрь кощунственных стихов, писанных на Страстной неделе в 1821 году. Но их сразу сменяют в тетрадках наброски, отражающие космическую скуку жизни, метафизическую тревогу. «Судьба души, судьба вселенной... И предрассудки вековые, и тайны гроба роковые... Меня ничтожеством могила устрашает... Ты сердцу непонятный мрак, приют отчаянья слепого...» Это писано весной 1823 года (вероятно, до 28 мая), непосредственно перед черновиками первой главы «Онегина», которая называлась «Хандра».

Даже раньше, в тетрадях 1822 года, есть ряд стихотворных эскизов с мотивами, общими «Кавказскому пленнику», «Демону», Алеко и Онегину. Они разбросаны в разных тетрадях, и хронологическую последовательность установить трудно, но внутренняя связь очевидна:

Мне было грустно, тяжко, больно,
Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе;
Я стал взирать его очами,
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад.

Это, вероятно, писано в 1822 году. Через двадцать с лишним страниц, исписанных главным образом строфами «Евгения Онегина», эти строчки опять повторяются. Потом идет:

Открыл я жизни бедной клад,
В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд...

Из всех этих разрозненных строчек, мыслей, определений, настроений Пушкин выковал своего «Демона». Точно алхимик выжег из груды угля сверкающий алмаз. Тут дело не в Раевском, тут освобождение души поэта от плена, открытая исповедь, облеченная в такие стихи, от которых содрогнулись его поэтические современники:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапно осеня —
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимый клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

(1823)

«Демон» быстро долетел до северных друзей поэта. 29 ноября 1823 года А. И. Тургенев писал из Петербурга Вяземскому: «Пушкин написал другую пиесу: «Мой демон». Ее хвалят более других произведений». И в том же письме радовался, что авось Воронцов будет кормить Пушкина даровыми обедами. «Демон расшевелил ленивого Жуковского, ни разу не побаловавшего опального поэта дружеским письмом. Он вдруг дал голос, вдруг показал «Сверчку своего сердца», что их поэтическая дружба не ослабела за годы разлуки: «Обнимаю тебя за твоего Демона. К черту черта! Вот пока твой девиз. Ты создан попасть в Боги — вперед. Крылья у души есть! Вышины она не побоится, там ее настоящий элемент! Дай свободу этим крыльям — и небо твое. Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать себе будущее, то сердце разогревается надеждою за тебя. Прости, чертик, будь Ангелом. Завтра же твой Ангел. Твои звали меня к себе, но я быть у них не могу: пошлю только им полномочие выпить за меня заздравный кубок и за меня провозгласить: быть Сверчку Орлом и долететь ему до солнца» *(1 июня 1824 г.)*.

Пришел в восторг от красоты «Демона» и другой парнасский брат Пушкина, барон А. А. Дельвиг. Он считал, что толпа не в состоянии понять «всей красоты» таких стихов.

Понять, может быть, и не могла, но подхватила сразу. «Демона» все знали еще задолго до напечатанья. Далекий от сочинительства генерал кн. С. Г. Волконский, сообщая поэту, уже сосланному в псковскую деревню, о своей помолвке с М. Н. Раевской, с которой он предполагал «в половине ноября пред алтарем свершить свою свадьбу», между прочим писал: «Неправильно Вы сказали о Мельмоте, что он в природе ничего не благословлял, прежде я был с Вами согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувства дружбы благородной и неизменной обстоятельствами» *(18 октября 1824 г.)*.

Когда декабрьское восстание привело Волконского в крепость, ему пришлось переменить мнение о неизменном благородстве Мельмота-Раевского.

Пушкин сам был доволен, испытал поэтическое удовлетворение, вылив наконец свои многолетние мысли в эти кованные 24 строки. Когда «Демон» в конце 1824 года был напечатан в сборнике «Мнемозина», издававшемся кн. В. Ф. Одоевским, Пушкин вскипел от ошибок и искажений в тексте. (Было напечатано: «Когда еще мне были новы все наслажденья... Мне сильно волновали кровь в часы надежд и упоений...) Из Михайловского Пушкин послал брату письмо, которое начиналось негодующими словами: «Не стыдно ли Кюхле ошибочно напечатать моего Демона! моего Демона! После этого он и Верую напечатает ошибочно. Не давать ему за то ни Моря, ни капли стихов от меня» *(4 декабря 1824 г.)*.

Старание читателей и приятелей связать каждое произведение, каждую строчку с личными чувствами поэта или с определенным лицом не раз вызывали отпор со стороны Пушкина. Кончая первую главу «Онегина», Пушкин решительно отгораживался от сходства с героем:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель,
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт.
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом?

Это писано в октябре 1823 года одновременно с «Демоном», портретность которого поэт тоже отрицал. Есть черновая его заметка, где Пушкин говорит, что критики ошиблись,

указывая в «Демоне» лицо истинное, которое «Пушкин будто бы хотел изобразить».

«В лучшее время жизни сердце юноши, еще не охлажденное опытом, доступно всему высокому и прекрасному. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия существенности рождают в нем чувство мучительное, но не продолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие предрассудки души (вариант: утешительные заблуждения. — *А. Т.-В.*). Недаром великий Гёте называет вечного врага человечества духом отрицающим. И Пушкин не хотел ли в своем Демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения?»

Заметка писана четыре года спустя после «Демона», когда, через все перемены жизни, Пушкин издали оглядывался на свои южные скитания и волнения. Лев Поливанов, забытый, но очень тонкий и вдумчивый исследователь, проводя параллель между Демоном и Онегиным, открывает черты самого Пушкина в Пленнике, в Онегине, в Демоне. Борясь с искушением скептицизма, поэт перекидывает его в своих героев. «Так сдал неуязвимый Пушкин собственную душевную тяжесть, свой малодушный страх смерти второму порождению своей поэтической фантазии, — писал Л. Поливанов, — подобно тому, как охлаждение к жизни бесповоротно сдал Онегину и сам, как лицо постороннее, как третейский судья обоих, повел свою повесть далее с свободной душой».

Возможно, что, написав «Демона», Пушкин вышел наконец из бесплодной полосы отрицаний, освободился от чужих язвительных сомнений, ускользнул от умственного влияния Александра Раевского. Телом и духом он утверждал жизнь, хотел все знать, все испытать, умел н созерцать и наслаждаться, любил карты и книги, женщин и мысли, был полон радости жизни. Грусть для него если не случайность, то нечто навеянное, навязанное извне, порожденное не его космическими мироощущениями, а роковыми противоречиями жизни. И человеческой низостью. Ясный, солнечный, он всегда готов был залиться звонким, заразительным смехом. Но и в слезах его звенело что-то детское. Великий Пушкин, маленькое дитя.

Он с усмешкой признавался, что не годится в романтические герои. Не случайно посвятил он целую оду эпикурейцу Овидию, а Байрону, кумиру тогдашней молодежи, от которого «сам с ума сходил», только несколько строк. В этом «с ума сходил» сказалась постоянная потребность Пушкина увлекаться, восторгаться, искать в других людях, в других художниках высших проявлений ума, характера, творчества.

Но когда дело шло о литературе, о поэзии, его критический, ясный ум быстро охлаждал преувеличенные порывы. Среди

тогдашних литераторов он первый разгадал Байрона. Вяземский, внимательно следивший за развитием Пушкина, написал:

И Пушкин в юности греховной,
К нему подделавшись, хромал,
Пока, не сбросив гнет условный,
Сам твердым шагом зашагал.

Эта хромота началась приблизительно с Гурзуфа, а в Кишиневе уже проходит. В Одессе Пушкин изжил, или исписал, байроническое настроение, которое отбросило тень на две его южные поэмы, сказалось отчасти и в третьей, в «Цыганах». Тут чувства, мысли, переживания не только Пушкина, но и его современников, только пропущенные через его все впитывавшую душу, через его творческое воображение. Вообще при размерах пушкинского гения вернее говорить не о подражании, а о созвучии, о преемственности.

Читать Байрона Пушкин мог еще в Петербурге, до ссылки. Летом 1819 года Блудов прислал Жуковскому «Мазепу» и «Манфреда», и еще какие-то сочинения Байрона. Александр Тургенев уверял, что гений Байрона разбудил сонную музу Жуковского. Не один Жуковский, но все Арзамасцы сразу увлеклись английским романтиком. По-английски читали его немногие. Большинство, не зная языка, знакомились с Байроном по французским переводам. К числу их принадлежали Пушкин, Жуковский, Вяземский. Он писал А. Тургеневу из Варшавы: «Я все это время купаюсь в пучине поэзии: читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии! Как Жуковский не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов! Без сомнения, если решусь когда-нибудь чему учиться, то примусь за английский язык единственно для Байрона. Знаешь ли ты его «Пилигрима», четвертая песнь (Чайльд Гарольда. — *А. Т.-В.*). Я не утерплю и, верно, хотя для себя переведу с французского несколько строф, разумеется, сперва прозою» *(11 октября 1819 г.)*.

На это Тургенев отвечал: «Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона. Я нагреваюсь им и недавно купил полное издание в семи томах» *(22 октября 1819 г.)*.

В кружке Тургенева письма Вяземского, конечно, были общим достоянием. Пушкин не мог не знать восторженных тирад Вяземского, переживавшего в Варшаве припадок острой влюбленности в Чайльд Гарольда и его автора. Когда, год спустя, до Вяземского дошла первая южная элегия Пушкина («Погасло дневное светило»), он услыхал в ней отголоски своего увлечения.

«Не только читал Пушкина, но с ума сошел от его стихов. Что за шельма! Не я ли наговорил ему эту Байронщину:

> Но только не к брегам печальным
> Туманной родины моей...»
>
> *(27 ноября 1820 г.)*

Пушкин писал элегию на корабле, опьяненный первым соприкосновением с морем, в которое влюбился, как в женщину. Если тут и были отблески Чайльд Гарольда, то очень далекие, перевоплощенные страстностью собственных впечатлений. В Гурзуфе, в семье Раевских, которых англичанка обучала языку, поэт стал, при помощи Николая Раевского, изучать Байрона по-английски. Это длилось только три недели. Не видно, чтобы Пушкин позже брал уроки английского. Он был хороший и быстрый лингвист. Французский знал, как русский, недурно знал латынь, кое-как читал по-немецки. В Одессе подучился итальянскому. По-английски он несомненно читал. В его библиотеке были английские книги, хотя Байрон преимущественно во французских переводах. Но звук английской речи остался для Пушкина закрытым. Во время второй поездки на Кавказ в 1829 году он в палатке стал читать офицерам Шекспира, которого возил с собой. Приятели офицеры, знавшие по-английски, покатились со смеху от его произношения, так как он читал, как напечатано. Пушкин и в статьях до конца писал «Чильд Гарольд» вместо Чайльд Харольд. Ритм английского стиха, английской поэтической речи для него просто не существовал. Как и большинство русских писателей, он увлекался яркостью экзотических картин Байрона, бунтарскими идеями, мрачными страстями и таинственными несчастьями его разочарованных героев. В них так красиво воплощалось чувство бунта, протест, борьба против условностей и несправедливостей, — все, что во всем мире привлекало лучших людей к ярким лозунгам революции. Французская революция и родившиеся из нее Наполеоновские войны перевернули многие понятия, создали такую же волнующую умственную обстановку, ту же напряженность душевного строя, какие Европа пережила снова сто лет спустя. В начале XIX века, так же, как в 20-х годах XX века, пришлось пересмотреть, переоценить наследие веков, обычаи, обязанности, нравы, права и традиции — все, вплоть до веры в Бога. «Вещали книжники, тревожились цари, толпа свободой волновалась... Добро и зло — все стало тенью...» Это Пушкин не вычитал, не чужое взял напрокат. Это был его собственный вывод из наблюдений, из пережитого, из рассказов тех, кто с мечом в руках бродил по Европе, кто у стен

Парижа раскинул свой бивак, кто, не стряхнув с ботфортов походную пыль, заслушивался лекциями Бенжамена Констана о правах человека и гражданина, о конституции, которая обеспечит толпе свободу. Разнообразны были рассказы, как разнообразны были сами люди, но мудрый Пушкин через них всматривался в события, наложившие печать на дух эпохи. Книги дополняли живых свидетелей. Западная литература была полна живописными бунтарями, героическими преступниками. Байрон был не одинок:

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской Музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.
(«Евгений Онегин». Гл. III, ст. XII)

Насмешливый тон этой строфы, написанной в Одессе, показывает, что уже тогда Пушкин освободился от влияния Британской Музы.

У этих двух поэтов были совершенно несходные натуры. Умная А. О. Россет-Смирнова, хорошо знавшая Пушкина, писала: «Пушкин был несравненно выше Байрона по столь развитому в нем нравственному чувству, по великой прямоте своей совести». Поэтическая его совесть несомненно была несравненно щепетильнее, чем у Байрона. С юности настойчиво добивался он в стихах простоты и правдивости. Он не красовался, не появлялся перед читателями в черном плаще, в котором так любил щеголять Байрон. Искренний, от природы очень добрый, Пушкин тонко отметил безнадежный эгоизм Байрона. Печатая «Онегина», Пушкин сделал к этой строфе примечание: «Вампир, повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. Мельмот — гениальное произведение Матюрена. Jean Sbogar известный роман Карла Нодье». Все это были популярные тогда произведения. Для русских читателей Мельмот и Сбогар были почти нарицательными именами. Это ближайшие родственники героев Байрона. Издавая в 1818 году «Jean Sbogar», Карл Нодье в длинном введении отстаивает свое право на самостоятельное творчество, стара-

ется отгородиться от английского поэта. Это было нелегко. Никто из тогдашних писателей не обладал умственной властностью и художественной заразительностью Байрона. Никто не сумел так резко передать некоторые характерные черты современников. Личная горечь, мрачность, разочарованность Байрона совпала с разочарованностью и сердечной опустошенностью его поколения, для которых он нашел поэтическое выражение и тем и усилил, и задержал настроение. Выражение «байронический герой» правильно слилось с его эпохой, и нелегко было другим писателям отстаивать свою художественную самостоятельность.

Повесть К. Нодье растянута, простодушна, напыщена. Но она показывает, что могло привлекать внимание Пушкина и его друзей. Таинственный Сбогар, как и герои Байрона, разбойник. Он молод, прекрасен, великодушен, не щадит богачей, милует бедняков, способен к рыцарской любви, полон революционного пыла. Его знатная невеста, не подозревая, кто ее жених, выражает при нем презрение к разбойникам. Сбогар разражается длинной тирадой, обрушивается на лицемерие общественного уклада, на презрение к слабым, на неуважение к гордому независимому духу. Он защищает дерзкого бунтаря, который «восстал против всего, что его оскорбляло, который проложил себе кровавый путь, чтобы люди знали, какой след оставил он в человеческом обществе». Сбогар говорит о шаткости общества, не связанного никакими незыблемыми законами, кроме лицемерия, хитрости и жадности вождей. «Когда общество, близкое к гибели, держится только на корысти людей порочных и на нескольких уже исчезающих правилах нравственности честных людей, неужели можно запретить действовать сильному, способному человеку, который хочет создать более устойчивую жизнь. Общество его отталкивает, потому что он говорит на языке им непонятном, который им запрещено понимать. Чтобы служить обществу, он должен от него оторваться, объявить обществу войну. Это первый шаг к независимости, которую общество под его началом получит, как только рука, управляющая государством, совсем ослабеет. Тогда эти презренные разбойники, предмет отвращения и ужаса народного, станут защитниками человечества, их эшафоты превратятся в алтари».

Сбогар мучается своим неверием. «Мой голос читает молитвы, мое сердце призывает Бога, но никто мне не отвечает... Сколько раз, с каким душевным жаром, — о небо, — падал я ниц перед бесконечностью творенья, призывая Творца. Какими слезами бешенства заливался я, когда, заглянув снова в

свое сердце, я находил в нем только сомнение, непонимание, смерть! Прости меня, Антония. Твой Бог существует, твоя душа бессмертна, твоя религия праведна... Но этот Бог одарил чувством бессмертия только чистые души, только для них создал бессмертие. Душам, которые он заранее обрек на небытие, он ничего, кроме небытия, не показал».

Эти слова звучат искренним отчаянием, в них есть гордость ищущего духа, та умственная и метафизическая тревога, которая волной пробегала из страны в страну, заставляя поэтов всех стран почти одновременно искать для нее выражения. Как знать, может быть, Пушкин, сидя в губернаторском доме Инзова, читал эти страницы, созвучные его тогдашним настроениям, и на них ответил: «Меня ничтожеством могила ужасает».

Еще большей популярностью, чем Сбогар, пользовался среди южных знакомцев Пушкина герой английского романа «Мельмот-Скиталец», написанный французским выходцем С. Матюреном. Пушкин называл роман гениальным. На этой странной книге действительно лежит печать своеобразного дарованья. По форме это трехтомный запутанный роман, с громоздким наслоением отдельных эпизодов, разбросанных во времени и в пространстве. Они связаны между собой только таинственной, демонической личностью бессмертного Мельмота, своего рода вечного жида. Мельмот фантастический герой, горделивый страдалец, который никому не хочет зла, но роковым образом сеет вокруг себя горе и страданье. Возможно, что Пушкина, с его затаенным влечением к сверхъестественному, захватила именно колдовская сторона романа. В Мельмоте, который продал свою душу черту, который равно ненавидит и злого духа, и Бога, есть некоторые оккультные черты. Бесчувственность, безжалостность, холодное презрение к людям, все это сделало само имя Мельмота как бы нарицательным. В черновике резкого письма, где Пушкин сводит какие-то счеты по делам волокитства («страсть моя поохладела, да я уж в другую влюблен») и старается найти уязвляющие соперника словечки, он между прочим пишет: «Я не покажу вашего письма г. С., как я сначала хотел, скрыв то, что придает Вам заманчивость характера Байронического...» Последнее слово вычеркнуто и заменено: «Мельмотического». Очевидно, это были тогда для Пушкина синонимы *(заметка писана осенью 1823 года, может быть, в октябре)*.

«Мельмот-Скиталец» был издан по-английски в 1820 году. В 1821 году вышел французский перевод романа. Иностранные книги быстро доходили до России, и в библиотеке

Пушкина сохранился экземпляр первого французского издания.

В монологе Алеко, когда он иронизирует над городом и цивилизацией, есть отголоски монологов Мельмота. Только русский поэт в нескольких строчках выражает то, на что Матюрен тратит десятки страниц.

Есть также сходство с «Братьями разбойниками». В «Мельмоте-Скитальце» отцеубийца говорит в предсмертном бреду: «Старик? Ну и отлично. В нем меньше крови. Седые волосы? Что за беда... Сегодня ночью я окрашу их кровью, они больше не будут белыми... Он спит... Где ж мой нож?.. Мне страшно... Если он откроет глаза, я уйду... Вот, брызнула кровь... Я не могу ее остановить... Седина и кровь...»

У Пушкина разбойника в бреду преследует образ зарезанного старика:

Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его — он не опасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами.

Замысел «Братьев разбойников», вероятно, был связан с нарождавшимся уже интересом к русской истории, к народному быту. Есть в бумагах Пушкина конспект, который на это указывает: «1) Разбойники и история двух братьев. — 2) Атаман и с ним дева; жизнь на Волге. — 3) Купеческое судно, дочь купца. — 4) Сходит с ума».

Тут может быть только попытка перенести общеевропейский литературный тип в условия русской жизни. Но это осталось невыполненным. Поэт точно почувствовал что-то чужое в теме, в самой попытке оправдывать жестокость и преступление, видеть в них проявление социального бунта. Это плохо уживалось с его природным нравственным чутьем, просто с его добротой. Разбойничья психология, которой так увлекались романтики, не далась Пушкину. «Разбойников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского», — писал Пушкин Бестужеву из Кишинева летом 1823 года. В это время он уже вышел на простор — он писал «Онегина».

Все-таки он опять вернулся к разбойникам в «Дубровском», в «Капитанской дочке». Но уже тогда он художественно преодолел байронический и мельмотический подход к теме.

Нет сомнения, что чем-то «Мельмот-Скиталец» сильно задел воображение Пушкина. Даже начало «Евгения Онегина»: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог...» — похоже на начало «Мельмота», хотя между

обоими романами нет никакого сходства ни по форме, ни по духу, ни по художественным достоинствам.

«Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент колледжа Св. Троицы, выехал из города, направляясь к умирающему дяде, от которого исключительно зависели его надежды на материальную независимость».

Это мимолетное сходство подробностей, но можно ли считать его совсем случайным?

Влияние Байрона на Пушкина даже ближайшие друзья долго преувеличивали. Веселость Пушкина и, при его внешнем задоре, детская его скромность (как он смиренно выслушивал критику своих стихов от людей ничего в этом не понимавших, вроде А. Раевского и В. Ф. Раевского) застилали от друзей не только гениальность его ума, но даже размеры его поэтического дара. «Какая-то твердая самостоятельность взглядов, которая даже может порой показаться упрямым духом противоречия, отличала Пушкина, когда он встречался с новой идеей, если она являлась ему извне и вопрошала его ум» *(Л. Поливанов)*. Вдумчивый и тонкий знаток Пушкина, Л. Майков писал: «Литературные воззрения Пушкина слагались вообще очень самостоятельно и нередко наперекор приятельским мнениям». Эту самостоятельность мысли и современники, и потомство долго недооценивали. Байронизм Пушкина стал одним из тех избитых, близоруких ложных понятий, которые так часто приклеивает ленивая мысль к великим людям, чтобы избавить себя от труда их понять.

Разбирая, по поручению вдовы Пушкина, его бесценное поэтическое наследство, Анненков один из первых непосредственно ощутил личность поэта. По поводу «Бахчисарайского фонтана» он писал, что Гирей, как и Пленник, имеет общие признаки с героями Байрона, «хотя при некотором внимании можно легко заметить, как проглядывает сквозь подражание собственная творческая способность нашего автора, со всеми условиями жизни и местных требований, в которых заключалась... Люди, следившие вблизи за постепенным освобождением природного гения в Пушкине, очень хорошо знают, почему так охотно и с такой радостью преклонился он перед британским поэтом. Байрон был указателем пути, открывавшим ему весьма дальнюю дорогу и выведшим его из того французского направления, под которым он находился в первые годы своей деятельности... Байрон вложил могущественный инструмент в его руки: Пушкин извлек им впоследствии из мира поэзии образы, не похожие на любимые представления учителя. После трех лет родственного знакомства направление и приемы Байрона совсем пропадают в

Пушкине; остается одна крепость развившегося таланта: обыкновенный результат сношений между истинными поэтами». Далее, указывая на то, что Пушкин один из первых оценил поэзию А. Шенье, П. В. Анненков говорит: «Байрон и Шенье играли одинаковую роль в жизни нашего поэта: это были пометки его собственного прибывающего таланта; ступени, по которым он восходил к полному проявлению своего гения».

Возможно, что это суждение П. В. Анненков обдумал вместе с Вяземским, в письмах к которому Пушкин высказывался за освобождение русской литературы от французского влияния. «Стань за немцев и англичан — уничтожь этих маркизов классической поэзии» *(19 августа 1823 г.).* Ту же мысль Пушкин высказал в письме к Гнедичу: «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной» *(27 июня 1822 г.).*

Об этом отходе от французов упоминается и в заметке брата поэта: «Пушкин не любил над собой невольного влияния французской литературы. Он радостно преклонился перед Байроном, но не был, как утверждают некоторые, его вечным безусловным подражателем. Андрей Шенье, француз по имени и, конечно, по направлению таланта, сделался его поэтическим кумиром. Он первый в России и, кажется, даже в Европе оценил его».

Вяземский, увлечение которого Байроном продолжалось дольше, после смерти английского поэта упорно, настойчиво добивался, чтобы Пушкин посвятил ему оду. Но так и не добился. Только уезжая из Одессы, прощаясь с морем, Пушкин помянул Байрона:

Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.

(1824)

Это поэтические поминки, красивая дань остывшей любви. Более близкая тогдашним мыслям Пушкина строфа «Онегина» о «Британской Музы небылицах» писана за несколько месяцев перед этим.

На надоедливые упреки в подражании Байрону Пушкин дал самый исчерпывающий, самый достойный ответ. Разбирая в 1836 году «Фракийские элегии» В. Теплякова, он писал:

«В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона, и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять? Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, — или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь».

Глава XXXII

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

Создание «Евгения Онегина» есть самое значительное событие в жизни Пушкина на юге. Для России это событие еще более знаменательное, так как с Онегина начинается история русского национального романа. Его народность сказалась между прочим и в том, что еще при жизни Пушкина «Онегин» то отрывками, то стихами, то фразами вошел во всенародные поговорки, остроты, пословицы *(Плетнев)*. 24-летний Пушкин, уже три года скитавшийся по полурусской, только что отвоеванной южной окраине, вдруг оторвался от всех окружающих впечатлений, от недавно владевших им экзотических и романтических картин Кавказа и Крыма и весь погрузился в освежительные впечатления детства и юности, которые он провел на севере, в коренной России. Плетнев, один из немногих современников, вдумавшихся в Пушкина еще при его жизни, писал:

«На страницах Онегина, достовернее нежели на записках и летописях, можно основать ученому занимательнейшие изыскания эпохи. Набрасывая первую главу его, Пушкин, вероятно, желал только сберечь для собственного воспоминания исчезнувшие годы первой своей молодости, впечатления

северной столицы и даже самый образ тогдашней своей жизни».

П. В. Анненков с Онегина считает начало «обрусения Пушкинского таланта», которое проявилось прежде всего в том, что Пушкин в противоположность образцу тогдашних поэтов Байрону, относится к своему герою с иронией. «Байрон вообще никогда не смотрел иронически на своих героев, а тем менее на Дон-Жуана, в котором олицетворял некоторые стороны собственной своей природы. Пушкин тоже вложил в Онегина самого себя и ввел в его облик некоторые черты своего характера, но он не благоговеет перед изображением, а напротив, относится к нему совершенно свободно, а подчас и саркастически. Конечно, говоря о двух поэтах, никогда не должно забывать высокого преимущества, какое имеет Дон-Жуан в обширности плана, в смелости замысла, а также и в силе исполнения над русской поэмой, но это не мешает «Онегину» быть великим поэтическим памятником русской литературы, поучительным и для других литератур, по художественному разоблачению умственной и бытовой жизни той страны, где он возник. По нашему мнению, ничто так не подтверждает нравственного переворота, совершившегося с Пушкиным в Одессе, как способность, обнаруженная им в «Онегине», отнестись критически к «передовому» человеку своей эпохи».

Анненков не отметил, а может быть, и не заметил, что Ленского Пушкин высмеивает еще больше, чем Онегина, хотя в Ленском едва ли не больше его самого, чем в Онегине.

Замысел романа впервые промелькнул в голове Пушкина еще в Крыму, где поэт снова начал думать стихами. Он писал по-французски много лет спустя кн. Н. Б. Голицыну, который из Крыма прислал ему свой французский перевод «Клеветникам России»: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: ваше письмо разбудило во мне много разнообразных воспоминаний. Это колыбель моего Онегина, и вы безусловно можете узнать некоторых действующих лиц» *(10 ноября 1836 г.)*. Отдельные строчки и строфы, попадающиеся в ранних южных тетрадях, подтверждают слова Пушкина. Но сам он настоящим днем рождения своего романа считал 9 мая 1823 года. С этого дня Онегин вошел в его жизнь, и на много лет. 25 сентября 1830 года Пушкин набросал на листке «Хронологию Онегина» и внизу подвел итог, точно счет закончил: «7 лет, 4 месяца, 17 дней». Заметка сделана в Болдине в ту детородную осень, когда Пушкин с торопливой жадностью писал, оглядываясь на свое богатое, бурное прошлое, прощался с ним. Тогда же простился он и с Онегиным:

Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин с смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

(Гл. VIII, ст. L)

Читая Онегина, трудно поверить, что роман не сразу весь, целиком встал в воображении поэта. Кажется, что он с начала до конца написан под властью одного, непрерывавшегося творческого настроения. Цельность характеров, стройность плана, выдержанность художественного приема, наконец — и это самое главное, — чисто онегинские особенности построения фраз, ритма, вся основная сила красоты, вложенная в поэму, неизменна до конца романа. В черновиках частей, писанных в Одессе, есть только одно отступление от плана. Пушкин хотел сначала влюбить Онегина в Татьяну. После описания поездки Онегина и Ленского к Лариным шла строфа:

В постеле лежа, наш Евгений
Глазами Байрона читал,
Но дань (невольных) размышлений
Татьяне (милой) посвящал.
Проснулся... ране
И мысль была (все) о Татьяне.
Вот новое, подумал он,
Неужто я в нее влюблен?
Ей Богу, это было б славно
(Я рад)... Уж то-то б одолжил
(Посмотрим). И тотчас решил
Соседок навещать исправно,
Как можно чаще, всякий день:
Ведь им досуг, а мне не лень.

После этого в тетради черновик письма к Вяземскому, помеченный 8 марта 1824 года. И на следующей странице опять отрывистые строчки о любви Онегина к Татьяне: «Решил, и скоро стал Евгений, как Ленский... Ужель Онегин в самом деле влюблен...»

Эпизодически эта перемена значительная, но не эпизодами определяется внутренняя монолитность художественного

произведения. Когда Микеланджело заперся в Сикстинской капелле, обуянный яростью одинокого творчества (даже перед папой отказывался отворить дверь), он за 8 лет не раз перебросил, перестроил подробности своих фресок. Но не потому, что менялся его замысел, а потому, что эти подробности не отвечали тому образу, который сразу загорелся в мозгу художника и за которым он с терпеньем мученика, с блаженством любовника покорно шел изо дня в день, из года в год. Так и Пушкин увидал своего Онегина и пошел за ним. При этом его не ограждало благочестивое одиночество часовни. Внешне он был погружен в заботы суетного света. Как раз в Одессе над ним разразился один из очередных ураганов, проносившихся от времени до времени над его буйной головой. Но противный ветер не мешал ему кончать «Бахчисарайский фонтан», писать «Цыган», Онегина... Самый внимательный читатель не отыщет в них отголосков личного раздражения, которым так явно, на глазах у всех кипел Пушкин. Не зная пометок на черновиках, нельзя проследить, ни в «Цыганах», ни в Онегине, где кончаются части, писанные в Одессе, где начинается работа, сделанная в насильственном уединении Михайловского. Цельность Онегина при разнообразии картин и быта, при необыкновенно жизненном увлекательном рассказе о любви Евгения и Татьяны, особенно явственно показывает, какой мощной и независимой, вершинной и замкнутой, внутренней жизнью жил Пушкин.

В нем была спасительная внутренняя упругость, но при жизни только немногие разгадали эту черту его богатой сильной натуры, гармоничной даже среди излишеств. Может быть, секрет этой гармонии отчасти состоял в том, что внешние удары, обиды, оскорбления, взрывы не только чужих страстей, но и своих, — что гораздо важнее, — все это докатывалось только до невидимой, неприступной черты. Дальше был волшебный круг, где поэт остался один на один со своею Музою и там, как Микеланджело в Сикстинской капелле, был счастлив счастием вряд ли земным.

Не меняя плана Онегина, Пушкин много работал над текстом, над отдельными строфами. Он вообще был труженик, рано выработавший своеобразные, но очень постоянные приемы труда. Писал обыкновенно с раннего утра, еще лежа в постели. Так делал юношей в Петербурге, когда писал «Руслана и Людмилу». Так делал в Каменке у Давыдовых, и в Инзовском доме, и в глухом городишке, где писал Овидия, разбрасывая листки по комнате. Наутро после маскарада у Воронцовых, где Пушкин бродил мрачный и раздраженный,

Липранди зашел к поэту: «В час мы нашли Пушкина еще в кровати, с поджатыми по обыкновению ногами и что-то пишущим».

«В Одессе Пушкин писал много, — рассказывает Л. С. Пушкин, — и произведения его становились со дня на день своеобразнее, читал он еще более. Там написал он три первые главы «Онегина». Он горячо взялся за него и каждый день им занимался. Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели. Приятели часто заставали его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа. Одесская осень благотворно действовала на его занятия. Надо заметить, что Пушкин писал постоянно только осенью».

Несомненно, что в Одессе ему хорошо работалось. Он там написал две первые главы Онегина и начал третью. Первая глава, начатая 9 мая 1823 года, кончена 22 октября. Он сразу принялся за вторую главу, которую кончил 8 декабря. Потом сделал перерыв и принялся за третью главу только 8 февраля, ночью. Промежуток между второй и третьей главой, декабрь и январь, он тоже писал, только не Онегина, а «Цыган». В течение года «Цыгане» и Онегин чередуются на его столе, становятся своеобразными поэтическими близнецами. С ними в тетрадях сплетаются то черновики «Демона», то сходные с ним по духу незаконченные отрывки политической лирики, «Сеятель», «Недвижный страж дремал». В Одессе, как за десять лет перед тем в Царском Селе, его душа звенит стихами. Снова с юношеской легкостью рождается в нем стих: «Задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю».

С юношеской легкостью, но уже с мужественной зрелостью.

Переживая в Болдине один из очередных приливов созидания, опьяненный одиноким, острым счастьем творчества, Пушкин писал:

И забываю мир, — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается Поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
(«Осень», 1830 г.)

В Одессе этими незримыми знакомцами были Демон, Алеко, Мариула, Татьяна, Онегин, Ленский. Всю эту могучую

внутреннюю жизнь Пушкин переживал в Одессе один на один. Около него, если не считать графини Е. К. Воронцовой, не было ни одного знатока стихов, не было отзывчивой писательской среды, которую он находил в Лицее, потом на субботах у Жуковского, у Карамзина, даже у Олениных. Там он сразу выносил свои стихи на суд судей порой строгих, но всегда чутких. На юге были люди образованные, иногда умничающие, иногда умные, но не было писателей, тем более поэтов. Подумать вслух, поспорить по-настоящему ему было не с кем. «Признаюсь, что ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою, да с Вяземским — вы одни можете разгорячить меня», — писал Пушкин А. Бестужеву еще из Кишинева *(13 июня 1823 г.)*.

Эта потребность обменяться мыслями, скрестить мечи, обострить и прояснить собственные взгляды находила некоторый исход в письмах. Письма Пушкина — это отдельное проявление его гения, отдельное событие русской литературы. Они полны движения, мысли, острот, метких литературных суждений, в которых уже есть предвкушение его позднейших литературных статей.

В Пушкине долго держался ребяческий страх поэта перед прозой. Он так и говорил: «Унижусь до презренной прозы». Потребность писать письма заставила его преодолеть это чувство, помогла ему стать тем великим русским прозаиком, который постепенно рос рядом с Пушкиным-поэтом. Его письма с юга, особенно из Одессы, давали ему возможность думать вслух. В них не только факты из его внешней жизни, но и история его взглядов, мысли о литературе, попытки разобраться в теоретических спорах о романтизме. Все что он писал в Одессе, не только законченные произведения, но и черновые тетради, заметки, письма, все отмечено печатью богатой, непрерывной, глубокой умственной жизни, какого-то стремительного взмаха, полета. Точно вся предыдущая работа, личный и поэтический опыт, все первые десять лет писательства были выучкой, подготовкой к настоящему делу. Настала пора зрелости, мужественного напряжения всех сил. С мужественной усмешкой оглядывается он на недавнюю свою любовную печаль.

Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.

Весенняя любовь к Марии Раевской прошла. Как летняя гроза налетела любовь к другой женщине, но ясен остался

творческий ум Пушкина, хотя людям казался он порой безумцем, потерявшим голову.

Скрытный в любви, Пушкин был так же скрытен и в творчестве. Никто из русских поэтов не оставил таких обжигающих любовных стихотворений, как Пушкин, как никто из них не оставил таких точных, аналитических описаний процесса творчества. Так и писал: «И тайные стихи обдумывать люблю», «Блажен, кто молча был поэт...»

...в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И Музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой;
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.
(«Разговор книгопродавца с поэтом»,1824 г.)

Это писано уже в Михайловском. Раньше, сообщая из Одессы Вяземскому, А. Тургеневу, даже Дельвигу о своей работе, Пушкин сжимается, принимает небрежный тон: «А я на досуге пишу новую поэму, *Евгений Онегин,* где захлебываюсь желчью», — пишет он Тургеневу *(1 декабря 1823 г.).* Еще перед этим Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница. Вроде Дон-Жуана. О печати и думать нечего; пишу спустя рукава. Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия — лучше об ней и не думать, — а если брать так брать — не то, что и когтей марать» *(4 ноября 1823 г.).* Даже любимому Дельвигу не признается, что опять «сладкий холод вдохновенья власы подъемлет на челе...», а только шутливо: «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до-нельзя. Бируков ее не увидит за то, что он фи-дитя, блажной дитя» *(16 ноября 1823 г.).*

Но от письма к Вяземскому сохранился черновик, полный характерных и метких суждений о романтизме, об А. Шенье, о русских и иностранных поэтах. И вот в этом черновике есть фраза, которая сразу, как молния ночью, как внезапно распахнувшееся на морской простор окно, освещает перед нами подлинное душевное состояние поэта:

«Пишу его с упоеньем, что уж давно со мною не было». В письме, посланном Вяземскому, уже не было слова «упоенье».

Все та же сказалась целомудренная гордость, стыдливость душевная, которая причудливо сплеталась в Пушкине с по-

весничеством, с кутежами, с зубоскальством, со словесным цинизмом, с беспечным сквернословием. А внутри, за заветным кругом, другой Пушкин, гордый и замкнутый. Только год спустя, и то в стихах, рассказал он, что значит писать «с упоеньем»:

Я видел вновь приюты скал,
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья
Бывало Музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья.
. . . .
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйной,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря шум глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
(«Разговор книгопродавца с поэтом»)

Глава XXXIII

ДАВИД И ГОЛИАФ

В Одессе разыгралась в жизни Пушкина драма, многие подробности которой до сих пор остались неизвестны. Но воспоминания, письма современников, официальные архивные документы, а главное, письма, рукописи, стихи и проза Пушкина дают возможность если не восстановить, то угадать общие очертания этого столкновения двух характеров, весьма любопытного для психолога и исследователя жизни поэта, но для Пушкина очень нелегкого.

С одной стороны — сиятельный меценат, с внешним обличьем просвещенного аристократа, с низкой душой мелкого, холодного, не стесняющегося в средствах карьериста. С другой стороны — зачисленный в его свиту ссыльный, безденежный молодой человек, находящийся под надзором поли-

ции. Но к голосу этого двадцатичетырехлетнего коллежского секретаря уже прислушивается вся Россия. С его именем уже связывают царственное слово — гений.

И сам он меньше всего мыслит себя чиновником, требует уважения и к себе и к своему поэтическому призванию. Вся природа, все существо Пушкина бунтовали против какого бы то ни было покровительства, против зачисления в чью бы то ни было свиту. Позже он так же взбунтуется против зачисления в свиту Царя, только с еще более унизительным чувством бессилия.

Пушкин умел вызывать к себе длительную приязнь, нежную дружбу, страстную любовь. Но он далеко не всем нравился, далеко не всем был приятен. Были люди, в которых он вызывал тягостное раздражение, неприязнь, даже прямую злобу. Иногда это были мучительные расхождения, очень нелегкие для его впечатлительной, приветливой души. Так было с Карамзиным. Пушкин его уважал, быть может, даже любил. Но в трудную минуту холодом пахнуло от историографа на растерявшегося поэта. С Александром Раевским переход был еще резче, так как Пушкин имел основание считать его своим другом.

Но с Воронцовым Пушкин насторожился. У них было взаимное отталкиванье, враждебная противоположность натур, вокруг которой Судьбе и людям было нетрудно накрутить видимые, внешние поводы для столкновений.

Между этими двумя главными действующими лицами одесской драмы стоит женщина, пленительная, с нежной улыбкой, с нежной душой. Это жена Воронцова, гр. Елизавета Ксаверьевна, Элиза, как звали ее близкие. Ангел нежный, волшебница, как звал ее поэт. Казалось, все их разъединяет: ее положение в свете, ее обязанности матери и жены, репутация Пушкина, которого все еще считали повесой и кинжальщиком, даже возраст — так как она была на семь лет старше его. Но чем-то сумел он задеть, разбудить, пленить, опалить ее душу. И свою душу опалил на ее тихом огне.

Рядом с этими тремя главными героями неисчерпаемый режиссер — жизнь расставила необходимые эпизодические лица. Кокетливая очаровательница Амалия Ризнич «полунемка, полу-итальянка, может быть, и с примесью еврейской крови». Доступная и земная, она быстро вскружила голову поэту, в жилах которого текла горячая, влюбчивая кровь. Это легкомысленная Лаура, которая уступит место трагическому очарованью донны Анны.

Нет никаких доказательств, что Воронцов ревновал свою жену к поэту. Возможно, что он даже считал ниже своего

достоинства ревновать к человеку, занимающему такое ничтожное общественное положение. Он высокомерно презирал Пушкина и не скрывал этого.

Зато давнишняя зависть Александра Раевского к Пушкину разрослась в подлинную ревность. Он в этой драме Яго, но Яго, влюбленный в Дездемону. Его замкнутая, холодная и хитрая душа никогда не отзывалась на дружеский порыв Пушкина. Его недобрый ум никогда не радовался таланту, никогда не трепетал на чудесные стихи поэта. Зато маленькие острые глаза А. Раевского саркастически высмеивали всякий неосторожный шаг поэта, тонкие губы всегда готовы были обронить язвительное слово. Он был из тех, кого гений «иль оскорбляет, иль смешит». А тут еще Пушкин влюбился в его кузину, в гр. Элизу, в которую Александр Раевский сам был влюблен. Не мог он не заметить, что от Пушкина льется на нее чарующая сила, что Пушкин влечет ее к себе, волнует. А. Раевский, как и Воронцов, идет не прямым путем, действует исподтишка, с тем коварством, в котором теряется прямой и горячий Пушкин.

Затем идет толпа, человеческий фон, однообразием своим оттеняющий главных действующих лиц, своего рода хор. Иностранная колония, так называемые негоцианты с некоторыми европейскими замашками, потом чиновники, с обычаями и приемами русской провинциальной жизни, скрашенной внешним блеском дома гр. Воронцовых и отчасти гр. Гурьевых. Среди чиновников ни одного примечательного человека. Самым заметным был правитель канцелярии генерал-губернатора А. И. Казначеев, «добрейший в мире человек», у жены которого, урожденной кн. Волконской, бывали литературные вечера. Но Пушкин избегал этих литературных бесед и, к изумлению Липранди, предпочитал дурачиться с живописным пиратом Морали. Был еще один занятный чудак — предшественник гр. Воронцова по должности Новороссийского генерал-губернатора, французский эмигрант гр. Ал. Ланжерон (1763—1831). Он был до того рассеян, что, когда Александр I приезжал в Одессу, гр. Ланжерон запер Царя на ключ в своем кабинете, ключ положил себе в карман и ушел. Пушкин одно время часто виделся с Ланжероном, который не только писал стихи и трагедии, но и читал их вслух Пушкину. Поэт он был плохой, но зато много видел, многих знал. Пушкин любил слушать его рассказы. Между прочим гр. Ланжерон показывал поэту либеральные письма, которые получал от Александра до его восшествия на престол и жаловался, что Царь переменил свои взгляды.

В одесском хоре все громче раздавались голоса поклонни-

ков Пушкина, он был у всех на виду. «Верно никакая ягодка более тебя не обращает внимания», — шутливо писал ему Вяземский. Более образованные южные помещики, съезжавшиеся в Одессу повеселиться, молодые чиновники и офицеры, наконец, воспитанники Одесского Ришельевского лицея, — все они зачитывались Пушкиным, знали его наизусть. Даже Воронцов писал в Петербург, что в городе много восторженных поклонников поэта. Самая наружность Пушкина, не похожая на других, его суковатая палка, длинные волосы, воротнички, откинутые не так, как все носили, все обращало на себя внимание.

«Пушкин заходил в старшие классы лицея, — рассказывал потом один из воспитанников. — Проходя как-то по лицейским коридорам и классам, он сказал: «как это напоминает мне мой Лицей!» В другой раз, застав одного воспитанника за чтением Онегина, он шутя заметил ему: «охота вам учить такой вздор!» Наша классная комната выходила окнами на Ланжероновскую улицу. Нижняя часть окошек была заделана камнем, чтобы мальчики, сидя за уроками, не развлекались улицею. Помню, однажды, кто-то крикнул: «Пушкин идет, Пушкин!» Кинулись к окошкам... Я заметил человека с палкой на плече, как он поворачивал за угол Лицея; он шел проворно какой-то развалистой походкой. Это был Пушкин».

В этом «помню» вряд ли много точного, кроме общего впечатления, что при слове «Пушкин» — вся молодежь бросалась посмотреть на него.

Есть еще более красочный рассказ из этой эпохи. Пушкин вышел за город погулять и попал на батарею. Офицер подошел к нему и строго спросил: «Кто вы такой?» — «Пушкин». Офицер пришел в восторг и отдал приказ: «Ребята, пали!» Раздался залп. Все сбежались. Офицеры подхватили Пушкина, повели его «в свои шатры», где шумно отпраздновали нечаянное посещение знаменитого гостя.

Это записано со слов Гоголя. В Одессе Гоголь никогда не был, за точностью своих рассказов никогда не гнался. Но такие легенды создаются только вокруг легендарных людей. Несомненно, что имя Пушкина уже звучало славой. Недаром хороший царедворец, Арзамасец Уваров забежал вперед другого Арзамасца, тоже царедворца, А. И. Тургенева, чтобы первому поднести Императрице «Бахчисарайский фонтан». Это было 1 мая 1824 года. Приблизительно в это же время Воронцов послал в Петербург свою первую жалобу на Пушкина.

Драма была уже почти доиграна, когда в нее вошла еще одна женщина, княгиня Вера Вяземская. Ей досталась скорее

всего роль наперсницы. Но и ее Пушкин сумел втянуть в свою жизнь, закружил в вихрях, исходивших от его стремительного тела и беспокойного духа.

Борьба характеров и страстей не привела к трагической развязке. Все остались живы. Никто ни в кого не стрелял. В чинной обстановке одесского общества дуэли были не в моде. Даже Пушкин за целый год ни разу ни с кем не подрался. Граф Воронцов, наместник и кавалер многих военных орденов, никогда бы не унизился до дуэли со штатским молодым человеком из своей свиты. Но все же между ними шел поединок длительный, не знавший перемирий. В эту своеобразную борьбу внесла юмористический символизм саранча, налетевшая на Новороссию. Оружием Пушкина были меткие остроты, которыми он точно стрелами стал осыпать Воронцова, как только, сквозь внешнее его благообразие, подметил его низкую и смешную сущность. Противник ответил более тяжелым оружием — стал писать в Петербург жалобы и доносы.

«Единодушные свидетельства всех друзей и знакомых Пушкина не оставляют никакого сомнения в том, что с первых же месяцев пребывания в Одессе существование поэта ознаменовывается глухой внутренней тревогой, мрачным, сосредоточенным в себе негодованием, которые могли разрешиться очень печально. На первых порах он спасался от них, уходя в свой рабочий кабинет и запираясь в нем на целые недели и месяцы».

Анненков, к сожалению, не назвал этих свидетелей положения Пушкина в Одессе, а некоторый намек на значение Воронцовой в жизни поэта заставляет предполагать, что для изучения одесской жизни он пользовался указаниями кн. Вяземского. Это придает особую ценность этим страницам в его, вообще ценной, книге «Пушкин в Александровскую эпоху». По словам Анненкова, в Одессе Пушкину было гораздо труднее распутывать те житейские узлы, которые так легко и скоро распутывались в Кишиневе. «Собственно врагов у него совсем не было на новом месте служения, а были только хладнокровные счетчики и помечатели всех проявлений его ума и юмора, употреблявшие собранный ими материал для презрительных толков втихомолку. Пушкин просто терялся в этом мире приличия, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем вспышкам, даже и подсказанным благородными движениями сердца. Он только чувствовал, что живет в среде общества, усвоившего себе молчаливое отвращение ко всякого рода самостоятельности и оригинальности. Вот почему Пушкин осужден был волноваться, так

сказать, в пустую и мстить невидимым своим преследователям только тем, что оставался на прежнем своем пути».

В этих хладнокровных счетчиках и невидимых преследователях, исподтишка отравлявших его жизнь в Одессе при малом дворе наместника, было уже предчувствие тех шепотов и шорохов, которые много лет спустя, при большом царском дворе, наполнят жизнь поэта смертной отравой.

Сказывалось обычное недоверие посредственности к таланту, тем более к гению. Его быстрый рост смущал, злил, его слава порождала зависть. В «Альбоме Онегина» есть у Пушкина набросок:

Меня не любят и клевещут,
В кругу мужчин несносен я,
Девчонки предо мной трепещут —
Косятся дамы на меня.
За что? За то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит...

В Одессе духовная жизнь Пушкина была до краев полна, он стал подходить к мужественной зрелости духа, взмывался вверх, как орел, и как раз в это время самолюбивая ничтожность ярко воплотилась в человека, имевшего над судьбой Пушкина начальническую власть. В противоположность Инзову, Воронцов чувствовал себя начальством и так себя и вел. Жуковский писал Пушкину: «Ты создан попасть в Боги...» А граф Воронцов всем своим обращением настойчиво напоминал: прошу не забывать, что вы прежде всего мой подчиненный.

К весне 1824 года жизнь Пушкина в Одессе стала особенно тяжелой. И сразу он стал меньше писать. Третью главу Онегина, начатую 8 февраля, кончил только 2 октября в Михайловском. Зато вся Одесса повторяла его остроты и эпиграммы, направленные против графа Воронцова. «Мрачное настроение духа Александра Сергеевича породило много эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Начались сплетни, интриги, которые еще больше тревожили Пушкина. Говорили, что будто бы граф через кого-то изъявил Пушкину свое неудовольствие и что это было поводом злых стихов о графе. Услужливость некоторых тотчас же распространила их. Не нужно было искать, по чьему портрету они метили...»

Это рассказ Липранди. Он не привел стихов. Может быть, он подразумевал меткую, получившую широкую огласку эпиграмму:

Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец!..
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец.

Так Пушкин записал ее в письме к Вяземскому из Михайловского *(10 октября 1824 г.)*. Но были и другие, нелестные варианты, крепко приставшие к Воронцову: «Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда». Пушкин же наградил его кличкой Лорда Мидаса. Овидий в «Метаморфозах» рассказывает о царе Мидасе, который, взявшись быть судьей между состязавшимися в пении Аполлоном и Паном, отдал предпочтение Пану. Аполлон рассердился и в наказание наградил царя Мидаса ослиными ушами, которые тот старался спрятать и прикрыть короной. Четыре года спустя после своей ссоры с Воронцовым Пушкин напечатал в «Северных Цветах» *(1828)* неотделанную, даже не законченную эпиграмму о царе Мидасе:

Не знаю где, но не у нас
Достопочтенный Лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой, —
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова о Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как назвать его,
Провозгласить решились тонким,
и пр.

Многие, гораздо лучшие свои стихотворения, строгий к себе Пушкин не отдал в печать, а вот эту эпиграмму вставил в «Отрывки из писем, мыслей и замечаний». Статью не подписал, а стихи подписал, да еще с примечанием: «Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным».

Сохранилась еще одна эпиграмма, не злая, а насмешливо-лукавая:

Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал
И, побожусь, не ниже графа...

Пушкин оставил и в прозе характеристику Воронцова. В воображаемом разговоре с Александром I он пишет: «Как это вы могли ужиться с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым? — Ваше Величество, генерал Инзов добрый и почтенный [старик], он Русский в душе; он не предпочитает первого Англинского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он уже не волочится, ему не 18 лет от роду; страсти, если и были в нем, то уж давно погасли. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что со всеми вежлив, не опрометчив, не верит *вражеским пасквилям...»*

Это писано в Михайловском, год спустя после одесской драмы. Что должен был говорить несдержанный, всегда готовый пустить острое слово Пушкин в Одессе, где его изо дня в день бесило вежливое пренебрежение и сухая важность Воронцова. Если, даже сидя в приветливой обстановке инзовского дома, поэт писал: «Презрение к русским писателям нестерпимо», то что же он должен был чувствовать в Одессе? А чувств своих скрывать он не умел и не хотел. Насколько он был привлекателен и мил, когда бывал среди людей, которых уважал, которые ему нравились, настолько он бывал угрюм и резок, и неприятен, когда чувствовал себя среди чужих, среди тех, кого он не уважал, среди неприязненно настроенных людей.

Никто из свидетелей этого затянувшегося поединка между гениальным поэтом и высокомерным чиновником не рассказал нам его подробностей. До нас не дошли описания открытых столкновений между ними. Но, конечно, Голиаф-Воронцов, ежеминутно ощущавший свою важность, с раздражением смотрел на дерзкого Давида, песни которого к тому же его нисколько не интересовали.

Зимой 1824 года стали доходить до северных друзей Пушкина слухи, что опять что-то неладно. Они встревожились. А вдруг опять напроказил? Хотя и передавались слова Государя, который будто бы, прочтя «Кавказского пленника», сказал: «Надо помириться с ним», но на самом деле правительство «все еще его в черном теле держит», как писал Тургенев Вяземскому 22 января 1824 года. В марте Вяземский послал Пушкину с оказией (почте они не доверяли: «Вернее у нас в Азии писать по оказии») письмо, советуя быть осторожным

и на язык и на перо: «В случае какой-нибудь непогоды, — писал Вяземский, — Воронцов не отстоит тебя и не защитит, если правда, что и он подозреваем в подозрительности. Да к тому же признаюсь откровенно: я не твердо уповаю на рыцарство Воронцова. Он человек приятный, благонамеренный, но не пойдет донкишотствовать против Власти ни за лице, но за мнение... Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством, довольно подразнил его, и полно...»

Дружеские советы опоздали. 28 марта граф Воронцов послал министру иностранных дел, графу К. В. Нессельроде, письмо, в котором просил убрать поэта из Одессы:

«Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо, напротив, казалось, он стал гораздо сдержаннее и умереннее прежнего, но собственный интерес молодого человека, не лишенного дарования и которого недостатки происходят скорее от ума, нежели от сердца, заставляет меня желать его удаления из Одессы. Главный недостаток Пушкина — честолюбие. Здесь есть много людей, а с эпохой морских купаний число их еще увеличится, которые, будучи восторженными поклонниками его поэзии, стараются показать дружеское участие непомерным восхвалением его и оказывают ему через то вражескую услугу, ибо способствуют к затмению его головы и признанию себя отличным писателем, между тем, он в сущности только слабый подражатель весьма непочтенного оригинала, лорда Байрона и единственно трудом и долгим изучением истинно великих классических поэтов мог бы оплодотворить свои счастливые способности, в которых ему невозможно отказать».

Если таков был тон письма, в котором Воронцов старался притвориться попечительным начальником легкомысленного, но не лишенного способностей юноши, то можно себе представить, каков был тон величественного наместника и генерал-губернатора при личных встречах с Пушкиным. «При этом, — говорит Анненков, — оскорбления наносились ему тоже чрезвычайно умелой рукой, всегда тихо, осторожно, мягко, хотя и постоянно как бы с помесью шутливого презрения. Было бы сумасшествием требовать удовлетворения за обиды, которые можно было только чувствовать, а не объяснить».

2 мая Воронцов в письме к министру по поводу политических настроений среди греков настойчиво возвращается к просьбе убрать Пушкина и, уже не скрывая раздражения, пишет: «Повторяю Вам мою просьбу избавить меня от Пушкина, это может быть превосходный малый и отличный поэт, но мне не хотелось бы иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе».

В тот же день Тургенев из Петербурга писал Вяземскому в Москву: «Пушкин поэт дрался на дуэли, но противник не хотел стрелять в него. Так я слышал. Боюсь для него неприятных последствий, ибо граф Воронцов устанет или может устать отвращать от него постоянное внимание на него правительства».

Ложные слухи о дуэли позже превратились в слухи о том, что Пушкин покончил самоубийством. Так переделывала по-своему молва вести о неладной одесской жизни.

Трудно сказать, какой ход дали бы власти доносам и жалобам Воронцова, если бы ему не пришел на помощь сам Пушкин. В марте 1824 года он написал кому-то, вероятно, Вяземскому, письмо. До нас дошел только отрывок, выписка, хранившаяся в канцелярии новороссийского генерал-губернатора, при «Деле о высылке коллежского секретаря Пушкина».

«...Читая Шекспира и Библию, Святой Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. — Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого Афеизма. Здесь Англичанин, глухой философ, единственный умный Афей, которого я еще встречал. Он исписал листов 1000, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur*, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная».

В этих шутливых, но невеселых строчках есть отголоски космической тоски, которая подступала к Пушкину еще в Кишиневе («Меня ничтожеством могила ужасает»), которую с такой изящной легкостью вложил он в «Демона».

Глухой Философ, о котором говорит поэт, был доктор Гутчинсон, домашний врач в доме Воронцовых, где Пушкин с ним, должно быть, познакомился. Один из тогдашних одесситов, чиновник А. И. Лёвшин, рассказывал Анненкову, что пять лет спустя встретил доктора Гутчинсона в Лондоне. Он уже был не Афеем, а ревностным англиканским пастором.

Но ведь и Пушкин года через 3—4 после Одессы записал на полях «Странствия Онегина»: «Не допускать существования Бога — значить быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге».

Письмо Пушкина, которое он сам потом пренебрежительно называл глупым, пошло в Петербурге по рукам. «Благодаря

---

*Что не может быть, чтобы существовал Создатель, разумный и распорядительный *(фр.)*.

не совсем благоразумной гласности, которую сообщили ему приятели Пушкина, и особенно покойный А. И. Тургенев, как мы слышали, носившийся с ним по своим знакомым, письмо дошло до сведения администрации».

Но дошло как будто не сразу, или писано оно было не в марте. При том настроении мрачного благочестия, которое к концу царствования придавило Александра и отражалось на его слугах, вряд ли расправа стала бы тянуться долго. Между тем еще 16 мая Нессельроде писал Воронцову: «Я представил Императору Ваше письмо о Пушкине. Он весьма доволен Вашим суждением о сем молодом человеке и поручил мне выразить Вам это официально. Но что касается окончательного о нем решения, то он даст мне свои приказания в ближайший раз, что мы с ним будем работать».

В конце июня Император решил дело Пушкина, и решил немилостиво. Но и Пушкин за это время не был смиренным зрителем чужих действий. В середине мая Давид пошел в открытый бой против Голиафа.

Глава XXXIV

АМАЛИЯ РИЗНИЧ И ГРАФИНЯ ЭЛИЗА

Для Пушкина жизнь в Одессе совсем не сводилась к борьбе с Воронцовым. Слишком был он для этого разнообразен, слишком любил самое движение жизни, ее пестроту, блеск, противоречия, игру страстей, карты, напряжение мысли, книги, женщин, рифмы, свои и чужие, морской гул и тихий ритм тайных стихов. Все это было у него в Одессе. Там начал он снова писать с упоеньем. Там «полуденное солнце согревало в нем все впечатления, море увлекало его воображение. Любовь овладела сильнее его душою. Она предстала ему со всей заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал пять верст с обнаженной головой под палящим солнцем по 35 градусам жары».

Это писано братом поэта, Львом Сергеевичем, с чьих-то слов, так как сам он в Одессе тогда не был. Неизвестно, о какой любви говорит он.

Анненков писал: «По меткому выражению одного из самых близких к нему (Пушкину. — *А. Т.-В.*) людей (по-видимому, это Вяземский. — *А. Т.-В.*), «предметы его увлечения могли меняться, но страсть оставалась при нем одна и та же». И он вносил страсть во все свои привязанности и почти во

все сношения с людьми. Самый разговор его, в спокойном состоянии духа, ничем не отличался от разговора всякого образованного человека, но делался блестящим, неудержимым потоком, как только прикасался к какой-нибудь струне его сердца или к мысли глубоко его занимавшей. Брат Пушкина утверждает, что беседа его в подобных случаях была замечательна, почти не менее его поэзии. Особенно перед слушательницами он любил расточать всю гибкость своего ума, все богатство своей природы. Он называл это, на обыкновенном насмешливом языке своем, «кокетничанием с женщинами». Вот почему, несмотря на известную небрежность его костюма, на неправильные, хотя и энергические черты лица, Пушкин вселял так много привязанностей в сердцах, оставлял так много неизгладимых воспоминаний в душе...»

Но оттенки этой страсти менялись. В Одессе Пушкин был влюблен в двух женщин, совершенно различных и по характеру, и по общественному положению. Одна из них была графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, другая — жена богатого негоцианта Амалия Ризнич, по происхождению не то флорентийка, не то венская еврейка. Это была молоденькая высокая и стройная красавица, с длинной черной косой, с горячими черными глазами, с ослепительно белой кожей. Оригинально одетая, живая, кокетливая, она не могла жить без общества. Их дом был полон поклонниками, которым хорошенькая негоциантка кружила голову. Одесские дамы на нее косились. У Воронцовых вряд ли даже ее принимали. Зато молодые люди, скучавшие около чопорного наместника, гурьбой бежали в дом Ризнич, полюбоваться очаровательной хозяйкой и поухаживать за нею. Один из ее поклонников, чиновник-поэт Туманский, писал о ней уже после ее смерти:

Ты на земле была любви подруга,
Твои уста дышали слаще роз,
В живых очах, не созданных для слез,
Горела страсть, блистало небо юга.

Пушкин оставил ее потрет в «Странствиях Онегина»:

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
В просонках фора закричит,
Зевнет — и снова захрапит.

После простоватых молдаванских красавиц Амалия Ризнич ударила Пушкину в голову, как шампанское. Но опять, как во всей донжуанской жизни Пушкина, нелегко установить реальные очертания этой любви. Какие стихи можно и должно связать с Амалией Ризнич? Где в них непосредственный отголосок страстной бури, где тень, отброшенная бешенством желаний, где поэтическая «поправка к волнениям жизни, которая сглаживала резкие ее проявления, смягчала и облагораживала все, что было в них случайно-грубого, неправильного и жестокого» *(Анненков)*.

Чтобы заглянуть в душу Пушкина, надо вчитаться в его стихи, искать хронологию его влюбленности в его черновых тетрадях, но восстановить ее нельзя без дополнения недостающих звеньев догадками и предположениями.

Вероятно, Пушкин, приехав в Одессу, сразу познакомился с Амалией Ризнич, которую муж привез весной 1823 года. Зачем было Пушкину откладывать знакомство с красавицей Ризнич, за которой волочилась вся молодежь, тем более что двери перед чиновниками из свиты наместника легко открывались. Если признать, как это принято у пушкинистов, что рассказ его брата о том, как Пушкин в припадке бешеной ревности пробежал пять верст по жаре, относится к Амалии Ризнич, то надо считать, что уже летом 1823 года Пушкин был в нее безумно влюблен. Вряд ли это верно.

В предпоследней строфе первой главы Онегина, писанной ранней осенью, поэт насмешливо говорит:

Прошла любовь; явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен — вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу — и сердце не тоскует...

Правда, это относится к старой, уже изжитой любви. Но тут звучит радость, ощущение раскрепощения, внутреннее чувство простора, среди которого создавалась первая глава романа, наполнившая летние месяцы 1823 года. Новая страсть налетела позже.

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой...
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в моей любви несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,

Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой...

В самой отрывистости этого стихотворения, в наскоро набросанных картинах, в описании лукавого соперника, которого она принимала «в нескромный час меж вечера и света, без матери, одна, полуодета», наконец, в быстрой вспышке любовной радости — «наедине со мною ты так нежна! Лобзания твои так пламенны! Слова твоей любви так искренно полны твоей душою!» — все это дрожит, горит ревнивой, но уже разделенной любовью. Мучительно вырывается мольба:

Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.
(1823)

Пушкин это написал в середине октября, не позже 14-го. А несколько дней спустя написал «Ночь», этот гимн удовлетворенной страсти, где горячие строчки, насыщенные счастьем обладанья, точно допевают ритм крови, загоревшейся от поцелуев. Это только восемь строк, но в них сосредоточена еще не слыханная в русской литературе заразительная страстность звука:

Мой голос для тебя и ласковый, и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя...

Под этим в черновой тетради подписано: *«Одесса. 26 октября 1823 г.»*.

Любовь не ослабляет, скорее усиливает его внутреннюю жизнь, напряженную, до краев полную кипеньем духа. Ноябрьские письма блещут новым изяществом прозы, яркими мыслями о литературе, о слоге, о писателях и писательстве. Чего только в них нет. Только нет ни слова о любви, и об Онегине упоминается вскользь. Хотя Онегин вздымается над всем, точно воздушный корабль плывет над долами и горами. «Даже не роман, а роман в стихах». Сквозь магический кристалл встают, раздвигаются просторы русской жизни. Осмысливается Россия. Пушкин пишет с давно не испытываемым упоеньем и в то же время в неисчерпаемых кладовых своего гения находит мысли, образы, ритм, слова, рифмы для

других художественных замыслов, для «Наполеона», для «Сеятеля», для «Цыган».

Накануне того дня, когда чуть не признался он Вяземскому, что пишет с упоеньем, среди черновиков Онегина вдруг поставил Пушкин загадочные буквы:

3 nov. 1823. Un. b. d. M. R. Эту надпись принято читать так: «Un billet de M-me Riznitch». То есть, что 3 ноября Пушкин получил записку от M-me Riznitch. Но кто знает, так это или не так?

Потом теряется след, нет даже стихов-иероглифов. И вдруг около 8 апреля, после черновика XLIX строфы Онегина, написано: «aimez-moi»*... Что это? призыв все к той же манящей и ускользающей кокетке, которая, кстати сказать, на его русские поэтические мольбы не могла откликнуться, так как по-русски не понимала? Или уже мысль о другой?

В это время Амалия Ризнич собиралась ехать в Италию. В XLIX строфе говорится об Италии:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
. . . .
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле
С Венециянкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле, —
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

Возможно, что еще до отъезда Ризнич между ней и Пушкиным произошел разрыв. Около 8 февраля Пушкин писал:

Все кончено, меж нами связи нет!
В последний раз обняв твои колена,
Произносил я горестные клятвы...
«Все кончено!» я слышу твой ответ...

Дальше несколько перечеркнутых строк: «Обманывать себя не стану... Тебя роптанием преследовать... Не для меня сотворена любовь...»

Набросок остался неконченным. Точно иссяк песенный источник... Только позже, когда остыла уже ревнивая кровь, поэт и эту любовь обессмертил в мраморе стиха.

В первых числах мая Амалия Ризнич с маленьким сыном и тремя слугами уехала из Одессы, через Австрию во Флорен-

* «Любите меня» *(фр.)*.

цию. Ехала она лечиться, да и ревнивый муж не прочь был разлучить ее с поклонниками. Но все-таки один из счастливых соперников Пушкина, молодой князь Яблоновский, поехал за ней во Флоренцию, где она через год умерла от чахотки, кажется, на его руках.

Когда Пушкин в Михайловском узнал о смерти Ризнич, он с изумлением прислушивался к собственному равнодушию:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла, наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!

(1826)

Осенью 1830 года Пушкин был в Нижегородском поместье Пушкиных, в Болдине. Холерные карантины заграждали все дороги. Пушкин сердился, рвался в Москву, к невесте и в то же время писал с упоеньем, с бешеной быстротой. Его творчество в Болдине все светится, все пронизано воспоминаниями. Точно прощался он со своим прошлым, прощался с женщинами, наполнявшими это прошлое любовным очарованием. Не об Амалии ли Ризнич думал поэт, когда писал:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальной
Я долго плакал пред тобой.
. . . .
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой!..

(1830)

Но сказать наверное, что именно Амалия Ризнич навеяла эти строки, нельзя. В рукописи было: «Для берегов чужбины дальной ты покидала край родной...» Для печати Пушкин переделал — «отчизны дальной».

Опять ускользнул от пытливых глаз исследователей, вырвал из их рук край донжуанского плаща, за который они только что ухватились.

Если пристально всмотреться в жизнь Пушкина в Одессе, вслушаться в его пение, из-за черноглазой, ветреной итальянки-Лауры, проступает образ другой женщины, полной иного, вкрадчивого очарования. Как сочетались в сердце Пушкина эти два увлечения, уживались ли они одновременно, или одно пришло на смену другому — кто теперь разберет. Княгиня Вера Вяземская писала из Одессы мужу, что Пушкин влюблен в трех сразу. Возможно, что третьей она считала Катеньку Гик, молоденькую барышню, за которой Пушкин слегка волочился. В том донжуанском списке, который Пушкин своей рукой вписал в альбом Ушаковой, всего 37 имен. Там имена Амалии и Элизы стоят рядом, тотчас же после Калипсо и Пульхерии, двух кишиневских имен.

И в жизни его Амалия и Элиза точно шли некоторое время рядом, так близко соприкасаясь в страстных переживаниях поэта, что даже стихи переплелись, перепутались, текли непрерывным током от одного чувства к другому.

Среди черновиков Онегина, писанных зимой 1823/24 года, есть неотделанный лирический набросок, в котором поэт отрывисто выражает счастье удовлетворенной любви: «Когда желанием и негой утомленный я на тебя гляжу... и лечишь поцелуем... Свое дыханье впиваешь... И слезы на глазах... с любовью... Щастлив... Я не завидую богам...» По положению в рукописи, которым определяется отчасти и хронология, это надо отнести к стихотворениям, еще связанным с Амалией Ризнич. А через несколько страниц уже элегическое прощанье с ветреной любовницей: «Все кончено: меж нами связи нет...»

Год спустя, когда уже Амалия Ризнич была далеко, Пушкин теми же словами, которыми начинался неконченный отрывок, начал новое стихотворение:

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя...

Это «Желание Славы», навеянное любовью к Воронцовой. Так рифмы, впервые зазвучавшие в честь Амалии, сложил поэт к ногам Элизы.

Великий Гёте говорил, что можно одновременно прижимать к горячему сердцу и алую розу и белую лилию. Пушкин так иногда и поступал, хотя вряд ли знал об этом изречении немецкого поэта-эпикурейца, с которым в натуре у него было много общего.

Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, единственная дочь богатой и знатной графини Браницкой, выросла среди пышного уединения огромного поместья в Белой Церкви. Воспитывали ее строго, вывозили мало, и только после замужества с графом Воронцовым началась для нее свободная, светская жизнь. В Одессе благодаря служебному положению мужа графиня была центром маленького двора. Но прирожденная и обаятельная ее обходительность смягчала исключительность ее положения. Болтливый, чаще всего недоброжелательный к людям, чиновник Ф. Ф. Вигель, который так же, как и Пушкин, познакомился с ней в 1823 году, так описывает Воронцову: «Ей было уже за 30 лет, а она имела все права казаться молоденькою. Дома, когда другим мог бы надоесть свет, жила она девочкой при строгой матери в деревне... Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода она была душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотою; но быстрый нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи».

Даже те, кто встречал ее позже, когда годы наложили на нее свое бремя, испытывали на себе ее очарование. Писатель граф В. А. Соллогуб познакомился с нею 10 лет спустя: «Небольшого роста, тучная, с чертами несколько крупными и неправильными, Елизавета Ксаверьевна была тем не менее одной из привлекательнейших женщин своего времени. Все ее существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственною грацией, такою приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин... Раевский и многие, многие другие без памяти влюблялись в Воронцову».

Графиня Элиза обладала не только внешним обаянием, но и внутренней прелестью ума и сердца. Этим не всегда отличались женщины, за которыми ухаживал Пушкин. У нее были редкие тогда замашки общественной деятельницы. В Одессе она оставила по себе добрую память, как умная хозяйка края. Она основала первое в Новороссии Общество призрения больных. Она поддержала щедрым вкладом в 120 000 рублей первую в Одессе Стурдзовскую богадельню. Даже в письмах Александра Раевского есть отблеск ее внутренней душевной гармонии, точно лучи прокрались. Скептик, презиравший нежные чувства, язвительный Мельмот, не веривший в любовь, Демон, который ничего во всей природе благословить не хотел, — А. Раевский полюбил графиню Элизу длительной, мучительной любовью.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал,
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал...

Кто подсказал это Пушкину, кто рассказал ему, как зародилась любовь Ал. Раевского к очаровательной кузине? Конечно, не сам «Демон».

Раевский приходился Воронцовой кузеном и по праву родства мог часто и запросто с ней встречаться. Лето 1822 года графиня со своей маленькой дочкой проводила в Белой Церкви у матери. Ал. Раевский писал оттуда Е. Н. Орловой: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер самый очаровательный, какой я знаю. Я провожу с нею почти весь день». В другом письме еще подробнее: «Я изрядно скучаю и может быть впал бы в уныние, если бы не пример гр. Воронцовой, мужество, с которым она переносит бессмысленность своего здешнего существования, служит мне укором. Ровность ее светлого настроения по истине удивительна: будучи так долго лишена удовольствия в лучшие годы своей жизни, она тем более, казалось бы, должна жаждать всех тех благ, которыми наслаждалась в Париже; между тем возобновление старого, необыкновенно скучного образа жизни нимало не отразилось на расположении ее духа, и даже отсутствие своего мужа (который недавно покинул ее на пять-шесть дней для объезда своих имений) она переносит с той же ровностью нрава. Правда она имеет некоторые внутренние ресурсы, которых у меня нет, например, удовлетворенную гордость, чувство своей личной значительности. Если она сейчас не пользуется никакими утехами света, она может утешать себя мыслью, что они доступны ей в каждую минуту, когда она того пожелает, — а это уже большое облегчение» *(17 июня 1822 г.)*.

Так даже о молодой женщине, пленившей его, говорит А. Раевский с оттенком зависти, которая всегда его грызла, которая отравила его отношения с Пушкиным, простодушным и доверчивым.

Не будь стихов Пушкина, трудно было бы по отрывистым, скупым памяткам восстановить живую прелесть женщины, царившей над одесским обществом сто лет тому назад. Но он сохранил для дальнейших поколений ее мягкую грацию, ее женственную нежность, ясность ее сердца, смирявшую даже взбаламученную душу неудачника Раевского. «Ангел утешения... Ангел чистый... Волшебница... Ангел нежный...» — вот как говорит о ней поэт. Амалия Ризнич вызвала в нем горячку ревнивой страсти. Графиня Элиза задела другие струны, хотя зажгла в нем любовь тоже пламенную, страстную.

Среди многочисленных ее портретов есть один, где художник схватил томную нежность взгляда и улыбку тихую, с легким оттенком грусти, но все же лукавую, «призывающую поцелуи». По моде 20-х годов букли спускаются над самыми висками. Над высоким, красивым, умным лбом белеет огромная жемчужина; головка чуть склонилась к плечу. Обнаженную шею охватывает тоже жемчужное ожерелье. Художник передал ее красоту, и «неукоснительное щегольство», и духовную выразительность. Все это делает портрет таким близким, так понятно становится, что в эту женщину можно было влюбиться без памяти. А разлюбить было нелегко.

Как и когда началось сближение между Пушкиным и графиней, теперь не разгадаешь. Восстановить этот роман в жизни поэта можно, только подбирая догадки, намеки, немногие факты, а главное, разбираясь в его стихах, таких ясных и лукавых, таких искренних и неуловимых. Возможно, что вначале Пушкин произвел на Элизу Воронцову такое же неприятное впечатление, какое он произвел на княгиню Веру Вяземскую, когда она, летом 1824 года впервые с ним познакомилась в Одессе. Она писала мужу: «Я тебе ничего не могу сказать хорошего о племяннике Василия Львовича... Это мозг совершенно беспорядочный. Во всем виноват он сам...» А через неделю та же княгиня Вера уже писала: «Пушкин менее дурен, чем кажется...» Еще через три недели у нее уже установилась с Пушкиным настоящая amitié amoureuse*. Это не единственный случай. Пушкин знал тайну власти над женским сердцем.

Мои слова, мои напевы
Коварной силой иногда
Смирять умели в сердце девы
Волненье страха и стыда...

Это как раз в 1824 году и писано.

Ревнивая, бешеная страсть поэта к «негоциантке молодой», о которой, конечно, знала вся маленькая Одесса, могла поддразнить женственное любопытство и мягкое кокетство Воронцовой. Нравиться она привыкла и хотела. У нее тоже был свой хор поклонников, почтительных, сдержанных, но влюбленных. И вдруг поэт, которого прославили уже на всю Россию, у ног другой.

Или просто ее нежная, светлая душа затосковала, рванулась навстречу счастью, которое даже на долю самых краси-

---

*Дружеская влюбленность *(фр.)*.

вых очаровательниц выпадает так редко, — счастью зажечь любовь в гениальном поэте, хоть на мгновенье отразиться в его творческой душе, чтобы потом из поколения в поколение передавалась молва о женщине, обворожившей Пушкина.

«Предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта, — рассказывает Анненков. — Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головки, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам от Одесского периода жизни». Эту головку Пушкин рисовал чуть наклоненной, как изображена Воронцова на портрете. И в стихах у Пушкина «Ангел нежный главой поникшею сиял». Принято думать, что поникшая голова выражает печаль, томность, усталость. Пушкин озарил ее сиянием.

Анненков писал, когда графиня Элиза была еще жива и биограф не имел права говорить яснее об этой любви, тайну которой ревниво хранил не только Пушкин, но, что гораздо удивительнее, его друзья. Недосказанное, но совершенно ясное указание Анненкова на любовь Пушкина к Воронцовой подтверждается двумя сведениями из семьи Вяземского. Осенью 1838 года князь П. А. Вяземский был в Англии и видел сестру графа М. С. Воронцова, в замужестве лэди Пэмброк. Вернувшись от нее, он записал в записной книжке, сохранившей для нас столько важного и яркого бытового и исторического материала: «Сегодня Hurbert, сын lady Pembrock-Воронцовой, пел «Талисман», вывезенный сюда и на английские буквы переложенный. Он и не знал, что поет про волшебницу тетку, которую на днях сюда ожидают».

Волшебница в «Талисмане» не холодная, недоступная красавица. Это опечаленная разлукой любовница:

Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман,
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан...»
(1827)

Вяземский мог узнать об этой связи от своей жены, на глазах которой доигрывался роман. Вяземские честно сохранили тайну поэта. Даже в литературных кругах ходили о ней только смутные слухи. Уже после смерти Пушкина

П. А. Плетнев, казалось, подробно знавший жизнь своего гениального друга, в письме к Я. К. Гроту, который собирал материалы о Пушкине, писал: «Княгиня Вяземская рассказала мне некоторые подробности о пребывании Пушкина в Одессе и его сношениях с женой нынешнего графа Воронцова, что я только подозревал» *(1846)*. Несмотря на настойчивые письменные расспросы Грота, Плетнев в письмах своих больше ни слова не обронил.

Но повесть этой любви можно и должно искать в стихах Пушкина. В них отблеск ее неотразимой улыбки. Графиня Элиза заглянула, наклонилась над таинственным источником поэзии, прозрачным и бездонным, и, заколдованная, отразилась в нем.

Любовь к Воронцовой вставлена у Пушкина в рамку совершенно определенного, повторяющегося пейзажа. Среди черновиков письма Татьяны, писанного весной 1824 года, вероятно, в мае, — есть недоделанный, перечеркнутый набросок, где «приют любви» описан особенно ясно, с четкими подробностями: «Пещера дикая видна... Приют любви, он вечно полн прохлады сумрачной и влажной... Там никогда стесненных волн не умолкает шум протяжный...»

И другой, еще более перечеркнутый отрывок: «Есть у моря, под скалой, уединенная пещера, обитель неги, в летний зной она прохладной темнотой...»

Наконец, в той же тетради, но, вероятно, позже, может быть, уже в Михайловском записано:

(у брега вод)
В пещере тайной, в день гоненья
Читал я сладостный Коран.
Внезапно Ангел Утешенья,
(тайный)
Влетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила...
Слова святые начертила
На нем безвестная рука...

У Пушкина после Одессы появился перстень с еврейской надписью. Сестра поэта и его друзья считали, что перстень подарен ему графиней Воронцовой. Он это подтвердил:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы...
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман...

В «Разговоре книгопродавца с поэтом», где Пушкин с такой художественной легкостью переходит от тончайшего анализа психологии творчества к яркой любовной лирике, он

опять возвращается к той же ассоциации, к тому же неотступному пейзажу: морская пещера, где шумят и бьются волны.

Там, там, где тень, где шум чудесный,
Где льются вечные струи...

Но для печати он переделал «шум чудесный» в «лист чудесный». Это едва ли не единственный у него случай стиха почти бессмысленного.

Пушкин еще в Крыму наслаждался морем, с первого взгляда влюбился в него той особой любовью, которую испытывают к морю поэты и музыканты, воспринимающие через него ритмический голос космоса:

Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокой, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.
(«Евгений Онегин». Гл. VIII)

Когда пришлось ехать на север, поэту было так же тяжело расставаться с морем, как расстаться с любимой женщиной. Как голос живого существа звучал для него призывный шум морской.

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
. . . .
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
(1824)

Но в стихах, где сквозит и светится любовь к Воронцовой, море только пособник, наперсник, укрывший любовников в своей пещере тайной, влажной и прохладной. Дача Рено, где жили летом Воронцовы, стояла на высоком берегу, на обрыве. С него сбегала крутая тропинка к морю. Графиня Воронцова любила гулять вдоль берега моря, и в этих прогулках ее часто сопровождал Пушкин и другие знакомые молодые люди. А. О. Россет (брат Смирновой) говорит, что во время этих прогулок молодая женщина часто повторяла чей-то стих: «Не белеют ли ветрила, не видны ли корабли», за что Пушкин шутя прозвал ее princesse Bellevetrile*.

---

* Княгиня Бельветриль *(фр.)*.

Воображение Пушкина всегда исходило от реальных, предметных впечатлений, и пещера темная, приют любви — пейзаж не выдуманный. В письмах княгини Веры Вяземской дошло до нас описание пустынных скал, где море вечно плещет. Она жила рядом с Воронцовыми, около дачи Рено, и писала мужу, что главное ее развлечение — «взобраться на огромные камни, выдавшиеся в море, и смотреть, как волны разбиваются у моих ног; но иногда, когда они слишком быстро набегают, у меня не хватает храбрости дождаться девятой волны. Я тогда спасаюсь, бегу скорее волн, потом опять возвращаюсь. Нам с гр. Воронцовой и Пушкиным случалось дождаться этой волны и тогда она так обливала нас, что приходилось идти домой и переодеваться» (*11 июля 1824 г.*).

Вот где-то среди этих камней, взгромоздившихся над морем, и вручила волшебница поэту дар любви, волшебный талисман.

В «Арапе Петра Великого» Пушкин так описывает историю любви Ибрагима и графини Леоноры: «Графиня Д., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою... Дом ее был самый модный... Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого Негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием».

Мало-помалу графиня Леонора привыкла к Ибрагиму, ей нравился его разговор, «простой и важный». Но он боялся поверить своему счастью. «Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно... Он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлением его страсти (как это похоже: «Я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». — *А. Т.-В.*), хотела противуставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим...»

Графиня Элиза, как и графиня Леонора, не сразу обратила внимание на Пушкина, хотя он уже был весьма «замечен-

ным». И так же резко отделяла их разница общественного положения. Но пришла любовь и разметала все перегородки, запечатлела нежный образ Воронцовой в ряде стихов первоклассных и по форме, и по силе, и по красоте любовного экстаза. «Желание Славы», «Сожженное письмо», отчасти «Разговор книгопродавца с поэтом» *(1824)*, «Прозерпина», «Талисман», «Ангел», «Расставание», «Заклинание» *(1830)* — всюду она.

Но самое прекрасное проявление ее власти над душой поэта, это пленительный, совершенно новый в русской литературе образ Татьяны, который был создан там же, в Одессе, под непосредственным впечатлением той глубокой и сильной женственности, с которой поэт едва ли не впервые соприкоснулся в лице графини Элизы. Ею был он занят всю весну 1824 года. В начале мая Амалия Ризнич уехала, освободив воображение, а может быть, и сердце поэта. И как раз в это время все ярче встает в его стихах образ Татьяны. «Барышня», так назвал он третью главу Онегина, которую начал 8 февраля. Она не сразу сложилась, не так легко скатилась с его быстрого пера, как вторая глава, написанная в 6 недель. Татьяна не сразу дается ему. Или опять жизнь врывается и отрывает, опять любовь затемняет ясный ум?

В течение мая несколько раз Пушкин пишет, переписывает, переделывает письмо Татьяны, набрасывает к нему конспект, заносит в тетради отдельные стихи. Опять отходит, пишет «Цыган», пишет стихи лирические и политические, эти удивительные строчки:

Дряхлели троны, алтари,
Над ними туча подымалась;
Вещали книжники, тревожились Цари...
Толпа пред ними волновалась...

И опять от мыслей о судьбах человечества и его властителей, о тайнах вечности и гроба, возвращается Пушкин к печалям и волнениям влюбленной девушки, набрасывает конец ее письма к Онегину. В ту горячую одесскую весну Татьяна владела его воображением:

Явилась барышней уездной
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках...

Это один из многих обликов, которые принимала его Муза, его вечная спутница, воплощавшая в себе все бесконечное разнообразие его творчества, его сердечных увлечений.

Ал. Раевский, один из немногих, если не единственный

одессит, который должен был знать, о ком думал Пушкин, когда создавал Татьяну, писал Пушкину уже в Михайловское: «Хочу поговорить о Татьяне. Она приняла живое участие в твоей беде; она поручила мне передать это тебе, и я пишу тебе с ее ведома. Во всем этом ее добрая и нежная душа видит только несправедливость, жертвой которой ты явился. Все это она мне сказала с чувствительностью и грацией, свойственной характеру Татьяны. Даже ее очаровательная дочка помнит тебя и часто спрашивает меня про сумасшедшего Пушкина, и про палку с собачьей головой, которую ты ей дал» *(21 августа 1824 г.)*.

Письмо писано из Александрии, где Раевский гостил одновременно с графиней Воронцовой. А. Раевский был недоброжелательный, но близкий наблюдатель, если не роковой участник той драмы, которая разыгралась в Одессе. Его указание на то, что Татьяна и есть Воронцова, имеет для исследователя почти решающее значение. Конечно, Татьяна не портрет. В ней отразился ряд женщин, бросивших свой отблеск в душу художника, где действительность и творческая мечта таинственно преобразились в чистый и гордый девичий облик. Между Татьяной, такой земной, простой, скромной, и Ангелом, который «главой сияющей поник», есть воздушное, неуловимое, но несомненное сходство. В строфах поэмы, предшествующих письму Татьяны, Пушкин с лукавой нежностью отметил: «Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала, и выражалася с трудом на языке своем родном». Это похоже на Воронцову. Пушкин, точно продолжая какой-то неостывший спор, заступался за свою героиню, уверял, что ему даже нравится «милое искажение» русского языка:

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей...
(Гл. III, ст. XXXIX)

Графиню Элизу сближает с Татьяной нежная душевная грация, о которой говорит в своем письме А. Раевский, которую помнили все, знавшие Воронцову, которая сохранилась для будущих поколений в стихах Пушкина. Он оставил в них не внешний облик хорошенькой графини, — мало ли хорошеньких женщин встречал Пушкин на своем веку, — но он ощутил, навсегда запечатлел в своих стихах своеобразный аромат душевной красоты, которым судьба наградила Воронцову. Только позже, описывая превращение Татьяны в светскую даму, поэт придал ей и некоторые внешние черты графини Воронцовой:

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
(Гл. VIII, ст. XIV)

Из всех возлюбленных Пушкина едва ли не одна только графиня Элиза дала ему полноту телесного и духовного счастья, которое для многих остается на всю жизнь неиспытанным и потому невероятным, непостижимым.

В мае 1824 года Пушкин отделал, переделал, почти наново написал стихотворение «Прозерпина». Он начал его в Кишиневе весной 1821 года. Потом оставил и только через три года опять вернулся, точно нашел «новорожденные слова», точнее передающие то, чем кипела душа. Даже слишком точно. Пушкин поставил под «Прозерпиной» неверную дату, как делал, когда хотел укрыть от взоров черни «дары любовницы прекрасной». «Прозерпина» была напечатана в «Северных Цветах» *(1825)* с подзаголовком: «Подражание Парни» и с датой — 26 августа 1824 года, хотя написана она была в мае. В августе поэт уже был далеко от своей волшебницы.

«Прозерпина» одно из тех стихотворений, которое показывает, что Пушкин не умел ни переводить, ни подражать, а только брал от созвучного поэта предлог для выражения своих замыслов, чувств, сердечных опытов. В Пушкинской «Прозерпине» слова мчатся, полные страстного ритма, гудят, точно слышно, как бьют копыта по иссохшей, знойной земле.

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат...

У французского поэта льется сладковатая свирель пастушка:

Le sombre Pluton sur la terre
Etait monté furtivement.
De quelque Nymphe solitaire
Il méditait l'enlevement*.

У Парни любовные картины расплываются, перемешиваются с изображением ада. Стикс, Цербер, Минос, Алектон заслоняют, пугают влюбленных. У Пушкина любовь сильнее всех сил подземного царства. Даже на берегах темной Леты «их утехам нет конца». Каждое его слово дышит могучей страстью. У Парни Прозерпина не столько богиня, сколько маркиза, обманывающая своего мужа:

---

*Мрачный Плутон на землю поднялся украдкой. Он замыслил похитить какую-нибудь одинокую Нимфу *(фр.)*.

Avec prudence Proserpine
Le conduit dans un lieu secret,
Myrtis baise ses blanches mains...*

Пушкинская Прозерпина «Ада гордая царица». И в то же время это страстная любовница, вряд ли вымышленная. Он кого-то видел перед собой, восстановлял горькую сладость еще неостывшего любовного опыта:

Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит, и томно стонет...

Жгучую реальность своих наслаждений Пушкин чуть прикрыл внешней оболочкой мнимого подражания Парни. Как Гёте, как многие поэты, Пушкин, излив страсть в стихах, смирял ее тревогу. В то же время он боялся предательски разболтать тайну свою и своей возлюбленной.

«Прозерпина» привела в восторг Дельвига: «Это не стихи, а музыка: это пение райской птички, которое, слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет... Какая искусная щеголиха у тебя Истина...» *(10 сентября 1824 г.)*.

Что хотел этим сказать самый близкий друг поэта? Или знал, о ком думал Пушкин, когда писал Прозерпину?

Дельвиг считал, что «толпа не поймет всей красоты твоей Прозерпины, или Демона, а уже про «Онегина» давно горло дерет». Но если толпа и не все понимала, то это искупалось для Пушкина чуткостью волшебницы. «О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, — рассказывает его брат, — а с женщинами никогда и не касался до сего предмета». Очевидно, для женщин, способных его понять, Пушкин делал исключение. Ведь недаром писал он:

Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...

В Михайловском, в горьком уединении, грубо, безнадежно, навсегда оторванный от любимой женщины, Пушкин в немногих строчках, насыщенных целомудренным восторгом, показал, как верность ума и тонкость художественного вкуса, которыми отличалась графиня Элиза, внесла своеобразную прелесть в их любовь:

---

*Осторожно Прозерпина ведет его в укромное место, Миртис целует ее белые руки... *(фр.)*.

Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей? —

спрашивает поэта книгопродавец и получает неохотный ответ:

...Какое дело свету?
Я всем чужой. Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

И потом вдруг в ряде страстных, быстрых строк вызывает он перед нами образ женщины, любовь к которой сливается в нем с любовью к поэзии святой. Опять перед нами озаренная внутренним светом душа женщины, с которой поэт мог делиться главным своим сокровищем, главным счастьем своей жизни — вдохновением:

Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна была — пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить,
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей.
(26 сентября 1824 г.)

Последние пять строк не вяжутся с началом. Это поэтическое домино, накинутое Пушкиным, чтобы ускользнуть от «взоров черни лицемерной». Опасаясь собственной правдивости в стихах, он переменил «шум чудесный» в «лист чудесный»,

хотел под «Разговором», как и под «Прозерпиной», поставить неправильную дату, пометить его 1823 годом. Собирался выкинуть предательский стих: «Вся жизнь, одна ли, две ли ночи», и оставил его: «Надо выкинуть, да жаль, хорош...» Этот страх перед нескромностью стихов, как и выдержанная несообщительность Вяземских, самое верное свидетельство того, что взаимности Пушкин добился. Иначе не было бы нужды так упорно таиться. На репутацию жены наместника могло накинуть тень только ее собственное поведение, а не безумство ее поклонников.

Глава XXXV

САРАНЧА

Нет оснований думать, что Воронцов ревновал жену к Пушкину, как позже приревновал он ее к Александру Раевскому. Даже если, расширяя сходство характеров Элизы и Татьяны в сходство их судьбы, предположить, что она вышла за Воронцова без любви, то все-таки самоуверенный М. С. Воронцов, человек нестарый, видный, даже скорее красивый, не мог допустить, чтобы его жена могла унизиться до любви к нищему ссыльному сочинителю, к тому же некрасивому, с характером неровным, с подчас резкими вспышками страстей. Систематическая холодная травля вызывалась не ревностью. Просто Воронцову в Пушкине все было противно — его вид, поведение, эпиграммы, талант, рост его популярности, которую уже начали называть славой, — вообще то, что он был Пушкин. Надо было или избавиться от этого подчиненного, или заставить его понять свое положение.

Пушкин своими стихами, своей растущей уверенностью в высоком призвании поэта и писателя помогал освободить русскую литературу, которая до него находилась в полной зависимости то от цариц и царей, то от покровителей. Пушкин со всей силой гениального ума и гордой совести боролся против нестерпимого пренебрежения к русским писателям, подготовляя для них почетное место, которое позднее заняли в России литераторы. Он делал это без красования, без хвастовства, без позы, оставаясь все тем же смешливым, быстрым на проказы «Сверчком». Это сбивало с толку даже таких людей, как А. Тургенев. При всей своей благожелательности он просто не понимал, что поэту независимость нужна, как птице крылья. Когда Пушкин нетерпеливо отстранился от полу-милорда, А. Тургенев заволновался, что граф «устанет

его оберегать». А ведь Тургенев был человек просвещенный, либерал, близкий друг умного Вяземского. Неудивительно, что далекий от литературы Воронцов, чиновник и служака, с надменным, сердитым недоумением смотрел на то, как заносчиво держит себя один из его чиновников, умеющий сочинять стишки.

Анненков писал, что была еще одна подробность в одесской жизни, бесившая Пушкина. Это — недостаточное уважение к его дворянству. «В надменном презрении к ремеслу Пушкина скрывалось еще и презрение к низменному гражданскому положению, которое обыкновенно связано с этим ремеслом. Обида наносилась одновременно двум самым чувствительным сторонам его существования: во-первых, его поэтическому призванию, которое доселе устраивало ему повсюду радушный, часто торжественный прием, а во-вторых, и его чувству русского дворянина, равного по своему происхождению со всяким человеком в Империи, на каком бы высоком посту он ни стоял. Конечно, гораздо лучше было бы для поэта вовсе не обращать внимания на эти усилия понизить его общественное значение, так как оно целиком зависело от него самого и стояло выше всяких толков и завистливых отрицаний, но Пушкин думал иначе. Он с увлечением старался противопоставить в отпор гордости чиновничества и вельможества двойную, так сказать, гордость знаменитого писателя, а затем и потомка знаменитого рода, часто поминаемого в русской истории. Он сделал из этой темы нечто вроде знамени для борьбы с господствующей партией».

Так с этих пор проснулось и заговорило в Пушкине то родовое чувство, которое заставляло его интересоваться семейной историей и преданиями. Многие считали это дворянским чванством, и приятели нередко с высоты новорожденного демократизма пробирали Пушкина. Но он не сдавался. «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин — дьявольская разница!» *(май 1825 г.)*.

Так писал Пушкин А. А. Бестужеву год спустя после своего изгнания из Одессы, когда он по опыту узнал, что требовать от Воронцова уважения к русскому поэту безнадежно.

Положим, и Пушкин в Одессе не проявлял особого уважения к верховному представителю власти в крае и бесцеремонно дразнил его своими эпиграммами, которые, конечно,

доходили до Воронцова. Возможно, что в наказание за одну из них Воронцов решил отправить Пушкина «для истребления ползающей по степи саранчи». 22 мая 1824 года Пушкину было приказано отправиться в разные города Херсонской губернии и там через местную администрацию собрать сведения, «в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются; после сего осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства, и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями, и обо всем, что по сему найдено будет, донести».

Пушкин взбесился, заметался, как будто пробовал даже объясниться с Воронцовым. Хотя это и не вполне ясно. По-видимому, их ссора зашла уже слишком далеко для личных разговоров. Ф. Ф. Вигель уверяет, что он просил графа Воронцова отменить нелепую командировку. «Он (Воронцов. — *А. Т.-В.*) побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезный Филипп Филиппович! Если вы хотите, чтобы мы остались в прежних, привязанных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце», а через полминуты прибавил: «также и о достойном друге его, Раевском».

Получив приказ, Пушкин в тот же день набросал ответ, в котором ясно и твердо сказал, что чиновником никогда не был и быть не хочет. Письмо это он не сразу отправил, продержал три дня, 25 мая передал, смягчил резкость выражений, но сущность оставил.

«Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, — писал Пушкин, — не знаю, в праве ли отозваться на предписание Его Сиятельства. Как бы то ни было, надеюсь на Вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно на счет моего положения. 7 лет я службою не занимался, не писал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти 7 лет, как Вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого.

Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или ПБ можно вести книж-

ный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столицы. Правительству угодно было вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Вхожу в сии подробности, п. ч. дорожу мнением гр. Воронцова так же, как и Вашим, как и мнением всякого честного человека».

Пушкин писал, что чувствует свою совершенную неспособность к службе и готов, «если граф прикажет, подать в отставку». Письмо заканчивалось заявлением о том, что у него аневризм: «Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть».

Аневризм был, кажется, простым растяжением вен на ноге. Трудно понять, придавал ли Пушкин ему значение, или просто искал лишнего предлога уйти со службы.

Это письмо один из этапов в мучительной, многолетней переписке великого поэта с чиновниками, которые не понимали, и так до самой его смерти не поняли, что и поэты служат Родине и государству.

Письмо, конечно, подлило масла в огонь. В нем была твердая вера в важность писательского призвания, был дух независимости — все, что так бесило Воронцова и его клику. Адресовано это заявление было на имя А. И. Казначеева (1783—1880). Этот «добрейший человек в мире», «белый голубь» (слова С. Т. Аксакова), хорошо относился к Пушкину. Возможно, что он даже допускал, что и поэты имеют право на некоторое внимание. Но А. И. Казначеев прежде всего был чиновником, да еще правителем канцелярии наместника. И он, и его жена, стремившаяся иметь литературный салон, это твердо помнили, и не от них мог ждать Пушкин поддержки. Впрочем, он ни от кого не ждал и не искал защиты. Певец Давид один на один шел на одесского Голиафа, «подсвистывая ему стихами».

На саранчу он все-таки поехал. Сохранился анекдот, что вместо доклада об этих насекомых Пушкин представил Воронцову четыре строчки:

Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела — все съела
И вновь улетела.

Нет никаких доказательств, что это так было. Да и стихи не похожи на Пушкина, звук слишком беден.

Когда история с саранчой дошла до Москвы, неугомонный дядюшка Василий Львович недурно скаламбурил про племянника: La sauterelle l'a fait sauter*. Действительно, саранча окончательно заела Пушкина в Одессе.

Июнь и июль прошли для него очень тревожно. Он писал Вяземскому по поводу их общих журнальных планов: «Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он; а Меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного Вельможи. Это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима» *(7 июня 1824 г.)*.

Через несколько дней он писал брату: «Ты требуешь от меня подробностей об Онегине — скучно, душа моя. В другой раз когда-нибудь. Теперь я ничего не пишу: хлопоты другого рода. Неприятности всякого рода; скучно и пыльно» *(13 июня)*.

Потом опять Вяземскому: «Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку. Но чем кончат Власти, еще не известно. Тиверий рад будет придираться; а Европейская молва о Европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня. Покаместь не говори об этом никому. А у меня голова кругом идет. По твоим письмам к кн. Вере вижу, что и тебе и Кюхельбекерно и тошно; тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию» *(конец июня 1824 г.)*.

Мысль, что Воронцов всю вину свалит на него, повторил Пушкин и во втором письме к Казначееву. От него сохранилась только французская черновая. Но когда Пушкин сердился, он в первых набросках сразу и до конца высказывал причину своего гнева. На этот раз гнева праведного. Хотя в этом черновике Пушкин вычеркнул некоторые более резкие выражения (те, которые заключены в скобки), но все-таки видно, какое раздражение накипело в нем за эти дни. Ясно, что личные отношения между ним и Воронцовым если не прерваны, то держатся на очень тонкой ниточке. Должно быть, А. И. Казначеев в письме (не дошедшем до нас) предостерегал Пушкина от опрометчивых поступков, которые могут осложнить и его карьеру, и его материальное положение. Пушкин отвечает, что карьера его испорчена еще четыре

---

*Дословно: саранча заставила его взорваться *(фр.)*. У глагола sauter есть еще значение «прыгать», «подпрыгивать».

года тому назад, а что касается денег, то литература может больше принести ему, чем служба. «Вы мне говорите о покровительстве и дружбе. — По-моему, это две вещи несовместимые. Я не могу и не хочу претендовать на дружбу гр. В., еще менее на его покровительство: нет ничего для меня унизительнее патронирования, и я слишком уважаю этого человека, чтобы унижаться перед ним. На этот счет у меня свои предрассудки демократические, которые стоят предрассудков гордости Аристократической. Я жажду только независимости (простите мне это слово ради его сущности), — и я ее добьюсь ценой мужества (работы) и упорства. Я уже преодолел отвращение писать и продавать свои стихи, чтобы жить. Главный шаг сделан — если я все еще продолжаю писать по капризному наитию воображения, то раз стихи написаны, я уже смотрю на них только как на товар, по столько-то за штуку. Я не понимаю ужаса моих друзей (да и не очень хорошо знаю, что такое эти мои друзья)».

И вдруг, точно самая необходимость объяснять «черни лицемерной», к которой он прежде всего причислял полу-милорда, свое право писать и жить писательством бесит его. Пушкин меняет тон, «захлебывается желчью».

«Мне надоело зависеть от хорошего или плохого пищеварения начальства; мне надоело, что в моем Отечестве со мной обращаются с меньшим уважением, чем с первым попавшимся (болваном) бездельником Англичанином, который является, чтобы щеголять среди нас своей (глупостью) тупостью (небрежностью), своим бессмысленным бормотанием.

Нет сомненья, что гр. В., как человек умный, сумеет обвинить меня перед публикой — очень лестная победа, и я предоставлю ему досыта ею насладиться, тем более, что мне так же мало дела до этой публики, как и до порицаний и восхвалений в наших журналах».

Пушкин, привыкший разрешать личные ссоры и столкновения поединками, мог надеяться, что такие речи заставят Голиафа послать Давиду картель. Этого, конечно, не случилось. Голиаф предпочитал перо шпаге и настойчиво писал в Петербург, прося убрать дерзкого коллежского секретаря из его канцелярии. Тут на помощь саранче пришло письмо Пушкина об Афее. Возможно, что, когда он писал второе резкое письмо Казначееву, Пушкин уже успел разочароваться в уме этого Афея. Гутчинсон заикался, и не к нему ли относятся сердитые слова о бормотуне (saraguin)-англичанине?

Во всяком случае, в Петербурге прогневались. 27 июня Нессельроде написал графу: «Император решил дело Пушкина. Он не останется при вас более, но Его Величество при

этом выразил желание просмотреть депешу мою к вам по этому поводу, а это может состояться лишь на ближайшей неделе по его возвращении из военных поселений».

Александр I всегда объезжал военные поселения Новгородской губернии с гр. Аракчеевым. Эти поселения, смутный зародыш социализма, были их общим детищем. С Аракчеевым же обсуждал Царь государственные дела, большие и малые. Мог и о Пушкине с ним говорить. Царь читал его стихи, даже благодарил за благородные чувства, выраженные в «Деревне», восхищался «Кавказским пленником». Но эпиграмм на Аракчеева не простил. Возможно, что и новую кару Царь придумал вместе с «без лести преданным» политическим своим наперсником.

Как это ни странно, но в ссылке Пушкина в псковскую деревню принял участие и неисправимый путаник А. И. Тургенев. По связям своим, очень разнообразным, он мог ознакомиться с официальной перепиской о Пушкине. И по-своему тревожился. 1 июля он писал Вяземскому: «Граф В. представил об увольнении П. Желая coûte que coûte* оставить его при нем, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже не возможно; что уже несколько раз и давно гр. В. представлял о сем et pour cause**; что надобно искать другого мецената-начальника. Долго вчера толковал я о сем с Севериными, и мысль наша остановилась на Паулуччи, тем более, что П. и Псковский помещик. Виноват один П. Графиня его отличала, отличает, как заслуживал талант его, но он рвется в беду свою. Больно и досадно! Куда с ним деваться?»

Таким образом, сам план опять упрятать в деревню Пушкина, который уже четыре года провел в изгнании, вдали от центров умственной жизни, был изобретен и обдуман Тургеневым, совместно с чиновником, который был в ссоре с Пушкиным. Д. П. Северин был Арзамасец, по прозвищу «Резвый кот», и довольно влиятельный чиновник Коллегии иностранных дел. Кажется, поэт его обидел злой эпиграммой:

Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин... и т. д.

Вскоре после переезда Пушкина в Одессу Вяземский писал: «Пушкин был у Северина, который сказал, чтобы он не ходил к нему; обошелся с ним мерзко, и африканец едва не поколотил его» *(26 сентября 1823 г.)*.

---

*Во что бы то ни стало *(фр.)*.

**По всякому случаю *(фр.)*.

Вяземский просил Жуковского через Северина уладить дело. Вяземский писал под явным влиянием первых писем своей жены: «Пишут, что Пушкин снова напроказил, вследствие чего просит об отставке, но наверное ее не получит. Пишут, что нельзя не сожалеть Пушкина, но что он кругом виноват, редко встретишь такую ветренность и такую наклонность к злословию. Сердце у него доброе, но он склонен к мизантропии, он избегает не общества, а людей, которых боится; это объясняют его несчастиями и отношением к нему родителей». Затем идет просьба насчет Северина: «Он его, кажется, не очень любит, — тем более должно стараться спасти его; к тому же, видно, уважает его дарование, а дарование не только держава, но и добродетель» *(7 июля 1824 г.)*.

В последнем великолепном афоризме сказалось смутное ощущение, что в этом походе против молодого поэта, уже волновавшего всех таинственной силой своего гения, есть что-то неладное. «Ты создан попасть в Боги», — писал недавно Жуковский Пушкину, — «дай свободу своим крыльям, и небо твое».

Но вместо свободы этого полубога выслали под опеку нового губернатора Паулуччи.

Прав был приятель Пушкина Соболевский, когда с горечью говорил, что поэта всю жизнь все старались опекать, то правительство, то приятели.

Умный и независимый Вяземский писал по праву рождения, к числу этих опекунов не принадлежал.

Пока приятели и опекуны волновались, начальство решило судьбу Пушкина. 11 июля Нессельроде писал Воронцову (вся переписка шла по-французски): «Правительство совершенно согласно с Вашими заключениями относительно Пушкина, но, к сожалению, пришло еще к убеждению, что последний нисколько не отказался от дурных начал, ознаменовавших первое время его публичной деятельности. Доказательством тому может служить препровождаемое при сем письмо Пушкина, которое обратило внимание московской полиции по толкам, им возбужденным. По всем этим причинам правительство приняло решение исключить Пушкина из списка чиновников Министерства иностранных дел, с объяснением, что мера эта вызвана его дурным поведением, а чтоб не оставить молодого человека вовсе без всякого присмотра и тем не подать ему средств свободно распространять свои губительные начала, которые под конец навлекли бы на него строжайшую кару, правительство повелевает, не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина в имение его родных, в

Псковскую губернию, подчинить его там надзору местных властей и приступить к исполнению этого решения немедленно, приняв на счет казны издержки его путешествия до Пскова».

Отправив этот приказ, Нессельроде, точно опасаясь, что Пушкин ускользнет от бдительности нового мецената-начальника, переслал маркизу Паулуччи копию своего письма к Воронцову. В сопроводительном письме было сказано, что Пушкин «не оправдал надежд правительства, что служба при Инзове и гр. Воронцове вернет его на добрый путь и успокоит его воображение, к несчастью, посвященное не исключительно русской литературе, его естественному призванию, и что поэт отдается под надзор местных властей».

Так был осуществлен план А. И. Тургенева и Северина найти для поэта нового «мецената-начальника».

Письмо Нессельроде не застало уже Воронцова в Одессе. 14 июня он с женой, с четырехлетней дочкой и целой свитой выехал в Крым. Бумага Нессельроде настигла его в Симферополе, откуда он 24 июля прислал графу Гурьеву приказ немедленно отправить Пушкина в Псковскую губернию. 29 июля Пушкина вызвали в канцелярию одесского градоначальника и объявили, что на следующий день он должен ехать на север, в новую ссылку.

Поэт не ожидал такой крутой расправы. Он надеялся, что ему дадут отставку, дадут возможность без помехи отдаться писательству — «бросить все, заняться рифмой». Ведь даже его начальник, министр иностранных дел, признавал литературу его естественным призванием.

«Когда решена была его высылка из Одессы, Пушкин впопыхах прибежал к княгине Вяземской с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от кн. Вяземской».

Это записал со слов Вяземской Бартенев. Любопытный рассказ, удивительно похожий на рассказ его брата о том, как поэт, в палящий зной, с непокрытой головой, «в бешенстве ревности», пробежал 5 верст. Не спутал ли Лев Сергеевич, не было ли это просто бешенством человека, на которого опять накинули аркан?

Как раз в это время Воронцова опять была в Одессе, проездом из Крыма к матери в Белую Церковь. Об ее приезде говорит княгиня Вера Вяземская в письмах к мужу. Эти письма своего рода летопись одесской жизни поэта за июнь и июль, не столько фактическая, сколько отражающая его настроения.

Глава XXXVI

КНЯГИНЯ ВЕРА ВЯЗЕМСКАЯ

Судьба, точно желая побаловать поэта, смягчить остроту и запутанность последнего акта одесского действия, послала ему дружбу с умной и сердечной женщиной, которая по своим связям, по личным интересам и умственным навыкам, наконец, по тому, что была женою блестящего писателя, принадлежала к верхам образованного общества. Она оказалась близкой свидетельницей его волнений, — стала его другом, может быть, и поверенной.

Княгиня Вера не была раньше знакома с поэтом, которого и муж ее видел только несколько раз мельком. Но стихами и письмами Вяземский и Пушкин обменивались уже несколько лет, умели на лету понимать друг друга. Вяземский лучше других ощущал страстную натуру поэта, — он ее называл «кипучая бездна огня», потому что в нем самом бродили страсти. Так же, как Пушкин, Вяземский твердо знал, что у мысли, у таланта есть свои царственные права, что «дарование тоже держава».

Пушкин явился к княгине Вере в первый же день ее приезда в Одессу, 7 июня, и хотя писал брату с модной напускной небрежностью: «Кн. Вера Вяземская, добрая и милая Баба — но мужу был бы я больше рад», но между ними быстро и уже навсегда установилась крепкая и нежная дружба. В ее письмах к мужу, писанных по-французски, сохранился дух и обстановка той одесской жизни, в которой жил Пушкин. Его образ встает из этих писем, не затуманенный невольными искажениями и ошибками памяти, как это бывает в мемуарах. Это Пушкин в повседневной жизни, непоследовательный, бурный, смешливый, обаятельный, каким он врывался в ее полулагерную, курортную, неблагоустроенную, но все-таки светскую жизнь.

Одесский beau-monde принял княгиню Веру очень ласково. Все наперерыв оказывали ей услуги: Нарышкины искали для нее квартиру, графиня Гурьева готова была ее поить и кормить, князь Петр Трубецкой возил ее в театр, графиня Е. К. Воронцова так долго катала на яхте, что княгиня Вера едва пришла в себя от морской болезни. Правда, это случилось только раз, так как Воронцовы уехали через неделю после ее приезда, 14 июня. В первых письмах княгиня дает очень суровую характеристику Пушкину: «О племяннике Василия Львовича ничего не могу сказать тебе хорошего. Голова у него совершенно в беспорядке, и никто не может с ним справиться; он только что натворил новых фарсов (про-

каз) и попросился в отставку; вся вина на его стороне. Я из хорошего источника знаю, что отставки он не получит. Я делаю все, что могу, чтобы успокоить его голову; я его браню от твоего имени, говорю, что ты, конечно, первый обвинил бы его, так как последние его провинности только повеса мог сотворить. Он старался высмеять лицо, очень для него значительное; и высмеял его. Это стало известным, и понятно, что на него смотрят недоброжелательно. Мне его очень жаль, но я еще никогда не встречала такой ветрености, такой страсти к злословию, как у него. При этом я думаю, что у него доброе сердце и сильная мизантропия. Не то, чтобы он избегал общества, но он боится людей. Быть может, это последствие несчастий и родительской несправедливости» *(13 июня).*

Княгиня еще не знала, что одной из причин раздражительного беспокойства поэта была предстоявшая разлука с графиней Элизой. Поэт до последнего дня надеялся, что Воронцов возьмет его с собой, включит его в свою многочисленную свиту. Но Воронцов, который нетерпеливо стремился освободиться от Пушкина и уже добился его высылки, и не подумал, конечно, его приглашать.

Пушкин тосковал, метался и в тот же день, когда княгиня Вера писала мужу, в письме к брату жаловался на хлопоты и неприятности. Даже писательство не клеилось. Можно себе представить, в каком виде нашла его княгиня Вера. Немудрено, что ее удивил беспорядок в его голове, тем более что она еще не знала, что с ним творится. Но они стали видеться ежедневно. Через неделю сердце княгини смягчилось: «Мое общество по-прежнему состоит из Волконских (матери и дочери); из мужчин я вижу Пушкина, начинаю думать, что он не так плох, как выглядит, и что общество, твое, например, может ему принести пользу, но только в некоторых вещах, а не во всем, так как и Вам, Милостивый Государь, следовало бы иногда обращать больше внимания на мои советы» *(20 июня).*

Это мягкий намек на ветреность самого Вяземского, который мог бы в этом поспорить с Пушкиным. Вяземский любил гостей, вкусные обеды, денег никогда не считал. Он всегда за кем-нибудь волочился, писал стихи всем петербургским и московским красавицам и очень любил цыганок. Друзья пробовали его образумить, пробовали тоже его опекать, но Вяземский отбивался очень решительно, не желал иметь «духовников для своих шалостей». Он считал, что это дело его и жены, и что чужим тут впутываться нечего: «Исповедание ее (жены. — *А. Т.-В.*) мне известно, и что перекрестил я ее в свою веру, основанную на терпимости... Я никогда не чуждался ни разврата, ни развратных, но разврат всегда

чуждался меня. Почему же не признать во мне какой-то отверделости в правилах и чувствах, которая ограждает меня от расслабления там, где другой измочалился бы с первого раза?.. Иной катит по жизни на всех парусах: судно его испытано, другой захлебывается, распустив на своем носовой платок. Да, впрочем, что тут и говорить: я прав, да и все тут» *(28 марта 1823 г.)*. При таком «вероисповедании» Вяземским, мужу и жене, было легче понять бурную душу Пушкина. Княгиня Вера это и показала в Одессе. Она не только поняла, но просто полюбила Пушкина, поддалась неотразимому обаянию его гениальной личности.

Пушкин бесился, Пушкин скучал, Пушкин тосковал, но это не мешало ему дурачиться, смеяться, смешить других. «Что за голова и что за хаос в этой голове! Он меня часто огорчает, но еще чаще заставляет смеяться» *(23 июня)*. «Я хотела бы его усыновить, но он непослушен, точно паж. Будь он менее безобразен, я прозвала бы его Керубино: он все время дурачится и каждую минуту может из-за этого сломить себе шею. Поговори о нем с Трубецким, пусть он тебе расскажет его последние мистификации» *(14 июля)*.

По почте она боялась о них писать, чтобы не подвести Пушкина.

Через несколько дней она опять писала: «Мы с ним подружились, он пресмешной, я пробираю его, как своего сына» *(7 июля)*.

Вяземский в письмах к жене просил ее убедить Пушкина написать оду на смерть Байрона. «Пушкин, — ответила княгиня Вера, — совсем не хочет писать на смерть Байрона; по-моему, он слишком занят, а, главное, слишком влюблен, чтобы заниматься чем бы то ни было, кроме своего Онегина, который, по-моему, второй Child-Harold: молодой человек довольно дурной жизни, портрет и история которого отчасти должны походить на автора. Он мне сказал несколько отрывков, так как целиком нельзя этого слушать, говорят, поэма слишком соблазнительная. Она полна эпиграмм против женщин, но в некоторых описаниях есть грация его первых стихотворений. Он еще начал «Цыганку», которую не хочет кончать» *(27 июня)*.

В том же письме, где она называет Пушкина уже с явной нежностью не то пажом, не то Керубино, княгиня повторяет: «Не говори ему о Байроне, пока он не кончит «Онегина». Он ничего не сделает, даже если обещает. Он говорит, что с тех пор, как он со мной познакомился, он боится тебя; он говорит: «я всегда смотрел на вашего мужа, как на холостого (это слово по-русски среди французского текста. — *А. Т.-В.*);

теперь для меня он держава, и первое письмо, которое я ему напишу, начнется: Ваше Сиятельство, Милостивый Государь, со всеми церемониями и вежливостями» *(4 июля)*.

На самом деле Пушкин уже давно, несмотря на разницу лет, переписывался с Вяземским запросто, по-товарищески, на «ты». Он очень ценил его критическое чутье и был действительно порадован его предисловием к «Бахчисарайскому фонтану». Ему часто хотелось поспорить с Вяземским, так как острота его мысли «веселила его воображение». И даже в летних письмах, сообщая о своей ссоре с Воронцовым, Пушкин в то же время высказывает целый ряд метких литературных суждений.

Княгиня Вера, которая застала Пушкина за созданием третьей главы и не сразу дававшегося ему образа Татьяны, верно поняла, что Пушкина не стоит ни о чем просить, пока он не кончит «Онегина». Не только она, но и сам Пушкин не знал тогда, что Онегин еще на много лет останется его странным спутником. Эта одержимость его духа огромным художественным заданием увеличивала и доводила до бешенства тяжелое раздражение против всяких помех, уколов, против всего, чем «лицемерная чернь» нарушала ритм его мысли. Тут была двойная досада: за самого себя и за свою работу, за неуважение к своей личности и за неуважение к труду «благороднейшего класса народа, класса мыслящего».

Вяземская одна из первых стала на сторону Пушкина и мужу помогла разобраться. Ее письма из Одессы явились живой связью между поэтами, ее дружба с Пушкиным сближала его с Вяземским.

Вяземский тоже писал жене часто и подробно. В его письмах немало бесцеремонных, часто непристойных шуток, которыми дворянская интеллигенция той эпохи приправляла свою речь, прозу и стихи, разговоры и письма. Княгиня настолько уже сблизилась с Пушкиным, что позволяла ему читать письма к ней мужа. «Я дала твои письма Пушкину. Он всегда смеется, как сумасшедший. Я начинаю любить его по-дружески. Не бойся. Я считаю его добрым, но несчастья ожесточили его ум; ко мне он относится дружески, и это меня трогает; он приходит даже в дурную погоду, и хотя ему скучно, но я нахожу, что это очень мило с его стороны. Он откровенно говорит со мной о своих неприятностях, как и о своих страстях. Так время и проходит... Вчера я стояла под сильным дождем на берегу моря и вместе с Пушкиным смотрела, как ветер треплет судно» *(11 июля)*.

Это то письмо, где княгиня Вера рассказала, как она любит стоять на камнях в море и ждать волн, и как раз их,

всех троих, ее, графиню Элизу и Пушкина, когда они стояли на прибрежных камнях, обдало волной.

В это время северные друзья, лучше осведомленные, чем Пушкин, уже знали, что ураган другого рода снова надвигается на Пушкина. И ворчали, по старой привычке, считая его прежде всего повесой, а уже потом поэтом. Вяземский два раза дружески предостерег Пушкина. Еще ранней весной писал, советуя не играть больше пажеских шуток с правительством. Потом приписал в письме к жене: «Кланяйся Пушкину и скажи, что получил письмо его, кажется, от 14-го. Буду отвечать после. Скажи ему, чтобы он не дурачился, то есть не умничал, ибо в уме, или от ума, у нас и бывают все глупости. Пускай перенимает он у меня. Я глупею à votre coup d'oeil*» *(1 июля).*

«За что ты меня бранишь в письмах к своей жене? — сдержанно отвечал ему Пушкин, — за отставку? то есть за мою независимость?» *(15 июля).*

Накануне, в гораздо более резкой форме, Пушкин писал А. И. Тургеневу: «Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку с нетерпеньем ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непрнстойным неуважением, я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — Вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок Инзов сажал меня под арест всякой раз, как мне случалось побить Молдавского Боярина. Правда — но за то добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об Гишпанской революции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под арест, но уж верно не пришел бы ко мне толковать о Конституции Кортесов. Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу службу, займусь рифмой. Зная старую Вашу привязанность к шалостям окаянной Музы, я было хотел прислать Вам несколько строф моего Онегина, да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в небесное царствие печати; на всякой случай попробую» *(14 июля).*

В этом резком письме сквозь открытое негодование против Воронцова сквозит раздражение и против Тургенева, разделявшего петербургское недовольство на неуживчивость Пушкина. Когда Пушкин это писал, он еще не знал, что по канцелярским тайникам уже ползет, подкрадывается к нему бумага, которая еще на два года обречет его на ссылку в

---

*На ваших глазах *(фр.).*

северной глуши. И навсегда оторвет его от женщины, которая принесла ему неизведанное раньше счастье.

Как раз в середине июля графиня Элиза вернулась. Подходили последние дни их свиданий.

«У меня для развлеченья есть романы, итальянские спектакли и Пушкин, который скучает гораздо больше, чем я: три женщины, в которых он влюблен, уехали, — писала княгиня Вера. — Что ты об этом скажешь? Это в твоем духе. К счастью, одна из них на днях приезжает» *(15 июля)*.

«Представь себе, до сих пор у меня не было никакого повода кокетничать, даже на словах. Единственный мужчина, которого я вижу, это Пушкин, а он влюблен в другую. Это для меня очень удобно, и мы с ним большие друзья. Этому помогает его положение. Он, действительно, очень несчастен. Мы ничего не знаем, как идет его дело в Петербурге» *(18 июля)*.

«Пушкин пристает, чтобы я доставила ему удовольствие, давала читать твои письма и, несмотря на твои сальности, я даю, с обязательством читать про себя. Но он начинает хохотать, а вместе с ним и я хохочу до слез. Ты найдешь, что это бесстыдство...»

«Почему ты так туманно пишешь о деле Пушкина? Воронцова нет, и мы ничего не знаем. Как могло дело получить плохой оборот? Он виноват только в ребяческих выходках, да еще в том, что рассердился, и это понятно, что его отправили отыскивать саранчу, чему он, впрочем, покорился. А когда вернулся, стал проситься в отставку, потому что самолюбие его было оскорблено. Вот и все. Когда государи будут знать что делается и когда перестанут представлять им все в превратном виде?»

Письмо помечено 19 июля. Но возможно, что Вяземская кончала его позже, так как иногда она писала одно письмо несколько дней. По ее письмам трудно точно установить день приезда графини Воронцовой. Вероятно, она приехала 21 или 22 июля. «Гр. Воронцова и Ольга Нарышкина вернулись два дня тому назад. Мы постоянно вместе и гораздо более сдружились» *(25 июля)*.

«С тех пор, как Ольга Нарышкина и графиня Воронцова здесь, мы неразлучны. Опять пошли праздники. Они ко мне очень внимательны... Мы все еще не знаем, что ждет Пушкина. Даже графиня, хотя она, как и ты, знает, что он должен покинуть Одессу. Ее муж просто сказал, что Пушкину нечего делать в Одессе, но мы не знаем, чем это кончится».

Это было 27 июля, за три дня до высылки Пушкина, которая так огорчила и потрясла Вяземскую, что она писала:

«Я была в ужасном состоянии из-за высылки Пушкина. Меня одолели черные мысли» *(4 августа)*.

Когда Вяземский узнал подробности нового гоненья на Пушкина, он с негодованием писал А. И. Тургеневу: «Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жребии несчастного Пушкина. От нее он отправился в свою ссылку; она оплакивает его, как брата. Они до сей поры не знают причины его несчастья. Как можно такими крутыми мерами поддразнивать и вызывать отчаяние человека! Кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными сплетнями!.. За необдуманное слово, за неосторожный стих предают человека на жертву. Это напоминает басню «Море зверей». Только там глупость, в виде быка, платит за чужие грехи, а здесь — ум и дарование. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревню на Руси? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина... Не предвижу для него исхода из этой бездны. Неужели не могли вы отвлечь этот удар? Да зачем не позволить ему ехать в чужие края? Издание его сочинений окупит будущее его на несколько лет. Скажите, ради Бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, бояться прозы и стихов какого-нибудь молокососа? Никакие вирши (Tout vers qu'ils sont. — *А. Т.-В.*) не проточат ее! Она, православная матушка наша, зеленеет и дебелеет себе так, что любо! Хоть приди Орфей возмущенных песней, так никто с места не тронется! Как правительство этого не знает? Как ему не чувствовать своей силы? Все поэты, хоть будь они тризевные, надсадят себе горло, а никому на уши ничего не налают... Я уверен, что если Государю представить это дело в том виде, как я его вижу, то пленение Пушкина тотчас бы разрешилось. «Les Titans n'ont pas chansonné les dieux, quand ils ont voulu les chasser du ciel»* *(13 августа 1824 г.)*.

Тургенев ответил только одной строчкой: «Пришлю или привезу ответ на твою вылазку за П.» *(18 августа 1824 г.)*.

Что мог он сказать в ответ на этот взрыв праведного гнева? Ведь он сам одобрил, отчасти сам выдумал этот план. А главное, сам верил, что Пушкин во всем виноват, а меценат во всем прав.

29 июля Пушкина вызвали в канцелярию наместника, где объявили ему приказ о высылке, с точным указанием, через

---

*«Титаны не воспевали богов, когда захотели согнать их с небес» *(фр.)*.

какие города он должен ехать, и через какие не смеет ехать. Киев был запрещен. В канцелярии у поэта отобрали подписку: «Нижеподписавшийся, сим обязывается по данному от Г. Одесского Градоначальника маршруту, без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губ. город Псков, не останавливаясь нигде по пути по своему произволу; а по прибытии в Псков, явиться лично к Г. Гражданскому Губернатору».

Запрещение заезжать в Киев подчеркивало политическое значение этой высылки, так как Киев был центром для образованных людей на юге. Правительство считало опасным допустить их общение с опальным поэтом. Лишнее доказательство, что если для Воронцова это было делом личной неприязни, то в Петербурге это была кара «за две строчки письма».

30 июля отставной коллежский секретарь Пушкин, получив 389 р. прогонных и 150 р. недоданного ему жалованья, выехал из Одессы*.

Дорогой, в Чернигове, в гостинице, с ним встретился петербургский студент, поэт А. И. Подолинский.

«Утром, войдя в залу я увидел в соседней буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека, которого по месту прогулки и по костюму принял за полового. Наряд был очень не представительный: желтые нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная измятая рубаха, подвязанная вытертым черным платком; курчавые, довольно длинные и густые волосы развевались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из Царскосельского Лицея?» На мне еще был казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговора, я отвечал довольно сухо. «А, так вы были с моим братом», возразил собеседник. Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию. — «Я — Пушкин; брат мой Лев был в вашем пансионе». — Слава Пушкина светила тогда в полном блеске, вся молодежь благоговела перед этим именем, — и легко себе представить, как я, 17-летний школьник, был обрадован неожиданною встречею и сконфужен моей опрометчивостью. Тем не менее мы разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в деревню, но что усмирение его не совсем кончено, и смеясь показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку ген. Раевскому, тут же написанную».

9 августа, после десятидневной непрерывной скачки по

*По найденным документам, Пушкин выехал из Одессы не 30 июля, а 1 августа.

длинному пути, пересекающему с юга на север добрую половину России, Пушкин приехал в Михайловское, под родительскую кровлю, где его ждал не особенно ласковый родительский прием.

Глава XXXVII

ТАЛИСМАН

О том, как Пушкин расставался с графиней Воронцовой, мы не узнаем ни по письмам княгини Веры, ни тем более по его письмам. Но в неудержимо правдивых своих стихах, в ритмической своей мысли поэт запечатлел прекрасную сказку о том, как, разлученные злыми силами влюбленные, прощаясь, заколдовали свою любовь в волшебное кольцо. Знакомые, иногда и друзья, а главное, позднейшие комментаторы и критики подсмеивались над суеверностью Пушкина, над его верой в приметы, с высокомерной усмешкой говорили, что он придавал значение таинственным свойствам волшебного перстня, с которым никогда не расставался.

В конце прошлого века перстень попал в музей Александровского лицея. При нем была и собственноручная записка И. С. Тургенева: «Перстень этот был подарен Пушкину в Одессе княгиней Воронцовой. Он носил почти постоянно этот перстень (по поводу которого написал свое стихотворение «Талисман») и подарил его на смертном одре поэту Жуковскому. От Жуковского перстень перешел к его сыну Павлу Васильевичу, который подарил его мне». После смерти И. С. Тургенева Полина Виардо подарила перстень музею Александровского лицея, где он хранился до 1917 года. В дни революции музей был разгромлен чернью (уже не лицемерной, а просто чернью), и кольцо Пушкина исчезло.

Для всех других это было просто золотое кольцо с резным, восьмиугольным сердоликом, на котором была вырезана мало кому понятная восточная надпись. Сам Пушкин считал ее арабской каббалистикой. Хотя на самом деле надпись еврейская, и явный смысл ее малозначительный: «Симха, сын почтенного раби Иосифа (пресвятого Иосифа Старого. — *А. Т.-В.*), да будет благословенна его память».

Но и для Пушкина, и для той, от кого он получил кольцо, это все было не важно. Для них это был талисман, любовью данный, вобравший в себя горечь прощальных поцелуев, язвительную сладость так мучительно оборвавшейся любви, память о которой оживлялась от одного прикосновения к заколдованному перстню. От него изливались лучи, тянулись

тайные нити, которые порвать могло только время, но не злая воля людская.

Картина его прощания с графиней Элизой встает из настойчивого возвращения в его стихах одного и того же образа. Его выдает драгоценная, реалистичная точность не только его памяти, — но что гораздо реже у художников, — его воображения.

Когда какое-нибудь чувство, страсть или образ овладевали его душой, настойчиво и неотступно наполняя его воображение, Пушкин рано или поздно должен был воплотить пережитое в стихи. Так и тут. Прощание с любимой женщиной, подарившей ему кольцо, он описал в «Талисмане». Это опять морской берег, шум моря, гармония волн, все, что так неразрывно связано для него с мыслью о Воронцовой:

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы...
. . . .
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.
И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников Пророка;
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!»
(1827)

Воронцовой не удалось заворожить Пушкина от сердечных ран. Но на некоторое время она околдовала душу поэта, до краев наполнила, очаровала могучей страстью.

Дописав XXXII строфу третьей главы «Онегина», Пушкин пометил: «5-го сентября 1824 года. — Une l(lettre. — *А. Т.-В.*) de ***»*.

---

* Письмо от *** *(фр.)*.

Это было в Михайловском.

«Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же каббалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата — последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе».

Судя по этой заметке Анненкова, влюбленные обменялись кольцами, точно обручились.

Переписка между ними длилась недолго. И этого мечтательного счастья Пушкин скоро был лишен:

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий дым
Виясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит...
. . . .
...Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
(1824)

В черновике стихотворение кончалось словами:

Приди ко мне на горестную грудь,
Близ сердца моего останься, не забудь
Слова заветные, слова души прекрасной.

Пушкин ревниво вычеркнул последние три строчки, точно испугавшись, что слишком много сказал.

О том, как порвалась последняя связь между влюбленными, надо догадываться по четырем произведениям, писанным в 1824—1825 годах. Это: «Коварность», «Сожженное письмо» *(1824)*, «Желание славы» *(7 июля 1825 г.)*, «Ангел». Хронологическую их последовательность установить пока не удалось. Сам Пушкин пометил «Коварность» 18 октября 1824 года.

«Коварность» принято относить к Александру Раевскому. Мы не знаем, что открыло Пушкину глаза, что заставило его, наконец, понять характер этого человека, которого раздражала, беспокоила душевная ясность, крепкая жизненная сила, которая неразрывно сочеталась в Пушкине с поэтическим гением.

А. Раевский вообще был в средствах не брезглив. Он это доказал и в своих отношениях с семьей Волконских. Когда

тот сидел в крепости, а княгиня Мария Николаевна с новорожденным сыном жила у родных в Александрии, ее брат задерживал письма, сообщавшие ей о судьбе мужа, старался всеми способами оторвать ее от мужа, ставшего государственным преступником. Как действовал он, чтобы окончательно оторвать Воронцову от Пушкина, неизвестно. Может быть, под влиянием ревности Александр Раевский как-нибудь оклеветал поэта перед графиней Элизой. Возможно, что он раздувал и недоброжелательство Воронцова. Факты тут трудно восстановить, но в стихах Пушкина есть отголосок, отражение нового психологического опыта, острого разочарования в том, кого он считал другом. Пушкин загорелся негодованием, отвращением к коварному предательству, да еще со стороны того, кого он ставил так высоко, кому так доверял:

Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.
(18 октября 1824 г.)

После страстного взрыва, после бурного обличенья заключительные строчки поражают своей гордой простотой, какой-то кроткой сдержанностью. Так старик цыган говорит Алеко:

«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; — оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою».

Эти строчки писаны почти одновременно с «Коварностью».

Едва ли не изумительнее этой великодушной сдержанности то, что Пушкин, с его страстной влюбчивостью, с его

способностью бешено ревновать, заставил себя, сумел вдуматься в любовь Раевского к Воронцовой, найти в ней своеобразную красоту и в стихах своих эту красоту передать. Ведь когда он писал «Ангела», он думал не только о Воронцовой, но и о Раевском.

В дверях Эдема Ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А Демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, — он рек, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал».

(1827)

Мудростью мечтательного сердца веет от этих двенадцати строк. В них поэт гармонично преодолел горестное волнение страсти. Когда он писал «Ангела», между ним и его нежной любовью к графине Элизе прошло три года. Другие женщины владели за это время его душой. Пусть иначе, не с такой нежностью, не с такой проникновенной прелестью, но все-таки владели. Снова, сквозь двойную мглу времени и новых сердечных увлечений, вглядывается поэт в удаляющийся образ Ангела Утешенья и рядом с ним видит своего «Демона», но также уже преображенного годами. И ни одного слова осуждения, порицания. Какая-то воздушная осторожность, бережливость не только к памяти о ней, но и к чужому чувству. Или огромное уважение к собственной, уже угасшей любви? Белинский говорил: «Есть всегда что-то особенное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. Читая его произведения, можно превосходным образом воспитать в себе человека».

Пушкин напечатал «Ангела» в «Северных Цветах» в 1828 году, в той же книжке, где прямо в лицо Воронцову бросил эпиграмму о лорде — Мидасе. К этому «придворному хаму и мелкому эгоисту» по-прежнему остался он беспощаден.

Не думал ли Пушкин об Александре Раевском и графине Элизе, когда, доказывая одной провинциалке-писательнице существование магнетизма, сказал: «Над женщинами магнетизм делает чудеса. Я был свидетелем таких примеров, что женщина, любившая самою страстною любовью, при такой

же взаимной любви остается добродетельной; но были случаи, что та же самая женщина, вовсе не любивши, как бы невольно, со страхом исполняет все желания мужчины, даже до самоотвержения. Вот это и есть сила магнетизма» *(Фукс)*.

Уезжая из Одессы, Пушкин навсегда расстался со своей волшебницей. Но ее вкрадчивый, нежный образ долго не покидал его, медленно исчезал из памяти. В конце января 1830 года записал он по-французски отрывок чернового письма к chère Elleonora: «Вы сказали мне одно слово, которому я в течение 7 лет старался не верить... Только благодаря вам узнал я все, что есть в любви наиболее converties*, наиболее нежного»**.

Осенью того же года Пушкин сидел один в Болдине, в глухом своем нижегородском поместье. Он был женихом Натали Гончаровой. И вдруг, сквозь несомненную влюбленность в юную красавицу-невесту, ворвалось в его душу, воскресло, запело в пленительных стихах страстное воспоминание о другой, неизжитой, не до конца долюбленной любви. Она подошла тихо, как призрак, как далекий отблеск несбывшегося счастья:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас —
Уж ты для страстного поэта
Могильным сумраком одета,
А для тебя поэт угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

(«Расставание». 1830)

Вдруг вспыхнул огонь, разогнал сумрак воспоминаний, разбудил жгучее желание хоть на мгновение снова увидать ее, ощутить ее женственную прелесть. Со всей властностью прежней любви он зовет ее, заклинает ее. Торопливо, властно бьется ритм стиха:

---

*Утверждающего *(фр.)*.

**Здесь А. В. Тыркова-Вильямс приводит цитату из письма Пушкина к Каролине Собаньской.

Ко мне, мой друг, сюда, сюда!
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно; сюда, сюда!..
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но тоскуя
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!
*(«Заклинание». 1830)**

К этому голосу, к голосу поэта, озарившего ее жизнь такой красивой, такой безумной любовью, графиня Элиза Воронцова прислушивалась всю свою жизнь, вопреки всему, что отвлекало, даже вопреки другим своим увлечениям. «Она одна бы разумела стихи неясные мои», — написал влюбленный поэт. И действительно, его стихи навсегда остались ее спутниками.

«До конца своей долгой жизни она сохраняла о Пушкине теплое воспоминание и ежедневно читала его сочинения. Когда зрение совсем ей изменило, она приказывала читать их себе вслух и притом подряд, так что когда кончались все тома, чтение возобновлялось с первого тома. Она сама была одарена тонким художественным чутьем и не могла забыть очарований пушкинской беседы».

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

---

* Стихотворение, которое А. В. Тыркова-Вильямс относит к Е. К. Воронцовой, обращено к умершей женщине, предположительно к Амалии Ризнич.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ ПУШКИНА

к с. 31. Автопортрет в образе поэта. *1829.*

к с. 65. Царскосельский Лицей. Письмо к Н. Н. Гончаровой. *20 июля 1830.*

к с. 145. Сцена оргии. *1819.*

к с. 241. Титульный лист поэмы «Кавказ». *Апрель-май 1821.*

к с. 373. Е. К. Воронцова (?). *20 сентября — 22 октября 1829.*

НА ПЕРЕПЛЕТЕ

Портрет А. С. Пушкина *(гравюра Е. И. Гейтмана. 1822).*

Царскосельский фонтан «Девушка с кувшином»
(скульптор П. П. Соколов. 1816.
Фрагмент фотоиллюстрации Е. Кассина).

Лицей. Конторка в комнате А. Пушкина
(фрагмент фотоиллюстрации В. Брязгина).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
НОВЫЕ КРАЯ, НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
(1820—1823)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ОДЕССА
(1823—1824)

Тыркова-Вильямс А. В.

Т 93 Жизнь Пушкина: В 2 т. Т. 1: 1799—1824. — 4-е изд. — М.: Мол. гвардия, 2004. — 471[9] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 874).

ISBN 5-235-02651-9 (т. 1)
ISBN 5-235-02650-0

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869—1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй — там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, — наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

УДК 882(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна

ЖИЗНЬ ПУШКИНА

Главный редактор **А. В. Петров**

Редакторы **А. Ю. Карпов, О. И. Ярикова, А. В. Никитин**

Художественный редактор **А. Б. Романова**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Т. И. Малиренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Набор и верстка **А. А. Горкин, А. В. Никитин**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Подписано в печать с готовых монтажей 16.12.2003. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 25,2+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 34703.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127030 Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127030 Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02651-9 (т. 1)
ISBN 5-235-02650-0